МИШЕЛЬ ФУКО

НЕНОРМАЛЬНЫЕ

МИШЕЛЬ ФУКО

НЕНОРМАЛЬНЫЕ

МИШЕЛЬ ФУКО

НЕНОРМАЛЬНЫЕ



НЕНОРМАЛЬНЫЕ

MICHEL FOUCAULT

LES ANORMAUX

Cours au
Collège de France
(1974–1975)

GALLIMARD

МИШЕЛЬ ФУКО

НЕНОРМАЛЬНЫЕ



Курс лекций,
прочитанных
в Коллеж де Франс
в 1974–1975 учебном году

Перевод с французского А. В. Шестакова



Санкт-Петербург
«Наука»
2005

УДК 316.6
ББК 88.52
Ф 94

Ф у к о М. Ненормальные: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974—1975 учебном году. — СПб.: Наука, 2005. — 432 с.

ISBN 5-02-026849-6

Книга — многограннос исследованис становления в новоевропейской культуре представления о нормс как биологичсском, психологическом, моральном и политическом фсномене. Центральное место здссь занимает процесс замещения образа монстра как существа, абсолютно нарушающего законы природы и мира, представлением о норме и нсnúmeroнормальном как субъекте, не поддающемся нормативному воспитанию и не вписывающемся в нормативную систему социума. Значитсльнос внимание в лекциях уделено теме сексуальности и эволюции «тела удовольствия» как средства контроля индивида со стороны общественных институтов и одновременно формы его ускользания от давления «власти—знания», что позволяет проследить становлснис основных идей третьего периода творчсства Фуко конца 70—80-х гг.

Для психологов, политологов.

Ответственный редактор А. В. ГОВОРУНОВ
Научный редактор В. Ю. БЫСТРОВ

Научное издание

Мишель Фуко
НЕНОРМАЛЬНЫЕ
Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974—1975 учебном году

Художник *П. Палей.* Технический редактор *И. М. Кашеварова*
Коррскторы *Ф. Я. Петрова* и *Е. В. Шестакова*
Компьютерная верстка *Л. Н. Напольской*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Подписано к печати 21.02.2005
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,1
Уч.-изд. л. 23.6. Доп. тираж 2 000 экз. Тип. зак. № 1403. С 30

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1
main@nauka.nw.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов во ФГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



ТП 2003-II-№ 51
ISBN 5-02-026849-6 («Наука»)
ISBN 2-02-030798-7 («Gallimard», «Seuil»)

Предисловие

Публикация лекций Мишеля Фуко открывает собой, безусловно, новый этап в восприятии и изучении идейного наследия этого мыслителя в России. Кому-то такое утверждение может показаться чрезвычайно категоричным. Все важнейшие книги Фуко уже переведены на русский язык, а некоторые даже и не один раз. Индекс цитирования Фуко один из самых высоких, а его имя по поводу и без повода упоминается сегодня в большинстве вузовских учебников по гуманитарным дисциплинам.

Все это так, и вместе с тем хочется обратить внимание читателя на два обстоятельства. Во-первых, в странах Запада еще при жизни Фуко научное сообщество пришло к выводу, что его книги сами по себе не дают не только исчерпывающего, но даже и более-менее точного представления о сущности его работы. Многочисленные интервью, появлявшиеся в научных журналах, были не только свидетельством растущей мировой известности, но и попыткой разобраться в его истинных исследовательских интересах. Публикации лекций, семинаров и даже компиляций из его сочинений и интервью предпринимались с той же целью. Все эти материалы по мере их появления в печати позволяли как критикам, так и почитателям его сумрачного гения составить принципиально новое представление о характере исследовательских проектов Фуко. Существуют даже истолкования его работ в герметическом ключе, и иногда довольно убедительные. (Например: *Seigel J.* Avoiding the Subject: A Foucaultian Itinerary // Journal of the History of Ideas. 51, 1990). В его работах отыскиваются различные тайные знаки, намеки, аллюзии. Все это делается с целью представить перед глазами читателя подлинного, «окончательного» Фуко, Фуко, не раскрывшегося полностью в своих книгах.

Процесс «вторичной» интерпретации его книг во Франции и в англоязычных странах разворачивается с синхронностью, позволяющей увидеть в этом определенную закономерность. Вероятно, и «русского» Фуко ожидает та же участь. По крайней мере, публикация лекций Фуко может рассматриваться как первый шаг в этом направлении.

Во-вторых, лекции 1974—1975 гг. приходятся на период, связываемый почти всеми биографами Фуко с переключением его исследовательских интересов на новый предмет — власть. Их чтение совпадает с завершением работы над книгой «Надзирать и наказывать» и с началом работы над «Историей сексуальности». Обращение к микрофизике власти, к техникам дисциплинирования и к происходящему параллельно формированию дисциплинарных пространств становлению нормативного знания о человеке в полной мере характерно и для лекций о «ненормальных». Поэтому они могут читаться и в качестве своеобразного комментария к книгам Фуко о власти. Вместе с тем непосредственным предметом этих лекций все же остается безумие — область более ранних интересов.

Жиль Делез в своей рецензии на книгу Фуко «Надзирать и наказывать» говорит, что ее можно читать и как продолжение предыдущих книг, и как нечто новое, знаменующее собой решительный шаг вперед. Этот шаг он связывает с новой постановкой вопроса о власти, направленного и против марксизма, и против господствовавших в официальной политической науке 70-х представлений. Правда, новая концепция власти в «Надзирать и наказывать» излагается лишь конспективно, на нескольких страницах в начале книги. И Делез предполагает, что эта новая концепция возникла у Фуко не столько в результате теоретических изысканий, сколько в процессе его правозащитной деятельности в рамках «Группы информации по тюрьмам». К тому же и тема новой книги посвящена истории становления тюрьмы как института. Столкнувшись с микрофизикой власти на личном опыте, он в «Надзирать и наказывать» и выразил этот опыт в форме теории.

В предлагаемых вниманию читателя лекциях постулаты теории власти Фуко изложены хотя и не систематически (что противоречило бы формату лекций, посвященных все же не столько власти, сколько безумию), но тем не менее в достаточно развернутом виде. Например, в конце лекции от 15 января 1975 г. читатель может обнаружить критический анализ марксистских кон-

цепций власти, к которым Фуко, как и большинство левых интеллектуалов Франции, еще недавно относился с благосклонностью. Критическое преодоление марксистской политологии «изнутри» является и сегодня для отечественной политической науки столь актуальной и острой задачей, что о ней эта наука предпочитает вообще умалчивать. С этой точки зрения, лекции 1974—1975 гг., рассматриваемые в качестве комментария или даже предварительных набросков к «Надзирать и наказывать», могут оказаться весьма увлекательным и плодотворным чтением.

Но не меньшее любопытство способна вызвать и исходная тема этих лекций — безумие. Заметим сразу же, что все рассуждения Фуко о безумии выстраиваются в рамках непривычно сложной, даже чрезмерно изысканной для отечественной интеллектуальной атмосферы дискурсивной системы координат. Рецепции безумия в России последних двух столетий отличаются бесхитростностью. Все они, от обыденных представлений до специальных теорий, легко располагаются в горизонте между, с одной стороны, сведением психики душевнобольного к статусу телесной субстанции с анонимными атрибутами-симптомами и, с другой стороны, известным высказыванием Льва Толстого о том, что сумасшедшие дома изобретены человечеством с тайной целью уверовать в свою разумность. Иными словами, либо безумие есть, и тогда оно не может быть не чем иным, кроме физического, природного феномена, подлежащего строгому измерению. Либо безумия нет, и оно оказывается культурной фикцией наряду с многими другими, изобретенными человечеством с целью уклониться от программы упрощения и перевоспитания, «распространяемой» из Ясной Поляны. Третьего не предусмотрено, и поскольку давно уже нет в живых ни «зеркала русской революции», ни того, что оно отражало, то представления о безумии как о физическом феномене и психиатрии как отрасли естествознания оказываются у нас в стране безальтернативными. Остался лишь негатив этого представления, и переведенного на русский Фуко уже второе десятилетие гримируют под автора «Исповеди» и «Войны и мира». Нельзя исключить, что окажись Фуко в реальности крестьянским революционером с плугом (пусть и электрическим) и прочим реквизитом, его судьба сложилась бы более благополучно. Однако еще Наполеон, опознанный Львом Толстым как Антихрист, заметил, что великие люди подобны метеорам, сжигающим себя, дабы осветить землю. Так, возможно, и

безумные зигзаги биографии Фуко не должны заслонять собой то, что он хотел сообщить о самом безумии.

Любопытна генеалогия исследовательского интереса к безумию у самого Фуко. Один из виднейших представителей французского неогегельянства Жан Ипполит говорил: «Я придерживаюсь идеи, что изучение безумия — отчуждения в глубоком смысле этого слова — находится в центре антропологии, в центре изучения человека. Сумасшедший дом есть приют для тех, кто не может больше жить в нашей бесчеловечной среде» (*Eribon D.* Michel Foucault (1926—1984). Paris, 1989. P. 93). Более чем вероятно, что от Ипполита, своего учителя, Фуко и заимствовал идею изучения безумия как отчуждения par exellence. Действительно, два конститутивных момента отчуждения — опредмечивание (овеществление) и распредмечивание (персонификация) — формируют бинарную оппозицию традиционного дискурса безумия. Как со стороны врача, редуцирующего психику безумца до уровня неживой материи, так и со стороны больного, переходящего к радикальному гилозоизму и открывающего существование несметного числа духов как в мире внешнем, так и в своем собственном, внутреннем. Фуко сразу же оказывается на позиции, где эти две крайности видятся в равной мере удаленными от истины. Хотя он, с определенной долей ложной скромности, и утверждает неоднократно, что усматривает свою задачу в освещении социального и нравственного контекста развития психиатрии, ему не стоит верить на слово. Фактически он лишает традиционную психиатрию права на обладание объективным знанием о безумии, так как она априорно связана с одной из крайностей — с позицией врача. Психиатрия оказывается лишь наукообразным выражением нравственного и социального опыта безумия. Таким образом, психиатрия с самого начала является «партийной» наукой, «выражающей интересы» класса врачей и игнорирующей страдания и чаяния класса безумцев.

В качестве «классовой», «партийной» науки психиатрия важна исследователю ее истории не столько своим концептуальным содержанием, сколько возлагаемыми на нее функциями принудительной изоляции больных. Психиатрия обречена, следовательно, играть на стороне команды власти, а тема безумия с самого начала предполагает последующий переход к изучению тайны успехов и достижений этой команды. В арсенале методов и технологий господства психиатрии отводится решение задачи отде-

ления тех, кого можно заставить принудительно трудиться, от совершенно неуправляемых. Если носители даже самых крайних форм девиантного поведения еще могут быть исправлены в трудовых лагерях и тюрьмах, то безумцы выделяются в совершенно особую группу. Впрочем, как мы знаем из опыта отечественной истории, даже расстрел может служить воспитательным целям, хотя это и не очень эффективный педагогический прием. Он, как зрелище, безусловно, уступает образу безумия, так как свойственная ему необратимость экзекуции ставит под сомнение возможность исправиться. Образ безумия более сложен и даже диалектичен. Он продуцирует одновременно и поучительное представление о крайней степени неуправляемости, и не менее полезную для целей власти надежду на исправление (исцеление). Как историк Фуко ставит перед собой задачу показать, что процедура изоляции безумцев, создание соответствующего дисциплинарного пространства предшествует появлению даже самого понятия безумия и выделению психических болезней в особый класс заболеваний. Эти концептуальные надстройки возникают позже по времени, и их предназначение заключается не столько в том, чтобы оправдать новую экспансию власти, вторгающейся на этот раз в мир человеческой души, сколько скрыть под маской псевдонаучной объективности механику властных технологий. Эта последняя потребность появляется лишь потому, что власть на такой непривычной территории, как внутренний мир человека, чувствует себя пока еще не очень уверенно.

Вместе с тем Фуко не отбрасывает возможности получить объективное знание о безумии. Вопреки тому, что до сих пор объективность была лишь игрушкой в руках власти, Фуко убежден, что подлинная объективность, свободная от террора власти, все же возможна. Но она возможна не в рамках психиатрии, а в рамках антропологии. Именно поэтому последнюю главу одной из самых первых своих книг «История безумия в классический век» Фуко назвал «Антропологический круг». Здесь он показывает, что представления о безумии обладают чрезвычайно важным антропологическим значением. Проводя границу между разумом и безумием, мы определяем не только безумие, но и разум, имеющий в данном случае значение антропологического норматива. Поскольку безумие является отчуждением человека от его человеческой сущности, то оно в своей определенности как раз и указывает на эту сущность. Безумие раскрывает истину челове-

ческого существования, истину, до определенного момента дремлющую в глубинах нашего «Я». Безумие свидетельствует не столько о дурных инстинктах самого безумца, сколько о порочной природе человека вообще. Поведение безумца асоциально и аморально, но оно является манифестацией антропологической бездны, способной разверзнуться при определенных условиях в душе любого человека. Поэтому безумие не является частным клиническим случаем, а совпадает с предметом вечных философских дискуссий об изначальной сущности человеческого существования, о структуре субъективности, о смысле и предназначении человека.

Складывается парадоксальная исследовательская ситуация. С одной стороны, истина безумия не может быть найдена силами психиатрии, размещающей патологическое внутри личности. С другой стороны, получить какое-либо знание о безумии, не обращаясь к психиатрии, невозможно, так как психиатрия не только неотступно сопровождала безумие во всех его ликах, но и произвела (и продолжает производить) на свет сам этот феномен. Выход Фуко находит в анализе психиатрии не в качестве определенного эпистемологического поля, а как дискурсивной практики. Психиатрия важна как компендиум формальных свидетельств о безумии, и о технологиях борьбы с ним. Но сами психиатрические концепции должны быть редуцированы. Для того чтобы радикально отстраниться от психиатрии как науки, следует попытаться проделать анализ безумия как некой глобальной структуры. Анализ безумия, освобожденного и восстановленного в правах, безумия, получившего право говорить о себе не на языке психиатрии, а на своем собственном, пока еще не известном языке.

Таким образом, Фуко принимает сложившуюся исторически картографию безумия, установленную при помощи добытого психиатрией знания и соответствующих ему практик, — установления недееспособности, отчуждения от прав, интернирования, контроля и реабилитации, если таковая возможна. Но в то же время он отказывается признать правомерность проведенных таким образом границ, отделяющих разум от неразумного. Поэтому особое внимание Фуко привлекают «естественные» случаи нарушения этих границ, опыт трансгрессии. Этот опыт оказывается в какой-то мере «естественным» в рамках искусства и философии. Именно этот опыт олицетворяют своим творчеством некоторые фигуры, например Ницше. Однако при более

внимательном взгляде обнаруживается и более близкий регион «естественой» трансгрессии. Его, кстати, обнаружил все тот же Ницше. Этим регионом является человеческое тело, приобретающее в таком ракурсе статус специфической реальности. Именно тело оказывается у Фуко противоположностью власти, оказывается тем, чем стремится власть овладеть. На тело в конечном счете направлена согласованная стратегия всех многочисленных, казалось бы, действующих в собственных интересах инстанций власти. Стремясь овладеть телом, власть подчеркивает сексуальность человека, глубину и силу его сексуальных побуждений, демонстрирует постоянную тревогу по поводу возможных отклонений в реализации сексуальных желаний, жестко указывает на их несовместимость с нормами нравственности и социальными требованиями. Следовательно, оппозиция власти и тела у Фуко может рассматриваться как вариант древнейшей философской дилеммы естественного и искусственного, природы и культуры. Власть представляет собой активное, мужское, преобразующее начало. Тело, включая и его психическую ипостась, является пластическим материалом для созидательных интенций власти. В каком-то смысле тела нет как такового, оно всегда только становится. Оно всегда есть то, что удалось из него сделать власти. Фуко говорит не только о том, что в начале эпохи Нового времени происходят радикальные изменения в представлениях людей о безумии. Фактически он утверждает, что до появления науки психиатрии безумия не было. Этот тезис Фуко чаще всего воспринимается как явно неправдоподобный. Ведь, казалось бы, если есть такая функция, как сознание, то может быть и соответствующая дисфункция — безумие. Такое представление с точки зрения здравого смысла кажется безупречным. Однако Фуко стремится показать, что данная проблема не столь проста, и, обращаясь только к здравому смыслу, ее не решишь.

Здравый смысл, как правило, упускает из виду, что безумие представляет собой еще и феноменологическую проблему. Действительно, любое объяснение безумия может основываться лишь на предшествующем его корректном описании. В таком случае закономерен вопрос, какого рода сознание может послужить исходной точкой для такого описания? Если это сознание наблюдающего за безумием врача, то ему доступны лишь внешние проявления безумия, но не сам феномен. Если же это сознание безумца, то оно либо вообще лишено дескриптивных

средств, либо сами дескрипции заведомо недостоверны. Таким образом, безумие нигде не обнаруживает себя как феномен, и поэтому резонно предположить, что в человеческой истории оно появляется без санкции опыта. Понятие безумия не может, следовательно, опираться на эмпирический материал представлений; оно появляется в результате некоего волевого акта, учреждающего границу между нормой и аномалией в духовном мире. Следует заметить, что этот волевой, властный акт учреждения является не столько следствием познания, расширяющего свои границы, сколько результатом самоограничения человеческой природы. Если безумие невозможно в строгом феноменологическом смысле (так как никогда не может быть опытом сознания, точнее сказать, конвенциональным опытом сознания), то то же самое следует сказать и о разуме. Проблема безумия приоткрывает тайну разума, который, несмотря на все декларации о расширяющихся границах познания, генетически связан с ограничением и упрощением опыта.

Здесь следует вспомнить тот пассаж из «Истории безумия», где Фуко говорит о Декарте, о его размышлениях по поводу «гиперболического сомнения». Всемогущий демон Декарта подвергает деконструкции всю привычную человечеству систему мироздания вместе со всеми знаниями и представлениями. Фуко, следуя за всеми аргументами Декарта, задает вопрос: а почему безграничное сомнение не распространяется на рассудок Декарта? Не является ли это ограничение, эта полная уверенность Декарта в своем психическом здоровье симптомом страха перед безумием? Перед нами еще одно подтверждение парадоксального тезиса Фуко: безумие и нормальный рассудок рождаются вместе, в одно и то же время.

Было бы нелогично завершить это предисловие какой-либо оценкой фигуры Фуко и его роли в современной интеллектуальной культуре. Нелогично, так как книга, которую читатель держит в руках, должна еще раз убедить его, что время для такой оценки еще не пришло.

В. Ю. Быстров

Вместо предисловия

Мишель Фуко преподавал в Коллеж де Франс с января 1971 г. и до своей кончины в июне 1984 г., за исключением 1977 г., когда ему было предоставлено право воспользоваться полагающимся каждому профессору раз в семь лет отпуском. Его кафедра носила название «Кафедра истории систем мысли».

Она была создана 30 ноября 1969 г. по инициативе Жюля Вюйемена и по решению общего собрания профессоров Коллеж де Франс вместо кафедры «Истории философской мысли», которой до своей смерти руководил Жан Ипполит. 12 марта 1970 г. то же общее собрание избрало Мишеля Фуко на должность профессора новой кафедры.[1] Фуко было 43 года.

2 декабря 1970 г. он произнес свою инаугурационную лекцию.[2]

Преподавание в Коллеж де Франс подчиняется особым правилам. Каждый профессор обязан прочесть 26 часов лекций в год (не более половины этого времени может быть отдано семинарам [3]). Каждый год он должен выносить на суд слушателей оригинальное исследование, в связи с чем содержание курсов ежегодно меняется. Посещение лекций и семи-

---

[1] Мишель Фуко завершил брошюру, составленную перед голосованием для ознакомления профессоров, следующей формулой: «Нужно заняться историей систем мысли» (см.: *Foucault M.* Titres et travaux // Dits et Écrits, 1954—1988 / éd. par D. Defert & F. Ewald, collab. J. Lagrange. Paris, 1994. Vol. I. P. 846).

[2] Она была опубликована издательством Gallimard в мае 1971 г. под названием «Порядок дискурса».

[3] Которые Мишель Фуко вел вплоть до начала 1980-х годов.

наров совершенно свободное; не требуется ни записываться на эти курсы, ни писать итоговую письменную работу. Причем профессор также не волен лишать кого-либо права присутствовать на своих лекциях.[4] В уставе Коллеж де Франс сказано, что профессора в нем имеют дело не со студентами, но со слушателями.

Лекции Мишеля Фуко читались по средам с начала января до конца марта каждого года. Аудитория, весьма многочисленная, состояла из студентов и преподавателей, исследователей и просто интересующихся, среди которых было немало иностранцев. Слушатели занимали сразу два амфитеатра Коллеж де Франс. Мишель Фуко часто сетовал на большое расстояние, разделявшее его и «публику», а также на скудные возможности общения, обусловленные формой лекции.[5] Он мечтал о семинаре, в котором шла бы подлинная коллективная работа. В последние годы по окончании лекций он посвящал значительное время ответам на вопросы слушателей.

Вот как передал в 1975 г. царившую на этих лекциях атмосферу корреспондент журнала «Nouvel Observateur» Жерар Петижан: «Фуко выходит на арену быстро и целеустремленно, он, словно ныряльщик, рассекает толпу, пробирается к своему стулу, раздвигает магнитофоны, чтобы разложить записи, снимает куртку, включает настольную лампу и, не теряя времени, начинает. Его сильный, внушительный голос распространяют микрофоны, единственная уступка современности в этом зале, который слабо озаряет свет, струящийся из сту́ковых плафонов. На триста мест приходится пятьсот прижавшихся друг к другу слушателей, довольствующихся малейшим свободным участком. [...] Ни тени ораторских эффектов. Все ясно и чрезвычайно убедительно. Никаких уступок импровизации. У Фуко есть двенадцать часов, чтобы

---

[4] Это правило действует только внутри Коллеж де Франс.

[5] В 1976 г., в надежде — в тщетной надежде — сократить число слушателей, Мишель Фуко изменил время чтения лекций с 17.45 на 9 часов утра. Ср. начало первой лекции (от 7 января 1976 г.) курса «Надо защищать общество» (*Foucault M.* «Il faut défendre la société». Cours au Collège de France, 1976 / éd. s. dir. F. Ewald & A. Fontana par M. Bertani & A. Fontana. Paris, 1997).

объяснить во время публичных лекций смысл работы, проделанной им за последний год. И он до предела концентрирует материал, используя все поля, как те корреспонденты, которым нужно еще так много сказать, когда лист бумаги заканчивается. 19.15. Фуко останавливается. Студенты устремляются к его столу. Не для того, чтобы поговорить с ним, а чтобы остановить магнитофонную запись. Никаких вопросов. Фуко совершенно один в этой толпе». А вот комментарий самого Фуко: «Нужно было бы обсудить то, о чем я говорил. Иногда, когда лекция не удалась, может хватить пустяка, одного вопроса, чтобы все расставить по местам. Но этот вопрос никогда не звучит. Во Франции эффект группы делает всякую реальную дискуссию невозможной. И поскольку обратной связи нет, лекция театрализуется. Я был словно актер и акробат перед этими людьми. И когда я прекращаю говорить, приходит ощущение тотального одиночества...»[6]

Мишель Фуко подходил к своему преподаванию как исследователь: это были разработки для будущей книги, распашка новых территорий проблем, которые формулировались почти как вызов, бросаемый возможным коллегам. Поэтому и получилось, что курсы в Коллеж де Франс не дублируют опубликованные книги. И не являются наброском предстоящих книг, даже если темы их иногда совпадают. Эти лекции имеют собственный статус. Они следуют особому дискурсивному режиму «философских акций», осуществленных Мишелем Фуко. Он совершенно по-особенному развивает в них проект генеалогии взаимоотношений знания и власти, в соответствии с которым с начала 1970-х годов будет строиться его работа, — в отличие от проекта археологии дискурсивных формаций, который занимал его прежде.[7]

Кроме того, лекции Мишеля Фуко всегда были связаны с современностью. Его слушателей не просто увлекало повест-

---

[6] *Petitjean G.* Les Grands Prêtres de l'université française // Le Nouvel Observateur, 7 avril 1975.

[7] См., например: *Foucault M.* Nietzsche, la généalogie, l'histoire // Dits et Écrits. II. P. 137.

вование, выстраивавшееся неделя за неделей, они не просто восхищались стройностью изложения, но и замечали свет, проливаемый им на сегодняшний день. Искусство Фуко заключалось в пересечении современности историей. Он мог говорить о Ницше или Аристотеле, о психиатрической экспертизе XIX века или христианском пастырстве, и слушатели всегда улавливали в его словах что-то о настоящем, о событиях, которые происходили рядом с ними. Присущее только Мишелю Фуко лекторское дарование было связано именно с этим переплетением ученой эрудиции, личной причастности и работы над событием.

* * *

В семидесятые годы шло развитие, совершенствование кассетных магнитофонов, и стол Мишеля Фуко был буквально заставлен ими. Так сохранились его лекции и некоторые семинары.

Настоящее издание призвано как можно точнее воспроизвести публичные выступления Мишеля Фуко.[8] Мы всячески старались представить их в чистом виде. Однако перевод устной речи в письменный вид подразумевает вмешательство издателя: как минимум, нужно ввести пунктуацию и деление на абзацы. Нашим принципом всегда было как можно точнее придерживаться произнесенных лекций.

Когда это казалось нам необходимым, мы устраняли повторения и оговорки; прерванные фразы были восстановлены, а некорректные конструкции исправлены.

Многоточия в угловых скобках соответствуют неразборчивым фрагментам записи. Когда содержание фразы непонятно, в квадратных скобках дается предположительное уточнение или дополнение.

В примечаниях под звездочкой внизу страницы приведены некоторые выдержки из записей, которые использовал

---

[8] Использовались главным образом записи, осуществленные Жераром Бюрле и Жаком Лагранжем, хранящиеся ныне в Коллеж де Франс и в IMEC.

Мишель Фуко, отличающиеся от магнитофонной записи лекции.

Цитаты были проверены, и в примечаниях мы дали ссылки на использованные тексты. Критический аппарат призван прояснить темные места, разъяснить некоторые аллюзии и уточнить спорные детали.

С целью облегчения чтения каждая лекция предварена кратким резюме, в котором указаны ее основные части.[9]

Текст лекционного курса дополняет его «Краткое содержание», ранее опубликованное в «Ежегоднике Коллеж де Франс». Такие резюме Мишель Фуко обычно составлял в июне, вскоре после окончания своего курса. Они позволяли ему уточнить свои намерения и цели, оглядевшись на сделанное, и теперь дают о них наилучшее представление.

Каждый том завершается «контекстом», полная ответственность за который лежит на издателях данного лекционного курса: здесь читателю предлагаются элементы биографического, идеологического и политического окружения лекций каждого года, их сопоставление с опубликованными книгами Фуко, а также замечания, касающиеся места курса в его творчестве, позволяющие облегчить его понимание и отвести недоразумения, связанные с незнанием обстоятельств, в которых каждый курс готовился и читался.

* * *

С публикацией лекционных курсов в Коллеж де Франс читателю открывается новый пласт «творчества» Мишеля Фуко.

Строго говоря, речь не идет о неизвестных текстах, так как настоящее издание воспроизводит публичные выступления Мишеля Фуко, — если, конечно, не иметь в виду глубоко проработанные подготовительные записи, которые он использо-

---

[9] В конце книги, в «Контексте курса», можно ознакомиться с критериями, принятыми издателями применительно к данному курсу, и с некоторыми характерными именно для него решениями.

вал. Даниэль Дефер, владеющий ныне рукописями Мишеля Фуко, любезно позволил издателям ознакомиться с ними. И мы хотели бы поблагодарить его за это.

Настоящее издание лекций в Коллеж де Франс осуществлено с разрешения наследников Мишеля Фуко, которые любезно согласились удовлетворить живейшую потребность в нем, проявленную как во Франции, так и в других странах. Их условием была предельная серьезность подготовки книг. Издатели стремились оправдать оказанное им доверие.

Франсуа Эвальд,
Алессандро Фонтана

ЛЕКЦИИ 1974—1975 гг.

Лекция от 8 января 1975 г.

Психиатрические экспертизы в уголовной практике. — К какому типу дискурса они относятся? — Дискурсы истины и дискурсы, продуцирующие смех. — Легальное доказательство в уголовном праве XVIII века. — Реформаторы. — Принцип внутреннего убеждения. — Смягчающие обстоятельства. — Связь между истиной и правосудием. — Гротеск в механике власти. — Морально-психологический дубликат преступления. — Экспертиза показывает, что индивид был подобен своему преступлению, еще не совершив его. — Возникновение власти нормализации.

Мне хотелось бы начать курс этого года, предложив вам два психиатрических отчета из уголовной практики. Я прочту их целиком. Первый отчет был составлен в 1955 г., ровно двадцать лет назад. Среди подписавших его есть по меньшей мере одно громкое имя тогдашней уголовной психиатрии, и он имеет отношение к процессу, о котором некоторые из вас, возможно, еще помнят. Это история женщины, которая вместе с любовником убила свою малолетнюю дочь. Мужчина, любовник матери, обвинялся в соучастии или, как минимум, в подстрекательстве к убийству ребенка, так как было установлено, что женщина убила дочь собственными руками. Итак, вот отчет о психиатрической экспертизе мужчины, которого я, с вашего позволения, буду называть А., так как до сих пор не смог выяснить, с какого момента данные судебно-медицинских экспертиз могут публиковаться с упоминанием имен.[1]

«Эксперты оказались в очевидном замешательстве перед необходимостью дать психологическое заключение об А., ибо они не могут вынести решения по поводу его моральной виновности. И все же надо остановиться на гипотезе о том, что А. неким образом оказал на умонастроение девицы Л. влияние, которое привело последнюю к убийству своего ребенка. Итак, мы представляем себе элементы и действующих лиц этой гипотезы следующим образом. А. принадлежит к неоднородной и социально неблагополучной среде. Будучи незаконнорожденным, он был воспитан одной матерью и лишь значительно позднее был признан своим отцом; тогда же выяснилось, что у него есть сводные братья, с которыми, однако, его не связывали никакие семейные узы. К тому же после смерти отца А. вновь остался вдвоем с матерью — женщиной весьма неопределенного положения. Но, несмотря ни на что, он поступил в общеобразовательную школу, и обстоятельства, связанные с его происхождением, несколько заглушили в нем врожденную гордость. Люди подобного сорта почти никогда не чувствуют себя благосклонно принятыми в том мире, в который они попадают: этим объясняется их пристрастие к парадоксам и ко всему такому, что способно посеять раздор. В атмосфере идей, хотя бы в какой-то мере революционных [дело, напомню, происходит в 1955 г. — *М. Ф.*], они чувствуют себя более уверенно, чем в устоявшейся среде с ее чопорной философией. Об этом свидетельствует история всех интеллектуальных реформ, всех духовных объединений: история Сен-Жермен де Пре, история экзистенциализма [2] и т. д. Во всех таких движениях получают возможность проявить себя по-настоящему сильные личности, в особенности если у них сохраняется хотя бы некоторая склонность к адаптации. Они могут добиться известности и стать основателями жизнеспособной школы. Однако большинство не в состоянии подняться выше среднего уровня и стремится привлечь к себе внимание экстравагантной одеждой или экстраординарными поступками. Такие люди обычно склонны к алкивиадизму,[3] геростратизму [4] и т. п. Конечно, они уже не стремятся отрезать хвост своей собаке или сжечь храм в Эфесе, но зачастую поддаются ненависти к буржуазной морали настолько, что отвер-

гают ее законы и доходят до преступления, чтобы раздуть значение своей личности — тем более, чем бесцветнее эта личность. Естественно, что во всем этом присутствует доля боваризма[5] — этой способности человека представлять себя другим, нежели он есть, и чаще всего гораздо красивее и значительнее, чем суждено ему быть природой. Вот почему А. мог смотреть на себя как на сверхчеловека. В этом отношении странно, что он противился влиянию со стороны военных. Ведь он же говорил и о том, что переход Сен-Сира закалил характеры. Но, судя по всему, ношение униформы почти не оказало на поведение Альгаррона[6] нормализующего воздействия. Впрочем, ему постоянно хотелось оставить армию, чтобы предаться своим шалостям. Еще одной психологической особенностью А. [наряду с боваризмом, геростратизмом и алкивиадизмом. — *М. Ф.*] является донжуанизм.[7] Он отдавал в буквальном смысле все свободные часы коллекционированию любовниц, чаще всего таких же покладистых, как девица Л. И с извращенным пристрастием заводил с ними разговоры, из которых, учитывая их начальное образование, они обычно почти ничего не могли понять. Ему нравилось развивать перед ними „разительные", по выражению Флобера, парадоксы, которые одни слушали разинув рот, а другие — вполуха. И подобно тому как на самого А. не произвела благотворного влияния преждевременная для его социального и умственного уровня культура, девица Л. стала повторять каждый его шаг, что выглядело одновременно карикатурой и трагедией. Тут мы имеем дело с еще более глубокой степенью боваризма. Л. жадно глотала парадоксы А. и, в некотором смысле, отравилась ими. Ей казалось, будто она поднимается на более высокий культурный уровень. А. говорил о том, что влюбленные должны вместе совершить нечто из ряда вон выходящее, чтобы соединить себя нерасторжимой связью, например убить водителя такси или ребенка — просто так, или чтобы доказать себе способность к поступку. И девица Л. решила убить Катрин. Во всяком случае, так говорит она сама. Хотя А. не соглашался с ней прямо, он, во всяком случае, не переубеждал ее, позволяя себе — возможно, по неосмотрительности — строить в беседах с ней парадоксы, в которых она, за неимением

критического духа, увидела руководство к действию. Таким образом, не вынося решения о том, что произошло на самом деле и о степени виновности А., мы можем понять, почему воздействие, оказанное им на девицу Л., могло оказаться таким пагубным. Однако наша задача заключается прежде всего в том, чтобы установить, какова степень ответственности А. с точки зрения уголовного права. И нам бы очень хотелось, чтобы наши термины не были истолкованы превратно. Мы говорим не о том, какова доля моральной ответственности А. в преступлениях девицы Л. — это дело судей и присяжных заседателей. Мы же лишь выясняем, имеют ли аномалии характера А. патологическую, с точки зрения судебной медицины, природу и являются ли они следствием умственного расстройства, достаточного, чтобы не применять к нему уголовную ответственность. Разумеется, наш ответ будет отрицательным. А., конечно, напрасно не ограничивался программными указаниями военных школ, а в любви — воскресными развлечениями, — однако его парадоксы лишены примет безумных идей. И в случае, если бы А. не просто неосмотрительно развивал перед девицей Л. слишком сложные для нее теории, а намеренно подталкивал ее к убийству ребенка, чтобы по какой-то причине избавиться от него, чтобы доказать себе свою способность ⟨к убеждению⟩, или из одного лишь извращенного азарта, подобно Дон Жуану в сцене с нищим,[8] — то, разумеется, он должен был бы нести за это полную ответственность. Иначе, чем в этой сослагательной форме, мы не можем представить свои заключения, которые могут вызвать возражения со всех сторон в этом деле и навлечь на нас обвинения в том, что мы превысили свою миссию и поставили себя на место присяжных, то есть вынесли вердикт о собственно виновности или невиновности обвиняемого. В то же время нас могли бы упрекнуть в чрезмерном лаконизме, если бы мы сухо изложили то, чего, строго говоря, было бы достаточно: а именно, что А. не имеет никаких симптомов психического заболевания и, в общем смысле, вполне вменяем».

Так звучит текст, составленный в 1955 г. Прошу прощения за длину этих документов (вскоре вы поймете, что они состав-

ляют особого рода проблему); теперь мне хотелось бы привести другие отчеты, гораздо более сжатые, а точнее, один-единственный отчет, сделанный в отношении трех человек, обвинявшихся в шантаже на сексуальной почве. Я зачитаю заключение о двух из них.[9]

Один — назовем его X — «не блещет интеллектом, но и не глуп; умеет связно изложить идею и наделен хорошей памятью. В том, что касается морали, он гомосексуалист с двенадцати или тринадцати лет, и поначалу этот порок носил характер компенсации насмешек, которые ему пришлось терпеть в детском доме в Ла-Манше [департаменте Ла-Манш. — *М. Ф.*], где он воспитывался. Не исключено, что женоподобное поведение X усугубило уже имевшуюся в нем склонность к гомосексуализму, однако к вымогательству привело его не что иное, как жажда наживы. X совершенно аморален, циничен и невоздержан в словах. Три тысячи лет назад он наверняка оказался бы одним из жителей Содома и небесный огонь вполне заслуженно наказал бы его за порочность. Но надо признать, что Y [объект шантажа. — *М. Ф.*] ожидало бы такое же наказание. Будучи зрелым, сравнительно богатым человеком, он не нашел ничего лучшего, как поместить X в притон извращенцев, содержателем которого был он сам, по мере возможности возмещая деньги, вложенные в это дело. Этот Y, попеременно или одновременно выступавший по отношению к X любовником и любовницей — точнее сказать трудно, — вызывает у последнего отвращение, доходящее до тошноты. X любит Z. Надо видеть женоподобное поведение их обоих, чтобы понять обоснованность этих слов, ибо речь идет о до такой степени женственных мужчинах, что их родным городом должен был бы оказаться уже не Содом, а Гоморра».

Я могу продолжить. Вот что касается Z: «Довольно-таки посредственная личность, наделенная духом противоречия, неплохой памятью и способностью связно излагать свои мысли. В духовном плане — аморальный циник. Z погряз в пороке, причем вдобавок он коварен и труслив. С ним приходится в буквальном смысле прибегать к майотике [там так и написано: май-о-ти-ка, то есть нечто, имеющее отношение к майке! — *М. Ф.*].[10] Но наиболее яркой чертой его характера явля-

ется, на наш взгляд, лень, масштабы которой не удалось бы передать никаким прилагательным. Естественно, проще менять пластинки и находить клиентов в ночном притоне, чем по-настоящему работать. При этом он признается, что стал гомосексуалистом по причине материального неблагополучия, то есть в поиске денег, и что, почувствовав их вкус, продолжает вести себя в том же духе». Заключение: «Z совершенно омерзителен».

Вы понимаете, что о такого рода дискурсах можно сказать очень мало и в то же время много. Ведь в конце концов в таком обществе, как наше, необычайно мало дискурсов, обладающих одновременно тремя свойствами. Первое их свойство — способность прямо или косвенно влиять на решение суда, которое касается, по сути дела, свободы человека или его заключения под стражу, в предельном случае (и мы еще столкнемся с такими примерами) — жизни или смерти. Итак, это дискурсы, обладающие в конечном счете властью над жизнью и смертью. Второе свойство: благодаря чему они получают эту власть? Может быть, благодаря институту правосудия, но также и благодаря тому, что они функционируют в институте правосудия как дискурсы истины — дискурсы истины, ибо это дискурсы научного ранга, формулируемые дискурсы, причем формулируемые только квалифицированными людьми внутри научного института. Дискурсы, способные убивать, дискурсы истины и дискурсы — вы сами дали этому подтверждение и свидетельство,[11] — продуцирующие смех. Причем дискурсы истины, вызывающие смех и в то же время обладающие институциональной властью убийства, — это дискурсы, которым в нашем обществе уделяется в конечном счете мало внимания. К тому же если некоторые из этих экспертиз, и в частности первая, относились — как вы заметили — к сравнительно серьезным и, следовательно, сравнительно редким делам, то второй процесс, прошедший в 1974 (то есть в прошлом) году, — явно из тех, что составляют повседневную рутину уголовных судов и, я бы сказал, всех подсудимых, что нас и интересует. Эти повседневные дискурсы истины, которые убивают и продуцируют смех, заложены в самую сердцевину наших судебных институтов.

Причем не в первый раз функционирование судебной истины не только создает проблему, но и вызывает смех. Вы наверняка знаете, что в конце XVIII века (я рассказывал вам об этом, кажется, два года назад[12]) тот способ, каким осуществлялось доказательство истины в уголовной практике, также возбуждал иронию и критику. Вы помните о той одновременно схоластической и арифметической разновидности судебного доказательства, которая в свое время, в уголовном праве XVIII века, именовалась легальным доказательством и в которой выделялась целая иерархия доказательств, уравновешивающих друг друга и со стороны качества и со стороны количества.[13] Тогда существовали совершенные и несовершенные доказательства, целые и частичные доказательства, полные доказательства и полудоказательства, а также показатели и обстоятельства. И все эти элементы сочетались, дополняли друг друга в целях сбора определенного числа улик, которое закон, а вернее сказать — обычай, устанавливал в качестве необходимого минимума, допускающего осуждение. С этого момента, исходя из этой арифметики, этой калькуляции доказательств, суд и должен был выносить свое решение. В решении этом он был до некоторой степени связан этой арифметикой улик. И вдобавок к этой легализации, вдобавок к этому законному установлению природы и количественной степени доказательства, то есть законной формализации доказательного процесса, существовал также принцип, согласно которому следовало определять наказание пропорционально суммарному числу улик. Иными словами, недостаточно было изложить — нужно было сформировать всеобщее, полное и совершенное доказательство, чтобы назначить наказание. Однако классическое право утверждало: если сумма не достигает этого минимального числа улик, исходя из которого можно применять полную и безоговорочную кару, если эта сумма остается в некотором смысле незаконченной, если, проще говоря, налицо три четверти доказательства, но целиком его нет, это тем не менее не означает, что наказывать не надо. Трем четвертям доказательства соответствуют три четверти наказания; полудоказательству — полунаказание.[14] Словом, попавший под подозрение не останется безнаказанным. Мель-

чайшего или, во всяком случае, некоторого элемента доказательства будет достаточно, чтобы повлечь за собой некоторый элемент наказания. Подобная практика истины и вызывала у реформаторов конца XVIII века — у Вольтера, у Беккариа, у таких людей, как Серван и Дюпати, — одновременно и критику, и иронию.[15]

Вот этой-то системе легального доказательства, арифметике доказательного процесса был противопоставлен принцип того, что принято называть внутренним убеждением,[16] — принцип, о котором сегодня, глядя на то, как он действует и какую реакцию вызывает у людей, хочется сказать, что он позволяет осуждать без всяких доказательств. Между тем тот принцип внутреннего убеждения, который был сформулирован и институциализирован в конце XVIII века, имел безукоризненно ясный исторический смысл.[17]

Во-первых, следующий: отныне не следует выносить приговор, не придя к полной уверенности. Иными словами, надо отказаться от пропорциональности доказательства и кары. Кара должна повиноваться закону «все или ничего», и неполное доказательство не может повлечь за собой частичное наказание. Сколь угодно легкое наказание должно назначаться лишь в том случае, если установлено всеобъемлющее, совершенное, исчерпывающее, полное доказательство вины подсудимого. Таким образом, вот первое значение принципа внутреннего убеждения: судья должен приступать к осуждению, лишь придя к внутреннему убеждению в виновности, а не просто при наличии подозрений.

Во-вторых, смысл этого принципа таков: следует принимать во внимание не только определенные, признанные законом доказательства. Должно быть принято любое доказательство, лишь бы оно было убедительным, то есть лишь бы оно могло уверить разум, восприимчивый к истине, восприимчивый к суждению, а значит, и к истине. Не законность, не соответствие закону, а доказательность делает улику уликой. Доказательность улики обеспечивает ее приемлемость.

И наконец, третье значение принципа внутреннего убеждения: критерием, на основании которого доказательство признается установленным, является не канонический перечень

веских улик, а убежденность — убежденность некоего субъекта, беспристрастного субъекта. Как мыслящий индивид он способен к познанию и восприимчив к истине. Иными словами, с появлением принципа внутреннего убеждения мы переходим от арифметико-схоластического и столь забавного режима классического доказательства к общепризнанному, уважаемому и анонимному режиму истины, заявляемой предположительно универсальным субъектом.

Однако на деле этот режим универсальной истины, который стал использоваться в уголовной юстиции судя по всему с XVIII века, содержит в себе два феномена — содержит как таковой и в своем практическом осуществлении; он содержит в себе два факта, или два приема, которые являются важными и которые, я полагаю, составляют реальную практику судебной истины, одновременно являясь источником неуверенности в отношении этой строгой и общей формулировки принципа внутреннего убеждения.

Прежде всего, вы знаете, что вопреки принципу, согласно которому ни в коем случае нельзя наказывать, не убедившись в доказанности вины, не добившись внутреннего убеждения судьи, на практике всегда соблюдается некоторая пропорциональность степени уверенности и тяжести назначаемой кары. Вы отлично знаете, что если у судьи нет полной уверенности по поводу правонарушения или преступления, то он — не важно, должностной судья или присяжный, — склонен отражать эту свою неуверенность в вынесении не столь строгого наказания. Неуверенности, которая все же не возобладала, будет практически соответствовать в той или иной мере смягченное наказание, но всегда наказание. Иными словами, даже в нашей нынешней системе и вопреки принципу внутреннего убеждения серьезные подозрения никогда не остаются совершенно безнаказанными. Именно таким образом функционируют смягчающие обстоятельства.

Каково принципиальное предназначение смягчающих обстоятельств? В общем смысле они призваны внести гибкость в суровый закон, сформулированный на страницах Уголовного кодекса 1810 г. Подлинной целью, преследовавшейся законодателями в 1832 г., когда они дали определение смягчаю-

щим обстоятельствам, не было стремление облегчить наказание, напротив, они стремились воспрепятствовать оправдательным приговорам, которые слишком часто выносили присяжные, когда им не хотелось применять закон во всей его строгости. Так, в деле о детоубийстве провинциальные присяжные обычно не приговаривали обвиняемых, так как в случае осуждения им приходилось применять закон, которым предусматривалась смертная казнь. Чтобы избежать ее, они оправдывали подсудимых. И как раз ради того, чтобы придать судам присяжных и вообще уголовному правосудию должную строгость, судам в 1832 г. было разрешено применять закон со смягчающими обстоятельствами.

Но если цель законодателей была такова — что очевидно, — то что же произошло на деле? Суды присяжных стали строже. Однако в то же время возникла возможность обходить принцип внутреннего убеждения. Когда присяжные оказывались перед необходимостью принять решение о чьей-либо виновности, виновности, в пользу которой свидетельствовало множество доказательств, однако полной уверенности не было, тогда применялся принцип смягчающих обстоятельств и выносилось слегка или значительно меньшее наказание, чем это предусматривал закон. Тем самым тяжесть наказания стала отражением допущения, степени допущения.

Так, скандал, дошедший до самых вершин судебного института, который вызвало развернувшееся в последние недели дело Гольдмана,[18] где сам генеральный прокурор, требовавший наказания, был в итоге изумлен тяжестью вердикта, объясняется тем, что суд не применил тот вообще-то глубоко противоречащий закону обычай, согласно которому при отсутствии полной уверенности следует воспользоваться смягчающими обстоятельствами. Что произошло в деле Гольдмана? Присяжные, собственно говоря, применили принцип внутреннего убеждения — или, если угодно, не применили его, но применили закон как таковой. Иными словами, сочли, что достигли внутренней убежденности, и назначили такое наказание, какого и просил прокурор. Но прокурор до такой степени привык к тому, что при наличии сомнений суд не удовлетво-

ряет требование обвинения, а понижает его на ступень, что был потрясен строгостью наказания. Своим изумлением он словно проговорился об этом совершенно незаконном или, во всяком случае, противоречащем принципу обычае, в соответствии с которым смягчающие обстоятельства призваны отражать неуверенность суда. В принципе-то они ни в коем случае не должны служить выражением этой неуверенности; если неуверенность осталась, надо просто оправдывать. Фактически же за принципом внутреннего убеждения вы обнаружите практику, которая по-прежнему, следуя старинной системе легальных доказательств, облегчает кару в меру неубедительности улик.

Есть и еще одна практика, ведущая к нарушению принципа внутреннего убеждения и к восстановлению одного из элементов системы легального доказательства — элемента, по ряду признаков родственного принципу работы правосудия, который действовал в XVIII веке. Это квазивосстановление, это псевдовосстановление в правах легального доказательства выражается, конечно, не в возврате к арифметике улик, а в том, что — вразрез с принципом внутреннего убеждения, согласно которому могут быть представлены или собраны все улики, и долг взвесить их лежит на совести должностного судьи или присяжного заседателя, — некоторые улики сами по себе обладают властными эффектами, доказательными полномочиями, большими или меньшими в различных случаях и не зависящими от присущей им рациональной структуры. Но если дело не в рациональной структуре доказательств, тогда в чем же? Несомненно, дело — в излагающем их субъекте. Так, скажем, и в нынешней системе французского правосудия полицейские рапорты и свидетельские показания полицейских обладают своеобразной привилегией над всеми прочими сообщениями и свидетельствами, поскольку произносятся приведенным к присяге полицейским служащим. С другой стороны, отчеты экспертов — в силу того, что положение экспертов придает тем, кто эти отчеты излагает, научное достоинство, а точнее, научный статус, — также получают некоторую привилегию над всеми прочими элементами судебного доказательства. Это не те легальные доказательст-

ва, с которыми еще в XVIII веке работало классическое право, но тем не менее это привилегированные юридические высказывания, содержащие в себе статусные презумпции истины — презумпции, внутренне присущие им в силу того, что их произносят эксперты. Словом, это высказывания, обладающие характерными именно для них эффектами истины и власти: мы имеем дело с некоей сверхлегальностью некоторых высказываний в рамках производства судебной истины.

На этом отношении истина—правосудие мне хотелось бы ненадолго задержаться, ибо несомненно, что оно входит в число фундаментальных тем западной философии.[19] Одной из самых бесспорных и коренных предпосылок всякого судебного, политического или критического дискурса является сущностная сопричастность между высказыванием истины и практикой правосудия. При этом выясняется, что в той точке, где встречаются, с одной стороны, институт, призванный регулировать правосудие, и, с другой стороны, институты, уполномоченные высказывать истину, — или, короче говоря, в той точке, где встречаются судья и ученый, где скрещиваются пути судебного института и медицинского, или вообще научного, знания, — в этой точке формулируются высказывания, которые обладают статусом истинных дискурсов, влекут за собой значительные юридические последствия и, кроме того, имеют любопытную склонность быть чужеродными всем правилам образования научного дискурса, включая самые элементарные; они чужеродны в том числе и нормам права и являются — как те тексты, которые я только что зачитал, — в самом строгом смысле слова гротескными.

Гротескные тексты — и говоря «гротескные», я употребляю этот термин если не абсолютно строго, то, во всяком случае, в несколько суженном, серьезном его значении. Я буду называть «гротескным» свойство некоего текста или индивида обладать в силу своего статуса властными эффектами, которых по своей внутренней природе они должны быть лишены. Гротескное или, с вашего позволения, «убюэскное»[20] — это не просто разновидность оскорбления, не просто обидный эпитет, и я не хотел бы употреблять эти слова в та-

ком смысле. Я убежден, что существует, или, во всяком случае, подлежит введению строгая категория историко-политического анализа — категория гротескного или «убюэскного». «Убюэскный» апломб, гротескное самоуправство или, в более сухой терминологии, максимизация властных эффектов в сочетании с дисквалификацией того, кто их вызывает, — это не случайность в истории власти, не механический сбой. По-моему, это одна из пружин, одна из неотъемлемых составных частей механизмов власти. Политическая власть, по крайней мере в некоторых обществах и уж точно в нашем обществе, может пользоваться и действительно пользовалась возможностью осуществлять свои эффекты и, более того, находить источник своих эффектов в области, статус которой явно, демонстративно, сознательно принижается как неприличный, постыдный или смешной. Собственно говоря, эта гротескная механика власти — или гротескная пружина в механике власти — давным-давно прижилась в структурах наших обществ, в их политическом функционировании. Ярчайшие свидетельства этому вы найдете в римской истории, в частности, в истории Империи, где метод если не правления, то, как минимум, господства был именно таким: вспомните о почти театральном принижении личности императора как узла, средоточия всех властных эффектов; о принижении, вследствие которого тот, кто является носителем *majestas*,* этой властной надбавки ко всякой власти, сколь бы велика она ни была, является в то же время — как личность, как персонаж, в своей физической реальности, одежде, манере поведения, телесности и сексуальности, образе жизни — персонажем бессовестным, гротескным, смешным. Эта функция, этот механизм гротескной власти, бессовестного правления составляли непременный элемент функционирования Римской Империи от Нерона до Гелиогабала.[21]

Гротеск — это один из важнейших методов самодержавного господства. Но тот же гротеск, как вы знаете, сплошь и рядом используется прикладной бюрократией. Административная машина с ее безграничными властными эффектами

---

* Majestas — величие, верховная власть (*лат.*). — *Прим. перевод.*

подразумевает посредственного, бестолкового, тупого, бесцветного, смешного, затравленного, бедного, беспомощного чиновника: все это было одной из самых характерных черт великих западных бюрократий начиная с XIX века. Административный гротеск — это не просто модус визионерского восприятия чиновничества, свойственный Бальзаку или Достоевскому, Куртелину или Кафке. Административный гротеск — это на самом деле возможность, средство, действительно выработанное для себя бюрократией. «Убю бумажная душа» — неотъемлемый элемент функционирования современной администрации, так же как неотъемлемым элементом функционирования императорской власти в Риме была сумасбродная воля безумца-гистриона. И то, что я говорю о Римской империи, то, что я говорю о современной бюрократии, можно сказать и о многих других формах механики власти, например о нацизме или фашизме. Гротескный характер людей наподобие Муссолини был прочно вправлен в механику власти. Власть сама рядилась в театральный костюм, сама выступала в образе клоуна, паяца.

Мне кажется, что в этой истории — от бессовестного правления до смехотворного авторитета — можно различить поступательное развитие того, что можно было бы назвать мерзостью власти. Вы знаете, что этнологи — я имею в виду, в частности, превосходные исследования, совсем недавно опубликованные Кластром,[22] — ясно уловили этот феномен, благодаря которому тот, кому дана власть, в то же самое время, путем ряда ритуалов и церемоний, оказывается осмеян, опорочен или представлен в невыгодном свете. В архаических или первобытных обществах такого рода ритуал призван ограничивать властные эффекты? Возможно. Но я бы сказал, что, когда мы обнаруживаем такие же ритуалы в наших обществах, они выполняют совершенно другую функцию. Когда власть предстает как грязная, откровенно бессовестная, «убюэскная» или попросту смешная, речь, на мой взгляд, не идет об ограничении ее эффектов и о магическом развенчании того, кому дана корона. Совсем наоборот, речь, по-моему, идет о яркой манифестации необходимости, неизбежности власти, которая как раз и может функционировать со всей

своей строгостью и в высшей степени жестокой рациональностью, даже находясь в руках человека, полностью развенчанного. Проблема позора власти, проблема развенчанного правителя — это, собственно говоря, проблема Шекспира: весь цикл трагедий о королях поднимает именно эту проблему, хотя, насколько мне известно, никогда бесчестие правителя не становилось объектом теории.[23] Но я хочу повторить: в нашем обществе — от Нерона (возможно, первой крупной фигуры в истории позорного правления) до маленького человечка с дрожащими руками, который, сидя на дне своего бункера и унеся сорок миллионов жизней, интересовался в конечном итоге только двумя вещами: не разрушено ли еще все, что находится над ним, и когда ему принесут пока еще не надоевшие шоколадные пирожные, — разворачивается впечатляющая картина функционирования бессовестного властителя.[24]

У меня нет ни сил, ни смелости, ни времени, чтобы посвятить данной теме свой курс в этом году. Но мне хотелось бы, по крайней мере, поднять проблему гротеска в связи с текстами, которые я только что вам зачитал. Мне кажется, что признание их гротескными и обращение к проблеме наличия в них гротеска и функции гротескного не следует считать обыкновенным оскорблением. На вершине суда, там, где правосудие дает себе право убивать, оно ввело в оборот дискурс короля Убю, дало слово Убю-ученому. Высокопарно выражаясь, можно сказать так: Запад, который — без сомнения, со времен греческого общества, греческого полиса — постоянно грезил о том, чтобы в справедливом городе властвовал дискурс истины, в конечном итоге отдал неподконтрольную власть, власть своего судебного аппарата, в руки пародии, откровенной пародии на научный дискурс. А теперь предоставим другим заботиться о постановке вопроса об эффектах истины, которые могут быть вызваны в дискурсе субъектом в должности знания.[25] Я же попытаюсь изучить эффекты власти, вызываемые в реальности дискурсом, который одновременно и полномочен и развенчан. Очевидно, что этот анализ можно было бы предпринять в различных направлениях, попробовав разыскать следы идеологии, одухотворяющей дискурс, несколько примеров которого я вам представил. Можно

было бы пойти и от поддерживающего этот дискурс института — или от двух институтов, которые его поддерживают, судебного и медицинского, — чтобы понять, как же он мог возникнуть. Я же попробую сделать вот что (некоторые из вас, те, кто посещал прошлогодние лекции, уже наверняка догадываются, в каком направлении я пойду): вместо того чтобы предпринимать идеологический или «институциональный» анализ, я скорее займусь разведкой и анализом технологии власти, которая пользуется этими дискурсами и пытается заставить их работать.

Для этого, в качестве первого шага, я ставлю вопрос: что же происходит в этом дискурсе Убю, составляющем ядро нашей судебной, нашей уголовной практики? Нам нужна теория уголовно-психиатрического Убю. По сути дела, думаю, можно сказать, что через все эти дискурсы, с примерами которых я вас познакомил, проходит серия — я хотел сказать «замещений», но теперь это слово мне кажется неподходящим, — скорее, серия удвоений. Ведь действительно, речь идет не об игре замен, а о введении последовательных дубликатов. Или иначе: эти психиатрические дискурсы в уголовной практике не устанавливают, как некоторые говорят, другую сцену, а, наоборот, сдваивают элементы *на одной сцене*. Следовательно, речь идет не о цезуре, которой обозначается подступ к символическому, а о принудительном синтезе, который обеспечивает трансмиссию власти и бесконечное смещение ее эффектов.[26]

Во-первых, психиатрическая экспертиза позволяет удвоить квалифицируемое законом правонарушение целым рядом других, отличающихся от правонарушения вещей: рядом манер поведения, образов жизни, которые в дискурсе психиатра-эксперта, разумеется, предстают как причина, как источник, мотив, отправная точка правонарушения. В самом деле, в реальности судебной практики они образуют саму наказуемую субстанцию, или даже материю. Вы знаете, что на основании уголовного закона, неизменного со времен наполеоновского Кодекса 1810 года, — впрочем, этот принцип признавался и в так называемых промежуточных кодексах Великой французской революции,[27] — то есть с конца XVIII века, на основании уголовного закона могут осуждаться лишь те пра-

вонарушения, которые определяются в качестве таковых законом и, надо уточнить, законом, который должен предшествовать совершённому проступку. За вычетом ряда исключительных случаев уголовный закон не имеет обратного действия. Однако что́ по отношению к этой букве закона, согласно которой «наказанию подлежат лишь те правонарушения, которые предусмотрены законом», делает экспертиза? Какого рода объекты она выявляет? Какого рода объекты она предлагает судье в качестве предмета его судебного вмешательства и цели наказания? Если вы вспомните выражения экспертов, — а я мог бы привести вам и другие тексты, так как изучил целый комплекс экспертиз за 1955—1974 гг. — то, как вы думаете, что́ за объекты выявляет психиатрическая экспертиза, что́ именно она подшивает к преступлению в виде подкладки или дубликата? Это понятия, которые регулярно обнаруживаются во всем комплексе обсуждаемых текстов: «психологическая незрелость», «слабо структурированная личность», «недостаточная оценка реальности». Все эти выражения я на самом деле нашел в обсуждаемых экспертных отчетах: «глубокое аффективное расстройство», «серьезные эмоциональные потрясения». Или вот еще: «компенсация», «продукт воображения», «проявления извращенной гордости», «порочная игра», а также «геростратизм», «алкивиадизм», «донжуанизм», «боваризм» и т. д. Но какую функцию выполняет эта совокупность понятий, или эти две серии понятий? Прежде всего они тавтологически повторяют правонарушение, тем самым описывая и конституируя его как индивидуальную особенность. Экспертиза позволяет совершить переход от поступка к поведению, от преступления к образу жизни и представить образ жизни как нечто тождественное самому преступлению, только, так сказать, обобщенно выраженное в поведении индивида. Еще одной функцией этих серий понятий выступает сдвиг уровня реальности правонарушения: ведь эти формы поведения не противоречат закону, так как никакой закон не запрещает иметь извращенную гордость, и не существует законных мер противодействия геростратизму. Но если эти формы поведения обходят не закон, тогда что́? То, против чего они выступают, в сопоставлении с чем они обнаруживаются, есть оп-

тимальный уровень развития: «психологическая незрелость», «слабо структурированная личность», «глубокое расстройство». А также критерий реальности: «недостаточная оценка реальности». А также моральные характеристики — скромность, верность. И наконец, этические нормы.

Одним словом, психиатрическая экспертиза позволяет сформировать этико-психологический дубликат преступления. То есть делегализовать правонарушение в том виде, в каком оно предусматривается законом, и выявить за ним его двойника, который похож на него как брат — или сестра, уж я не знаю, — и который, собственно говоря, представляет собой уже не правонарушение в юридическом смысле этого термина, а несоответствие некоторому числу физиологических, психологических, моральных и тому подобных правил. Вы скажете мне, что это не так уж важно, и что, если психиатры, когда их просят об экспертизе преступника, говорят: «В конце концов, если он совершил кражу, то не иначе как потому, что он вор; или — если речь идет об убийстве — потому, что его тянет убивать», — если они так говорят, это не слишком-то отличается от мольеровского анализа немоты девочки.[28] Между тем на самом деле это более важно, и важно не просто потому, что может повлечь за собой смерть человека, как я только что говорил вам об этом. Важно здесь то, что в действительности психиатр, если он так говорит, предлагает не объяснение преступления, но именно то, что как раз и подлежит наказанию, чем должен заниматься и с чем должен разобраться судебный аппарат.

Вспомните, с чем мы столкнулись в экспертизе Альгаррона. Эксперты говорили: «Мы как эксперты не уполномочены решать, совершил он преступление или не совершил. Но [именно с этого начинается заключительный параграф отчета, который я вам зачитывал. — *М. Ф.*] предположим, что он совершил преступление. И я, эксперт-психиатр, объясню вам, каким образом он совершил бы это преступление, если бы он его совершил». Весь анализ этого дела (я несколько раз произнес имя осужденного, но не все ли равно) представляет собой, в сущности, разъяснение того, каким образом преступление могло в самом деле быть совершено. Впрочем, эксперты заяв-

ляют прямо: «Примем в качестве гипотезы, что А. некоторым образом оказал на умонастроение девицы Л. влияние, которое могло привести ее к убийству своего ребенка». А в конце говорят: «Не вынося решения о виновности А. и о степени его виновности, мы можем понять, почему это его влияние могло оказаться гибельным». И вот заключительные слова, вы их помните: «Поэтому его следует считать вменяемым». Но кто это возник мимоходом, между гипотезой, согласно которой подсудимый действительно мог нести некоторую ответственность, и итоговым заключением? Возник некий персонаж, которого-то, в известном смысле, и представили судебному аппарату, — человек, который не может приспособиться к миру, любящий сеять раздор, совершающий экстравагантные или необычные поступки, ненавистник морали, не признающий ее законы и способный пойти на преступление. Таким образом, осуждаемым в итоге оказывается не действительный соучастник рассматриваемого убийства, а именно этот персонаж, не умеющий приспосабливаться, любящий сеять раздор и совершающий всякого рода поступки вплоть до преступления. И говоря, что именно этот персонаж был в действительности осужден, я не имею в виду, что благодаря эксперту вместо виновного приговорили подозреваемого (что, разумеется, так и есть), я имею в виду нечто большее. В некотором смысле еще более серьезно то, что в конечном счете, даже если данный субъект виновен, судья на основании психиатрической экспертизы сможет покарать в его лице уже не собственно преступление или правонарушение. Тем, что судья осудит, чему он вынесет наказание, точкой приложения кары оказывается не что иное, как эти неправильные формы поведения, предложенные в качестве причины, исходной точки, среды созревающего преступления, а на деле бывшие не чем иным, как его морально-психологическим дубликатом.

Психиатрическая экспертиза позволяет сместить точку приложения кары, или предусмотренного законом наказания, в сторону криминальности как характеристики, которая оценивается с морально-психологической точки зрения. Посредством причинного назначения, тавтологический характер которого очевиден, но в то же время почти лишен смысла (если,

конечно, не браться за безынтересное дело анализа рациональных структур подобного текста), произошел переход от того, что можно было бы назвать целью наказания, точкой приложения механизма власти, каковым является законная кара, к кругу объектов, основанному на некотором знании, преобразующей технике, целом комплексе принудительных мероприятий — рациональном и упорядоченном.* Да, познавательный эффект психиатрической экспертизы равен нулю, но это не так уж важно. Ее ключевая роль заключается в том, что она узаконивает в виде научного знания распространение наказывающей власти за пределы правонарушения. Суть в том, что она позволяет включить карательную деятельность судебной власти в общий корпус продуманных техник преобразования индивидов.

Второй функцией психиатрической экспертизы (первой было удвоение преступления криминальностью) является удвоение виновника преступления этим новым для XVIII века персонажем: преступником. Перед «классической» экспертизой, какою она определялась в терминологии закона 1810 г., стоял, в сущности, следующий простой вопрос: эксперт привлекается исключительно для того, чтобы выяснить, находился ли обвиняемый индивид, совершая преступление, в состоянии помутнения рассудка? Так как если он был в состоянии помутнения рассудка, то тем самым он уже не может считаться ответственным за содеянное. Об этом говорит знаменитая 63-я [*rectius*: 64-я] статья, согласно которой если в момент деяния индивид находится в состоянии помутнения рассудка, то нет ни преступления, ни правонарушения.[29] Но что происходит в тех экспертизах, которые применяются теперь и с примерами которых я вас познакомил? Разве в них есть действительное стремление определить, позволяет ли помутнение рассудка не считать виновника деяния субъектом, несущим за свои поступки юридическую ответственность? Ничего подобного. Экспертиза выполняет совсем другую функцию.

* В подготовительной рукописи к лекции сказано: «рационального и упорядоченного принуждения».

И прежде всего вот какую: пытается обосновать своего рода первичные признаки преступности.

Я приведу вам пример из отчета, сделанного в начале 1960-х годов тремя «зубрами» уголовной психиатрии и, кстати, завершившегося смертью человека, так как объект экспертизы был осужден на смерть и гильотинирован. Вот что мы читаем по поводу этого индивида: «Наряду со стремлением удивлять у Р. уже в детстве зародилась страсть к господству, руководству, осуществлению своей власти (которая есть иное обличье гордости): он с раннего возраста тиранил своих родителей, устраивая сцены из-за малейшего несогласия с ним, а затем, учась в лицее, склонял товарищей к пропуску занятий. Любовь к огнестрельному оружию и автомобилям, страсть к игре также созрели в нем очень рано. Уже в лицее он похвалялся револьвером. Его видели играющим с пистолетом и у Жибера. Позднее он коллекционировал оружие, занимался его поиском и перепродажей, наслаждаясь тем ободряющим ощущением власти и превосходства, которое вселяет в слабовольных людей ношение пистолета. То же касается мотоциклов, а затем спортивных автомобилей, на которые он, судя по всему, не скупился и резерв скорости которых использовал максимально: они способствовали удовлетворению — впрочем, всегда неполноценному, — его стремления к превосходству».[30]

Таким образом, подобная экспертиза занята изложением серии деяний, которые можно было бы назвать ошибками без правонарушения или проступками, не преступающими закон. Другими словами, она показывает, в чем индивид походил на свое преступление еще до того, как его совершить. Само регулярное употребление по ходу этих анализов наречия «уже» служит нанизыванию по принципу простой аналогии всей этой серии первичных преступлений, непротивозаконных отклонений, собирает их вместе, чтобы затем продемонстрировать их сходство с преступлением. Экспертиза составляет серию ошибок, показывает, в чем индивид уже походил на свое преступление, и в то же время, при помощи этой серии, выявляет другую серию, так сказать, «парапатологическую», родственную болезни, но не обычной болезни, так как болезнь эта — моральный дефект. Ведь в конечном итоге эта серия

оказывается доказательством некоего поведения, позиции, характера, которые являются дефектами морального плана, не будучи ни болезнями в патологическом смысле, ни нарушениями закона. Вот в этом-то длинном перечне первичных двусмысленностей эксперты неизменно и пытались восстановить логическую последовательность.

Те из вас, кто заглядывал в досье Риввера,[31] знают, что уже в 1836 году для психиатров, но в то же время и для свидетелей, у которых брали показания, стало обычной практикой воссоздание этой всецело двусмысленной серии инфрапатологического и паралегального — или парапатологического и инфралегального, — служащей своего рода заведомым воссозданием преступления на условной сцене. Именно на это нацелена психиатрическая экспертиза. Причем в эту серию первичных, парапатологических, подзаконных и т. п. двусмысленностей вписывается, неизменно в виде желания, присутствие субъекта. Приводя все эти детали, все эти мелочи, все эти мелкие низости, все эти не совсем нормальные вещи, экспертиза показывает, что субъект действительно присутствует в них в виде желания преступления. Так, в только что процитированном мной отчете о человеке, который в конечном итоге был приговорен к смерти, эксперт говорит следующее: «Он хотел познать все удовольствия, он хотел насладиться всем и как можно быстрее, испытав сильные эмоции. Вот цель, которой он был поглощен. Как говорит он сам, колебания вызывали у него только наркотики, которым он боялся подчиниться, и гомосексуализм — не из принципа, а из отвращения. Р. не терпел препятствий на пути своих замыслов и капризов. Он не мог смириться с тем, что его желаниям противятся. По отношению к родителям он использовал эмоциональный шантаж, по отношению к чужим людям — угрозы и насилие». Иными словами, этот анализ постоянного желания преступления позволяет дать очерк того, что можно назвать позицией радикального беззакония в логике или в движении желания. Преданность желания субъекта нарушению закона:*

---

* В подготовительной рукописи к лекции: «Фундаментальная принадлежность логики желания нарушению закона».

его желание глубоко порочно. Но это желание преступления — и опять-таки мы сталкиваемся с этим всюду в обсуждаемых экспериментах [*rectius*: экспертизах] — всегда соотносится с неким недостатком, нарушением, слабостью субъекта, его неспособностью к чему-либо. Вот почему вы постоянно встречаетесь с такими понятиями, как «неразумный», «неудачливый», «неполноценный», «бедный», «некрасивый», «незрелый», «недостаточно развитый», «инфантильный», «закоснелый», «непостоянный». Ведь в самом деле, предназначение этой инфрауголовной, парапатологической серии, в которой прочитываются и беззаконие желания, и ущербность субъекта, вовсе не в том, чтобы дать ответ на вопрос об ответственности; наоборот, она призвана не отвечать на него, то есть избегать в психиатрическом дискурсе постановки вопроса, который, однако же, скрыто формулируется 64-й статьей. Другими словами, включая преступление в один ряд с инфрауголовными и парапатологическими элементами, соотнося их друг с другом, эксперты окутывают виновника правонарушения своего рода облаком юридической неопределенности. Из его неправильности, неразумия и невезения, из его неисчерпаемых и бесконечных желаний складывается серия элементов, в отношении которых вопрос об ответственности уже или вообще не может быть поставлен, ибо в конечном счете субъект, в рамках этих определений, оказывается ответственным одновременно за все и ни за что. Это юридически неопределенная личность, от которой, следовательно, правосудие — согласно своим же законам и текстам — вынуждено отступиться. Это уже не юридический субъект, которого судьи, присяжные видят перед собой: это объект — объект некоторой технологии, науки об исправлении, реадаптации, реабилитации или коррекции. Короче говоря, функцией экспертизы является удвоение виновника преступления — ответственного или не ответственного — преступным субъектом, который в дальнейшем становится объектом особой технологии.

Наконец, я считаю, что психиатрическая экспертиза несет еще одну, третью функцию: она не только дублирует виновника правонарушения преступным субъектом и затем преступление — криминальностью. Она также призвана вы-

полнить, огласить еще одно удвоение, а точнее, целый ряд других удвоений. Учреждается фигура врача, который будет одновременно врачом-судьей. Я имею в виду, что с того момента, когда врач или психиатр берется ответить на вопрос, действительно ли у исследуемого субъекта обнаруживается некоторое число поступков или особенностей, которые оправдывают, в терминах криминальности, формирование и появление собственно противозаконного поведения, — с этого момента психиатрическая экспертиза часто, и даже регулярно, приобретает статус доказательства или одного из элементов доказательства возможной криминальности, а точнее — потенциального преступления, которое и вменяется индивиду. Описать его преступный характер, описать шлейф криминальных или паракриминальных поступков, тянущийся за ним с самого его детства, значит способствовать его переводу из разряда обвиняемых в разряд осужденных.

Я приведу вам лишь один пример из одной совсем недавней истории, которая наделала много шума. Требовалось выяснить, кто убил девушку, чье тело было найдено на пустыре. Имелось двое подозреваемых: известный в городе человек и юноша восемнадцати—двадцати лет. Вот как эксперт-психиатр описал ментальное состояние первого (вообще-то для его экспертизы были назначены два специалиста). Самого отчета у меня нет, и я приведу резюме, каким оно фигурирует в заключении прокуратуры, представленном в Обвинительную Палату: «Психиатры не обнаружили ⟨у подозреваемого⟩ никаких нарушений памяти. Они получили свидетельства о симптомах, проявившихся у него в 1970 г.: это были неприятные переживания профессионального и материального характера. О себе он рассказал, что в шестнадцать лет получил степень бакалавра, в двадцать лет стал лиценциатом, защитил два диплома о высшем образовании и прошел двадцать семь месяцев военной службы в Северной Африке. Затем принял руководство предприятием своего отца и стал много работать, на досуге ограничиваясь теннисом, охотой и прогулками под парусом».

Теперь перейдем к заключению двух других экспертов в отношении молодого человека, который проходил как обвиняемый по этому же делу. Психиатры отметили следующее:

«слабо выраженные черты характера», «психологическая незрелость», «слабо структурированная личность» (видите — категории всегда одни и те же), «нетвердые суждения», «неадекватная оценка реальности», «глубокая чувственная неуравновешенность», «весьма значительные эмоциональные скачки». Кроме того: «Учтя его страсть к чтению комиксов и книг из серии „Сатаник", эксперты отметили наличие нормальных для мальчика такого физического развития [ему восемнадцать—двадцать лет. — *М. Ф.*] половых влечений. Они остановились на следующей гипотезе: выслушав ⟨...⟩ страстные признания упомянутой девушки, он ⟨подозреваемый⟩ мог испытать сильнейшее отвращение, расценив их в сатанинском ключе. Глубоким омерзением, которое он тогда пережил, и объясняется его поступок».

Эти два отчета были переданы в Обвинительную Палату для выяснения, кто из двоих обвиняемых виновен в обсуждаемом преступлении. И пусть мне теперь не говорят, что судят судьи, а психиатры всего-навсего анализируют умственные особенности, психотическую или же нормальную личность обвиняемых. Психиатр действительно становится судьей, он действительно совершает акт следствия, причем не на уровне юридической ответственности индивидов, а на уровне их реальной виновности. И наоборот, судья дублируется медиком. Ведь с того момента, когда судья действительно произносит свой приговор, то есть свое решение о наказании, не в отношении юридического субъекта правонарушения, предусмотренного законом, а в отношении индивида-носителя всех этих определенных черт характера, — с тех пор как он имеет дело с этой этическо-моральной подкладкой юридического субъекта, — он, судья, наказывая, наказывает не преступление. Теперь он может превозносить, тешить или оправдывать себя — как вам угодно — тем, что облагает индивида рядом исправительных мер, мер реадаптации или реабилитации. Презренное ремесло наказания превращается, таким образом, в прекрасное дело исцеления. Этому-то превращению, наряду с прочим, и служит психиатрическая экспертиза.

Прежде чем закончить, я хотел бы остановиться еще на двух вещах. Ведь вы можете возразить мне: все это очень

мило, однако вы несколько агрессивно описываете судебно-медицинскую практику, чей возраст, в конце концов, пока еще невелик. Да, психиатрия делает неуверенные первые шаги, и мы медленным, тяжелым путем освобождаемся от этих сбивчивых практик, следы которых еще можно обнаружить в гротескных текстах, злонамеренно подобранных вами. Но я отвечу вам, что все наоборот, и в действительности уголовно-психиатрическая экспертиза, если взять ее в исторически первоначальных формах, то есть — скажем ради простоты — с первых лет применения Уголовного кодекса (1810—1830 гг.), была медицинским актом, в своих формулировках, правилах построения и общих образующих принципах всецело изоморфным медицинскому знанию своего времени. Напротив, сейчас (хотя честь за это следует-таки воздать медикам и, во всяком случае, некоторым психиатрам) мне не известен ни один врач и известны лишь несколько психиатров, которые осмелились бы подписаться под текстами вроде тех, что я вам зачитывал. Но если врачи отказываются подписываться под ними как врачи или как психиатры в обычной практике и если в конечном счете те же самые врачи и психиатры соглашаются составлять, писать, подписывать эти отчеты в практике судебной — речь ведь, в конце концов, идет о свободе или жизни человека, — то вы понимаете, что тут налицо проблема. Это рассогласование, эта инволюция на уровне научной и рациональной нормативности текстов действительно поднимает проблему. По отношению к ситуации, поставившей судебно-медицинские экспертизы в начале XIX века в один ряд со всем медицинским знанием эпохи, возникло движение рассогласования, движение, в котором уголовная психиатрия оторвалась от этой нормативности и примирилась с новыми нормами образования, приняла их и подчинилась им.

Если в этом смысле и есть эволюция, то, несомненно, мало просто сказать, что ответственность за нее лежит на психиатрах и экспертах.[32] На деле сам закон или постановления о применении закона показывают, в каком направлении мы движемся и какой дорогой мы пришли туда, куда пришли; ведь первоначально судебно-медицинские экспертизы руководст-

вовались, в общем и целом, старинной формулировкой 64-й статьи Уголовного кодекса: нет ни преступления, ни правонарушения, если подсудимый во время совершения деяния был в состоянии помутнения рассудка. Это правило практически направляло и ограничивало уголовную экспертизу в течение всего XIX века. В начале XX века мы сталкиваемся с циркулярным письмом Шомье от 1903 г. [*rectius*: 1905], в котором уже оказывается искажена, заметно смещена роль, до сих пор отводившаяся психиатру: в письме этом говорится, что функция психиатра, очевидно, состоит не в том, — ибо [выполнить] это очень сложно, невозможно, — чтобы определить юридическую ответственность криминального субъекта, но в том, чтобы выяснить, имеются ли у него умственные отклонения, которые могут быть соотнесены с данным преступлением. Как видите, мы вступаем в совершенно другую область, нежели область юридического субъекта, ответственного за свои деяния и характеризуемого в таком качестве медиками. Мы вступаем в область умственного отклонения, имеющего с преступлением неопределенную взаимосвязь. И вот еще одно циркулярное письмо послевоенного времени, пятидесятых годов (точную дату я уже не помню, кажется, 1958 г., но утверждать с уверенностью не могу; простите, если я ошибаюсь), в котором психиатров просят — по возможности, конечно, — всегда отвечать на знаменитый вопрос 64-й статьи: был ли обвиняемый в состоянии помутнения рассудка? Но главное, их просят сказать — это первый вопрос — опасен ли индивид. Второй вопрос: будет ли он восприимчив к уголовной санкции? Третий вопрос: исправим или реабилитируем ли он? Иными словами, на уровне закона, а не только на ментальном уровне знания психиатров, — на уровне самого закона заметна абсолютно недвусмысленная эволюция. Произошел переход от юридической проблемы определения виновности к совершенно другой проблеме. Опасен ли индивид? Будет ли он восприимчив к уголовной санкции? Исправим или реабилитируем ли он? Тем, к чему должна будет отныне обращаться уголовная санкция, является не признанный ответственным субъект права, а некий элемент, коррелятивный технике эвакуации опасных индивидов, технике содержания тех, кто вос-

приимчив к уголовной санкции, нацеленной на их исправление и реадаптацию. Иными словами, заботу о преступном индивиде отныне берет на себя техника нормализации. Этому-то замещению юридически ответственного индивида элементом, коррелятивным технике нормализации, этой-то трансформации и способствовала, наряду с многими другими средствами, психиатрическая экспертиза.[33]

Именно это появление, возникновение техник нормализации и сопряженных с ними властных рычагов я и хотел бы попытаться исследовать, приняв в качестве принципа исходной гипотезы (я остановлюсь на этом чуть более подробно в следующий раз) то, что эти техники и сопряженные с ними рычаги нормализации не просто стали следствием встречи, композиции, взаимной прививки медицинского знания и судебной власти, но что на самом деле особой разновидности власти — не медицинской и не судебной, а другой — удалось захватить и вытеснить на всех уровнях современного общества как медицинское знание, так и судебную власть; этот тип власти выходит на театральную сцену суда, опираясь, разумеется, на судебный и медицинский институты, но и сам по себе обладает самостоятельностью и собственными правилами. Возникновение власти нормализации, то, каким образом она сложилась, то, каким образом она сумела установиться, никогда не опираясь на один-единственный институт, но вводя в игру разные институты, и то, каким образом она распространила в нашем обществе свое господство, — вот что я хочу рассмотреть.* За это мы и примемся в следующий раз.

Примечания

[1] См.: L'Affaire Denise Labbé — [Jacques] Algarron. Paris, 1956 (Bibliothèque nationale de France, *Factums*, 16Fm 1449). С 1971 г. Мишель Фуко вел семинар, посвященный изучению психиатрической экспертизы; см.: *Foucault M.* Entretien sur la prison: le livre et sa mèt-

---

* В подготовительной рукописи к лекции: «археологией этого я и хотел бы заняться».

hode // Dits et Écrits, 1954—1988, édition établie sous la direction de D. Defert & F. Ewald, avec la collaboration de J. Lagrange. Paris, 1994, 4 vol.; I: 1954—1969, II: 1970—1975, III: 1976—1979, IV: 1980—1988; cf. II. p. 746.

[2] Слово «экзистенциализм» употреблено здесь в своем наибанальнейшем значении: это «название, данное в первые годы по окончании Второй мировой войны молодым людям неопрятного вида, безразличным к активной жизни и регулярно посещавшим ряд парижских кафе в квартале Сен-Жермен де Пре» (см.: Grand Larousse de la langue française, III, Paris, 1973. P. 1820).

[3] Согласно словарю Робера (см.: Le Grand Robert de la langue française. Dictionnaire alphabétique et analogique, I, Paris, 1985 [2], p. 237), имя Алкивиада часто используется в качестве синонима «человека, в характере которого сильные качества соединены с множеством недостатков (претенциозность, карьеризм)». В словарях по психиатрическим наукам слово «алкивиадизм» не встречается.

[4] См.: *Porot A.* Manuel alphabétique de psychiatrie clinique, thérapeutique et médico-légale, Paris, 1952, p. 149: «Употребляется в связи с легендой о сожжении Геростратом храма Дианы в Эфесе; [П.] Валетт [см.: De l'érostratisme ou vanité criminelle, Lyon, 1903] ввел термин „геростратизм" для обозначения присущего слабоумным сочетания злодейства с аморальностью и тщеславием, а также для характеристики особого вида преступлений, основанных на подобных умственных отклонениях» (определение К. Бардена).

[5] См.: *Porot A.* Manuel alphabétique de psychiatrie... P. 54: «Выражение, вышедшее из знаменитого романа Флобера „Госпожа Бовари" и вдохновившее некоторых философов на то, чтобы превратить его в психологическое понятие», — тогда как Жюль де Готье определял боваризм как «данную человеку способность представлять себя другим, нежели он есть».

[6] Тут Мишель Фуко невольно называет имя подвергнутого экспертизе.

[7] Согласно словарю Робера (см.: Le Grand Robert, III, 1985 [2], p. 627), термин «донжуанизм» применяется в психиатрии к человеку, склонному к «патологическому поиску новых завоеваний», хотя в словарях по психиатрическим наукам такого слова нет.

[8] Имеется в виду второе явление третьего действия комедии Мольера «Дон Жуан или Каменный гость» (см.: *Мольер Ж.-Б.* Собр. соч. М., 1994. Т. 2. С. 540—542).

[9] Речь идет о выдержках из заключений судебно-медицинских экспертиз троих гомосексуалистов, задержанных во Флери-Мерожи

в 1973 г. и обвиненных в организации кражи и шантаже. См.: Expertise psychiatrique et justice // Actes. Les cahiers d'action juridique, 5/6, décembre 1974 — janvier 1975, p. 38—39.

[10] Мишель Фуко акцентирует внимание на созвучии между «майотикой» (несуществующим словом) и «майевтикой» — сократическим или, шире говоря, эвристическим методом обнаружения истины.

[11] Имеется в виду частый смех, которым сопровождалось чтение психиатрических экспертиз.

[12] См. курс 1971—1972 гг. в Коллеж де Франс: «Уголовные теории и институты» (резюме см. в книге: *Foucault M.* Dits et Écrits. II, p. 389—393).

[13] См.: *Jousse D.* Traité de la justice criminelle en France. I. Paris, 1771, p. 654—837; *Hélie F.* Histoire et Théorie de la procédure criminelle. IV. Paris, 1866, p. 334—341n. 1766—1769.

[14] М. Фуко имеет в виду ситуацию, обусловленную ордонансами Людовика XIV. Ордонанс в отношении судебной процедуры в 28-и статьях, выпущенный в 1670 г., был кодексом криминального расследования, ибо его утвердили за отсутствием Уголовного кодекса. См.: *Serpillon F.* Code criminel ou Commentaire sur l'ordonnance de 1670. Lyon, 1767; *Hélie* F. Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Paris, 1866.

[15] См.: *Beccaria C.* Dei delitti e delle pene. Livorno, 1764 (trad. fr.: Traité des délits et des peines. Lausanne, 1766); *Voltaire.* Commentaire sur le Traité des délits et des peines. Paris, 1766; *Servan J.-M.-A.* Discours sur l'administration de la justice criminelle. Genève, 1767; [*Mercier Dupaty C.-M.-J.-B.*] Lettres sur la procédure criminelle de la France, dans lesquelles on montre sa conformité avec celle de l'Inquisition et les abus qui en résultent. [S. l.], 1788.

[16] См.: *Rached A.* De l'intime conviction du juge. Vers une théorie scientifique de la preuve en matière criminelle. Paris, 1942.

[17] См.: Hélie F. Traité de l'instruction criminelle... IV. P. 340 (принцип, сформулированный 29 сентября 1791 г. и утвержденный 3 брюмера IV [1795] г.).

[18] Пьер Гольдман предстал перед парижским судом 11 декабря 1974 г. и был осужден по обвинению в убийстве и краже на пожизненное заключение. Поддержка группы интеллектуалов, разоблачивших ряд неправомерных действий в рамках следствия, а также процедурные нарушения, привела к пересмотру дела. Апелляционный суд приговорил Гольдмана к двенадцати годам тюрьмы за три доказанных нападения. См. выдержку из обвинительного акта в кни-

re: Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France. Paris, 1975. 20 сентября 1979 г. Пьер Гольдман был убит.

[19] См.: *Foucault M.* La vérité et les formes juridiques (1974) // Dits et Écrits, II, p. 538—623.

[20] Прилагательное «убюэскный» было введено в 1922 г. на основе пьесы А. Жарри «Король Убю», вышедшей в Париже в 1896 г. См. «Большой Ларусс» (Grand Larousse, VII, 1978, p. 6319): «Употребляется по отношению к чему-либо, напоминающему своим гротескным, абсурдным или карикатурным характером персонаж Убю»; «Большой Робер» (Le Grand Robert, IX, 1985, p. 573): «Что-либо, напоминающее персонаж короля Убю (комически жестоким, циничным и трусливым, со всевозможными перегибами характером)».

[21] Это аллюзия на распространение литературы, вдохновлявшейся противодействием сенаторской аристократии усилению имперской власти. Представляемая, в частности, *De vita Caesarum* («Жизнью двенадцати Цезарей») Светония, эта литература вводит оппозицию добродетельных императоров (*principes*) и порочных императоров (*monstra*), олицетворяемых фигурами Нерона, Калигулы, Вителлия и Гелиогабала.

[22] См.: *Clastres P.* La Société contre l'État. Recherches d'anthropologie politique. Paris, 1974.

[23] О трагедиях Шекспира, поднимающих проблему перехода от беззакония к праву, см.: *Foucault M.* «Il faut défendre la société». Cours au Collège de France (1975—1976). Paris, 1997, p. 155—156.

[24] См.: *Fest J.* Hitler. II // Le Führer, 1933—1945. Paris, 1973, p. 387—453 (оригинальное издание: Frankfurt am Main—Berlin—Vien, 1973).

[25] Аллюзия на текст Лакана «О субъекте в должности знания». См.: *Lacan J.* Le Séminaire, livre XI: Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse. Paris, 1973, chap. XVIII.

[26] Некоторые из развиваемых здесь идей были также высказаны в ходе «Круглого стола на тему психиатрической экспертизы» (1974). См.: *Foucault M.* Dits et Écrits. II, p. 664—675.

[27] О создании промежуточных кодексов Великой французской революции (в данном случае «Уголовного кодекса», принятого Учредительным собранием в 1791 г., но также и «Кодекса криминального следствия», утвержденного в 1808 г.) см.: *Lepointe G.* Petit Précis des sources de l'histoire du droit français. Paris, 1937, p. 227—240.

[28] *Мольер Ж.-Б.* Лекарь поневоле // Собр. соч. М., 1994. Т. 3. Действие второе, явление четвертое. С. 53—55: «Это затруднение

владеть языком явилось вследствие некоторых мокрот [...], образующихся во впадине диафрагмы [...] случается, что эти пары... Ossabandus, nequeus, nequer, potarnium, quipsa milus. Вот вам действительная причина немоты вашей дочери».

[29] В статье 64 Уголовного кодекса говорится: «Нет ни преступления, ни правонарушения, если подсудимый во время совершения деяния был в состоянии помутнения рассудка, или если он был принужден к этому деянию силой , которой не мог сопротивляться». Ср.: *Garçon E.* Code pénal annoté. I. Paris, 1952, p. 207—226; *Merle R., Vitu A.* Traité de droit criminel. I. Paris, 1984 (6), p. 759—766 (1-re éd. 1967).

[30] Речь идет о случае Жоржа Рапена. См. ниже, лекция от 5 февраля.

[31] См.: Moi, Pierre Rivière, ayant egorgé ma mère, ma sœur et mon frère... Un cas de parricide au XIX siècle // Présenté par M. Foucault. Paris, 1973. Это досье, полный вариант которого разыскал Ж.-П. Петер, было обсуждено на семинаре, проходившем по понедельникам в 1971—1972 университетском году и продолжавшем «изучение судебно-медицинских практик и понятий». См. отчет в приложении к уже цитированному резюме курса этих лет: Théories et Institutions pénales // Dits et Écrits. II, p. 392.

[32] М. Фуко вновь затронет эту тему в работе «Эволюция понятия „опасного индивида" в судебной психиатрии XIX века» (1978). См.: Dits et Écrits. III, p. 443—464.

[33] Циркуляр министра юстиции Жозефа Шомье был утвержден 12 декабря 1905 г. Новый Уголовно-процессуальный кодекс вступил в действие в 1958 г. (М. Фуко ссылается на статью 345 Кодекса общего ведения расследования). Схему, использованную Фуко, можно также найти в кн.: *Porot A.* Manuel alphabétique de psychiatrie.., p. 161—163.

Лекция от 15 января 1975 г.

Безумие и преступление. — Извращенность и ребячество. — Опасный индивид. — Эксперт-психиатр не может не быть персонажем в духе короля Убю. — Эпистемологический уровень психиатрии и его регрессия в судебно-медицинской экспертизе. — Конец конфликтных отношений между медицинской и судебной властями. — Экспертиза и ненормальные. — Критика понятия репрессии. — Исключение прокаженных и включение зачумленных. — Открытие позитивных технологий власти. — Нормальное и патологическое.

На прошлой неделе, по окончании лекции, кто-то спросил меня: может быть, я ошибся и, вместо того чтобы читать обещанный курс о ненормальных, решил заняться судебно-медицинскими экспертизами? Это совсем не одно и то же, но вы увидите, как, начав с проблемы судебно-медицинской экспертизы, я выведу вас к проблеме ненормальных.

В самом деле, я попытался показать вам, что в терминах Уголовного кодекса 1810 г., в тех самых формулах знаменитой 64-й статьи, где нет ни преступления, ни правонарушения, если индивид в момент их совершения был в состоянии помутнения рассудка, экспертиза должна позволять, во всяком случае должна была бы позволять, провести раздел — дихотомический раздел между болезнью и ответственностью, между патологической обусловленностью и свободой юридического субъекта, между терапией и наказанием, между медициной и уголовной практикой, между больницей и тюрьмой. Нужно выбрать, так как безумие упраздняет преступление, так как безумие не может быть местом преступления и, наоборот, са-

мо по себе преступление не может быть деянием, коренящимся в безумии. Принцип вращающейся двери: когда на сцену выходит патологическое, криминальность, в терминах закона, должна исчезнуть. В случае безумия медицинский институт должен главенствовать над институтом судебным. Правосудие не может заниматься безумцем или, точнее, безумие [*rectius*: правосудие] должно отступиться от безумца, как только оно признает его таковым: это принцип прекращения дела в юридическом смысле этого термина.

Однако этот раздел и этот принцип раздела, отчетливо заявленный в статьях кодекса, современная экспертиза фактически подменила другими механизмами, постепенно складывавшимися на протяжении XIX века; вы можете увидеть, как они оформляются уже относительно рано, как я, вероятно, уже говорил, в своеобразном общем сотрудничестве: скажем, в 1815—1820 гг. присяжные заседатели заявляют, что некто виновен, и в то же время, невзирая на подтвержденную вердиктом вину, просят поместить его в лечебницу, так как он болен. Таким образом, коллегии присяжных начинают налаживать родство, сожительство, взаимовыручку безумия и преступления; но и сами должностные судьи до некоторой степени мирятся с этим своеобразным союзом, говоря зачастую, что, несмотря на совершенное преступление, хорошо бы было заключить индивида в психиатрическую лечебницу, так как в конечном счете шансов выйти из этой лечебницы у него не больше, чем из тюрьмы. Когда в 1832 г. будут приняты смягчающие обстоятельства, это позволит добиваться как раз таких приговоров, которые сбалансированы с учетом отнюдь не обстоятельств преступления, а квалификации, оценки, диагноза самого преступника. Так постепенно завязывается тот своеобразный судебно-медицинский континуум, следствия которого для нас налицо и ключевым институтом которого становится судебно-медицинская экспертиза.

В общих чертах можно сказать так: принцип взаимоисключения медицинского и судебного дискурсов современная экспертиза заменила игрой, которую можно было бы назвать игрой двойной квалификации — медицинской и судебной. Эта

практика, эта техника двойной квалификации, в свою очередь, способствует организации того, что можно назвать областью «извращенности», очень любопытного понятия, которое стало появляться во второй половине XIX века и вскоре захватило всю эту территорию двойной детерминации, обусловив появление в дискурсе экспертов, пусть и ученых, целой серии откровенно устаревших, комичных или несерьезных терминов и элементов. Если вы заглянете в судебно-медицинские экспертизы, вроде тех, что я зачитывал вам в прошлый раз, вам бросятся в глаза такие словечки, как «леность» или «гордыня», «упрямство» или «злобность»; эти сообщаемые вам биографические элементы являются вовсе не принципами разъяснения поступка, а своего рода знаменательными деталями, не слишком-то важными сценами детства, пустяковыми сценами, в которых уже присутствует прообраз преступления. Это своего рода редукция криминальности к детству, ее характеристика в таких же терминах, какими изъясняются родители или пишутся моральные наставления в детских книжках. В действительности эта несерьезность терминов, понятий и анализа, лежащая в самой сердцевине современной судебно-медицинской экспертизы, выполняет строго определенную функцию: именно она служит посредником между юридическими категориями, определенными кодексом и запрещающими наказывать, если фактически [на суде] имела место злонамеренность или подлог, и медицинскими понятиями вроде «незрелости», «слабости Я», «неразвитости Сверх-Я», «структуры характера» и т. п. Хорошо видно, что такого рода понятия — в общем и целом, понятия извращенности — позволяют привить друг к другу серию юридических категорий, определяющих подлог, злонамеренность, и категории, возникшие главным образом внутри медицинского или, во всяком случае, психиатрического, психопатологического, психологического дискурса. Это поле понятий извращенности, вращающихся в сфере своего ребяческого лексикона, позволяет вводить медицинские понятия в поле судебной власти, а юридические понятия, наоборот, в поле компетенции медицины. Таким образом, это слаженно работающий обменник, и работает он тем лучше, чем слабее эпистемологически.

А вот другая операция, обеспечиваемая экспертизой: институциональная альтернатива «или тюрьма, или лечебница», «или искупление, или лечение» подменяется принципом однородности социального реагирования. Экспертиза позволяет обосновать или, как минимум, оправдать наличие своеобразного защитного континуума, который окутывает все социальное тело от медицинской инстанции исцеления до собственно уголовного института, то есть тюрьмы, а в пределе — эшафота. Ведь за всеми этими уголовными дискурсами новейшего времени, то есть за той уголовной практикой, что начала складываться в XIX веке, маячит, как вы знаете, бесконечно повторяющаяся короткая фраза: «Ты кончишь на эшафоте». Но если фраза «ты кончишь на эшафоте» возможна (настолько, что все мы более или менее периодически слышим ее с тех пор, как впервые получили плохую отметку в школе), если эта фраза действительно возможна, если у нее есть историческое основание, то потому, что континуум, простирающийся от первой индивидуальной исправительной меры до высшей юридической санкции, каковой является смерть, был подготовлен впечатляющей практикой, впечатляющим процессом институциализации репрессии и наказания, который дискурсивно поддерживался уголовной психиатрией и, в частности, чрезвычайно важной экспертной деятельностью. Общество отвечает патологической криминальности двояко, а точнее, предлагает ей единообразный ответ, но с двумя ударениями — искупительным и терапевтическим. Но два эти ударения являются полюсами единой, непрерывной сети институтов, функцией которых, в сущности, является ответ — но ответ чему? Не исключительно болезни, конечно, ибо, если бы речь шла только о болезни, мы имели бы дело с чисто терапевтическими институтами, но и не исключительно преступлению, ибо тогда достаточно было бы институтов карательных. Так чему же, собственно, отвечает весь этот континуум, у которого есть терапевтический полюс и судебный полюс, весь этот институциональный коктейль? Он отвечает опасности.

Именно к опасному индивиду, то есть не то чтобы к больному, но и не к преступнику в чистом виде, обращен этот ин-

ституциональный ансамбль. В психиатрической экспертизе (и циркуляр 1958 г., по-моему, говорит об этом прямо) предмет диагностики эксперта, индивид, с которым тот должен сразиться в рамках своего допроса, анализа и диагноза, — это индивид потенциально опасный. Так что в итоге мы обнаруживаем два симметричных понятия, в которых вы сразу же отметите близость, соседство: с одной стороны, понятие «извращения», позволяющее сшить серии медицинских и юридических концептов, а с другой стороны, понятие «опасности», «опасного индивида», позволяющее оправдать и обосновать в теории существование непрерывной цепи судебно-медицинских институтов. Опасность и извращение — вот что, как мне кажется, составляет своего рода сущностное, теоретическое ядро судебно-медицинской экспертизы.

Если же теоретическое ядро судебно-медицинской экспертизы именно таково, то, исходя из этого, мы можем понять целый ряд явлений. Первое среди них — это, разумеется, тот самый гротескный и убюэскный характер, что я попытался продемонстрировать в прошлый раз, зачитав вам несколько экспертиз, которые, повторю, все как одна принадлежат громким именам судебной психиатрии. Поскольку сейчас я не буду цитировать эти отчеты, я могу назвать имена их авторов (которые вы не сможете соотнести с соответствующими экспертизами). Итак, это Сенак, Гуриу, Эйе и Жени-Перрен.[1] Собственно гротескный, собственно убюэскный характер уголовного дискурса может быть убедительно объяснен в том, что касается его существования и сохранения, исходя из этого теоретического ядра, образуемого парой извращение—опасность. В самом деле, очевидно, что стыковка медицинского и судебного, которую обеспечивает судебно-медицинская экспертиза, эта взаимосвязь медицинского и судебного осуществляется именно благодаря воскрешению категорий, которые я бы назвал элементарными категориями нравоучения и которые распределяются вокруг понятия извращенности: например, категории «гордости», «упрямства», «злости» и т. д. Иными словами, стыковка медицинского и судебного подразумевает восстановление в правах родительско-младенческого, родительско-детского дискурса, речи родителей в адрес

ребенка, речи, какой урезонивают ребенка, — и не может без этого восстановления осуществиться. Возрождается детский дискурс, а точнее — дискурс, сознательно обращенный к детям, то есть непременно в виде сюсюканья. С другой же стороны, это дискурс, который организуется не просто вокруг поля извращенности, но также и вокруг проблемы социальной опасности: это еще и дискурс страха, дискурс, задача которого — обнаружить опасность и дать ей отпор. Таким образом, это дискурс страха и дискурс нравоучения, это детский дискурс, это дискурс, чья эпистемологическая организация, всецело руководимая страхом и нравоучением, не может не быть смехотворной, даже применительно к безумию.

Однако этот убюэскный характер связан не просто с личностью того, кто произносит соответствующие слова, и даже не просто с неразработанным состоянием экспертизы или знания, с нею сопряженного. Напротив, этот убюэскный характер весьма позитивным образом связан с той ролью обменника, которую выполняет уголовная экспертиза. Он напрямую связан с функциями этой экспертизы. В последний раз вернувшись к Убю (чтобы затем его оставить), скажу, что, если признать — как я попытался показать это в прошлый раз, — что Убю олицетворяет исполнение власти посредством прямого развенчания того, кто ее исполняет, если политический гротеск есть отрицание носителя власти тем самым ритуалом, который манифестирует эту власть вместе с ее носителем, то вам не составит труда понять, что психиатр-эксперт действительно не может не быть персонажем в духе Убю. Он не может исполнять страшную власть, несение которой на него возложено, — и которая в конечном счете заключается в назначении наказания индивиду или даже в значительном участии в этом наказании, — иначе, нежели при помощи детского дискурса (который развенчивает его как ученого в тот самый момент, когда он призван именно в качестве ученого), а также при помощи дискурса страха (который осмеивает его в тот самый момент, когда он выступает в суде по вопросу о человеке, сидящем на скамье подсудимых и, как следствие, не имеющем никакой власти). Он изъясняется языком ребенка, он говорит на языке страха, он — ученый, находящийся под эгидой

правосудия, защищаемый, даже освящаемый всем судебным институтом с его мечом. Этот бормочущий язык экспертизы функционирует именно как средство, которое передает от судебного института к медицинскому и обратно присущие им обоим властные эффекты, совершая дисквалификацию стыкующего звена. Другими словами, это графиня де Сегюр то под покровительством Эскироля, то под защитой Фукье-Тенвиля.[2] В общем, вы понимаете, почему всем от Пьера Ривьера до Рапена[3] или людей, чьи экспертизы я зачитывал вам в прошлый раз, почему всем, от Пьера Ривьера до этих сегодняшних преступников, посвящаются дискурсы одного и того же типа. Что обнаруживают все эти экспертизы? Болезнь? Вовсе нет. Вменяемость? Нет. Свободу? Отнюдь. Но всегда одни и те же образы, одни и те же жесты, одни и те же позы, одни и те же ребяческие сцены: «Он играл с деревянным оружием»; «Он обезглавливал капусту»; «Он огорчал своих родителей»; «Он пропускал школу»; «Он не учил уроки»; «Он был ленив». И в итоге: «Я делаю заключение, что он был вменяем». В сердцевине того механизма, где судебная власть, расшаркиваясь, уступает место медицинскому знанию, обнаруживается, как вы видите, Убю, невежественный и запуганный, но потому-то и позволяющий привести в действие эту двойственную машинерию. Шутовство и должность психиатрического эксперта составляют единое целое: именно в качестве функционера эксперт и в самом деле шут.

Теперь, имея в виду сказанное выше, мы можем восстановить черты двух коррелятивных друг другу исторических процессов. Во-первых, с XIX века до наших дней налицо любопытнейшая историческая регрессия. Поначалу психиатрическая экспертиза — экспертиза Эскироля, Жорже, Марка — была простым перенесением в судебный институт медицинского знания, рожденного снаружи — в больнице, в ходе клинического эксперимента.[4] Теперь же мы имеем дело с экспертизой, которая, как я говорил вам в прошлый раз, совершенно оторвана от психиатрического знания нашего времени. Ибо, каково бы ни было наше мнение о языке нынешних психиатров, мы ясно понимаем, что то, что говорит психиатр-эксперт, на тысячу ступеней ниже эпистемологического уровня психи-

атрии. Но что возрождается в этой странной регрессии, в этом развенчании, разложении психиатрического знания в экспертизе? То, что тут возрождается, заметить нетрудно. Это нечто похожее на один текст, взятый мною из литературы XVIII века. Речь идет о *прошении*, ходатайстве, поданном матерью семейства о том, чтобы ее сына поместили в исправительный дом Бисетр, в 1758 г. [*rectius*: 1728]. Я позаимствовал его из работы о королевских указах, которую готовит сейчас Кристиан Мартен. И вы узнаете в нем тот самый тип дискурса, который сегодня используется психиатрами.

«Просительница [то есть женщина, которая просит королевского указа о заключении своего сына. — *М. Ф.*] после трех лет вдовства вторично вышла замуж, чтобы обеспечить себе средства к существованию торговлей в галантерейной лавке; при этом она сочла правильным оставить при себе своего сына [...]. И этот распутник пообещал слушаться ее, надеясь на то, что она даст ему аттестат подмастерья галантерейщика. Просительница, нежно любившая своего ребенка несмотря на все горести, которые тот ей [уже] причинил, взяла его в подмастерья и оставила при себе — к несчастью для себя и для [других] своих детей на долгие два года, на протяжении которых он ежедневно обкрадывал ее и, несомненно, разорил бы, останься он с ней и далее. Решив, что с другими людьми ее сын будет вести себя лучше, тем более что он сведущ в торговле и может работать, просительница устроила его к г-ну Кошену, вполне порядочному человеку, владельцу галантерейной лавки у подъезда Сен-Жак; но этот распутник три месяца притворялся хорошим, а затем похитил шестьсот ливров, которые просительница была вынуждена уплатить, чтобы спасти жизнь своего сына и честь своей семьи [...]. Тогда наш мошенник, не зная, как ему еще провести свою мать, решил убедить ее, что хочет посвятить себя религии, а для этого хитростью привлек к себе нескольких честных людей, [которые], свято поверив в то, что этот плут им говорил, осыпáли мать своими увещеваниями и говорили, что ей придется отвечать перед Богом за то, что случится с ее сыном, если она воспротивится его призванию [...]. Просительница, которая за многие годы привыкла к дурным поступкам своего сына, тем

не менее попала в расставленные сети и великодушно [*rectius*: в общем] дала сыну все необходимое для поступления в монастырь Иверно [...]. Но не пробыв там и трех месяцев, этот несчастный заявил, что местный порядок ему не нравится и он предпочел бы стать премонстрантом.[5] Просительница, заботясь о том, чтобы впоследствии ей не в чем было себя упрекнуть, снова дала сыну все, что требовалось для вступления в дом премонстрантов, и он постригся. Однако наш негодяй, действительной целью которого было обмануть свою мать, в скором времени выдал свою злонамеренность, и это заставило каноников [премонстрантов. — *М. Ф.*] выгнать его из своего дома по прошествии шести месяцев испытательного срока». Текст продолжается в этом же духе и заканчивается такими словами: «Просительница [то есть, мать. — *М. Ф.*] обращается к Вашей милости, монсеньор, и покорнейше просит удовлетворить это прошение, взяв ее сына под стражу и отправив его в исправительный дом при первом удобном случае, так как иначе она и ее супруг никогда не обретут покоя, а жизнь их не станет безопасной».[6]

Извращенность и опасность. Как видите, нам открывается возродившаяся под покровом современных институтов и знаний практика, которую судебная реформа конца XVIII века попыталась упразднить и которую теперь мы находим ничуть не пошатнувшейся. И это не просто некий архаизм, пережиток, но поступательное развитие: по мере того как преступление все более патологизируется, а эксперт и судья меняются ролями, вся эта форма контроля, оценки, а также сопряженный с характеристикой индивида властный эффект, все это постепенно активизируется.

Между тем наряду с регрессией и возобновлением этой, теперь уже многовековой, практики имеет место, а в некотором смысле и противостоит ей, другой исторический процесс — постоянное запрашивание власти под лозунгом модернизации юстиции. Я имею в виду, что с начала XIX века мы неизменно видим, как запрашивается, и все более настойчиво запрашивается, судебная власть врача — или опять-таки медицинская власть судьи. В самом начале XIX века проблема власти врача в судебном аппарате была, в сущности, пробле-

мой конфликтного характера, в том смысле, что медики, по причинам, разъяснять которые сейчас было бы слишком долго, отстаивали право на применение своего знания внутри судебного института. Чему судебный институт, в основном, противился как вражескому нашествию, как конфискации, как дисквалификации своей собственной компетенции. Однако с конца XIX века, и это важно, наоборот, постепенно зарождается всеобщее стремление судей к медикализации их профессии, их функции, выносимых ими решений. И вместе с тем смежное стремление к, так сказать, судебной институциализации медицинского знания: «Я юридически компетентен как медик», — повторяют врачи с [начала] XIX века. А во второй половине того же века мы замечаем, что и судьи начинают говорить: «Мы требуем, чтобы в нашу функцию входило не только судить и наказывать, но и лечить». Показательно, что на II Международном конгрессе по криминологии, состоявшемся, кажется, в 1892 г. (хотя, наверное, я ошибаюсь, точная дата позабылась, скажем, около 1890 г.), были предприняты серьезные попытки отмены жюри присяжных на том основании,[7] что оно [формируется] из людей, не являющихся ни врачами, ни судьями и, как следствие, не компетентными ни в области права, ни в медицине. Такое жюри может быть только препятствием, непроницаемым элементом, неуправляемым ядром внутри судебного института, каким тот должен быть в идеальном состоянии. Что должен включать в себя подлинный судебный институт? Коллегию экспертов под юридической ответственностью назначаемого судьи. Иными словами, все судебные инстанции коллективного типа, введенные уголовной реформой конца XVIII века, предлагается отвергнуть ради того, чтобы наконец состоялся союз врачей и профессиональных судей, причем союз без посредника. Разумеется, такого рода притязание всего-навсего свидетельствует об одной из тенденций своего времени; оно сразу же вызвало массу возражений и у медиков, и особенно у судей. И тем не менее именно оно является целью целой серии реформ, проведенных большей частью в конце XIX века и в XX веке и действительно заложивших своего рода судебно-медицинскую власть, главные элементы или основные проявления которой я перечислю.

Во-первых, это обязанность всякого индивида, который предстает перед судом присяжных, пройти экспертно-психиатрическое обследование, так что никто теперь не попадает в круг внимания жюри только лишь со своим преступлением. Туда попадают с экспертным отчетом психиатра, таким образом оказываясь перед присяжными под двойным грузом преступления и этого отчета. И дело идет к тому, что эта мера, общеобязательная для судов присяжных, станет таковой же и для обычных уголовных судов, где она применяется только в ряде случаев, не будучи общим правилом.

Второй признак возникновения новой власти — это существование специальных судов, судов для детей, где информация, которой располагает судья, одновременно являющийся следователем, — это информация по сути своей психологическая, социальная, медицинская. Поэтому она основывается не столько на самом поступке, который совершил индивид и за который он предан суду для несовершеннолетних, сколько на этом контексте его существования, его образа жизни, дисциплины. Суд над извращением и опасностью, а не над преступлением, — вот перед каким судом проходит ребенок. Здесь же следует упомянуть включение в состав администрации тюрем медико-психологических служб, призванных следить за тем, как развивается индивид, отбывая свое наказание, то есть за уровнем извращенности и степенью опасности, которые он представляет в тот или иной момент срока, учитывая, что по достижении достаточно низкого уровня опасности и порока его можно будет освободить, во всяком случае условно. Кроме того, можно привести множество институтов судебно-медицинского надзора, работающих с детьми, молодежью, опасной молодежью и т. д.

Таким образом, в целом мы имеем дело с двусоставной, медицинской и судебной, системой, сложившейся в XIX веке, в которой экспертиза с ее весьма забавным дискурсом является своеобразной сердцевиной, тонким, удивительно несерьезным и удивительно твердым стержнем, поддерживающим все остальное.

И вот теперь я хочу перейти к собственно предмету нынешнего курса. Мне кажется, что судебно-медицинская экс-

пертиза в том виде, в каком она функционирует в наши дни, является необычайно показательным примером вторжения или, правильнее будет сказать, скрытого проникновения в судебный и медицинский институты, — а именно, в их пограничную зону, — некоторого механизма, по сути своей не медицинского и не судебного. Я столь долго говорил о судебно-медицинской экспертизе прежде всего для того, чтобы показать, что она служила стыком, выполняла функцию шва между судебным и медицинским. Но также я стремился показать, насколько она была чужда как судебному институту, так и нормативности, внутренне присущей медицинскому знанию; и не просто чужда, но и ничтожна рядом с ними. Медицинская экспертиза заведомо преступает закон; психиатрическая экспертиза в уголовной практике осмеивает медицинское и психиатрическое знание с первого своего слова. Она не соразмерна ни праву, ни медицине. Пускай в месте их стыка, на этой границе, она и выполняет важнейшую роль их институционального сопряжения, было бы совершенно несправедливо судить о современном праве (или, во всяком случае, о праве, с каким мы живем с начала XIX века) по такого рода практике; было бы несправедливо оценивать по мерке подобной практики медицинское и даже психиатрическое знание. Дело в конечном счете касается другого. Судебно-медицинская экспертиза выходит из другого источника. Она не порождена правом, равно как и медициной. Любое историческое исследование происхождения уголовной экспертизы приведет не к эволюции права, не к эволюции медицины и даже не к их общей эволюции во взаимодействии. Нечто, вмешивающееся между ними, обеспечивающее их стыковку, тем не менее приходит со стороны, с другими терминами, с другими нормами, с другими законами образования. В сущности, и правосудие, и психиатрия подвергаются фальсификации в рамках судебно-медицинской экспертизы. Работают с не свойственным им предметом, применяют не свойственные им правила. Судебно-медицинская экспертиза обращается не к преступникам или невиновным, но также и не к больным в их противопоставлении не-больным. Она обращается, я полагаю, к некоей категории «ненормальных», или, если хотите, разворачивается именно в

таком поле, где действует не оппозиция, а градация от нормальности до ненормальности.

Сила, мощь, власть проникновения и разлада, присущая судебно-медицинской экспертизе по отношению к нормативности как судебного, так и медицинского знания, основывается именно на том, что она предлагает им другие понятия; она обращается к другому объекту, приносит с собою другие техники, которые образуют некий третий, коварный и скрытый термин, тщательно заслоняемый справа и слева, с одной и с другой стороны, юридическими понятиями «правонарушения», «рецидива» и т. д., а также медицинскими концептами «болезни» и т. п. Да-да, она предлагает третий термин, то есть отчетливо проводит — именно это я и хочу вам продемонстрировать — действие власти, не являющейся ни судебной, ни медицинской, власти другого типа, которую я буду называть, временно и в промежуточном порядке, властью нормализации. В лице экспертизы мы имеем дело с практикой, относящейся к ненормальным, с практикой, которая вводит некоторую власть нормализации и стремится постепенно, за счет собственной силы, за счет производимых ею стыковок медицинского и судебного, модифицировать как судебную власть, так и медицинское знание, и сложиться в качестве инстанции контроля над ненормальным. Именно в том, что экспертиза учреждает судебно-медицинский союз как инстанцию контроля не над преступлением и не над болезнью, а над ненормальностью, над ненормальным индивидом, она и является важной теоретической и одновременно политической проблемой. Именно в этой своей особенности она отсылает к обширной генеалогии этой странной власти — к генеалогии, которую я и намерен проследить.

Прежде чем перейти — в следующий раз — к конкретному анализу, я хотел бы привести несколько размышлений скорее методологического свойства. В самом деле, о том, о чем я собираюсь говорить, начиная с ближайшей лекции, а именно, об истории власти нормализации в применении главным образом к сексуальности, о технике нормализации сексуальности с XVII века, я, конечно же, берусь рассуждать не первым. Этой теме был посвящен целый ряд трудов, и, в частности, совсем

недавно была переведена на французский книга Ван Усселя под названием «Притеснение сексуальности» или «История сексуальных репрессий».[8] Однако то, что намерен предпринять я, не совпадает с целью этого и некоторых других сочинений подобного рода, различаясь с ними не то чтобы методически, но — точкой зрения: отличие здесь в том, что́ эти и мои анализы предполагают, подразумевают в качестве теории власти. Действительно, мне кажется, что в исследованиях, на которые я сослался, главным, центральным понятием выступает понятие «репрессии».[9] Иными словами, в этих анализах подразумевается отсылка к власти, основной функцией которой является репрессия, уровень действенности которой — преимущественно надструктурный, относится к порядку надстройки, и, наконец, механизмы которой сущностно сопряжены с незнанием, слепотой. Я же — в предстоящих разборах нормализации сексуальности начиная с XVII века — хочу предложить другую концепцию, другой тип исследования власти.

Чтобы все встало на свои места, я приведу вам два примера, которые, мне кажется, и по сей день имеют хождение в исторических исследованиях. И вы сразу поймете, что, давая эти примеры, я ставлю под сомнение свои собственные выводы в работах прежних лет.[10]

Всем известно, как в конце, а может быть, и на всем протяжении Средневековья происходило исключение прокаженных.[11] Исключение проказы было социальной практикой, которая подразумевала прежде всего строгий раздел, отторжение, отсутствие контакта между одним индивидом (или классом индивидов) и другим. С другой стороны, это было изгнание ряда индивидов во внешний, неупорядоченный мир, за стены города, за пределы общины. Как следствие, складывались две чуждые друг другу массы. И та из этих масс, которая отторгалась, отторгалась в прямом смысле во мрак внешнего мира. Наконец, в-третьих, это исключение прокаженных подразумевало дисквалификацию исключенных и изгнанных индивидов — возможно, все-таки не моральную, но уж точно юридическую и политическую. Они переходили на территорию смерти, и, как вы знаете, исключение прокаженных часто сопровождалось своего рода похоронной церемонией, в ходе

которой индивидов, ранее объявленных прокаженными, объявляли мертвыми (а их имущество соответственно подлежащим раздаче), и они должны были уйти в этот чуждый внешний мир. Словом, это действительно были практики исключения, изгнания, «маргинализации», как бы мы сказали сейчас. Но ведь именно в такой форме описывается — думаю, до сих пор описывается — та методика, с которой власть воздействует на сумасшедших, на больных и преступников, носителей всякого рода отклонений, на детей и бедных. В общем и целом, эффекты и механизмы власти, воздействующие на них, описываются как механизмы и эффекты исключения, дисквалификации, изгнания или отторжения, лишения, отказа, непризнания с помощью целого арсенала негативных понятий или механизмов исключения. Я думаю, и продолжаю думать, что хотя пора исторической активности этой практики, этой модели исключения прокаженных прошла, она продолжает отзываться и в нашем обществе. Так или иначе, когда в середине XVII века начались гонения на нищих, бродяг, праздношатающихся, распутников и т. п., санкционированные в виде изгнания всей этой блуждающей популяции за пределы городов или же заключения в общие для всех лечебницы, я думаю, что это было все то же исключение прокаженных, или все та же модель, политически применявшаяся королевской администрацией.[12] Впрочем, существует и другая модель постановки под контроль, которой, на мой взгляд, выпала гораздо более выразительная и долгая историческая судьба.*

Так или иначе на рубеже XVIII и XIX веков модель «исключения прокаженных», согласно которой индивида изгоняют, дабы очистить общину, в основном прекратила существование. На смену ей было не то чтобы введено, а скорее возрождено нечто другое, другая модель. Она почти так же стара, как и исключение прокаженных. Я имею в виду проблему чумы и разметки зараженного чумой города. Мне кажется, что в области контроля над индивидами Запад, по большому счету,

* В подготовительной рукописи к лекции: «Вполне возможно, что эта модель была исторически активной в эпоху „великих заключений" или притеснений нищих, однако она стала постепенно терять свое значение, когда ей на смену пришла другая модель, которой, на мой взгляд, выпала...».

выработал всего две значительные модели: модель исключения прокаженных и модель включения зачумленных. И смена исключения прокаженных включением зачумленных в качестве модели контроля является, на мой взгляд, одним из важнейших событий XVIII века. Чтобы объяснить вам это, я хочу напомнить, как осуществлялся переход города, в котором обнаруживалась чума, на карантин.[13] Естественно, очерчивалась, а затем тщательно ограждалась, некоторая территория: город, иногда город с предместьями. И территория эта строилась как территория закрытая. Но, за исключением данной аналогии, практика борьбы с чумой разительно отличается от практики борьбы с проказой. Дело в том, что эта территория уже не была неупорядоченной зоной, куда изгонялись люди, от которых надо было очиститься. Эта территория стала предметом подробного и внимательного анализа, тщательной разметки.

Город в состоянии чумы — и далее я цитирую множество совершенно идентичных друг другу предписаний, составлявшихся с конца Средневековья до начала XVIII века, — подразделялся на округа, округа делились на кварталы, в кварталах разграничивались улицы, и на каждой улице назначались наблюдатели, в каждом квартале — инспекторы, в каждом округе — окружные управляющие; городом же руководил специально назначенный комендант и эшевены, наделявшиеся на время эпидемии дополнительной властью. Итак, эта территория анализируется во всем, вплоть до ее мельчайших элементов, после чего на ней, таким образом изученной, организуется непрерывная власть — непрерывная в двух смыслах сразу. Во-первых, согласно той пирамиде, которую я только что вам описал. Начиная с часовых, дежуривших у дверей крайних на улице домов, минуя квартальных и заканчивая ответственными за округа и город, вам предстает величественная пирамида власти, никаких пропусков в которой не допускалось. Причем непрерывность этой власти относится не только к ее иерархической пирамиде, но и к ее исполнению, поскольку надзор должен был осуществляться без перерыва. Часовые всегда стояли на окраинах улиц, а квартальные и окружные инспекторы обследовали свою территорию дважды в день — так,

чтобы от их внимания не уклонялось ни одно городское происшествие. Все полученные наблюдения неукоснительно регистрировались: перепроверив, их заносили в специальные книги учета. В начале карантина все наличествовавшие горожане обязаны были сообщить свои имена, которые тоже записывались в книги. Одни из этих книг попадали в распоряжение участковых инспекторов, а другие — в распоряжение центральной городской администрации. Затем инспекторы ежедневно обходили каждый дом и проводили перекличку. За каждым индивидом закреплялось окно, в котором он должен был показываться, когда назовут его имя, и если он не появлялся в окне, из этого явствовало, что он лежит в постели; если же он лежал в постели, это значило, что он болен, а если он был болен, это значило, что он опасен. Наконец, опасность требовала вмешательства. В этот-то момент и совершалось распределение индивидов на больных и здоровых. Все сведения, собранные в ходе этой процедуры — повторявшегося дважды в день обхода, своеобразного смотра, парада живых и мертвых под командованием инспектора, — все эти сведения, занесенные в список, затем сличались с общей книгой, которую эшевены хранили в центральной администрации города.[14]

Очевидно, что такого рода организация абсолютно антитетична или, во всяком случае, асимметрична всем практикам, касавшимся прокаженных. Речь теперь идет не об исключении, а о карантине. Не об изгнании, а, наоборот, об установлении, фиксации, определении места, назначении должностей, учете наличий, причем наличий замкнутых, наличий в клетках. Это не отторжение, а включение. Как вы понимаете, речь идет не о еще одной разновидности резкого разграничения на два типа, две группы населения — чистую и загрязненную, прокаженную и здоровую. Наоборот, речь идет о серии мелких и постоянно регистрируемых отличий между заболевшими и не заболевшими индивидами. То есть об индивидуализации, о разделении и подразделении власти, которая в конечном счете настигает мельчайшее зерно индивидуальности. А следовательно, мы очень далеки от грубого, общим скопом, раздела, который характерен для исключения прокаженных. Нет ничего похожего на обособление, разрыв контактов, мар-

гинализацию. Наоборот, налицо пристальное наблюдение с близкого расстояния. Если проказа требует дистанции, то чума подразумевает своего рода постепенное приближение власти к индивидам, все более неусыпное, все более настойчивое наблюдение. Нет и этого свойственного проказе шумного обряда очищения; в случае чумы все нацелено на максимизацию здоровья, жизни, долголетия, сил индивидов. По сути дела, это производство здорового населения; дело вовсе не в том, чтобы очистить жителей общины, как это было при проказе. Наконец, как вы видите, чума не предполагает полной и окончательной маркировки части населения, но предполагает постоянную оценку поля регулярности, каждый индивид внутри которого раз за разом обследуется на предмет соответствия правилу, четко определенной норме здоровья.

Вы знаете, что существует целая литература на тему чумы, очень интересная литература, в которой чума предстает как момент всеобщего панического смятения, когда люди, находясь под угрозой надвигающейся смерти, оставляют свой привычный образ, сбрасывают маски, забывают о своем положении и предаются безудержному разгулу умирающих. Есть литература на тему чумы, в которой повествуется о распаде индивидуальности, есть целая традиция оргиастического видения чумы, где чума — это момент, когда индивидуальности разлагаются, а закон отринут. Момент наступления чумы — это момент, когда город покидает всякая регулярность. Чума с одинаковой легкостью переступает закон и человеческие тела. Во всяком случае, таково литературное видение чумы.[15] Но было и другое, политическое видение чумы, в котором она, совсем наоборот, оказывается счастливым временем полного осуществления политической власти. Временем, когда регистрация населения достигает наивысшей степени и никакие опасные связи, неуправляемые группы и запрещенные контакты возникнуть уже не могут. Время чумы — это время исчерпывающей регистрации населения политической властью, капиллярные сети которой ни на мгновение не упускают индивидуальные клетки, время индивидов, их жилище, местонахождение и тело. Да, чума вдохновляет литературный или театральный образ времени великой оргии; но она вдохновляет

и политический образ вездесущей, беспрепятственной власти, всецело доходящей до своего объекта, власти, осуществляющейся в полной мере. Очевидно, что между образом военизированного общества и образом общества, пораженного чумой, — между двумя этими образами, явившимися на свет в XVI—XVII веках, — завязывается сопричастность. И мне кажется, что начиная с XVII—XVIII веков политически разворачивалась уже не та старинная модель проказы, последний отголосок или, во всяком случае, одну из последних крупных манифестаций которой мы найдем в изгнании нищих, сумасшедших и т. д., в великом «огораживании». В XVII веке ей на смену пришла другая, резко отличающаяся от нее модель. Чума победила проказу как модель политического контроля, и в этом состоит одно из великих открытий XVIII века или, во всяком случае, классической эпохи и административной монархии.

Я бы дал такую общую картину. По сути дела, смена модели проказы моделью чумы отвечает ходу очень важного исторического процесса, который я назову кратко: изобретение позитивных технологий власти. Реакция на проказу — это негативная реакция, реакция отторжения, исключения и т. п. Реакция же на чуму позитивна, это реакция включения, наблюдения, накопления знаний, умножения властных эффектов исходя из накопленных наблюдений и знаний. Произошел переход от технологии власти, действующей путем преследования, исключения, изгнания, маргинализации, пресечения, к власти позитивной, к власти, которая созидает, к власти, которая наблюдает, познает и усиливается за счет своей собственной деятельности.

Классической эпохой обычно восхищаются за то, что она сумела изобрести впечатляющее множество научных и промышленных техник. Как известно, она изобрела и формы правления, разработала административные аппараты и политические институты. Все это так. Но также — и этому, по-моему, уделяется меньшее внимание — классическая эпоха изобрела такие техники власти, с помощью которых власть действует уже не путем обложения, а путем производства и его максимизации. Уже не путем исключения, а скорее путем

экономного и аналитического включения элементов. Уже не путем разграничения на обширные расплывчатые массы, а путем распределения по принципу дифференциальных индивидуальностей. Новая власть сопряжена не с невежеством, а, наоборот, с целым рядом механизмов, обеспечивающих образование, применение, накопление, рост знания. Наконец, [классическая эпоха изобрела такие техники власти], которые могут передаваться в самые разные институциональные среды — в государственный аппарат, различные учреждения, семью и т. д. Классическая эпоха разработала то, что можно назвать «искусством управления» — именно в том смысле, какой сегодня придается таким выражениям, как «управление» детьми, «управление» сумасшедшими, «управление» бедными и, наконец, «управление» рабочими. Под «управлением», используя этот термин в широком смысле, тут следует понимать три вещи. В первую очередь, разумеется, XVIII век, или классическая эпоха, создали политико-юридическую теорию власти, сосредоточенную на понятии воли, ее отчуждения, передачи, представления в правительственном аппарате. Кроме того, XVIII век, или классическая эпоха, выстроили целый государственный аппарат, продолжаемый и поддерживаемый всевозможными институтами. И наконец, — именно на это я хотел бы опереться, обеспечив себе фон для анализа нормализации сексуальности, — они отточили общую технику исполнения власти, технику, переносимую в многочисленные и разнообразные институты и аппараты. Эта техника служит подкладкой юридических и политических представительных структур, залогом работы и эффективности этих аппаратов. Эта общая техника управления людьми имеет свое базовое устройство — дисциплинарную организацию, о которой мы с вами говорили в прошлом году.[16] На что нацелено это базовое устройство? На нечто такое, что, я думаю, можно назвать «нормализацией». Таким образом, в этом году я сосредоточусь уже не на механике дисциплинарных аппаратов, а на их эффектах нормализации, на том, для чего они предназначены, на достигаемых ими эффектах, которые можно объединить под рубрикой «нормализации».

Еще несколько слов, если вы разрешите задержать вас на несколько минут. Я хочу сказать следующее. Обратите внима-

ние на текст, который вы найдете во втором издании книги Ж. Кангилема «Нормальное и патологическое» (начиная со 169-й страницы). В этом тексте, где речь идет о норме и нормализации, содержится ряд идей, которые кажутся мне плодотворными в историческом и методологическом плане. Во-первых, это обращение к общему процессу социальной, политической и технической нормализации, шедшему в XVIII веке и сказавшемуся в области образования появлением нормальных школ, в медицине — возникновением больничной организации, но проявившемуся также и в области промышленного производства. Несомненно, нужно добавить: и в военной области. То есть это обращение к общему процессу нормализации в ходе XVIII века, к усилению эффектов нормализации в отношении детей, армии, производства и т. д. В этом же тексте, который я назвал, вы обнаружите важную на мой взгляд идею о том, что норма определяется отнюдь не так, как естественный закон, но той ролью требования и принуждения, которую она способна выполнять по отношению к областям, в которых действует. Поэтому норма является носителем некоторой властной претензии. Норма — это не просто и даже вовсе не принцип интеллигибельности, это элемент, исходя из которого обосновывается и узаконивается некоторое исполнение власти. Полемическое понятие, как говорит Ж. Кангилем. А может быть, и политическое. Во всяком случае — и это третья идея, которую я считаю важной, — норма подразумевает одновременно принцип квалификации и принцип коррекции. Функцией нормы не является исключение, отторжение. Наоборот, она неизменно сопряжена с позитивной техникой вмешательства и преобразования, с нормативным проектом известного рода.[17]

Вот эту систему идей, эту одновременно позитивную, техническую и политическую концепцию нормализации, я и хотел бы попытаться исторически разработать в применении к сфере сексуальности. А за всем этим, на заднем плане, высвечивается то, к чему я буду стремиться, а точнее, от чего постараюсь освободиться: это идея о том, что политическую власть — во всех ее формах и на каком уровне ее ни возьми — не следует анализировать в гегельянской перспективе некоей

прекрасной целостности, которую она, власть, либо не признает, либо ломает путем абстракции или расчленения. По-моему, и с методологической, и с исторической точки зрения ошибочно считать, будто власть по сути своей есть негативный механизм притеснения, что ее прирожденная функция — беречь, охранять и воссоздавать производственные отношения. Ошибочным кажется мне и мнение, будто власть — это нечто располагающееся над игрой сил, на уровне надстройки. Наконец, ошибочно думать, будто власть сущностно связана с эффектами непризнания. Если взять это традиционное и вездесущее представление о власти, с которым мы встречаемся и в исторических сочинениях, и в нынешних политических и полемических текстах, то мне кажется, что в действительности оно построено на основе ряда исторически пройденных моделей. Это сложносоставное понятие, неадекватное по отношению к реальности, современниками которой мы являемся не одно столетие, по меньшей мере с конца XVIII века.

В самом деле, идея о том, что власть довлеет как бы снаружи, массированно, путем постоянного насилия, которое одни люди (всегда одни и те же) чинят над другими (тоже всегда одними и теми же), эта идея, эта концепция — откуда она взята? Она списана с модели — или с исторической действительности, как пожелаете, — рабовладельческого общества. Идея, будто власть, не допуская циркуляции, смен, разнообразных комбинаций элементов, следуя самой сути своей, запрещает, препятствует, изолирует, эта идея тоже кажется мне концепцией, восходящей к исторически пройденной модели, к модели кастового общества. Представляя власть как механизм, в функцию которого входит не производство, а побор, принудительное направление богатства в одни руки и, как следствие, присвоение продукта труда, то есть сводя основную функцию власти к ограждению процесса производства и передаче прибыли от него, в виде всецело идентичного продолжения властных отношений, одному социальному классу, мы, мне кажется, опираемся отнюдь не на реальное функционирование власти в наши дни, а на то, как она, в меру предположения или реконструкции, функционировала в феодальном обществе.

Наконец, говоря о власти, которая, пользуясь административной машиной контроля, прилагается к производственным формам, силам, отношениям, установившимся на данном экономическом уровне, описывая власть так, мы, по сути дела, применяем еще одну исторически пройденную модель, на сей раз модель административной монархии.

Иначе говоря, мне кажется, что, составляя из внушительных черт, которыми принято награждать политическую власть, образ репрессивной, надстроечной инстанции, чьей важнейшей функцией является воспроизводство и, как следствие, сохранение производственных отношений, мы всего-навсего конструируем из разных исторических моделей, сколь пройденных, столь и непохожих друг на друга, своего рода дагеротип власти, который на самом деле состоит из тех ее примет, каковые можно было наблюдать в рабовладельческом, кастовом, феодальном и административно-монархическом обществах. Не важно, что тем самым мы, возможно, игнорируем реальность этих обществ, во всяком случае, игнорируем то, что было особенным, новым в XVIII веке, а именно сложение власти, которая уже не выполняла по отношению к производительным силам, к производственным отношениям, к существовавшей социальной системе функцию контроля и воспроизводства, а, напротив, играла действительно позитивную роль. Тем, что было введено XVIII веком вместе с его системой «нормализующей дисциплины», вместе с его системой «дисциплины-нормализации», была, как мне кажется, власть, которая на самом деле не репрессивна, а продуктивна: репрессия фигурирует в ней лишь в качестве побочного, вторичного эффекта по отношению к механизмам, которые как раз являются сердечником этой власти, к таким механизмам, которые созидают, творят, производят.

И еще мне кажется, что XVIII веку удалось создать (этим-то и был обусловлен конец монархии, того, что зовется Старым Режимом) власть не надстроечную, а вовлеченную в игру, расклад, динамику, стратегию, эффективное взаимодействие сил. Такую власть, которая непосредственно участвует в распределении и игре сил. XVIII век ввел в действие власть уже не охранительную, но изобретательную, власть, в

самой себе содержащую принципы преобразования и обновления.

Еще мне кажется, что XVIII век с его дисциплиной и нормализацией ввел тип власти, уже не сопряженный с незнанием, но, наоборот, способный функционировать лишь вследствие сложения знания, каковое является для него и эффектом, и условием исполнения. На эту-то позитивную концепцию механизмов и эффектов власти я и попробую опереться в анализе того, как с XVII века до конца XIX века проводилась нормализация в сфере сексуальности.

Примечания

[1] О М. Сенаке, П. Гуриу, Ж. Эйе, Жени-Перрене см.: *Porot A., Bardenat C.* Psychiatrie médico-légale. Paris, 1959. P. 60, 92, 154, 270. В том, что касается причастности М. Сенака к тому, что Фуко называет «институциональной мешаниной», см. его сообщение на XLIX сессии Конгресса французских психиатров и невропатологов 1951 г., кстати, весьма спорное: «Свидетельство и его значение с точки зрения судопроизводства» (Rapports... Paris, 1952. P. 261—299); а также его же «Теоретическое введение в использование психоанализа в криминологии» (в соавторстве с Ж. Лаканом), написанное по случаю XIII конференции франкоязычных психоаналитиков в 1950 г. и опубликованное (Revue française de psychanalyse. XV/1. 1951. P. 7—29; затем вошло в кн.: *Lacan J.* Écrits. Paris, 1966. P. 125—149).

[2] Чтобы понять аллюзию Фуко, надо вспомнить о том, что Софья Ростопчина, графиня де Сегюр (1799—1874), является автором множества книг для детей, написанных тем самым детским языком матери; А.-К. Фукье-Тенвиль (1746—1795) был публичным исполнителем революционного трибунала в период Террора, а Ж.-Э.-Д. Эскироль (1772—1840), основавший совместно с Ф. Пинелем психиатрическую клинику, был также главным врачом королевской резиденции в Шарантоне (в 1825 г.).

[3] О Пьере Ривьере см. выше, в лекции от 8 января, и ниже, в лекции от 12 февраля. Жорж Рапен убил свою любовницу в лесу Фонтенбло 29 мая 1960 г. Защищавшийся адвокатом Рене Флорио, он был приговорен к смерти и казнен 26 июля 1960 г.

[4] Об отчетах, составлявшихся Ж.-Э.-Д. Эскиролем, Э.-Ж. Жорже и Ш.-Ш.-А. Марком с 1820-х гг., см. ниже, лекция от 5 февраля. См.

также резюме курса в Коллеж де Франс за 1970—1971 гг. «Воля к знанию» (Dits et Écrits. II. P. 244): «Общей темой семинара этого года было изучение уголовной практики во Франции XIX века. За год был пройден путь от первых шагов уголовной психиатрии до эпохи Реставрации. Использованный материал был представлен преимущественно судебно-медицинскими экспертизами, составленными современниками и учениками Эскироля».

[5] Премонстранты — орден уставных каноников, основанный в 1120 г. и подчинявшийся августинскому уставу. Упразднен Великой французской революцией.

[6] Цитируемый документ происходит из каталога прошений, составленного по просьбе Мишеля Фуко Кристианом Мартеном, умершим, так и не успев завершить свою работу; он опубликован в кн.: Le Désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille, présenté par A. Farge et M. Foucault. Paris, 1982. P. 294—296.

[7] Дебаты об отмене суда присяжных имели место на II Международном конгрессе по криминальной антропологии (1889), акты которого опубликованы в кн.: Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales. IV. 1889. P. 517—660.

[8] Приводятся названия немецкого (Sexualunterdrückung. Geschichte der Sexualfeindschaft. Hamburg, 1970) и французского (Histoire de la répression sexuelle. Paris, 1972 / trad. C. Chevalot) переводов книги нидерландского автора Й. Ван Усселя (*Van Ussel J.*): Geschiedenis van het seksuele probleem. Meppel, 1968.

[9] См. об этом: *Foucault M.* L'hypothèse répressive // La Volonté de savoir. Paris, 1976. P. 23—67.

[10] Имеется в виду анализ разновидностей карательной тактики, предложенный Фуко в лекционном курсе 1972—1973 гг. в Коллеж де Франс; см.: «Карательное общество» (особенно лекцию от 3 января 1973 г.).

[11] Эти правила изоляции, намечавшиеся в 583 г. в постановлениях Церковных Соборов, а в 789 г. определенные капитулом Карла Великого, с XII—XIII веков регулярно обнаруживаются в документах обычного права и синодальных статутах. Так, в 1400—1430 гг. прокаженные обязывались в ряде епархий Северной и Восточной Франции проходить особую церемонию отторжения. Приводимый в церковь, так же как во время похорон, под пение молитвы «Libera me», больной, находясь в катафалке, выслушивал мессу, а затем его подвергали своеобразному погребению, провожали в новое пристанище. Эта литургия вышла из употребления после 1580 г., вслед за исчезновением проказы. См.: *Bourgeois A.* Lépreux et maladreries //

Mémoires de la commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais. XIV/2. Arras, 1972.

[12] См.: *Foucault M.* Histoire de la folie à l'âge classique. Paris, 1972. P. 13—16, 56—91.

[13] См.: *Ozanam J.-A.-F.* Histoire médicale générale et particulière de maladies épidémiques, contagieuses et épizootiques, qui ont régné en Europe depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. IV. Paris, 1835 (2). P. 5—93.

[14] См.: *Foucault M.* Surveiller et Punir. Naissance de la prison. Paris, 1975. P. 197—201.

[15] Эта литература начинается с Фукидида (История: II, 47, 54) и Лукреция (О природе вещей: VI, 1138, 1246) и продолжается до Антонена Арто («Театр и его двойник», 1938) и Альбера Камю («Чума», 1946).

[16] См. курс 1973—1974 гг. в Коллеж де Франс «Психиатрическая власть» (в частности, лекции от 21 и 28 ноября, 5 декабря 1973 г.). Резюме в кн.: Dits et Écrits. II. P. 675—686.

[17] См.: *Canguilhem G.* Le Normal et le Pathologique. Paris, 1972 (2). P. 169—222 (норма определяется как «полемическое понятие» на с. 177). Ср.: *Foucault M.* La vie: l'expérience et la science (1985) // Dits et Écrits. IV. P. 774—776.

Лекция от 22 января 1975 г.

Три фигуры, из которых складывается область аномалии: человеческий монстр, исправимый индивид, ребенок-мастурбатор. — Сексуальный монстр наводит мост между монстром и сексуально отклонившимся. — Исторический обзор трех фигур. — Смена исторического значения трех фигур. — Юридическое понятие монстра. — Священная эмбриология и юридическо-биологическая теория монстра. — Сиамские близнецы. — Гермафродиты: малоизвестные случаи. — Дело Марии Лемарси. — Дело Анны Гранжан.

Сегодня я хотел бы начать анализ области аномалии, какой она функционировала в XIX веке. Я попытаюсь показать вам, что эта область сложилась из трех элементов. Эти три элемента выделяются, определяются начиная с XVIII века и по-своему знаменуют наступление XIX века, образуя область аномалии, которая постепенно охватит, оккупирует, в некотором смысле колонизирует и в конечном итоге поглотит их. Эти три элемента являются, в сущности, тремя фигурами или, если хотите, тремя кругами, внутри которых шаг за шагом поднимается проблема аномалии.

Первая из этих фигур — это фигура, которую я назову «человеческим монстром». Референтным полем человеческого монстра, разумеется, является закон. Понятие монстра, по сути своей, — юридическое понятие, в широком смысле слова, конечно; монстр определяется тем, что он самим своим существованием и внешним обликом нарушает не только законы общества, но и законы природы. На двух этих уровнях он представляет собой нарушение законов самим своим существованием. Таким образом, поле возникновения монстра — это

область, которую можно назвать «юридическо-биологической». Кроме того, в этом пространстве монстр предстает как одновременно и крайнее, и крайне редкое явление. Он — предел, он — точка извращения закона, и в то же самое время он — исключение, обнаруживающееся лишь в крайних, именно в крайних случаях. Скажем так: монстр есть сочетание невозможного и запрещенного.

Этим обусловлен ряд двусмысленностей, продолжающих — почему я и хочу остановиться на этом чуть позже — преследовать фигуру ненормального человека и после того, как этот ненормальный человек, каким он определился в практике и знании XVIII века, воспроизвел в уменьшенном виде, перенял и, в некотором смысле, вобрал в себя черты, свойственные монстру. Да, монстр противоречит закону. Он — нарушение и нарушение, достигшее предельной степени. Однако, будучи нарушением (так сказать, сырым, необработанным нарушением), он не вызывает со стороны закона ответ, который был бы законным ответом. Можно сказать так: сила монстра, его способность устрашать основана на том, что, преступая закон, он в то же время лишает закон дара речи. Он отвлекает закон, обходя его. В то самое время, когда монстр самим своим существованием преступает закон, он вызывает, по сути дела, не ответ закона как таковой, а нечто совсем другое: насилие, попытки просто-напросто покончить с ним, или медицинское попечение, или просто жалость. Хотя существование монстра представляет угрозу для закона, отвечает на эту угрозу кто угодно, только не закон. Монстр — это нарушение, автоматически оказывающееся за пределами закона, и это одна из первых двусмысленностей. Вторая двусмысленность в том, что монстр — это в некотором роде спонтанная, стихийная, но как раз поэтому естественная форма противоестественного. Это созданная игрой самой природы преувеличенная модель, наглядная форма всевозможных мелких отклонений. И в этом смысле можно сказать, что монстр есть увеличенная модель всех незначительных нарушений. Это интеллигибельный принцип для всевозможных форм аномалии, циркулирующих в виде разменной монеты. Поиск фона монструозности за мелкими аномалиями, мелкими отклонениями, мелкими

сдвигами: эта проблема будет заявлять о себе на всем протяжении XIX века. Так, этот вопрос поднимет, столкнувшись с преступниками, Ломброзо.[1] Что за великий природный монстр вырисовывается за мелким воришкой? Парадоксальным образом монстр — вопреки занимаемой им крайней позиции, вопреки тому, что он одновременно невозможен и запрещен, — оказывается интеллигибельным принципом. Причем этот интеллигибельный принцип — принцип насквозь тавтологический, ибо именно монстр самоутверждается в качестве монстра, объясняет собою все отклонения, которые могут быть из него выведены, сам при этом оставаясь непостижимым. Итак, он и есть эта тавтологическая интеллигибельность, этот отсылающий лишь к самому себе объяснительный принцип, который обнаруживается за всеми анализами аномалии.

Эти связанные с понятием монстра двусмысленности, громко заявившие о себе в конце XVIII—начале XIX века, мы находим вполне жизнеспособными, хотя и смягченными, приглушенными, но все же действительно активными, во всей проблематике аномалии и во всех судебных и медицинских техниках, которые практикуются в отношении аномалии, в XIX веке. Говоря кратко, ненормальный (причем до конца XIX, а возможно, и до XX века — вспомните экспертизы, которые я зачитывал вам в начале) является по сути своей тривиальным, банализированным монстром. Ненормальный долгое время будет оставаться своего рода серым монстром. И это первая фигура, которую мне хотелось бы кратко исследовать.

Вторая фигура, к которой я вернусь позже и которая тоже присутствует в генеалогии аномалии и ненормального индивида, — это фигура, которую можно было бы назвать фигурой «исправимого индивида». Это еще один персонаж, отчетливо вырисовывающийся в XVIII веке, несколько позднее монстра, и, как вы увидите, имеющий весьма глубокую родословную. По сути дела, исправимый индивид — это индивид, особенно характерный для XVII и XVIII веков, для классической эпохи. Его референтное поле явно уже, чем у монстра. Референтное поле монстра — это природа и общество, законы мира в их со-

вокупности; монстр — космологическое (или антикосмологическое) существо. Референтное поле исправимого индивида имеет гораздо более узкие границы: это семья в регламенте ее внутренней власти или в ее экономическом распорядке или, самое большее, семья во взаимоотношении с институтами, которые соседствуют с нею или подпирают ее. Исправимый индивид возникает в той игре, в том конфликте, в той опорной системе, которая существует между семьей и школой, мастерской, улицей, кварталом, церковным приходом, полицией и т. д. Это обрамление и формирует то поле, в котором появляется исправимый индивид.

Однако этот исправимый индивид имеет и другое отличие от монстра: частота его распространения значительно выше. Монстр — по определению, исключение; исправимый индивид — явление обычное. До такой степени обычное, что ему свойственно — и это его первый парадокс — быть, если можно так выразиться, регулярным в своей нерегулярности. Из чего тоже проистекает целый ряд двусмысленностей, с которыми мы встречаемся в проблематике ненормального человека не только в XVIII веке, но и гораздо позднее. Прежде всего важно следующее: поскольку исправимый индивид очень распространен, поскольку он совсем рядом с правилом, его всегда очень трудно определить. С одной стороны, это своего рода семейная, повседневная данность, в результате которой такого индивида легко распознать сразу, и чтобы распознать его, не требуется улик — настолько он обычен. Поскольку же улик нет, никак невозможно на деле продемонстрировать, что индивид неисправим. Он ровнехонько на границе неквалифицируемости. На него нет нужды собирать улики, и его невозможно изобличить. Такова первая двусмысленность.

Вторая двусмысленность исправимого заключается в том, что подлежащий исправлению оказывается подлежащим исправлению постольку, поскольку все техники, все процедуры, все обиходные и внутрисемейные укротительные меры, с помощью которых его пытались исправить, не возымели действия. Выходит, что исправимый индивид определяется тем, что он неисправим. И тем не менее, парадоксальным образом, этот неисправимый, потому что он неисправим, навлекает на

себя ряд особого рода вмешательств — ряд вмешательств, не сводящихся к техникам укрощения и коррекции обиходного и внутрисемейного уровня, то есть некую новую технологию перевоспитания, дополнительной коррекции. В итоге вокруг этого индивида сплетается своеобразная сеть взаимодействия неисправимости и исправимости. Намечается ось исправимой неисправимости, на которой-то и возникнет позднее, в XIX веке, индивид ненормальный. Другая же ось, ось неисправимой исправимости, станет стержнем всех специальных институтов для ненормальных, которые сложатся в XIX веке. Будучи серым, или тривиальным, монстром, ненормальный XIX века в то же время является неисправимым, тем неисправимым, который помещается в центре коррекционной машинерии. И в лице которого мы имеем дело со вторым предком ненормального XIX века.

Третий же его предок — это «мастурбатор». Мастурбатор, ребенок-мастурбатор, представляет собой совершенно новую фигуру XIX века (хотя принадлежит она даже концу XVIII века), поле возникновения которой — семья. Даже, можно сказать, нечто более узкое, чем собственно семья: референтным полем ребенка-мастурбатора является уже не природа и общество, как это было у монстра, и не семья с ее окружением, как это было у исправимого индивида. На сей раз это гораздо более тесная территория. Это комната, кровать, тело; это родители, постоянные свидетели, братья и сестры; наконец, это врач — целая микроклетка вокруг индивида и его тела.

Эта появляющаяся в конце XVIII века фигура мастурбатора обладает рядом отличительных свойств по сравнению с монстром и неисправимым исправимым. Первое из них заключается в том, что в мысли, знании и педагогических техниках XVIII века мастурбатор зарождается и предстает отнюдь не как из ряда вон выходящий, но как частый случай индивида. Он предстает как индивид почти универсальный. Однако этот совершенно универсальный индивид, то есть эта признаваемая универсальной практика мастурбации, в то же время считается закрытой, или не признаваемой, такой, о которой никто не говорит, которой никто не знает и тайна которой никогда не передается из уст в уста. Мастурбация — это

всеобщий, разделяемый всеми секрет, которым, однако же, никто ни с кем не делится. Это секрет, хранимый каждым, секрет, который никогда не попадает в самосознание и в общепринятый дискурс (ко всему этому мы еще вернемся), и общая формула на этот счет такова (я лишь слегка изменю слова о мастурбации, встречаемые в книгах конца XVIII века): «Почти никто не знает о том, что почти все это делают». И в этом пункте организации знания и антропологических техник XIX века есть нечто решительно новое. Этот всеми разделяемый и никем не выдаваемый секрет оказывается в своей квазиуниверсальности возможным и даже, может быть, реальным корнем почти всех возможных зол. Он — своего рода поливалентная причина, к которой можно привязать (и к которой медики XVIII века немедля привязывают) все многообразие, весь арсенал телесных, нервных и психических болезней. В патологии конца XVIII века не найти практически ни одной болезни, которая не могла бы основываться на той или иной разновидности этой, то есть сексуальной, этиологии. Иными словами, этот почти универсальный принцип, обнаруживаемый почти у всех, в то же время выступает объяснительным принципом наисерьезнейшего нарушения природы; это объяснительный принцип патологической частности. Мастурбируют все — и это объясняет, что некоторые подвержены тяжелым болезням, которых нет ни у кого другого. С этим этиологическим парадоксом в применении к сексуальности и сексуальным аномалиям мы встретимся и в XIX, и в XX веке. В нем нет ничего удивительного. Удивительно же, если хотите, то, что этот парадокс и эта общая форма анализа были сформулированы, причем аксиоматически сформулированы, уже в последние годы XVIII века.

Чтобы локализовать эту археологию аномалии, можно, думаю, сказать следующее: ненормальный XIX века является наследником трех этих индивидов: монстра, неисправимого и мастурбатора. Ненормальный индивид XIX века и даже позднее, гораздо позднее, будет отмечен в окружающей его медицинской и судебной практике, в знании и институтах, этой со временем все более приглушенной и незаметной печатью монструозности, этой поправимой и все теснее обступае-

мой исправительными аппаратами неисправимостью. И наконец, он будет отмечен этим всеобщим и частным секретом, каковым является общеуниверсальная этиология злейших недугов. Поэтому генеалогия ненормального индивида приводит нас к трем фигурам: монстру, излечимому и онанисту.

Теперь, прежде чем переходить к изучению монстра, я хотел бы сделать несколько ремарок. Первая касается следующего. Разумеется, три фигуры, на чьи особенности в XVIII веке я вам указал, сообщаются друг с другом, вступают в сообщение очень быстро, уже во второй половине XVIII века. Например, отчетливо видно, как появляется фигура, по большому счету не известная предшествующим эпохам, — фигура сексуального монстра. Отчетливо видно, как взаимодействуют фигуры индивида-монстра и сексуально ненормального. Ведь мастурбация, как выясняется, способна вызвать не только злейшие болезни, но и тяжелейшие телесные дефекты, и тяжелейшие поведенческие извращения. В то же время в том же конце XVIII века все коррекционные институты уделяют все большее внимание сексуальности и мастурбации как самой сердцевине проблемы неисправимых. Иными словами, монстр, неисправимый и мастурбатор суть персонажи, которые сразу же начинают обмениваться некоторыми своими чертами и границы которых начинают вдаваться друг в друга. Но я считаю — и это один из важных пунктов, которые мне хочется подчеркнуть, — что эти три фигуры все-таки остаются совершенно обособленными и существующими отдельно друг от друга до конца XVIII — начала XIX века. Узел возникновения того, что можно назвать технологией человеческих аномалий, технологией ненормальных индивидов, завяжется именно тогда, когда установится регулярная сеть знания и власти, в которой эти три фигуры будут объединены или, как минимум, осмыслены в общей системе регулярных установок. Именно в этот момент, только в этот момент, действительно выстраивается поле аномалий, в котором мы обнаружим и двусмысленности монстра, и двусмысленности неисправимого, и двусмысленности мастурбатора, но уже восстановленные внутри однородного и несколько менее ре-

гулярного поля. Но до этого, в эпоху, из которой я исхожу (конец XVIII—начало XIX века), эти три фигуры, как мне кажется, остаются отдельными. Они остаются разделены ровно постольку, поскольку разделены системы власти и системы знания, с которыми они соотносятся.

Так, монстр соотносится с тем, что можно широко охарактеризовать как круг политико-судебных властей. И в конце XVIII века его фигура уточняется, даже трансформируется, вместе с трансформацией этих политико-судебных властей. Неисправимый определяется, прорисовывается, трансформируется и дорабатывается по мере того, как перестраиваются по-новому функции семьи, а также по мере развития дисциплинарных техник. Что же касается мастурбатора, то он появляется и прорисовывается в ходе перераспределения властей, прилагающихся к телу индивидов. Конечно, эти инстанции власти не являются независимыми друг от друга, однако они не следуют общему типу функционирования. Нет такой технологии власти, которая могла бы объединить их, подразумевая внятное функционирование каждой из них. Думаю, именно поэтому мы и сталкиваемся с тремя этими фигурами в отдельности. И те инстанции знания, с которыми они соотносятся, отдельны в такой же степени. Монстр соотносится с естественной историей, заведомо сосредоточенной вокруг абсолютного и непреодолимого различия видов, родов, царств и т. д. Неисправимый соотносится с типом знания, медленно складывающегося на протяжении всего XVIII века: это знание, порождающее педагогические техники, техники коллективного воспитания и формирования навыков. Наконец, мастурбатор появляется довольно поздно, в самые последние годы XVIII века, и соотносится с зарождающейся биологией сексуальности, которая, собственно говоря, обретет научную стройность только в 1820—1830 гг. Таким образом, организация контрольных мер в отношении аномалии, как техника власти и знания XIX века, как раз и должна будет организовать, кодифицировать, сопрячь друг с другом эти инстанции знания и власти, которые в XVIII веке действуют порознь.

Еще одна ремарка: мне вполне отчетливо виден исторический уклон, который дает о себе знать в ходе XIX века и кото-

рый постепенно переворачивает иерархию трех наших фигур. В конце или по крайней мере в течение XVIII века самой важной фигурой, которая будет доминировать, которая заявит о себе (и как громко!) в судебной практике начала XIX века, несомненно является фигура монстра. Именно монстр составляет проблему, именно монстр мобилизует и медицинскую, и судебную системы. Именно вокруг монстра сплетается к 1820—1830 гг. вся проблематика аномалии, вокруг этих чудовищных преступлений, связанных с именами женщины из Селеста, Генриетты Корнье, Леже, Папавуана и т. д., — о них мы еще поговорим.[2] Именно монстр является главной фигурой, из-за которой приходят в беспокойство и реорганизуются инстанции власти и поля знания. Затем постепенно выдвигается более скромная, приглушенная фигура, не столь перегруженная научно и кажущаяся совершенно безразличной ко власти, — это мастурбатор или, если хотите, весь универсум сексуального отклонения. Вот что теперь приобретает все большую важность. Именно эта фигура перекроет в конце XIX века все прочие и в конечном итоге даст ход главным проблемам, связанным с аномалией.

Вот что я хотел сказать о положении трех этих фигур. Теперь, в трех или четырех следующих лекциях, я намерен кратко рассмотреть их сложение, их трансформацию и развитие с XVIII до второй половины XIX века, то есть в период, когда эти фигуры сначала формируются, а затем, с определенного момента, получают новое определение в рамках проблемы, техники и знания об аномалии.

Сегодня же начнем разговор о монстре.[3] Монстр — понятие не медицинское, а юридическое. В римском праве, которое очевидно служит фоном всей проблематики монстра, тщательно, если не абсолютно ясно, различаются две категории: категория уродства, увечья, дефектности (уродливое, увечное, дефектное — это как раз то, что называлось *portentum* или *ostentum*) и категория собственно монстра.[4] Так что же такое монстр в научно-юридической традиции? Со времен Средневековья и до интересующего нас XVIII века монстр — это по сути своей гибрид. Гибрид двух царств, животного и человеческого: человек с головой быка, человек с ногами птицы —

монстр.[5] Это помесь, гибрид двух видов: овцеголовая свинья — монстр. Это гибрид двух индивидов: тот, у кого две головы и одно туловище, или тот, у кого два туловища и одна голова, — монстр. Это гибрид двух полов: тот, кто является мужчиной и женщиной одновременно, — монстр. Это гибрид жизни и смерти: зародыш, явившийся на свет с нежизнеспособной морфологией, но все же способный прожить несколько минут или несколько дней, — монстр. Наконец, это гибрид форм: тот, у кого нет ни рук, ни ног, как у змеи, — монстр. Следовательно, мы имеем дело с нарушением природных границ, с нарушением классификаций, с нарушением таблицы, закона как таблицы: действительно, именно это имеет в виду понятие монструозности. Однако не думаю, что это завершенное определение монстра. Юридического нарушения естественного закона оказывается недостаточно — бесспорно недостаточно для средневековой мысли и наверняка недостаточно для мысли XVII и XVIII веков, — чтобы определить монструозность. Чтобы монструозность имела место, это нарушение естественной границы, это нарушение закона-таблицы должно нарушать или, по меньшей мере, затрагивать некий запрет гражданского, религиозного или божественного права. Монструозность есть только там, где противоестественное беззаконие затрагивает, попирает, вносит сбой в гражданское, каноническое или религиозное право. Именно через точку столкновения, трения между нарушением закона-таблицы, естественного закона, и нарушением закона, установленного Богом или обществами, — именно через эту точку столкновения двух правонарушений проходит различие уродства и монструозности. Ведь, в самом деле, уродство — это тоже нечто такое, что попирает естественный порядок, но уродство не монструозность, ибо уродству есть место внутри гражданского или канонического права. Сколь бы урод ни был противен природе, он в некотором смысле предусмотрен правом. Напротив, монструозность — это такое несоблюдение естества, которое своим появлением подвергает право сомнению, ибо не подразумевает его действия. Право вынуждено спрашивать о своих собственных основаниях, о своей собственной практике — или молчать, или сдаваться, или апеллировать к дру-

гой референтной системе, или сочинять некую казуистику. По сути дела, монстр — это казуистика, посредством которой право по необходимости отвечает противоестественному беззаконию.

Итак, монстром будет называться такое существо, в котором налицо смешение двух царств, ибо, когда в одном и том же индивиде заметно присутствие животного и человеческого, на что ссылаются, ища этому причину? На преступление человеческого и божественного закона, то есть на прелюбодеяние между человеком и животным, совершенное его родителями.[6] Монстр, в котором смешаны два царства, является на свет не иначе как вследствие сексуальной связи между мужчиной (или женщиной) и животным. И на этом основании следует отсылка к нарушению гражданского или религиозного права. Но наряду с тем, что противоестественное беззаконие отсылает к нарушению религиозного или гражданского права, это религиозное или гражданское право оказывается в безвыходном положении, о котором свидетельствует, скажем, возникновение вопроса о том, следует ли крестить индивида с человеческим телом и звериной головой или, наоборот, со звериным телом и головой человека. И каноническое право, пусть и предусматривающее множество уродств, недостатков и т. п., не может ответить на этот вопрос. Однажды противоестественное беззаконие попирает юридический порядок, и появляется монстр. Так же, например, поднимает проблему — и в том числе проблему права — рождение несовершенного ребенка, обреченного на смерть, но проживающего несколько мгновений, часов или дней.[7] Это нарушение естественного порядка, но в то же время и юридическая загадка. В юриспруденции, скажем в праве наследования, вы обнаружите целый ряд дискуссий, раз за разом толкуемых, но так и не находящих разрешения случаев, самый типичный среди которых таков. Мужчина умирает, когда его жена беременна; он оставляет завещание, в котором говорится: «Если ребенок, которого ждет моя жена, родится в положенный срок, то он должен будет унаследовать все мое состояние. Если же, наоборот, он не рождается или рождается мертвым, если он оказывается мертворожденным, то вследствие этого мое состояние отходит

моей семье».[8] Но кому достанется состояние, если родится монстр? Следует ли считать в этом случае, что ребенок родился, или же что он не родился? Как только рождается это своеобразное соединение жизни и смерти, каковым является монстр, перед правом встает неразрешимая проблема. Если родился двухголовый монстр, или монстр с двумя туловищами, то сколько раз его крестить — единожды или дважды?[9] Надо ли считать, что родился один ребенок, — или же детей двое?[10] Я обнаружил следы (но, к несчастью, не сумел выяснить, куда попали документы дела, разбирательства, и ничто не подсказывает пути к ним[11]) истории сиамских близнецов, один из которых совершил преступление, в связи с чем потребовалось решить, один человек должен быть казнен или двое. Если казнить одного, другой тоже умрет, но если сохранить невиновному жизнь, то придется оставить в живых и его брата.[12] Вот в чем действительно проявляется проблема монструозности. Монстр может быть и двуполым существом, и тогда непонятно, кем его считать — мальчиком или девочкой; разрешать ли ему вступать в брак и с кем; может ли он занимать церковную должность; может ли он получать религиозный сан и т. д.[13]

Все эти проблемы юридической тератологии обсуждаются в очень интересной книге, которая, на мой взгляд, просто необходима, чтобы разобраться в вопросе зарождения и развития юридическо-медицинской, естественно-юридической, медицинско-юридической проблемы монстра. Это книга священника по имени Канджиамила. В 1745 г. он опубликовал сочинение под названием «Трактат о священной эмбриологии», в котором вы найдете естественно-юридическую, биологическо-юридическую теорию монстра.[14] Таким образом, монстр возникает и функционирует в XVIII веке на самом стыке природы и права. Он приносит с собою естественное преступление, смешение видов, путаницу границ и свойств. Но он монстр лишь потому, что также представляет собою юридический лабиринт, сбой, нарушение в работе закона, преступление и неразрешимый случай на уровне права. В XVIII веке монстр — это естественно-юридический комплекс.

То, что я говорил вам, относится к XVIII веку, но я думаю, что вообще это естественно-юридическое функционирование монстра — явление довольно древнее. И оно еще долго заявляет о себе — и в XIX веке. Именно его, хотя и с учетом сдвига, с учетом трансформации, мы встречаем в экспертизах, которые я вам читал. Но мне кажется, что уже в XVIII веке, применительно к монстру особого рода, мы видим начало разработки новой теории монструозности, которая принадлежит XIX веку. Вероятно, впрочем, что в каждую эпоху существовали — во всяком случае, для юридической и медицинской рефлексии — привилегированные типы монстра. В средние века это, конечно, был зверочеловек, то есть гибрид двух царств, человек и животное одновременно. Мне кажется — и к этому стоило бы присмотреться более пристально, — что в эпоху Ренессанса мы с удивлением встречаем такую явно преобладающую и в литературе вообще, и в сочинениях по медицине и праву, и в религиозных книгах форму монструозности, как сиамские близнецы. Двое в одном, двое, составляющие одно. С очень любопытной отсылкой, присутствующей почти всегда, очень регулярно, в сочинениях конца XVI и еще начала XVII века: индивид с одной головой и двумя туловищами или с одним туловищем и двумя головами; таков образ королевства, таков образ христианства, разделенного на две религиозные общности. В связи с этим завязываются интереснейшие дискуссии, в которых сопрягаются религиозная и медицинская проблематики. В частности, можно привести историю двух сиамских братьев [*rectius*: сестер], которых крестили, или, точнее, которых попытались окрестить. Одна получила крещение, а вторая умерла, не успев креститься. Вспыхнула горячая дискуссия, и католический священник (который крестил) сказал: «Никаких затруднений. Если другая умерла, значит, она должна была стать протестанткой». Есть также изображение Французского королевства, одна половина которого осенена крещением, а другая проклята и окутана тьмой. И во всяком случае показательно, что в юридических, медицинских и религиозных делах конца XVI и начала XVII века сиамские близнецы — постоянная тема.[15]

В классическую же эпоху преобладающим становится другой тип монстра: гермафродиты. Именно вокруг гермафроди-

тов складывается или, во всяком случае, начинает складываться новая фигура монстра, которая возникнет в конце XVIII века и будет функционировать в начале XIX века. В общем, можно принять — хотя, несомненно, следует изучить эту тему более подробно — то, что обычно говорится о Средневековье: что в Средневековье и до XVI (даже до начала XVII) века гермафродиты как таковые считались монстрами и подвергались казни: их сжигали, а прах развеивали. Согласимся с этим. В самом деле, в самом конце XVI века, в 1599 г., мы находим случай наказания гермафродита, осужденного как гермафродит и, кажется, ничем, помимо своего гермафродитизма, не отличившегося. Этим разоблаченным гермафродитом была некая Антида Коллас. Она жила в городе Доль, и, осмотрев ее, медики заключили, что у данного индивида действительно два пола и что единственной причиной этого может быть связь с сатаной, которая и прибавила к его первоначальному полу другой, противоположный. На допросе гермафродит признался, что имел сношения с сатаной, и был сожжен в том же Доле в 1599 г. Думаю, это один из последних случаев, когда гермафродита казнили за то, что он гермафродит.[16]

Но по прошествии совсем недолгого времени мы встречаемся с юриспруденцией другого типа, отлично представленной в «Словаре постановлений верховных судов Франции» Брийона,[17] который свидетельствует о том, что по крайней мере с XVII века ни один гермафродит не был осужден как гермафродит. Если его признавали таковым, ему предлагалось выбрать своим полом тот, который у него преобладал, и вести себя в соответствии с таким образом определенным полом, в частности — носить подобающую одежду; только в случае использования своего придаточного пола он нарушал уголовные законы и заслуживал наказание, предусмотренное для содомитов.[18] В самом деле, мы находим целый ряд приговоров гермафродитам, замеченным в этом использовании придаточного пола. Так, Эрикур в своде «Церковные законы Франции», вышедшем в 1761 г. [*rectius*: 1771], приводит историю, датируемую самым началом XVII века.[19] Гермафродит был осужден и сожжен за то, что, выбрав для себя мужской пол,

использовал свой второй пол в отношениях с другим мужчиной.[20] В том же начале XVII века двух гермафродитов сожгли заживо, а прах развеяли по ветру, только за то, что они жили вместе — и по необходимости (так, во всяком случае, предполагалось) пользовались в отношениях друг с другом обоими своими полами.[21]

Интересна история гермафродитов с XVII до конца XVIII века. Я опишу два таких дела. Одно относится к 1614—1615 гг. [*rectius*: 1601[22]], другое — к 1765 г. Первое дело получило в свое время известность как процесс «Руанского гермафродита».[23] Некто, при крещении нареченный Марией Лемарси, затем постепенно сделался мужчиной, начал носить мужскую одежду и сочетался браком с вдовой, имевшей троих детей. Далее следует разоблачение. Мария Лемарси, к тому времени уже носящая имя Марин Лемарси, предстает перед судом, и первые судьи требуют провести медицинскую экспертизу силами врача, аптекаря и двух хирургов. Последние не обнаруживают ни единого мужского признака. Мария Лемарси приговаривается к повешению, тело ее постановляют сжечь, а пепел развеять по ветру. Что же касается ее жены (точнее, женщины, жившей с ним или с ней), ту осуждают к участию в казни своего мужа и порке в городской крепости. Суровая кара, как следствие — апелляция, и вышестоящий суд [в Руане] назначает новую экспертизу. Эксперты полностью согласны со своими предшественниками в том, что никаких мужских признаков нет, однако один из них, по имени Дюваль, все же находит таковые. Руанский суд выносит интересный вердикт: он освобождает женщину, всего-навсего запретив ей носить мужскую одежду и сожительствовать с любым другим человеком мужского или женского пола «под страхом смерти». Иными словами, запрет на всякую сексуальную связь, но никакого наказания за факт гермафродитизма, за природу гермафродитизма, и также никакого наказания за сожительство с женщиной, хотя преобладающий пол подсудимой был, по всей видимости, женским.

Это дело кажется мне важным по целому ряду причин. Во-первых, потому что оно привело к распре между двумя медиками: один из них был крупным специалистом своего вре-

мени по монстрам и автором нескольких книг о монструозности, его звали Риолан, а второй — тот знаменитый врач, о котором я упомянул только что, эксперт Дюваль.[24] Экспертиза Дюваля представляет большой интерес, ибо в ней обнаруживается то, что можно было бы назвать первыми ростками клиники сексуальности. Дюваль предпринимает исследование, не похожее на традиционный осмотр почтенных матрон, медиков и хирургов. Он производит детальный анализ, включающий пальпацию, а главное, подробно описывает в своем отчете обнаруженные органы. Думаю, у него мы имеем дело с первым медицинским текстом, в котором половая организация человеческого тела представлена не в общей форме, а в клиническом описании применительно к частному случаю. Ранее медицинский дискурс говорил о половых органах лишь в общем, то есть об их совокупном строении, никого не имея в виду и пользуясь очень ограниченным словарем. Теперь же, наоборот, перед нами оказывается описание, детальное, индивидуальное описание, где вещи называются своими именами.

Конечно, так делает не один Дюваль, но именно он дает теорию медицинского дискурса о сексуальности. Он говорит это. В сущности, неудивительно, что половые органы или органы размножения никогда прежде не могли именоваться в медицинских текстах. То, что врач колебался, говорить об этом или нет, было вполне нормальным. Почему? Потому что это старинная, идущая от античности традиция. Ведь женщины в античные времена были исключительно презренными людьми. Античные женщины вели себя столь развратно, что было вполне нормальным, если ученый муж не позволял себе говорить о половых органах женщины. И вот явилась Дева Мария, «носившая в утробе нашего Спасителя», как выражается Дюваль. С этого-то момента и возник «священный брак», «похоть прекратилась» и «порочные привычки женщин были побеждены». Откуда следует ряд выводов. Во-первых, «матка, которая прежде была главной мишенью хулы в адрес женщины», отныне должна была быть признана «самым благодатным, возвышенным, святым, самым почитаемым и чудесным храмом мира». Во-вторых, склонность к женской матке, свойственная мужчинам, стала уже не пристрастием к похоти, но

своего рода «божественным заветом во плоти».[25] В-третьих, высокочтимой стала функция женщины как таковая. Именно женщине с начала христианства доверяется содержание и сохранение домашнего имущества, а также передача его детям. И вот еще один вывод, а точнее — общий вывод из всего этого: отныне, поскольку матка стала этим священным объектом, с того самого момента, как женщина была освящена религией, браком и экономической системой передачи благ, вследствие всех этих событий необходимо познать матку. Почему? Прежде всего потому, что это позволит освободить женщин от множества мучений, а главное, поможет избежать смерти многих из них во время родов. Наконец, и это самое главное, знание поможет избежать смерти многих детей при рождении или даже до рождения. И тут Дюваль говорит, приводя, конечно, абсолютно безумную цифру: каждый год миллион детей могли бы увидеть свет, если бы знание врачей было достаточно глубоким, чтобы позволять им надлежащим образом принимать роды наших матерей. Сколькие дети не родились, сколькие матери умерли вместе с ними, легли с ними в одну могилу, — восклицает Дюваль, — из-за этого «стыдливого молчания»! Как видите, в этом тексте, относящемся к 1601 г., напрямую сопрягаются друг с другом тема религиозной и экономической сакрализации женщины и уже меркантилистская, сугубо экономическая тема связи силы нации с числом ее населения. Женщины незаменимы, ибо они зачинают; дети незаменимы, ибо они поставляют население, и никакое «стыдливое молчание» не должно мешать познанию того, что позволит спасти женщин и детей. Дюваль пишет: «Какая жестокость, какая низость, какое бесчестие сознавать, что стольким душам, которым мог бы открыться свет этого мира [...], нужно от нас всего-навсего одно умение». Коим мы не располагаем по причине слов, «которые кто-то считает щекотливыми и будто бы способными развратить», что, без сомнения, «недостойный ответ, учитывая такое множество зла и недоразумений».[26] Этот текст кажется мне важным, так как в нем содержится не только медицинское описание половых органов, не только клиническое описание применительно к частному случаю, но также теория старинного медицинского молчания о половых

органах и теория нынешней необходимости открытого разговора о них.

Теперь я ненадолго открою скобки. Всюду говорится о том, что до XVI и еще в начале XVII века о сексуальности можно было говорить в рамках словесной вольности, свободного языка, тогда как в классическую эпоху она перешла в режим умолчания или, во всяком случае, метафоры. Думаю, что все это совершенно верно и совершенно неверно. Это явная ложь, если мы говорим о языке вообще, и чистая правда, если мы потрудимся разделить типы дискурсивного образования и практики, которые имеем в виду. Если в литературной речи, начиная с классической эпохи, разговор о сексуальности и впрямь подчинился режиму цензуры и смещения, то, напротив, в медицинском дискурсе случился противоположный сдвиг. До этого времени медицинский дискурс был совершенно непроницаемым, закрытым для изъяснения и описания данного типа. Но именно с этого времени, то есть с этого случая Руанского гермафродита, появляется и одновременно теоретически обосновывается необходимость научного дискурса о сексуальности или, как минимум, об анатомической организации сексуальности.

А вот еще одна причина важности дела Руанского гермафродита. В нем отчетливо слышно утверждение о том, что гермафродит — это монстр. Оно присутствует в речи Риолана, где тот говорит, что гермафродит — монстр, так как он противоречит обычному порядку и правилу природы, которая разделила род человеческий на два пола — мужской и женский.[27] Следовательно, если некто имеет сразу два пола, он должен считаться и называться монстром. Но при этом, поскольку гермафродит — монстр, его, согласно Риолану, надлежит исследовать, для того чтобы определить, какую одежду он должен носить и с кем может, если вообще может, вступать в брак.[28] Таким образом, перед нами, с одной стороны, прямо сформулированная потребность в медицинском дискурсе о сексуальности и ее органах, а с другой стороны — традиционное представление о гермафродитизме как монструозности, но как о монструозности, которая, как видите, все-таки избегает осуждения, некогда бывшего непременным.

Теперь 1765 г.: спустя 150 лет, в конце XVIII века, почти такое же дело. Это дело Анны Гранжан, крестившейся как девочка.[29] Однако — как скажет автор памятной записки в ее защиту — «к четырнадцати годам некий инстинкт удовольствия повлек ее к подругам».[30] Взволнованная этой тягой, которую она испытывала к девочкам, существам своего пола, Анна решает одеваться в мужские вещи, меняет город, селится в Лионе и женится на некоей Франсуазе Ламбер. Затем, разоблаченная, оказывается перед судом. Осмотр хирурга — и заключение, что она женщина, а следовательно, если она жила с другой женщиной, то заслуживает осуждения. Она пользовалась не преобладающим у нее полом, и первый суд назначает ей наказание железным ошейником со следующей надписью: «Осквернитель таинства супружества».[31] Железный ошейник, плеть и позорный столб. И вновь апелляция в верховный суд провинции Дофине. Ее объявляют неподсудной, то есть освобождают, взяв обязательство носить женскую одежду и запретив посещать как Франсуазу Ламбер, так и любых других женщин. Как видите, судебный итог, вердикт этого дела почти такой же, как и в 1601 г., с тем отличием, что Франсуазе Ламбер [*rectius*: Анне Гранжан] запретили сожительствовать с женщинами, и только с женщинами, а в предыдущем случае этот запрет распространялся на всех людей «всякого» пола.[32] Марину Лемарси была запрещена сексуальность, сексуальная связь.[33]

Будучи почти безоговорочно изоморфным делу 1601 г., это дело Гранжан тем не менее знаменует собой весьма значительную эволюцию. Теперь — а ведь так было еще у Риолана — гермафродитизм уже не определяется в медицинском дискурсе как смешение полов.[34] В мемуарах о деле Гранжан, написанных и опубликованных Шампо, автор прямо ссылается на почти современный текст из «Словаря медицины», где в статье «Гермафродит» специалист заявляет: «Все эти истории о гермафродитах я считаю сказками».[35] Для Шампо, да и для большинства медиков той эпохи, смешения полов быть не может, одновременное наличие двух половых систем в одном организме и у одного индивида невозможно.[36] Но есть индивиды, «имеющие один [преобладающий] пол, однако у кото-

рых так плохо развиты органы деторождения, что они не способны к зачатию [ни внутри себя, ни за пределами себя]».[37] Поэтому то, что называют гермафродитизмом, на самом деле есть не что иное как нарушение строения органов, сопровождающееся бесплодием. Есть люди, имеющие мужские органы и некоторые женские черты (мы бы сказали: вторичные половые признаки), и эти люди, как говорит Шампо, немногочисленны.[38] И есть люди, а точнее — женщины, имеющие женские органы и мужские черты, вторичные половые признаки; таких, — говорит Шампо, — очень много.[39]

Итак, монструозность как смешение полов, как поругание над всем, что отделяет один пол от другого, исчезает.[40] С другой стороны, — и это начало разработки того понятия монструозности, которое мы обнаружим в начале XIX века, — смешения полов нет вообще: есть лишь некие странности, несовершенства, нарушения природы. И эти странности, дефекты строения, нарушения, ошибки природы являются — во всяком случае, могут являться — принципом или поводом для ряда криминальных поступков. Осуждение упомянутой Гранжан должно быть обусловлено, должно быть вызвано, как говорит Шампо, не тем, что она гермафродит. А просто-напросто тем, что, будучи женщиной, она имеет извращенные склонности — любит женщин, и вот эта монструозность, не природная, а поведенческая, должна повлечь за собой наказание. Таким образом, монструозность — это уже не неподобающее смешение того, что от природы должно быть разделено. Это просто неправильность, легкое отклонение, которое тем не менее может обусловливать действительную, то есть природную, монструозность. И Шампо говорит: «Так зачем же подозревать этих женщин», — которые, в конце концов, обычные женщины, — «в похоти, в этом так называемом совмещении полов, и списывать их склонность к преступному разврату на первоначальное воздействие, оказанное на их пол природой? Это значило бы простить ужасные преступления тех позорящих человеческое звание мужчин, которые отказываются от естественного союза ради утоления своей звериной страсти с другими мужчинами. Кто-то скажет, что рядом с женщинами они испытывают холод и что инстинкт удоволь-

ствия, причина которого им неведома, вопреки воле притягивает их к своему полу. Но горе тому, кого способно убедить это рассуждение».[41]

Из этой истории видно, как развязывается естественно-юридический узел гермафродитной монструозности. На фоне простого несовершенства, отклонения (соматической аномалии, как мы могли бы с опережением сказать) появляется уже не естественно-юридическое, а морально-юридическое представление о монструозности; на смену монструозности природы приходит монструозность поведения.[42] Именно эта тема монструозности поведения в конце концов заявила о себе и оказалась в центре дискуссии вокруг дела Гранжан. Защитник Анны Гранжан, адвокат Вермей (который не защищал ее, так как уголовный суд в это время не предусматривал адвокатов, но опубликовал выступление в ее защиту), настаивал, идя вразрез с единодушным мнением врачей, на значимости органического дефекта.[43] Наперекор медикам Вермей упирал на то, что у Анны Гранжан имеет место смешение полов, то есть самый настоящий гермафродитизм. Потому что тем самым он мог снять с нее вину в моральной монструозности, в которой ее обличали медики, как раз отказавшиеся считать гермафродитизм монструозным, отказавшиеся видеть в нем действительное смешение полов. В этом даже усматривали свидетельство того, что на самом-то деле так оно и есть. В защиту Анны Гранжан была опубликована и ходила под ее собственным именем поэма о любви, обращенная к той женщине, с которой она жила. К несчастью, — и вполне определенно — поэма эта не принадлежит перу Анны Гранжан. Это пространное и многословное сочинение, весь смысл которого исчерпывается, думаю, тем, чтобы в поддержку защитникам обвиняемой показать, что чувство, испытывавшееся ею к женщине, с которой она жила, было чувством совершенно естественным и не монструозным.[44]

Так или иначе, при сравнении первого и второго дел, прошедших в Руане и Лионе в 1601 и 1765 гг., ясно видно, как намечается перемена — в некотором роде обособление моральной, поведенческой монструозности, которое переносит старинную категорию монстра из области соматического и

естественного расстройства в область обыкновенной криминальности. С этого момента зарождается новая, особая область монструозной преступности, или преступности, источник которой заключен не в природе и путанице видов, но собственно в поведении.

Конечно, это только лишь набросок. Это завязка процесса, который продлится как раз между 1765 и 1820—1830 годами и в ходе которого по-настоящему разразится проблема монструозного поведения, монструозной преступности. Это лишь отправной пункт предстоящего движения, предстоящей трансформации. Но чтобы кратко подытожить сказанное, я хочу сказать вот о чем. До середины XVIII века монструозность имела криминальный статус, так как была преступлением против целой системы законов, как естественных, так и юридических. Иными словами, монструозность была криминальной сама по себе. Юриспруденция XVII и XVIII веков максимально сглаживает уголовные последствия этой внутренне криминальной монструозности. Однако я думаю, что и в конце XVIII века она все еще остается по сути своей фундаментально криминальной. Итак, это криминальная монструозность. Затем, к 1750 г., к середине XVIII века (по причинам, которые я в дальнейшем попытаюсь проанализировать), появляется нечто иное, а именно тема монструозной природы преступности, монструозности, источники которой лежат в поле поведения, в поле криминальности, а не в поле природы как таковой. До середины XVIII века криминальность была необходимой составляющей монструозности, и монструозность еще не была тем, чем стала позднее, то есть возможной качественной характеристикой криминальности. Фигура преступника-монстра, фигура морального монстра внезапно появится и стремительно распространится в конце XVIII—начале XIX века. Она заявит о себе в удивительно разнообразных дискурсивных формах и практиках. В литературе моральный монстр появляется с возникновением готического романа, в конце XVIII века он прорывается у Сада. Также он появляется в целом ряде политических тем, о которых я расскажу вам в следующий раз. Наконец, он появляется в судебном и медицинском мире. Проблема состоит в том, как именно произош-

ла трансформация. Что в конце концов мешало формированию этой категории монструозной преступности? Что мешало усмотреть в обостренной криминальности разновидность монструозности? Почему преступная крайность не соотносилась с ошибкой природы? Почему пришлось дождаться конца XVIII и начала XIX века, прежде чем появилась эта фигура злодея, эта фигура преступника-монстра, в которой крайняя степень беззакония оказалась сопряжена с ошибкой природы? Причем ошибка природы как таковая не является преступлением, но преступление отсылает как к своему истоку, как к своей причине, как к своему оправданию, как к своему обрамлению — как хотите, — к чему-то, являющемуся ошибкой самой природы.

Вот что я попытаюсь объяснить в следующей лекции. Я думаю, что принцип этой трансформации наверняка лежит в области экономики карательной власти и трансформации самой этой экономики.

Примечания

[1] Мишель Фуко, конечно же, имеет в виду деятельность Чезаре Ломброзо в области криминальной антропологии. См., в частности: *Lombroso C.* L'Uomo delinquente studiato in rapporto all'antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie. Milano, 1876 (французский перевод 4-го итальянского издания см.: L'Homme criminel. Paris, 1887).

[2] См. ниже: лекции от 29 января и от 5 февраля.

[3] Анализ фигуры монстра, который М. Фуко проводит в рамках этого курса, основывается прежде всего на книге Э. Мартена: *Martin E.* Histoire des monstres depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Paris, 1880.

[4] *Martin E.* Histoire des monstres... P. 7: «Выражения *portentum* и *ostentum* обозначают простое отклонение, а выражение *monstrum* применяется исключительно ко всякому существу не человеческой формы». Вот положение римского права (Дигесты, I.5.14): «Non sunt liberi qui contra formam humani generis converso more procreantur: veluti si mulier monstrosum aliquid aut prodigiosum enixa sit. Partus autem, qui membrorum humanorum officia ampliavit, aliquatenus videtur effectus et ideo inter liberos connumerabitur» (Digesta Iustiniani Augusti / edidit Th. Mommsen. II. Berolini, 1870. P. 16).

[5] См.: *Martin E.* Histoire des monstres... P. 85—110.

[6] См.: Paré A. Des monstres et prodiges // Les Œuvres. Paris, 1617 (7). P. 1031: «Бывают монстры, у которых внешний вид при рождении наполовину звериный, наполовину человеческий, или же целиком звериный, и которые являются детьми содомитов и безбожников, вопреки природе совокупляющихся и зачинающих с животными; от этого рождаются всякого рода безобразные чудовища, на которых стыдно смотреть и о которых стыдно говорить; однако бесстыдство коренится в деле, а не в словах, и если такое случается, это значит, что имело место позорное и отвратительное дело, великое бесчестие и мерзость мужчины или женщины, совокуплявшихся с животными, отчего некоторые и рождаются полулюдьми-полузверьми». Ср. в латинском издании: *Pareus A.* De Monstris et prodigiis // Opera. Latinitate donata I. Guilleameau labore et diligentia. Parisiis, 1582. P. 751.

[7] См.: [*Cangiamila F. E.*] Abrégé de l'embryologie sacrée ou Traité des devoirs de prêtres, des médecins et autres, sur le salut éternel des enfants qui sont dans le ventre de leur mère, [traduit par J.-A.-T. Dinouart]. Paris, 1762. Глава о крещении монстров завершается указанием на то, что, хотя «совершенно безобразный и омерзительный своим строением монстр обречен на скорую естественную смерть», все-таки существует закон, «который прямо запрещает умерщвлять этих монстров и обязывает пригласить священника, чтобы тот осмотрел их и вынес свое суждение» (p. 192—193).

[8] См.: *Zacchia P.* Questionum medico-legalium tomus secundus. Lugduni, 1726. P. 526. По истории вопроса наследования в случае рождения *monstrum* в европейской юриспруденции нового времени см.: *Martin E.* Histoire des monstres... P. 177—210.

[9] «Тут могут возникнуть два вопроса: «Когда монстра можно считать разумным существом и в таком качестве давать ему крещение?; В каком случае имеет место одна душа, а в каком две, и сколько крещений следует дать — одно или два?"» (*Cangiamila F. E.* Abrégé de l'embryologie sacrée... P. 188—189).

[10] «Если у монстра два тела, которые, хотя и соединены, имеют каждое свои конечности [...], то нужно совершить отдельно два крещения, ибо налицо два человека и две души; в крайнем случае следует пользоваться формулой во множественном числе: „Я крещу вас", „Ego vos baptiso"» (*Cangiamila F. E.* Abrégé de l'embryologie sacrée... P. 190—191).

[11] Мы не нашли документов, на которые ссылается М. Фуко.

[12] Этот случай упоминается Совалем (*Sauval H.* Histoire et Recherches des antiquités de la ville de Paris. II. Paris, 1724. P. 564): «По-

скольку он убил человека ударом ножа, его судили и приговорили к смерти. Но не казнили из-за его брата, совершенно не причастного к этому преступлению, так как, лишив жизни одного, непременно убили бы и другого».

[13] Юридические источники дискуссии — Digesta Iustiniani, I.5.10 (Quaeritur); XXII.5.15 (Repetundarum); XXVIII.2.6 (Sed est quaesitum) — можно найти в уже цитировавшихся Дигестах Юстиниана (Digesta Iustiniani Augusti... P. 16, 652, 820). В вопросе брака с римским правом солидарны и средневековые Суммы (см., напр.: *Segusio H. de*. Summa aurea ad vetustissimos codices collata. Basileae, 1573. Col. 488). По вопросу духовной службы см.: *Maiolus S*. Tractatus de irregularitate et aliis canonicis impedimentis in quinque libros distributos quibus ecclesiasticos ordines suscipere et susceptos administrare quisque prohibetur. Romae, 1619. P. 60—63.

[14] *Cangiamila F. E*. Embriologia sacra ovvero dell'uffizio de'sacerdoti, medici e superiori circa l'eterna salute de'bambini racchiusi nell'utero libri quattro. Palermo, 1745; Embryologia sacra sive De officio sacerdotum, medicorum et aliorum circa aeternam parvulorum in utero existentium salutem libri quatuor. Panormi, 1758. М. Фуко использует второе французское издание, значительно дополненное и одобренное Королевской Академией хирургии: *Cangiamila F. E*. Abrégé de l'embryologie sacrée ou Traité des devoirs de prêtres, des médecins, des chirurgiens, et des sages-femmes envers les enfants qui sont dans le sein de leur mère. Paris, 1766. В своем анализе «юридическо-естественной» или «юридическо-биологической» теории он опирается главным образом на главу VIII («О крещении монстров») книги III (p. 188—193).

[15] Вывод М. Фуко взят из кн.: *Sauval H*. Histoire et Recherches de l'antiquités... II. P. 563: «В Париже было столько детей, родившихся вдвоем и связанными воедино, что можно было бы составить целую книгу из упоминаний о них у писателей, среди которых не найти таких, кто ни разу бы их не коснулся». Некоторые случаи, «из самых редчайших и чудовищных», приводятся (p. 563—566). Что касается медицинской литературы, см.: *Paré A*. Des monstres et prodiges / édition critique et commentée par J. Céard. Genève, 1971. P. 9—20 (на с. 203—218 Ж. Сеар дает полную библиографию авторов, писавших о сиамских близнецах в своих исследованиях о монстрах). Также надо уточнить, что термин «сиамские близнецы» вошел в медицинскую литературу только в XIX веке.

[16] Случай Антиды Коллас приводится Э. Мартеном (Histoire des monstres... P. 106): «В конце 1599 г. жительница Доля по имени Ан-

тида Коллас была обвинена в пороке, который, судя по тем деталям, которые содержатся в документах процесса, имел сходство со случаем Марии Лемарси. Для осмотра Антиды Коллас были приглашены медики, установившие, что порок, которым было поражено ее половое строение, явился следствием постыдной связи с демонами. Выводы медиков подкрепляли обвинение, и Антида Коллас была отправлена в тюрьму. Ее подвергли допросу и пытке; некоторое время она упиралась, но в итоге, под давлением ужасных истязаний, решила признаться: „Она призналась, — говорит хроникер, — что имела преступные связи с Сатаной; и ее сожгли заживо на центральной площади Доля"».

[17] См.: *Brillon P.-J.* Dictionnaire des arrêts ou Jurisprudence universelle des parlements de France et autre tribunaux. Paris, 1711. 3 vol.; Paris, 1727. 6 vol.; Lyon, 1781—1788. 7 vol. М. Фуко ссылается на первое издание, во II томе которого (с. 366—377) приводятся шесть вопросов, касающихся гермафродитизма.

[18] См.: *Brillon P.-J.* Dictionnaire des arrêts. P. 367: «Гермафродиты. Получали половое определение в соответствии с преобладающим полом. Некоторые юристы считали, что против гермафродитов, которые, выбрав своим мужской пол, как более сильный в них, выполняли службу женщины, может быть выдвинуто обвинение в содомии. В 1603 г. Парижский верховный суд приговорил за это одного молодого гермафродита к повешению с последующим сожжением тела». Однако многие другие источники (например, «Словарь Треву» — Dictionnaire universel français et latin vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux. IV. Paris, 1771. P. 798) не упоминают среди причин осуждения содомию.

[19] См.: *Héricourt L. de.* Les Lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel et une analyse des livres du droit canonique, considérées avec les usages de l'Église gallicane. Paris, 1719. М. Фуко использует последнее издание (1771).

[20] *Héricourt L. de.* Les Lois ecclésiastiques de France... III. P. 88: «Постановлением Парижского верховного суда от 1603 г. гермафродит, который выбрал своим мужской пол, как более сильный в нем, и который был замечен в использовании другого пола, был приговорен к повешению, а тело его сожжено».

[21] Этот случай приводит Э. Мартен (Histoire des monstres... P. 106—107): «В 1603 [...] один молодой гермафродит был обвинен в связи с другим носителем такого же порока. Не изучив дело как следует, двух несчастных схватили и начали процесс. [...] Поскольку было предоставлено доказательство их виновности, им был вынесен смертный приговор, вскоре приведенный в исполнение».

[22] По поводу уточнения датировки см. примечание 23.

[23] Процесс начался 7 января и завершился 7 июня 1601 г. О нем сообщает Ж. Дюваль: *Duval J.* Des hermaphrodits, accouchements des femmes, et traitement qui est requis pour les relever en santé et bien élever leurs enfants. Rouen, 1612. P. 383—447 (réédition: *Duval J.* Traité des hermaphrodits, parties génitales, accouchements des femmes. Paris, 1880. P. 352—415).

[24] См.: *Riolan J.* Discours sur les hermaphrodits, où il est démontré, contre l'opinion commune, qu'il n'y a point de vrais hermaphrodits. Paris, 1614; *Duval J.* Réponse au discours fait par le sieur Riolan, docteur en médecine et professeur en chirurgie et pharmacie à Paris, contre l'histoire de l'hermaphrodit de Rouen. Rouen, [s. d.: 1615].

[25] *Duval J.* Réponse au discours fait par le sieur Riolan... P. 23—24.

[26] *Duval J.* Réponse au discours fait par le sieur Riolan... P. 34—35.

[27] См.: *Riolan J.* Discours sur les hermaphrodits... P. 6—10 («что такое гермафродит, если не монстр...»).

[28] *Riolan J.* Discours sur les hermaphrodits... P. 124—130 («как надо изучать гермафродитов, чтобы назначить им пол, соответствующий их природе»); p. 130—134 («как надо обращаться с гермафродитами, чтобы вернуть им полноценность, способность к продолжению рода»).

[29] О случае Анны Гранжан см.: [*Vermeil F.-M.*] Mémoire pour Anne Grandjean connu sous le nom de Jean-Baptiste Grandjean, accusé et appelant, contre Monsieur le Procureur général, accusateur et intimé. Question: «Un hermaphrodite, qui a épousé une fille, peut-il être réputé profanateur du sacrement de mariage, quand la nature, qui le trompait, l'appelai l'état de mari?" Paris, 1765; [*Champeaux C.*] Réflexions sur les hermaphrodites relativement Anne Grand-Jean, qualifiée telle dans un mémoire de Maître Vermeil, avocat au Parlement. Avignon, 1765. История получила европейскую огласку благодаря Ж. Арно (см.: *Arnaud G. [de Ronsil]*. Dissertation sur les hermaphrodites // Mémoires de chirurgie. I. Londres-Paris, 1768. P. 329—390), который воспроизвел эти редкие документы целиком и способствовал их переводу на немецкий язык (см.: Anatomisch-chirurgische Abhandlung über die Hermaphroditen. Strassburg, 1777).

[30] [*Vermeil F.-M.*] Mémoire pour Anne Grandjean... P. 4.

[31] [*Vermeil F.-M.*] Mémoire pour Anne Grandjean... P. 9.

[32] «На заседании Турнеля от 10 января 1765 г. перед генеральным прокурором предстал апеллянт по приговору о бракосочетании Анны Гранжан, каковое было объявлено недействительным. Согласно оглашенному решению, обвиняемая в осквернении таинства бы-

ла освобождена из-под суда с предписанием носить женскую одежду и запретом преследовать Франсуазу Ламбер, равно как и любую другую персону того же пола» (пометка от руки из экземпляра «Памятной записки» адвоката Вермея; экземпляр хранится в Национальной библиотеке Франции).

[33] «Суд категорически запретил ей сожительствовать с какой-либо персоной как одного, так и другого пола под страхом смерти» (*Duval J.* Traité des hermaphrodits... P. 140).

[34] См.: *Riolan J.* Discours sur les hermaphrodits... P. 6.

[35] [*Champeaux C.*] Réflexions sur les hermaphrodites... P. 10. См. также статью «Гермафродит» в «Универсальном словаре медицины» (Dictionnaire universel de médecine. IV. Paris, 1748. C. 261): «Все истории о гермафродитах я считаю сказками. Скажу здесь лишь о том, что у всех тех персон, которых мне представляли как гермафродитов, я обнаружил только клитор чрезмерной толщины и длины, губы обычного строения, хотя и необычайно раздутые, и ничего похожего на мужчину». Этот «Словарь» — французский перевод словаря Джеймса, выполненный Дени Дидро (*James R.* A Medicinal Dictionary. London, 1743—1745).

[36] [*Champeaux C.*] Réflexions sur les hermaphrodites... P. 10.

[37] [*Champeaux C.*] Réflexions sur les hermaphrodites... P. 36.

[38] [*Champeaux C.*] Réflexions sur les hermaphrodites... P. 7, 11—15.

[39] [*Champeaux C.*] Réflexions sur les hermaphrodites... P. 7, 15—36.

[40] [*Champeaux C.*] Réflexions sur les hermaphrodites... P. 37—38.

[41] [*Champeaux C.*] Réflexions sur les hermaphrodites... P. 26—27.

[42] «Столь многие и единодушно приводимые наблюдения, несомненно, следует рассматривать как ряд неопровержимых доказательств того, что некоторые естественные отклонения отличительных половых органов не вносят изменений в организм и тем более в наклонности индивида, у которого встречается это порочное строение» ([*Champeaux C.*] Réflexions sur les hermaphrodites... P. 35—36).

[43] «Таким образом, заблуждение Гранжан было заблуждением, которое свойственно всем и каждому. Если она преступница, то обвинение следовало бы выдвинуть против всех. Ибо именно этим всеобщим заблуждением руководствовалась совесть подсудимой. Или, если выразиться точнее, именно это заблуждение сегодня ее оправдывает. Только природа повинна в этом деле, и как же можно возлагать на обвиняемую ответственность за ошибки природы?» (*Arnaud G.* Dissertation sur les hermaphrodites... P. 351).

[44] [*Simon E.-Th.*] L'Hermaphrodite ou Lettre de Grandjean à Françoise Lambert, sa femme. Grenoble, 1765.

Лекция от 29 января 1975 г.

Моральный монстр. — Преступление в классическом праве. — Великие сцены казни. — Трансформация механизмов власти. — Исчезновение принципа ритуальной траты карательной власти. — О патологической природе криминальности. — Политический монстр. — Монструозная пара: Людовик XVI и Мария-Антуанетта. — Монстр в якобинской и антиякобинской литературе (тиран и восставший народ). — Инцест и антропофагия.

Сегодня я расскажу вам о возникновении на пороге XIX века персонажа, который до конца XIX—начала XX века пройдет очень важный путь: это моральный монстр.

Итак, мы можем сказать, что до XVII—XVIII веков монструозность как естественная манифестация противоестественности несла на себе печать криминальности.* На уровне естественных видовых норм и естественных видовых различий монструозный индивид всегда был — если не систематически, то, как минимум, потенциально — сопряжен с возможной криминальностью. Затем, начиная с XIX века, мы видим, как эта связь переворачивается и появляется то, что можно было бы назвать систематическим подозрением за всякой криминальностью монструозности. Отныне любой преступник может быть монстром, так же как прежде монстр имел все шансы оказаться преступником.

Тем самым поднимается проблема: как произошла эта трансформация? Что было ее действующей силой? Я думаю,

* В подготовительной рукописи к лекции: «...криминальность, печать, значение которой изменилось, но которая еще не стерлась в середине XVIII века».

что, дабы ответить на этот вопрос, надо сначала поставить другой, сдвоить первый и задуматься о том, как случилось, что еще в XVII веке и позднее, в XVIII веке, понимание монструозности оставалось односторонним? Как случилось, что потенциально преступный характер монструозности признавался, но не принимался в расчет, не предполагался обратный вариант — потенциально монструозный характер криминальности? Просчет природы превосходно сочетался с нарушением законов, и тем не менее обратное не предусматривалось: преступление даже в крайней его степени не граничило с просчетом природы. Допускалось наказание невольной монструозности и не допускалось наличие за преступлением неподконтрольного механизма запутанной, искаженной, противоречивой природы. Почему?

На этот первый подвопрос я и хотел бы сначала ответить. Мне кажется, что причину этого следует искать в области того, что можно было бы назвать экономикой карательной власти. В классическом праве — я возвращался к этому уже не раз и потому сейчас буду краток[1] — преступление было не только намеренно причиненным кому-либо ущербом. Не исчерпывалось оно и вредом и ущербом в отношении интересов всего общества. Преступление было преступлением в меру того, что помимо всего прочего и как раз потому, что оно преступление, оно затрагивало властителя, затрагивало права и волю властителя, содержащиеся в законе, а следовательно, оно было направлено на силу, тело, в том числе физическое тело этого властителя. Таким образом, во всяком преступлении было посягательство, бунт, восстание против властителя. Даже в малейшем преступлении была толика цареубийства. В связи с этим, в силу этого закона фундаментальной экономики карательного права, в ответ ему наказание, что вполне понятно, было не просто возмещением потерь или защитой фундаментальных прав и интересов общества. Наказание было кое-чем еще: оно было местью властителя, его возмездием, его отпором. Наказание всегда было преследованием, персональным преследованием со стороны властителя. Властитель вступал в еще одно состязание с преступником, но на сей раз, на эшафоте, это было ритуальное расходование им своей силы, церемо-

ниальное представление преступления в перевернутом виде. Наказание преступника было ритуальным, совершаемым в установленном порядке, восстановлением полноты власти. Между преступлением и наказанием не было, собственно говоря, никакой меры, общей единицы измерения того и другого. Для преступления и наказания не предусматривалось общего места, не было элемента, который присутствовал бы в них обоих. Проблема преступления и кары ставилась не в терминах меры, не в терминах измеримого равенства или неравенства. Между одним и другим имел место, скорее, поединок, соперничество. Избыточность наказания должна была соответствовать избыточности преступления и еще превышать ее. Иными словами, в самой сердцевинс карательного акта с необходимостью имел место дисбаланс. На стороне кары должен был быть своего рода перевес. И этим перевесом было устрашение, устрашающий характер кары. Под устрашающим характером кары надо понимать ряд конститутивных элементов этого устрашения. Во-первых, свойственное каре устрашение должно было повторять собою вид преступления: преступление должно было быть в некотором роде предъявлено, представлено, актуализировано или реактуализировано в самом наказании. Ужас преступления должен был присутствовать там, на эшафоте. Во-вторых, фундаментальным элементом этого устрашения была тяжесть мести властителя, который должен был представать как неумолимый и непобедимый. Наконец, в этом устрашении должна была содержаться угроза в адрес всех будущих преступлений. Как следствие, в эту экономику — в дисбалансную экономику наказаний — вполне естественно вписывалась казнь. Ключевым элементом этой экономики был не закон меры, а принцип преувеличенной демонстрации. И следствием этого принципа было то, что можно назвать сочленением жестокостью. Преступление и кара за него сопрягались не общей мерой, а жестокостью. В преступлении жестокость была той формой или, точнее, той интенсивностью, которую оно принимало, доходя до некоторой степени редкости, тяжести или скандальности. За некоторой чертой интенсивности преступление считалось жестоким, и жестокому преступлению должна была отвечать жестокость

наказания. Жестокие кары были призваны отвечать жестоким преступлениям, повторять их в себе, но повторять, подавляя и побеждая. Жестокость кары должна была поколебать жестокость преступления величиной торжествующей власти. Это была реплика, а не мера.[2]

Преступление и кара за него сопрягаются исключительно этим своеобразным дисбалансом, складывающимся вокруг ритуалов жестокости. Поэтому и выходит так, что сколь угодно тяжкое преступление не могло вызвать проблему, так как сколь бы тяжким оно ни было, сколь бы жестоким оно ни выглядело, власть всегда располагала большим; у интенсивности правящей власти было нечто такое, что всегда позволяло ей ответить на преступление при всей его жестокости. Неразрешимого преступления и быть не могло, поскольку на стороне власти, которой требовалось на него ответить, всегда была дополнительная власть, способная его заглушить. Вот почему власти никогда не приходилось отступать или колебаться перед жестоким преступлением: ее собственный запас жестокостей позволял ей просто затмить его.

Согласно этому принципу и разворачиваются великие сцены казней XVII и еще XVIII века. Вспомните, к примеру, жестокое преступление, совершенное против Вильгельма Оранского. Ответом на его убийство стала не менее жестокая казнь. Это произошло в 1584 г., и об этом сообщает Брантом. Убийцу Вильгельма Оранского казнили восемнадцать дней: «В первый день его привели на площадь, где стоял котел с кипящей водой, и опустили туда руку, которой он нанес смертельный удар. На следующий день ему отрезали руку, та упала к его ногам, и его заставляли без конца подбрасывать ее над эшафотом. На третий день взялись раскаленными щипцами за его грудь и плечи. На четвертый день с теми же щипцами перешли к его спине и ягодицам, и так этого человека пытали восемнадцать дней кряду, а в последний день колесовали и сжимали в тисках. Спустя шесть часов он все еще просил воды, но ему было отказано. И наконец, королевскому судье было приказано довершить дело удушением, дабы душа его не отчаялась».[3]

Примеры подобной ритуальной избыточности обнаруживаются до самого конца XVII века. Вот случай из юридиче-

ской практики Авиньона (речь идет о Папских территориях, поэтому нельзя считать, что дело имело место во Франции, однако оно дает представление об общем стиле и экономических принципах казней). *Массола* заключалась в следующем. Осужденного, надев ему на глаза повязку, притягивали к столбу. Со всех сторон эшафота загодя устанавливались колья с железными крючьями. Священник исповедовал грешника, и «после того как тот получал благословение, палач, вооруженный молотом наподобие тех, какими пользуются в скотобойнях, изо всех сил ударял несчастного в висок, и тот падал замертво». После его смерти казнь только начиналась. Ведь, по большому счету, целью было не столько покарать виновного, не столько искупить преступление, сколько совершить ритуальную манифестацию неизмеримой карательной власти; и эта церемония карательной власти, сосредоточенная вокруг самой этой власти и начинавшаяся, когда ее объект был уже мертв, неистовствовала над трупом. После того как несчастный умирал, палач «огромным ножом перерезал ему горло, оттуда вырывалась кровь, и начинался страшный спектакль; палач разрубал щипцами сухожилия, а затем вскрывал тело и вынимал сердце, печень, селезенку, легкие, которые, в свою очередь, подвешивал на железные крючья, снова разрезал, делил на части и опять подвешивал куски на крючья, так же как это делается с тушей животного. И кто мог смотреть на это, смотрел».[4]

Как вы видите, механизмы власти так сильны, их превосходство в ритуале так точно рассчитано, что, наказывая, никогда не приходится возвращать преступление, сколь бы ужасным оно ни было, в распоряжение природы. Власть достаточно сильна, чтобы вобрать в себя, продемонстрировать и аннулировать тяжесть преступления в рамках ритуалов господства. Поэтому не является необходимым и даже, в конечном счете, невозможно существование какой бы то ни было природы ужасного преступления. У страшного преступления нет природы; есть, в сущности, лишь бойня, ярость, исступление, вызываемые преступлением и бушующие вокруг него. Нет механики преступления, которая следовала бы из некоего знания; есть лишь стратегия власти, расточающая свою силу

вокруг преступления и по его поводу. Вот почему никогда до конца XVIII века вопрос о природе преступности по-настоящему не поднимался. Такой уж была экономика власти, что вопрос этот не мог быть поднят, а точнее, он обнаруживается, но очень отрывочно, на что я мимоходом укажу вам. В ряде текстов, и в частности в относящемся к 1715 г. тексте Брюно под названием «Наблюдения и максимы на темы преступности», вы обнаружите вот что. Судья должен изучить обвиняемого. Изучить его мышление, его нравы, его физические способности, возраст, пол. Он должен как можно дальше углубиться «внутрь» обвиняемого, дабы по возможности проникнуть к нему в душу.[5] Подобные заявления явно должны полностью опровергать все, что я только что несколько схематично, обзорно, вам представил. Но в действительности, вчитываясь в текст Брюно, замечаешь, что хотя от судьи требуется знание преступника, хотя в самом деле нужно, чтобы он проник внутрь преступника, нужно это вовсе не для того, чтобы понять преступление, а всего лишь чтобы выяснить, этот ли человек его совершил. Судья должен узнать душу преступника, чтобы суметь как следует его допросить, чтобы верно расставить ловушки своих вопросов, чтобы опутать его непреодолимой сетью хитростей и выманить-таки правду. Преступник подлежит изучению со стороны судьи именно в качестве хранителя правды и никогда не в качестве преступника, совершившего преступление. Ибо стоит ему признаться, как все полученное знание оказывается ненужным для назначения наказания. Таким образом, это знание изучает не преступного, а знающего субъекта. И, думаю, мы все же можем заключить, что до конца XVIII века экономика карательной власти была такова, что природа преступления, особенно природа ужасного преступления, не подлежала рассмотрению.

Но как же произошла трансформация? Теперь мы переходим ко второй части этого вопроса. Сформулируем точнее: почему механизму карательной власти в определенный момент потребовалась связка с природой преступления? Почему в этот момент ей пришлось удвоить деление на законные и незаконные поступки делением индивидов на нормальных и ненормальных? Я хотел бы, по крайней мере, указать направле-

ние ответа на этот вопрос. Известно, историки говорят об этом в один голос, что XVIII век создал целый ряд научных и промышленных технологий. Кроме того, известно, что XVIII век дал определение или, во всяком случае, схематический и теоретический вид известному числу политических форм правления. Наконец, известно, что он ввел, или развил и усовершенствовал, государственные аппараты и все связанные с ними институты. Но также надо подчеркнуть то обстоятельство, — лежащее, как мне кажется, в основании той трансформации, которую я сейчас пытаюсь охарактеризовать, — что XVIII век создал и еще кое-что. Он разработал то, что можно было бы назвать новой экономикой властных механизмов: совокупность приемов — и в то же время аналитических формул, — которые позволяют взвинтить эффекты власти, уменьшив затраты на ее исполнение и интегрировав это исполнение в механизмы производства. Да-да, взвинтить эффекты власти. XVIII век нашел ряд средств или, точнее, нашел принцип, в силу которого власть, вместо того чтобы исполняться ритуально, церемониально, в виде отдельного действа, как это было с властью феодального строя и даже еще с абсолютной монархией, — сделалась непрерывной. Иначе говоря, она стала исполняться уже не посредством обряда, а посредством постоянных механизмов надзора и контроля. Взвинтить эффекты власти — значит сделать так, чтобы властные механизмы избавились от неполноты, которая была свойственна им при феодальном строе и при абсолютной монархии. Вместо того чтобы целиться в отдельные точки, в отдельные участки, в индивидов, в произвольно определенные группы, XVIII век нашел механизмы власти, которые могли действовать, не делая пропусков, и распространяться на всю ширину социального поля. Взвинтить эффекты власти — значит сделать их в принципе неминуемыми, то есть оторвать от принципа произвола властителя или доброй воли и превратить в безоговорочно фатальный и необходимый закон, в принципе довлеющий одинаковым образом над всеми. Взвинчивание эффектов власти — но и удешевление власти: XVIII век ввел в оборот целый ряд механизмов, благодаря которым власть стала требовать гораздо меньших затрат — фи-

нансовых, экономических затрат, — нежели при абсолютной монархии. Снижаются издержки на власть в том смысле, что становится меньше возможностей сопротивления, недовольства, бунта, по сравнению с тем, сколько могла пробудить монархическая власть. И наконец, сужается ареал, доля, площадь всевозможных проявлений неподчинения и беззакония, которые монархическая власть была вынуждена усмирять. За взвинчиванием эффектов власти, за снижением экономических и политических издержек власти следует ее интеграция в процесс производства: вместо власти, которая действовала главным образом путем присвоения продуктов производства, XVIII век создает властные механизмы, способные включиться прямо в производственные процессы, сопровождать их на всем пути развития и действовать в виде контроля и постоянного наращивания производства. Как вы понимаете, я схематически описываю то, что объяснял вам, говоря два года назад о дисциплинах.[6] Коротко можно сказать так: буржуазная революция была не просто завоеванием новым социальным классом тех государственных аппаратов, которые медленно выстраивала абсолютная монархия. Она была не просто организацией некоей совокупности институтов. Буржуазная революция XVIII и начала XIX века была изобретением новой технологии власти, ключевыми элементами которой являются дисциплины.

Сказав об этом (и еще раз сославшись на предшествующие разборы), я хочу перейти к тому, что характерными примерами этой новой технологической системы правления являются, на мой взгляд, уголовная практика и организация карательной власти. Во-первых, в конце XVIII века мы имеем дело с карательной властью, опирающейся на такую частую сеть надзора, что преступление в принципе уже не может пройти незамеченным. Таким образом, состоялось исчезновение избирательного правосудия в пользу судебно-полицейского аппарата надзора и наказания, который устранит в рамках исполнения карательной власти последние пропуски. Во-вторых, новая технология карательной власти необходимым и очевидным образом соотносит преступление и наказание, используя ряд приемов, первыми в котором идут гласность дебатов и прави-

ло внутреннего убеждения. Отныне преступлению непременно должно будет соответствовать наказание, причем наказание это должно будет исполняться гласно и при условии общедоступного наблюдения. И наконец, третья особенность новой технологии карательной власти: наказание должно будет исполняться таким образом, чтобы кара была справедливой в меру необходимости предотвращения дальнейших преступлений, и не более того. Вся эта избыточность, вся эта грандиозная экономика ритуальной и ослепительной траты карательной власти, вся эта экономика, несколько примеров которой я вам привел, теперь уступает место экономике, основанной уже не на дисбалансе и избытке, но на мере. Теперь потребуется найти некую общую меру преступления и кары, общую меру, которая позволит подобрать наказание, не более чем достаточное для того, чтобы покарать преступление и воспрепятствовать его повторению. Эта общая мера, которую пришлось искать новой технологии власти, есть то, что сами судьи называют интересом или основанием преступления: это элемент, который может рассматриваться как смысл преступления, принцип его возникновения, повторения, подражания ему других, его возрастающей частоты. Короче говоря, своего рода опора реального преступления в том виде, в каком оно совершено, и возможная опора аналогичных преступлений, совершаемых другими. Эта естественная опора преступления, это основание преступления, как раз и должно послужить общей мерой. Именно этот элемент наказание должно будет воспроизвести внутри своих механизмов, чтобы нейтрализовать опору преступления, противопоставив ей как минимум столь же сильный, или чуть более сильный, элемент таким образом, чтобы она, эта опора, оказалась нейтрализована; именно на этом элементе наказание будет основываться, следуя умеренной экономике в точном смысле этого определения. Основание преступления, или интерес преступления как его основание, — вот что уголовная теория и новое законодательство XVIII века определит как общий элемент преступления и наказания. На смену грандиозным дорогостоящим ритуалам, в ходе которых жестокость наказания повторяла жестокость преступления, приходит выверенная система, в рамках кото-

рой наказание не несет в себе и не повторяет преступление, а просто направляется на интерес этого преступления, вводя в игру подобный, аналогичный интерес, лишь чуть-чуть более сильный, чем интерес, послуживший опорой преступления. Именно этот элемент, именно этот интерес-основание преступления является новым принципом экономики карательной власти и сменяет собою принцип жестокости.

Думаю, вы понимаете, что исходя из этого поднимается целая серия новых вопросов. Самым важным является теперь уже не вопрос обстоятельств преступления — это старинное юридическое понятие — и даже не вопрос о преступном намерении, поднимавшийся казуистами. Новый первостепенный вопрос — это, в некотором роде, вопрос механики и игры интересов, которые смогли сделать преступника тем человеком, который оказался обвиняемым в совершении преступления. Таким образом, этот новый вопрос относится не к ситуации преступления и даже не к намерению субъекта, но к имманентной криминальному поведению рациональности, к естественной логике этого поведения. Какова та естественная логика, что поддерживает преступление и позволяет назначить за него безупречно адекватное наказание? Преступление — теперь уже не только то, что нарушает гражданские и религиозные законы, и не только то, что в известных случаях нарушает наряду с этими гражданскими и религиозными законами, через них, законы самой природы. Теперь преступление — это то, что само имеет некоторую природу. В силу игры новой экономики карательной власти преступление оказалось-таки наделено тем, чего никогда прежде не получало, да и не могло получить в рамках старой экономики карательной власти; преступление обрело свою природу. Преступление имеет природу, и преступник есть естественное существо, характеризуемое — уже на уровне своей природы — криминальностью. И одновременно вследствие этой экономики власти возникает потребность в совершенно новом знании, так сказать, в натуралистическом знании о криминальности. Нужна естественная история преступника как преступника.

Третья серия вопросов, требований, встречаемых нами в этот момент, касается следующего: если преступление есть

нечто, обладающее собственной внутренней природой, если оно должно быть изучено и наказано (а чтобы быть наказанным, оно должно быть изучено) как поведение, имеющее свою естественную логику, тогда нужно поднять вопрос о том, какова природа такого интереса, который попирает интерес всех остальных, а в конечном счете и сам подвергает себя злейшим опасностям, ибо рискует заслужить наказание. Разве не является этот интерес, этот естественный элемент, эта имманентная преступному акту логика слепым к своей собственной цели влечением? Не безумна ли, в некотором смысле, эта логика вследствие чего-то, вследствие некоего природного механизма? Разве не следует считать этот интерес, что толкает индивида на преступление, толкая тем самым и к наказанию, — которое теперь, в новой экономике, должно быть фатальным и неизбежным, — разве не следует считать его интересом столь сильным и властным, что он не учитывает собственные последствия, не может заглянуть вперед? Разве этот интерес, утверждаясь, не противоречит сам себе? И во всяком случае, разве это не болезненный, не извращенный интерес, разве не противоречит он самой природе всех интересов? Ведь первоначальный договор, который граждане, как считается, подписывали друг с другом, или под которым они подписывались индивидуально, ясно показал, — не стоит об этом забывать, — что интересу от природы свойственно сопрягаться с интересом других, поступаясь единоличным самоутверждением. Поэтому когда преступник в некотором смысле возобновляет свой эгоистический интерес, отрывает его от договорного или основанного на договоре законодательства и восстанавливает против интереса всех остальных, разве не идет он наперекор естественной склонности? Разве тем самым он не поворачивает вспять историю и внутреннюю необходимость? И поэтому разве мы не сталкиваемся в лице преступника с персонажем, олицетворяющим, помимо прочего, возврат природы в пределы общественного тела, вышедшего из естественного состояния на основании договора и повиновения законам? И разве этот естественный индивид, которому свойственно не подчиняться естественному развитию интереса, тем самым не парадоксален? Ему неведом необходимый

вектор этого интереса, ему неведомо то, что его интерес достигает высшей точки, принимая игру коллективных интересов. Разве этот природный индивид, который несет в себе древнего лесного человека со всей его фундаментальной, досоциальной архаикой, в то же время не противоречит природе? Словом, разве преступник — не восставшая против самой себя природа? Разве он не монстр?

Именно таков общий дух, согласно которому новая экономика карательной власти формулируется в новой теории наказания и преступности; именно таков горизонт, в котором впервые поднимается вопрос о возможной патологической природе криминальности.* Согласно традиции, которую вы найдете у Монтескье, но которая восходит к XVI веку, Средневековью, а также римскому праву, преступник и, главное, частота преступлений являются в обществе проявлениями болезни общественного тела.[7] Частота преступности отражает болезнь, но болезнь коллективную, болезнь общественного тела. Совсем другого рода тема, хотя на первый взгляд она и кажется аналогичной, заявляет о себе в конце XVIII века: утверждается, что не преступление является болезнью общественного тела, а преступник как таковой вполне может оказаться больным. Такая точка зрения со всей ясностью звучит в эпоху Великой французской революции, в дискуссиях, которые разворачивались в 1790—1791 гг., в ходе подготовки нового Уголовного кодекса.[8] Я приведу вам некоторые тексты, например такие слова Прюньона: «Убийцы — это исключения природных законов, всякое моральное существо в них отсутствует [...]. Они за пределами обычных мер».[9] А вот еще один пассаж: «Убийца — это [поистине] больной человек, все чувства которого искажены нарушением общей организации. Его пожирает едкий и сжигающий его самого нрав».[10] Вите в своей «Предупредительной медицине» утверждает, что некоторые преступления, возможно, являются разновидностями болез-

---

* В подготовительной рукописи к лекции далее следует такой пассаж: «Принадлежность преступления к этой еще расплывчатой области патологии, болезни, просчета природы, рассогласования духа и тела. В преступлении следует видеть индикатор аномалий. Этим объясняется, что в конце XVIII века мы имеем дело с изменением традиционной темы».

ней.[11] А Прюнель в XVI томе «Журнала по медицине» представляет проект исследования, основанного на изучении материалов Тулонской каторжной тюрьмы, призванного выяснить, следует ли считать больными злостных преступников, заключенных в Тулоне. Если я не ошибаюсь, это первый случай обращения к теме возможной медикализации преступников.[12]

Мне кажется, что с этой группы текстов и проектов, в частности с проекта Прюнеля, и начинает складываться то, что можно было бы назвать патологией криминального поведения. Отныне, и вследствие функциональных принципов уголовной власти, — не новой теории права, не новой идеологии, но внутренних норм экономики карательной власти, — карать будут, конечно, только от имени закона, в силу ясной для всех очевидности преступления, но при этом будут карать индивидов, неизменно включаемых в горизонт болезни: судить индивидов будут как преступников, но квалифицировать, оценивать, мерить их будут в терминах нормального и патологического. Вопрос о незаконном и вопрос о ненормальном, или вопрос о криминальном и вопрос о патологическом, отныне связаны между собою, причем не с точки зрения новой идеологии, исходящей от государственного аппарата или же нет, а согласно технологии, характеризующей новые нормы экономики карательной власти.

И теперь я хотел бы приступить к истории морального монстра, чтобы показать вам, по меньшей мере, условия его возможности. Для начала я намечу первый профиль, первое обличье этого морального монстра, вызываемого к жизни новой экономикой карательной власти. И как ни странно, хотя то, как это произошло, кажется мне очень показательным, первый моральный монстр был монстром политическим. Дело в том, что если патологизация преступления проходила, как я считаю, в ответ новой экономике власти, то своего рода дополнительное подтверждение этому дает тот факт, что первый моральный монстр, появившийся в конце XVIII века, и в любом случае самый важный, ярчайший монстр, был монстром политическим. В самом деле, в новой теории уголовного права, о которой я только что говорил, преступником выступает

тот, кто, разрывая договор, под которым подписывался, предпочитает законам, руководящим обществом, членом которого он является, свой собственный интерес. Таким образом, разорвав первоначальный договор, индивид возвращается в природное состояние. В лице преступника воскресает «лесной» человек, парадоксальный «лесной» человек, ибо он не знает арифметики того самого интереса, который заставил его, его и подобных ему, подписаться под договором. И преступление, являясь своеобразным расторжением договора, то есть утверждением, предпочтением личного интереса наперекор всем остальным, по сути своей попадает в разряд злоупотребления властью. Преступник, — в известном смысле, всегда маленький деспот, на собственном уровне деспотически навязывающий свой интерес. Так, уже в 1760-е годы (то есть, за тридцать лет до Великой французской революции) вполне отчетливо проступает тема, которая окажется столь важной во время революции, — тема родства, сущностного родства между преступником и тираном, между правонарушителем и деспотическим монархом. Между двумя сторонами расторгаемого описанным образом договора есть своеобразная симметрия: преступник и деспот оказываются родственниками, идут, так сказать, рука об руку, как два индивида, которые, отвергая, не признавая или разрывая фундаментальный договор, превращают свой интерес в своевольный закон, навязываемый ими другим. В 1790 г., как раз в ходе дискуссий вокруг нового Уголовного кодекса, Дюпор (который, как вы знаете, представлял тогда отнюдь не крайнюю позицию) говорит так: «Деспот и злоумышленник одинаковым образом подрывают общественный порядок. Произвол и убийство суть для нас равноценные преступления».[13]

Эту тему родства между властителем, возвышающимся над законами, и преступником, пребывающим под этими законами, эту тему двух людей вне закона, какими являются властитель и преступник, мы сначала обнаруживаем до Великой французской революции, в более мягкой и расхожей форме, согласно которой своеволие тирана является примером для возможных преступников или, в своем фундаментальном беззаконии, разрешением на преступление. Действительно,

кто может запретить себе нарушать законы, если правитель, который должен вершить, предписывать и применять эти законы, дает себе право обходить, прекращать или, как минимум, не применять их к себе самому? Следовательно, чем более деспотична власть, тем более многочисленны преступники. Сильная власть тирана не искореняет злодеев, наоборот, она умножает их число. И с 1760 г. до 1780—1790-х гг. эта тема встречается нам постоянно, у всех теоретиков уголовного права.[14] Но начиная с революционного времени, а особенно с 1792 г., мы обнаруживаем эту тему родства, возможного сближения между преступником и властителем, в гораздо более красноречивой и разительной, в гораздо более конкретной форме, если хотите. Причем, строго говоря, на сей раз перед нами уже не столько сближение преступника и властителя, сколько своеобразный обмен ролями, обусловленный новой дифференциацией между ними.

Ведь кто такой, в конце концов, преступник? Преступник — это тот, кто разрывает договор, тот, кто нарушает договор время от времени, когда у него есть в этом потребность или желание, когда этого требует его интерес, когда в момент неистовства или ослепления он, вопреки простейшему разумному расчету, дает перевес своим интересам. Он — деспот временами, деспот вспышками, деспот по ослеплению, по прихоти, в моменты ярости — не так уж важно, как именно. Деспот, как таковой, в отличие от преступника, предписывает превосходство своего интереса и своей воли, отдает им постоянное преимущество. Деспот является преступником по своему статусу, тогда как преступник — деспот волею случая. Впрочем, говоря «по статусу», я утрирую, так как вообще-то деспотизм не может иметь социального статуса. Деспот навязывает свою волю всему общественному телу, находясь в состоянии постоянного неистовства. Деспот есть тот, кто постоянно, вне статуса и вне закона, но таким образом, каковой туго вплетен в само его существование, проводит и преступным образом навязывает свой интерес. Это постоянный нелегал, это индивид без социальной привязки. Деспот — это одинокий человек. Это тот, кто самим своим существованием, своим одиночным существованием, совершает максимальное

преступление, преступление *par excellence*, преступление тотального несоблюдения общественного договора, посредством которого только и может существовать и сохраняться общественное тело. Деспот — это тот, чье существование неотделимо от преступления, а значит, тот, чья природа, чье естество тождественно противоестественности. Это индивид, предписывающий в качестве всеобщего закона или смысла государства свое неистовство, свои капризы, свое безрассудство. То есть, строго говоря, от своего рождения до смерти и, во всяком случае, на всем протяжении своего деспотического властвования король — по крайней мере, король-тиран — это просто-напросто монстр. Первый юридический монстр, который появляется, вырисовывается в рамках нового режима экономики карательной власти, первый монстр, с которым мы встречаемся, первый замеченный и определенный монстр — это не убийца, не насильник, не кто-то, поправший законы природы; это тот, кто расторгает фундаментальный общественный договор. Первый монстр — это король. Это король, который, на мой взгляд, является большой всеобщей моделью, сообразно которой исторически, вследствие целой серии последовательных сдвигов и трансформаций, возникнут бесчисленные малые монстры, которые и будут населять психиатрию, в том числе и судебную психиатрию, XIX века. Во всяком случае, мне кажется, что падение Людовика XVI и проблематизация фигуры короля выступают ключевым звеном в этой истории человеческих монстров. Все монстры — потомки Людовика XVI.

Это возникновение монстра как короля и короля как монстра отчетливо заметно, по-моему, начиная с постановки в 1792 г., или в начале 1793 г., вопроса о суде над королем, о каре, которую к нему следует применить, а еще более — о форме, какую должен приобрести этот суд.[15] Законодательный комитет предложил подвергнуть короля казни изменников и заговорщиков. На что некоторые якобинцы, и прежде всего Сен-Жюст, возразили: Людовика XVI нельзя подвергнуть наказанию изменников и заговорщиков именно потому, что такое наказание предусмотрено законом; в таком качестве оно является следствием общественного договора, и законно при-

менить его возможно лишь к тому, кто подписывался под этим договором и тем самым, однажды разорвав этот договор, соглашается с тем, что он [договор] будет действовать против него, на него или в отношении него. Король же, напротив, никогда, ни единожды не подписывался под общественным договором. И потому к нему не могут быть применены ни его внутренние положения, ни положения, которые из него вытекают. К королю нельзя применить ни один из законов общественного тела. Он — абсолютный враг, которого все общественное тело должно рассматривать в качестве врага. Следовательно, нужно убить его, так же как убивают врага или монстра. И даже это, — говорит Сен-Жюст, — было бы слишком большой честью, так как, попросив у всего общественного тела убить Людовика XVI и избавиться от него как от своего монструозного врага, мы приравняем все общественное тело к нему одному. Иначе говоря, тем самым отдельно взятый индивид и общественное тело будут, в известном смысле, признаны равновеликими. Между тем Людовик XVI никогда не признавал существования общественного тела, властвовал, пренебрегая его существованием, и применял свою власть к отдельным индивидам, как будто бы общественного тела не существует. Поэтому индивидам, подвергавшимся власти короля как индивиды, а не как общественное тело, следует избавиться от него тоже как индивидам. Иными словами, проводником уничтожения Людовика XVI должно послужить индивидуальное отношение, индивидуальная враждебность. На уровне политических стратегий эпохи это недвусмысленно означает, что предложение определить судьбу Людовика XVI всей нации было бы своего рода уклонением от ответа. Но на уровне теории права (который в данном случае очень важен) это означает, что кто угодно, даже не заручившись согласием остальных, имеет право покончить с королем. Убить короля может любой: «Право людей по отношению к тирании, — говорит Сен-Жюст, — это личное право».[16]

Вся эта дискуссия по поводу процесса над королем, шедшая с конца 1792 до начала 1793 г., кажется мне очень важной не только потому, что в ней заявляет о себе первый крупный юридический монстр — политический враг, король, — но и

потому, что в XIX веке, особенно во второй его половине, все приведенные рассуждения окажутся перенесенными и применяющимися в совершенно другой области, где при посредстве психиатрических, криминологических и других анализов (от Эскироля до Ломброзо[17]) обычный, повседневный преступник тоже будет прямо квалифицироваться как монстр. С этого момента преступник-монстр будет вызывать вопрос: а следует ли, собственно говоря, применять к нему законы? Не должно ли общество просто избавиться от него как от существа монструозной природы и всеобщего врага, не прибегая к своду законов? Ведь преступник-монстр, прирожденный преступник, в сущности, никогда не подписывался под общественным договором; так относится ли он к ве́дению законов? Следует ли применять к нему законы? Во второй половине XIX века мы встречаем проблемы, присутствовавшие в дебатах об осуждении, о формах осуждения Людовика XVI, перенесенными на прирожденных преступников, на анархистов, которые тоже отвергают общественный договор, на всех преступников-монстров, на всех этих великих номадов, блуждающих в окрестностях общественного тела, но не признаваемых этим телом в качестве своей части.

В то же время с описанной юридической аргументацией перекликается не менее важная, на мой взгляд, образность — карикатурная, полемическая образность короля-монстра, являющегося преступником вследствие своей, так сказать, противоестественной природы, неотъемлемо ему присущей. Именно в эту эпоху поднимается проблема монструозного короля, именно в эту эпоху создается целый ряд книг, настоящие анналы королевских преступлений от Нимрода до Людовика XVI, от Брунегильды до Марии-Антуанетты.[18] Тут можно привести книгу Левассера «Коронованные тигры»,[19] «Злодеяния французских королев» Прюдома,[20] «Ужасающие истории жестоких преступлений, бывших обычным делом королевских семей» Мопино, вышедшие в 1793 г. и заслуживающие особого интереса, так как в них выстраивается оригинальная генеалогия королевской власти. Мопино утверждает, что институт королевства возник следующим образом. На заре человечества существовало две категории людей: одни по-

священи себя земледелию и скотоводству, а другим выпадала обязанность охранять первых, так как кровожадные хищники могли съесть женщин и детей, уничтожить урожай, истребить стада и т. д. Поэтому возникла необходимость в охотниках, способных защищать общину земледельцев от диких зверей. Затем пришло время, когда охотники стали столь искусны, что дикие звери исчезли. Нужда в охотниках пропала, но, обеспокоившись своей бесполезностью, которая могла лишить их привилегий, коими они пользовались как охотники, они сами превратились в диких животных и повернулись против тех, кого прежде защищали. И стали сами нападать на стада и семьи, которые должны были охранять. Они были волками в человеческом обличье. Они были тиграми первобытного общества. И короли ничем не отличаются от этих тигров, от этих древних охотников, которые заняли место диких зверей, окружавших первобытные поселения.[21]

Это была эпоха книг о королевских преступлениях, это была эпоха, когда Людовик XVI и Мария-Антуанетта изображались в памфлетах как пара кровожадных монстров, как объединившиеся шакал и гиена.[22] И при всей конъюнктурности этих текстов, при всем их пафосе, они остаются очень важными по причине включения под рубрику человеческого монстра целого ряда тем, которые будут сохраняться на всем протяжении XIX века. Особенно буйно эта тематика монстра расцветает вокруг Марии-Антуанетты, которая концентрирует в себе на страницах тогдашних памфлетов множество черт монструозности. Прежде всего, конечно, она заведомо иностранка, а потому не принадлежит к общественному телу.[23] Как следствие, по отношению к общественному телу страны, где она правит, она — дикое животное или, во всяком случае, нечеловеческое существо. Более того, она — гиена, людоедка, «тигрица», которая, — как говорит Прюдом, — «узрев [...] кровь, становится ненасытной».[24] Живое воплощение каннибализма, антропофагии властителя, питающегося кровью своего народа. И к тому же это скандалистка, распутница, предающаяся самому отъявленному разврату, причем сразу в двух ключевых его формах.[25] Во-первых, инцесту, ибо из книг, из памфлетов о Марии-Антуанетте мы узнаём, что еще ребенком она была

обесчещена своим братом Иосифом II, затем стала любовницей Людовика XV, а затем перешла к его шурину, так что дофин, вероятно, является сыном графа д'Артуа. Чтобы передать настрой этой литературы, я процитирую вам фрагмент вышедшей в I году революции книги «Распутная и скандальная частная жизнь Марии-Антуанетты», посвященный отношениям будущей королевы и того самого Иосифа II: «Амбициознейший властитель, совершенно аморальный человек, достойный брат Леопольда — вот кто первым испробовал королеву Франции. Визит царственного приапа в австрийский канал посеял там, если так можно выразиться, страсть к инцесту и наимерзейшим наслаждениям, неприязнь к Франции [*rectius*: к французам], отвращение к супружеским и материнским обязанностям — словом, все то, что низводит человека до уровня диких зверей».[26] Итак, вот вам инцестуозность, а рядом с нею — еще одно тяжкое сексуальное преступление: Мария-Антуанетта гомосексуальна. И тут снова связи с эрцгерцогинями, сестрами и кузинами, дамами свиты и т. д.[27] Как мне кажется, для этой первой презентации монстра на горизонте юридической практики, мысли и воображения конца XVIII века характерна пара: антропофагия — инцест, сочетание двух основных запретных утех. Со следующим уточнением: главную партию в первом явлении монстра исполняет, на мой взгляд, именно Мария-Антуанетта, фигура разврата, сексуального разврата, и в частности инцеста.

Но наряду с королевским монстром и в это же время, в литературном стане противника, то есть в антиякобинской, контрреволюционной литературе, вы столкнетесь с другой яркой фигурой монстра. И на сей раз монстр уже не злоупотребляет властью, но разрывает общественный договор посредством бунта. Уже не как король, но как революционер, народ оказывается точь-в-точь перевернутым изображением кровавого монарха. Гиеной, набрасывающейся на общественное тело. В монархической, католической и т. п., в том числе в английской литературе революционной эпохи, вы найдете перевернутый образ той самой Марии-Антуанетты, которую рисовали якобинские и революционные памфлеты. Другое лицо монстра открывается в связи с сентябрьскими побоищами: те-

перь это народный монстр, разрывающий общественный договор, так сказать, снизу, тогда как Мария-Антуанетта и сам король расторгли его сверху. Так, госпожа Ролан, описывая сентябрьские события, восклицает: «Если бы вы только знали, какими страшными деталями сопровождались эти выступления! Женщины, жестоко насилуемые, а затем разрываемые этими зверьми на части, вырванные кишки, надетые вместо орденских лент, кровь, стекающая по лицам пожирателей людского мяса!».[28] Барюэль в «Истории церкви революционного времени» описывает случившееся с графиней де Периньон, которую вместе с двумя ее дочерьми поджарили на площади Дофин, после чего там же сожгли заживо шестерых священников, отказавшихся есть жареное мясо несчастной.[29] Тот же Барюэль рассказывает о том, как в Пале-Рояль торговали пирогами из человеческого мяса.[30] Бертран де Мольвиль[31] и Матон де ла Варенн[32] приводят целую серию историй: знаменитую историю госпожи де Сомбрей, которая выпила ведро крови, чтобы спасти жизнь своего отца;[33] или историю мужчины, который был вынужден выпить кровь, выжатую из сердца одного юноши, чтобы спасти двух своих друзей;[34] или историю самих сентябрьских палачей, которые пили водку вперемешку с пушечным порохом и закусывали хлебом, смоченным в ранах убитых.[35] Здесь также налицо фигура развратника-антропофага, однако на сей раз антропофагия перевешивает разврат. Две темы — сексуальный запрет и пищевой запрет — очевидным образом стыкуются в обеих первых фигурах, как у просто монстра, так и у монстра политического. Обе эти фигуры обязаны строго определенному стечению обстоятельств, хотя в то же время они повторяют прежние темы — распутство королей, разврат сильных мира сего, народное насилие. Все это старинные темы, но интересно, что в этом первом явлении монстра они возрождаются и смыкаются друг с другом. И так случилось по ряду причин.

Во-первых, как мне кажется, потому что возрождение этих тем и новый рисунок животной дикости оказались связаны с реорганизацией политической власти, с новыми принципами ее исполнения. Не случайно то, что монстр появляется в связи

с процессом над Людовиком XVI и сентябрьскими событиями, которые, как вы знаете, были, в некотором роде, народным требованием более жестокого, более скорого, более прямого и более справедливого суда, нежели тот, какой могло провести институциональное правосудие. Две эти фигуры монстра возникли именно вокруг проблемы права и исполнения карательной власти. Но они важны и по другой причине: они вызвали необычайно живой отклик во всей современной им литературе, в том числе и в литературе в самом традиционном смысле этого слова, но прежде всего в литературе ужаса. Мне кажется, что внезапный всплеск литературы ужаса в конце XVIII века, в годы, почти совпадающие с революционными датами, тоже следует увязать с новой экономикой карательной власти. В этот момент появляется монстр, противоестественно-природный преступник. И в литературе мы также встречаем его в двух обличьях. С одной стороны, мы видим монстра, злоупотребляющего властью: это властитель, дворянин, порочный церковник, монах-греховодник. С другой стороны, в той же самой литературе ужаса мы видим и низового монстра, возвращающегося к своей дикой природе: это разбойник, «лесной» человек, зверь с его безудержным инстинктом. Обе эти фигуры вы обнаружите, скажем, в романах Анны Радклиф.[36] Возьмите «Пиренейский замок»,[37] целиком построенный на их сочленении: падший дворянин утоляет свою жажду мести самыми ужасными преступлениями и пользуется для этого разбойниками, которые, чтобы предохранить себя и спокойно преследовать свои интересы, соглашаются принять падшего дворянина в качестве своего главаря. Это двойная монструозность: «Пиренейский замок» сопрягает две ключевые ее фигуры, причем сопрягает их в очень типичном пейзаже, в очень типичных декорациях, поскольку действие, как вы помните, разворачивается в некоей местности, сочетающей приметы замка и гор. Это неприступная гора, в которой, однако, выдолблена пещера, затем превращенная в укрепленный замок. Феодальный замок, признак могущества сеньора и, как следствие, манифестация той беззаконной мощи, коей является преступность, образует единое целое с дикостью самой природы, в которой растворены разбойники.

Мне кажется, что эта фигура из «Пиренейского замка» предоставляет нам весьма конкретное изображение обеих форм монструозности, появившихся в политической и образной тематике эпохи. Романы ужаса следует читать как романы политические.

Эти же две формы монструозности вы, конечно, найдете и у Сада. В большинстве его романов, и во всяком случае в «Жюльетте», постоянно встречаются монструозность сильного и монструозность простолюдина, монструозность министра и монструозность бунтовщика — встречаются и содействуют друг с другом. В центре этой серии пар могущественного монстра и монстра-повстанца — Жюльетта и Дюбуа. Распутство у Сада всегда связано со злоупотреблением властью. Монстр Сада — не просто форсированная, более взрывная, чем обычно, природа. Монстр — это индивид, которому деньги, ум или политическое могущество дают возможность восстать против природы. Таким образом, вследствие этого избытка власти природа в садовском монстре обращается против себя самой и в конечном итоге убивает в себе естественную рациональность, чтобы превратиться в монструозное исступление, которое набрасывается не только на других, но и на себя тоже. Природное самоуничтожение, являющееся фундаментальной темой Сада, это самоуничтожение безудержных зверств непременно требует присутствия индивидов, обладающих сверхвластью. Или сверхвластью властителя, дворянина, министра, денег — или сверхвластью бунтовщика. У Сада нет монстра, который был бы политически нейтрален или посредствен: либо он приходит со дна общества и вступает в борьбу против установленного порядка, либо он владыка, министр, дворянин, в распоряжении которого беззаконная сверхвласть над всеми общественными властями. Оператором распутства у Сада всегда выступает власть, избыток власти, злоупотребление властью, деспотизм. Эта-то сверхвласть и придает простому распутству монструозные черты.

Я хотел бы добавить вот что: две эти фигуры монстра — низовой монстр и верховный монстр, монстр-людоед, представляемый чаще всего образом восставшего народа, и монстр-кровосмеситель, представляемый преимущественно фигурой

короля, — две эти фигуры важны, так как мы встретим их в самой сердцевине медицинско-юридической тематики монстра в XIX веке. Именно они в своем двуединстве будут неотступно преследовать проблематику ненормальной индивидуальности. В самом деле, не стоит забывать о том (и в следующий раз я затрону эту тему немного подробнее), что первые яркие эпизоды судебной медицины в конце XVIII, а особенно в начале XIX века, были связаны отнюдь не с преступлениями, совершенными в состоянии откровенного, несомненного безумия. Проблему составляло не это. Источником проблемы, точкой возникновения судебной медицины было само существование этих монстров, которых считали монстрами именно потому, что они были одновременно кровосмесителями и антропофагами, другими словами, поскольку они нарушали оба главных запрета: пищевой и сексуальный. Первым описанным монстром была, как вы помните, женщина из Селеста́, та самая, чей случай Жан-Пьер Петер проанализировал на страницах «Психоаналитического журнала»; женщина из Селеста́, которая в 1817 г. убила свою дочь, разрезала ее на куски и зажарила в капустных листьях.[38] Кроме того, через несколько лет имело место дело Леже, пастуха, вследствие одинокой жизни вернувшегося в природное состояние, который убил и изнасиловал свою маленькую дочь, вырезал и съел ее половые органы, а затем вырвал сердце и высосал из него кровь.[39] Затем, около 1825 г., состоялось дело солдата Бертрана, который вскрывал могилы на кладбище Монпарнас, вынимал оттуда тела женщин, насиловал их, после чего вспарывал ножом и развешивал внутренности в виде гирлянд на крестах гробниц и ветвях деревьев.[40] Эти-то фигуры и были организующими звеньями, факторами развития судебной медицины: фигуры монструозности, сексуальной и антропофагической монструозности. Эти темы, объединенные двойственной фигурой сексуального преступника и людоеда, будут иметь хождение в течение всего XIX века, постоянно обнаруживаясь на границах психиатрии и уголовной практики. Они же придадут рельефность ярчайшим криминальным фигурам конца XIX века. Среди них Ваше́ во Франции, Дюссельдорфский вампир в Германии, а главное, Джек-Потрошитель в Англии, который

не просто потрошил проституток, но и был, по всей вероятности, связан довольно близким родством с королевой Викторией. Монструозность народа и монструозность короля вдруг снова сошлись вместе в его странной фигуре.

Людоед — народный монстр, кровосмеситель — царственный монстр, — две эти фигуры впоследствии послужили логической решеткой, подступом к целому ряду дисциплин. Разумеется, я имею в виду этнологию — возможно, и ту этнологию, что рассматривается как выездная практика, но прежде всего этнологию как академическую рефлексию над так называемыми примитивными народностями. Но если посмотреть на то, как формировалась академическая антропология, взяв, к примеру, сочинения Дюркгейма, пусть не как исходную точку, но [по крайней мере] как первый значительный образец этой университетской дисциплины, то выяснится, что ее проблематика складывалась вокруг тех же самых тем инцеста и антропофагии. Константой в изучении примитивных обществ был тотемизм, — и о чем же говорит тотемизм? Да вот о чем — о кровной общности: о животном как средоточии сил группы, ее энергии и жизнеспособности, самой ее жизни. Далее — проблема ритуального съедания этого животного. То есть впитывания общественного тела каждым, или растворения каждого в тотальности общественного тела. За тотемизмом, с точки зрения самого Дюркгейма, просматривается ритуальная антропофагия как момент экстаза общности, и такие моменты для Дюркгейма есть просто-напросто моменты максимального возбуждения, ритмично повторяющиеся на фоне вообще-то устойчивого и регулярного состояния общества.[41] Устойчивого и регулярного состояния, характеризуемого чем? Как раз тем, что общинная кровь находится под запретом: нельзя прикасаться к людям из своей общины, и прежде всего к женщинам. Шумное тотемное пиршество, часто сопряженное с людоедством, — это всего-навсего регулярный всплеск общества, в котором действует закон экзогамии, запрет на кровосмешение. Есть время от времени безоговорочно запрещенную пищу, а именно человека, но при этом не позволять себе прикасаться к собственным женщинам: наваждение людоедства и отказ от инцеста. Вот эти две проблемы

обусловили, определили для Дюркгейма, как, впрочем, и для его последователей, развитие антропологической дисциплины. Чем ты питаешься и на ком ты не женишься? С кем ты вступаешь в кровную связь и что ты имеешь право употреблять в пищу? Брак и кухня: вы отлично знаете, что эти вопросы занимают теоретическую и академическую антропологию и по сей день.

Именно с этими вопросами, основываясь на проблемах инцеста и антропофагии, наука и подходит ко всем мелким монстрам истории, ко всем этим внешним границам общества и экономики, порождаемым примитивными народностями. Коротко можно сказать следующее. Те антропологи и теоретики антропологии, которые предпочитают точку зрения тотемизма, то есть, в конечном счете, антропофагии, приходят к этнологической теории, в соответствии с которой наши общества оказываются абсолютно чуждыми и далекими для нас самих, ибо их отсылают прямиком к первобытному людоедству. Это Леви-Брюль.[42] Наоборот, если мы рассматриваем явления тотемизма по законам брака, то есть забываем о теме людоедства и сосредоточиваемся на анализе норм брака и символического круговращения, то в итоге приходим к этнологической теории как объяснительному принципу примитивных обществ и к переоценке их мнимой дикости. Это, вслед за Леви-Брюлем, Леви-Строс.[43] Но так или иначе антропологи не избегают «вилки» каннибализм — инцест, не проходят мимо династии Марии-Антуанетты. То великое внешнее, великое другое, определения которого с XVIII века ищет наш политико-юридический внутренний мир, неизменно оказывается каннибалистически-инцестуозным.

То же, что относится к этнологии, бесспорно и в еще большей степени, как вы знаете, относится к психоанализу, ибо если антропология шла по пути, который привел ее от исторически первой для нее проблемы тотемизма, то есть антропофагии, к сравнительно недавней проблеме запрета на инцест, то история психоанализа, можно сказать, развивалась в противоположном направлении, и логическая решетка, приложенная Фрейдом к неврозу, была решеткой инцеста.[44] Инцест: преступление королей, непомерной власти, преступление

Эдипа и его семьи. Вот вам логика невроза. А затем, у Мелани Клейн, и логика психоза.[45] Логическая решетка, выстроенная исходя из чего? Исходя из проблемы поглощения, интроекции хороших и плохих объектов, каннибализма уже не как преступления королей, но как преступления голодных.

Мне кажется, что человеческий монстр, чьи контуры начала очерчивать в XVIII веке новая экономика карательной власти, является фигурой, в которой коренным образом переплетаются две великие темы: кровосмешение королей и каннибализм нищих. Именно эти две темы, сложившиеся в конце XVIII века в рамках нового режима экономики наказаний и в частном контексте Великой французской революции, а вместе с ними две ключевые для буржуазной мысли и политики формы беззакония — деспотический властитель и восставший народ, — именно эти две фигуры и по сей день бороздят поле аномалии. Два великих монстра, которые возвышаются над областью аномалии, доныне не смыкая глаз, — в чем убеждают нас этнология и психоанализ, — есть не кто иные, как два великих героя запретного потребления: король-кровосмеситель и народ-людоед.[46]

Примечания

[1] См. уже цитированный нами курс «Карательное общество» (в частности, лекцию от 10 января 1973 г.).

[2] Во всей дальнейшей дискуссии М. Фуко повторяет и развивает темы, рассмотренные в книге «Надзирать и наказывать» (*Foucault M.* Surveiller et Punir. P. 51—61 [глава II: «Раскаты казней»]).

[3] *Bourdeille P. de*, seigneur de Brantôme. Mémoires contenant les vies des hommes illustres et grands capitaines étrangers de son temps. II. Paris, 1722. P. 191 (1 éd. 1665).

[4] *Bruneau A.* Observations et Maximes sur les matières criminelles. Paris, 1715 (2). P. 259.

[5] Тут М. Фуко пересказывает фрагмент цитировавшейся книги Брюно (*Bruneau A.* Observations et Maximes...).

[6] См. уже цитированный курс «Карательное общество»; резюме см. в кн.: *Foucault M.* Dits et Écrits. II. P. 456—470.

[7] См., напр., статью Л. де Жакура «Преступление (естественное право)», основывающуюся на «Духе законов» Монтескье (*Jacourt L. de.*

Crime (droit naturel) // Éncyclopédie raisonnée des sciences, des arts et des métiers. IV. Paris, 1754. P. 466b—468a).

[8] М. Фуко имеет в виду, в частности, тексты Лепелетье де Сен-Фаржо: *Lepeletier de Saint-Fargeau M.* Extrait du rapport sur le projet de Code pénal, fait au nom des comités de constitution et de législation criminelle // Gazette Nationale, ou le Monsieur universel. 150, 30 mai 1791. P. 525—528; 151, 31 mai 1791. P. 522—526, 537 («Дискуссия по вопросу о том, следует ли сохранить смертную казнь»); 155, 4 juin 1791. P. 572—574. См. также: De l'abrogation de la peine de mort. Fragments extraits du rapport sur le projet de Code pénal présenté à l'Assemblée constituante. Paris, 1793. «Проект Уголовного кодекса» опубликован в кн.: *Lepeletier de Saint-Fargeau M.* Œuvres. Bruxelles, 1826. P. 79—228.

[9] *Prugnon L.-P.-J.* Opinion sur la peine de mort. Paris, [s. d.: 1791]. P. 2—3: «Одной из главных забот законодателя должно быть предупреждение преступлений, и он несет ответственность перед обществом за всех тех, кому он не помешал, когда мог это сделать. Поэтому он должен преследовать две цели: надлежащим образом передавать тот ужас, который вызывают крупные преступления, и устрашать яркими примерами. Да-да, в казни должно видеть именно пример, а не казнимого человека. Душа испытывает радостное волнение, приободряется, если можно так выразиться, представляя себе общество людей, которым не ведомы ни казни, ни эшафоты. Я считаю, что это самое приятное из всех размышлений. Но где найти такое общество, откуда были бы благополучно изгнаны палачи? Преступление живет на земле, и величайшая ошибка нынешних писателей состоит в том, что, применяя свои расчеты и свою логику к убийцам, они не замечают того, что эти люди были исключением природных законов, что всякое моральное существо в них отсутствовало; такова софистика, порождающая книги. Да, аппарат казни, даже при взгляде издалека, устрашает и останавливает преступников; эшафот для них значительно ближе, чем вечность. Они за пределами обычных мер — иначе разве они убивали бы? А потому нужно вооружиться против непосредственных впечатлений сердца и защитить себя от предубеждений добродетели». Этот пассаж содержится и в кн.: Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises. XXVI. Paris, 1887. P. 619.

[10] См. реплику на заседании Национального собрания от 30 мая 1791 г. (Gazette nationale, ou le Monsieur universel. 153, 2 juin 1791. P. 552), воспроизведенную в кн.: *Duport A.-J.-F.* Opinion sur la peine de mort. Paris, [1791]. P. 8.

[11] В главе VIII раздела «Умственные болезни» труда Л. Вите «Предупредительная медицина» (Vitet [L.] Médecine expectante. V. Lyon, 1803. P. 156—374) не упоминается о преступлении как болезни. В VI году революции Луи Вите (автор, помимо прочего, сочинения «Народный врач» [Лион, 1805]) принимал участие в подготовке проектов закона о специальных медицинских школах. Ср.: *Foucault M.* Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical. Paris, 1963. P. 16—17.

[12] Эта статья не была опубликована в XVI томе «Журнала по медицине, хирургии и фармацевтике» (1808). См. кн.: *Prunelle C.-V.-F.-G.* De la médecine politique en général et de son objet. De la médecine légale en particulier, de son origine, de ses progrès et des secours qu'elle fournit au magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Montpellier, 1814.

[13] Мы не смогли отыскать этот фрагмент.

[14] Эти теоретики перечисляются М. Фуко в другом месте: *Foucault M.* Dits et Écrits. II. P. 458.

[15] Документы этих дебатов были собраны и опубликованы А. Собулем: *Soboul A.* Le Procès de Louis XVI. Paris, 1966.

[16] Подобные аргументы Луи-Антуан-Лион Сен-Жюст приводит в своих «Суждениях по поводу суда над Людовиком XVI» (выступления от 13 ноября и 27 декабря 1792 г.). См.: *Saint-Just L.-A.-L.* Œuvres. Paris, 1854. P. 1—33. См. также: *Lepeletier de Saint-Fargeau M.* Opinion sur le jugement de Louis XVI. Paris, 1792; Œuvres. P. 331—346.

[17] О психиатрическо-криминологической деятельности Эскироля см. ниже, лекция от 5 февраля; о Ломброзо см. выше, лекция от 22 января.

[18] М. Фуко имеет в виду принадлежащие перу А.-Р. Мопино де ла Шапотта «Исторические наблюдения о происхождении королей и о преступлениях, которые поддерживали их существование»: *Mopinot de la Chapotte A.-R.* Effrayante histoire des crimes horribles qui ne sont communs qu'entre les familles des rois depuis le commencement de l'ère vulgaire à la fin du XVIII siècle. Paris, 1793. P. 262—303. О Нимроде, основателе Вавилонской империи, см.: Быт. 10, 8—12. Брунегильда (род. около 534 г.) была младшей дочерью Атанагильда, короля испанских вестготов.

[19] *Levasseur.* Les Tigres couronnés ou Petit Abrégé des crimes des rois de France. Paris, [s. d.: 4 éd. 1794]. О понятии «тигромании» см.: *Matthey A.* Nouvelles Recherches sur les maladies de l'esprit. Paris, 1816. P. 117, 146.

[20] *Prudhomme L.* [Robert L.] Les Crimes des reines de France, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à Marie-Antoinette. Paris, 1791; Les Crimes de Marie-Antoinette d'Autriche dernière reine de France, avec les piéces justificatives de son procès. Paris, II [1793—1794].

[21] См.: *Mopinot de la Chapotte A.-R.* Effrayante histoire... P. 262—266.

[22] Например: «Охота на гнусных кровожадных зверей, которые некогда населяли леса, равнины и т. д., а затем распространились при дворе и в столице» (1789); «Описание королевского собрания живых зверей, выставленных на обозрение в саду Тюильри близ Национальной Галереи, с обозначением имен, характеристик, красок и особенностей» (1791).

[23] L'Autrichienne en goguettes ou l'Orgie royale. [s. l.], 1791.

[24] *Prudhomme L.* Les Crimes de Marie-Antoinette d'Autriche... P. 446.

[25] «Королевский бордель, с приложением тайной беседы между королевой и кардиналом де Роаном после визита последнего в Генеральные Штаты» (1789); «Похотливые похождения Марии-Антуанетты, жены Людовика XVI» (Париж, 1791).

[26] Vie de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France, femme de Louis XVI, roi des Français, depuis la perte de son pucelage jusqu'au premier mai 1791. Paris, I [1791]. P. 5. Ср.: La Vie privée, libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette d'Autriche, ci-devant reine des Français, depuis son arrivée en France jusqu'à sa détention au Temple. [s. l. n. d.].

[27] Les Bordels de Lesbos ou le Génie de Sapho. Saint-Pétersbourg, 1790.

[28] Lettres de Madame Roland, publiées par C. Perroud. II. Paris, 1902. P. 436.

[29] *Barruel A.* Histoire du clergé pendant la Révolution française. Londres, 1797. P. 283.

[30] История приводится П. Кароном, который также указывает на происхождение этой лжи и ссылается на опровержения современников: *Caron P.* Les Massacres de septembre. Paris, 1935. P. 63—64.

[31] *Bertrand de Molleville A.-F.* Histoire de la Révolution de France. 14 vol. Paris, IX—XI [1800—1803].

[32] *Maton de la Varenne P.-A.-L.* Les Crimes de Marat et des autres égorgeurs, ou Ma Résurrection. Où l'on trouve non seulement la preuve que Marat et divers autres scélérats, membres des autorités publiques, ont provoqué tous les massacres des prisonniers, mais encore des matériaux précieux pour l'histoire de la Révolution française. Paris, III [1794—1795]; Histoire particulière des événements qui ont eu lieu en France

pendant les mois de juin, juillet, d'août et de septembre 1792, et qui ont opéré la chute du trône royal. Paris, 1806. P. 345—353.

[33] См.: *Granier de Cassagnac A.* Histoire des girondins et des massacres de septembre d'après les documents officiels et inédits. II. Paris, 1860. P. 226. История госпожи де Сомбрей стала темой для обширной литературы. См.: *Duchemin P.-V.* Mademoiselle de Sombreuil, l'héroïne au verre de sang (1767—1823). Paris, 1925.

[34] См.: *Peltier J.-G.* Histoire de la révolution du 10 août 1792, des causes qui l'ont produite, des événements qui l'ont précédée, et des crimes qui l'ont suivie. II. Londres, 1795. P. 334—335.

[35] *Maton de la Varenne P.-A.-L.* Les Crimes de Marat et des autres égorgeurs... P. 94.

[36] См., напр.: [*Radcliffe A. W.*] The Romance of the Forest. London, 1791.

[37] Роман «Видения Пиренейского замка» (Париж, 1803), приписанный Анне Радклиф, является апокрифом.

[38] *Peter J.-P.* Ogres d'archives // Nouvelle Revue de psychanalyse. 6, 1972. P. 251—258. Случай в Селеста (по-эльзасски — Шлеттштадт) получил известность во Франции благодаря Ш.-Ш.-А. Марку, который опубликовал в «Анналах общественной гигиены и судебной медицины» (VIII/1, 1832. P. 397—411) перевод судебно-медицинского заключения о некоей Ф. Д. Райсайсен, сделанного Й. Х. Коппом и первоначально вышедшего по-немецки (Jahrbuch der Staatsartzneikunde, 1817). Ср.: *Marc Ch.-Ch.-H.* De la folie considerée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires. II. Paris, 1840. P. 130—146.

[39] *Georget E.-J.* Examen médical des procès criminels des nommés Léger, Feldtmann, Lecouffe, Jean-Pierre et Papavoine, dans lesquels l'aliénation mentale a été alléguée comme moyen de défense. Suivi de quelques considérations médico-légales sur la liberté morale. Paris, 1825. P. 2—16. Ср.: *Peter J.-P.* Ogres d'archives. P. 259—267; Le corps du delit // Nouvelle Revue de psychanalyse. 3, 1971. P. 71—108.

[40] См. ниже, лекция от 12 марта.

[41] *Durkheim E.* La prohibition de l'inceste et ses origines // L'Année sociologique. II. 1898. P. 1—70.

[42] *Lévy-Bruhl L.* La Mentalité primitive. Paris, 1922; Le Surnaturel et la Nature dans la mentalité primitive. Paris, 1932.

[43] *Lévi-Strauss Cl.* Les Structures élémentaires de la parenté. Paris, 1947; Le Totémisme aujourd'hui. Paris, 1962.

[44] *Freud S.* Totem und Tabu. Über einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker. Leipzig—Wien, 1913 (trad. fr.:

Totem et Tabou. Quelques concordances entre la vie psychique des sauvages et celle des névrosés. Paris, 1993).

[45] *Klein M.* Criminal tendencies in normal children // British Journal of Medical Psychology. 1927 (trad. fr.: Les tendances criminelles chez les enfants normaux // Essais de psychanalyse, 1921—1945. Paris, 1968. P. 269—271).

[46] Об «особом месте» психоанализа и этнологии в западноевропейском знании см. главу X, § V книги М. Фуко «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» (СПб., 1994. С. 392—404).

Лекция от 5 февраля 1975 г.

В стране людоедов. — Переход от монстра к ненормальному. — Три великих монстра у подножия криминальной психиатрии. — Медицинская и судебная власти вокруг понятия незаинтересованности. — Институциализация психиатрии как специализированной отрасли общественной гигиены и частной области социальной защиты. — Определение безумия как социальной опасности. — Немотивированное преступление и королевское испытание психиатрии. — Дело Генриетты Корнье. — Открытие инстинктов.

Итак, мне кажется, что не кто иной, как персонаж-монстр с двумя лицами антропофага и кровосмесителя направлял первые шаги уголовной психиатрии или криминальной психологии. Именно как монстр, то есть как противоестественная природа, заявляет о себе поначалу преступник-безумец.

История, которую я намерен рассказать вам в этом году, история ненормальных, без обиняков начинается с Кинг-Конга; я имею в виду, что мы сразу, едва приступив к ней, оказываемся в стране людоедов. Многочисленная династия ненормальных мальчиков с пальчик восходит прямиком к внушительной фигуре людоеда.[1] Они — его потомки, и это укладывается в логику истории, парадоксом которой является то, что эти мелкие ненормальные, ненормальные мальчики с пальчик, в конечном итоге истребили больших чудовищ-людоедов, что были их отцами. Вот об этой-то проблеме я и хотел бы сегодня поговорить: как случилось, что постепенно, с течением лет, эти монстры-исполины растеряли свою стать, в силу чего в конце XIX века монструозный персонаж если еще

и появляется (а он таки появляется), то предстает не более чем утрированным или просто экстремальным выражением общего поля аномалии, которое-то и составляет теперь повседневный хлеб психиатрии, с одной стороны, и криминальной психологии, уголовной психиатрии, с другой? Почему значительная, из ряда вон выходящая монструозность в конечном итоге распалась, разделилась, чтобы превратиться в этот сонм мелких аномалий, ненормальных и в то же время обыкновенных персонажей? Почему криминальная психиатрия оставила стадию изучения этих великих монстров-каннибалов ради практики, заключающейся в исследовании, анализе, оценке всевозможных дурных привычек, мелких пороков, ребяческих выходок и т. д.?

Проблему составляет переход от монстра к ненормальному. Причем надо учитывать следующее: недостаточно признать нечто эпистемологической необходимостью, научной тенденцией, приведшей психиатрию к постановке вслед за проблемой бесконечно большого проблемы бесконечно малого, вслед за проблемой разительного — проблемы незаметного, вслед за проблемой крайне важного — проблемы незначительного; не следует искать источник, принцип того процесса, что ведет от монстра к ненормальному, в возникновении таких техник или технологий, как психотехника, психоанализ или невропатология. Ибо скорее уж сами эти феномены, само возникновение этих техник, являются следствием великого преобразования, ведущего от монстра к ненормальному.

Проблема ясна. Так обратимся же к трем важнейшим монстрам, стоящим у основания криминальной психиатрии, изучим их ⟨...⟩ не такую уж долгую эволюцию. Первый из них — это женщина из Селеста, о которой я уже несколько раз говорил и которая, как вы знаете, убила свою дочь, разрезала ее на куски, а затем зажарила в капустных листьях и съела.[2] Далее, дело Папавуана, убившего в Венсенском лесу двоих детей, которые, возможно, были приняты им за родственников герцогини Беррийской.[3] И наконец, Генриетта Корнье, которая перерезала горло малолетней дочери своих соседей.[4]

Как видите, эти три монстра так или иначе варьируют тематику монструозности, о которой я говорил вам в прошлый

раз: антропофагия, обезглавливание, проблема цареубийства. Все трое вырисовываются на фоне того пейзажа, в котором в конце XVIII века и возник монстр — еще не в качестве психиатрической категории, но как юридическая категория и политический фантазм. Фантазм истребления, фантазм цареубийства скрыто или явно присутствует в трех упомянутых мною историях. И вам понятно, почему эти три персонажа сразу произвели сильное впечатление. Однако мне кажется, что третий и только третий из них, а именно Генриетта Корнье, действительно воплотила в себе проблему преступной монструозности. Почему Генриетта Корнье? Почему именно эта история, а не две другие — или, во всяком случае, почему не все три?

Первая история — это случай в Селеста́. Наверное, я говорил вам об этом множество раз, однако повторю в последний: в этом деле нас удивляет и в то же время не позволяет этой истории окончательно сделаться проблемой психиатров то, что бедная, даже нищая женщина убила свою дочь, разрезала ее на куски, зажарила в капустных листьях и съела в те самые времена — в 1817 году, — когда в Эльзасе свирепствовал голод. Во всяком случае, прокурор, заявляя о своих требованиях, решил подчеркнуть, что эта женщина не была безумна, ибо она убила и съела своего ребенка под влиянием силы, с которой может столкнуться каждый, — под влиянием голода. Если бы она не голодала, если бы она не была нищей, тогда бы можно было спрашивать о рассудочном или безрассудном характере ее поступка. Но поскольку она голодала, а голод — страшная сила (уверяю вас, вполне достаточная, чтобы съесть своего ребенка!), поднимать проблему безумия нет оснований. Исходя из этого — совет: если решили съесть своих детей, уж лучше будьте богаты! И дело ушло из поля зрения психиатрии.

Далее, дело Папавуана. Это важное дело, вокруг которого впоследствии кипели споры, но которое в эти же самые годы тоже оказалось выведено из судебно-психиатрического поля, — так как очень скоро, на допросах об этом очевидно абсурдном и немотивированном злодеянии, убийстве двоих незнакомых детей, Папавуан признался или, во всяком случае,

заявил, что дети показались ему отпрысками королевской семьи. И развил вокруг этого целую серию тем, фантазий, утверждений, которые тут же были отнесены, или списаны, под рубрику бреда, иллюзий, ложных представлений, словом, под рубрику безумия. И преступление растворилось в безумии, точно так же как преступление женщины из Селеста, наоборот, растворилось в по-своему разумном и едва ли не здравом интересе.

Случай же Генриетты Корнье оказался гораздо более трудным делом, в известном смысле не поддающимся объяснению ни с точки зрения разума, ни с точки зрения безумия; и отводя разумное объяснение, он тем самым уклонялся и от права и от наказания. Но в то же время, поскольку в подобном деле трудно распознать, уловить факт безумия, оно уклонялось и от медицины, хотя в итоге все же попало в поле зрения психиатрической инстанции. Но что же произошло в этом деле Корнье? Еще молодая женщина, имевшая детей, однако бросившая их, и сама тоже брошенная первым мужем, устраивается служанкой в несколько парижских семей. И однажды, уже после нескольких угроз покончить с собой и приступов уныния, Генриетта Корнье является к своей соседке и предлагает той присмотреть за ее совсем маленькой, а именно восемнадцатимесячной [*rectius*: девятнадцатимесячной], дочерью. Соседка колеблется, но в конце концов соглашается. Корнье отводит девочку в свою комнату, затем, вооружившись заранее подготовленным большим ножом, перерезает ей горло, четверть часа проводит перед телом ребенка: с одной стороны — туловище, с другой — голова; и когда мать возвращается за своей дочерью, говорит ей: «Ваш ребенок умер». Мать, встревоженная, но не верящая, пытается войти в комнату; Генриетта Корнье же берет свой фартук, заворачивает в него голову девочки и выбрасывает в окно. После чего замирает, и несчастная мать спрашивает ее: «Почему?». Та отвечает: «Такова идея».[5] И практически ничего большего от нее добиться не удалось.

Вот вам случай, к которому неприменимы ни схема подспудного бреда, как это было в деле Папавуана, ни механизм элементарного, примитивного интереса, как в деле Селеста.

Между тем именно с этой истории или, по крайней мере, со случаев, так или иначе напоминающих ее общий рисунок, начинается, так сказать, знакомство с той странностью, которую Генриетта Корнье представляет в чистом виде; мне кажется, что именно такого рода дела, именно такого рода случаи, именно такого рода деяния и поднимают проблему перед криминальной психиатрией. Хотя я не думаю, что выражение «поднимают проблему перед криминальной психиатрией» точно передает суть. На деле это не то чтобы поднимает перед криминальной психиатрией проблему, но именно эти случаи приводят к ее возникновению, а точнее — выступают территорией, на которой криминальная психиатрия и складывается как таковая. Вокруг этих случаев, как мы знаем, возникают одновременно скандал и замешательство. И именно в связи с этими таинственными поступками, по обе их стороны, вырабатывается ряд особых операций, одни их которых, следуя в основном со стороны обвинения и судебной механики, будут стремиться некоторым образом завуалировать бессмысленность преступления, чтобы обнаружить в преступнике разум, разумное состояние, объявить его разумным; другие же операции, со стороны защиты и психиатрии, будут, напротив, разрабатывать эту бессмысленность, эту незаинтересованность, в качестве предмета психиатрического вмешательства.

Чтобы немного очертить для вас этот механизм, который, по-моему, очень важен не только для истории ненормальных, не только для истории криминальной психиатрии, но и для истории психиатрии вообще, а в конечном счете и для истории гуманитарных наук в целом, — и который действовал в деле Корнье и других подобных делах, — я намерен построить дальнейшее изложение следующим образом. Сначала я опишу общие причины, вследствие которых возникло то, что можно охарактеризовать как двойной ажиотаж вокруг темы отсутствия интереса. Двойной ажиотаж: я имею в виду, с одной стороны, ажиотаж судей, ажиотаж судебного аппарата, оживление уголовной механики вокруг этих случаев и, с другой стороны, ажиотаж медицинского аппарата, медицинского знания, совсем еще молодой медицинской власти вокруг этих же случаев. Почему медицинская и судебная власти с их, несомнен-

но, различными целями и тактиками встретились друг с другом вокруг этих случаев, да так, что произошла стыковка? Затем, изложив эти общие причины, я попытаюсь выяснить, каким же был их истинный эффект в деле Корнье, взяв это дело как образец всех прочих дел, относящихся, с небольшими отклонениями, к тому же типу.

Итак, займемся общими причинами двойного, судебно-медицинского, с одной стороны — медицинского, с другой стороны — судебного ажиотажа вокруг проблемы того, что мы назвали незаинтересованностью. Во-первых, имел место ажиотаж уголовной механики, судебного аппарата. Что же так озадачило судей в поступке, который кажется не продиктованным неким обнаружимым и понятным интересом? Я попытаюсь показать вам, что этот скандал, это замешательство, эти дебаты не могли возникнуть как таковые, не могли найти себе место в старой уголовной системе, в эпоху, когда единственным случаем, когда преступление оказалось бы неизмеримым, то есть выходило бы за все мыслимые пределы, могло стать такое преступление, которое никакая, сколь угодно жестокая казнь не сумела бы затмить, заглушить, восстановив тем самым верховенство власти. Но возможно ли столь жестокое преступление, что ни одно мучение не могло бы стать за него возмездием? Ведь власть всегда находила такие казни, которые с лихвой компенсировали дикость преступления. Поэтому никаких проблем не возникало. Напротив, спросим себя, что становится мерой преступления в новой уголовной системе и что, как следствие, позволяет назначить за него умеренное наказание, устанавливает и ограничивает возможность наказывать? Как я попытался объяснить вам в прошлой лекции, это подспудный интерес, обнаружимый на индивидуальном уровне преступника и его поведения. Преступление отныне карается сообразно интересу, которым оно продиктовано. Кара вовсе не способствует искуплению содеянного, разве что метафорически. Кара вовсе не аннулирует преступление, ибо оно существует. Аннулированию, искоренению может быть подвергнуто другое: всевозможные механизмы заинтересованности, которые побудили на это преступление его виновника и которые могут побудить на подобные преступ-

ления других. Заинтересованность оказывается своего рода внутренней рациональностью преступления, тем самым, что делает его постижимым, но в то же время она служит обоснованием карательных мер в отношении него, позволяет сладить с преступлением, или даже со всеми подобными преступлениями, делает его наказуемым. Заинтересованность преступления — это его постижимость и в то же время его наказуемость. Новая экономика карательной власти берет на вооружение рациональность преступления, под которой понимается теперь обнаружимая механика интересов, чего не случалось ни в одной из прежних систем, которые действовали путем всегда избыточного, всегда несоразмерного расходования казни.

Отныне механика карательной власти подразумевает две следующие вещи. Во-первых, прямое утверждение рациональности. Прежде всякое преступление становилось наказуемым, если ничто не свидетельствовало о помутнении рассудка виновника. Лишь после того как поднимался вопрос о помутнении рассудка, лишь затем, во вторую очередь, задавались вопросом о том, насколько мотивированным было преступление. Теперь же, с тех пор как преступление карается сообразно побудительному интересу, с тех пор как подлинной целью карательной деятельности, исполнения карательной власти, становится присущая преступнику механика заинтересованности, словом, с тех пор как карается уже не преступление, но преступник, постулат рациональности, как вы понимаете, заметно усиливается. Недостаточно сказать: поскольку помутнение рассудка не засвидетельствовано, все в порядке, можно карать. Теперь карать можно лишь в том случае, если прямо — я едва не сказал позитивно — постулирована рациональность деяния, которая-то в действительности и карается. Таким образом, налицо прямое утверждение рациональности, позитивное требование рациональности, а не просто ее допущение, как это было в предшествующей экономике. Во-вторых, необходимо не только прямо продемонстрировать рациональность наказываемого субъекта, но необходимо также, в этой новой системе, принимать как совпадающие две вещи: с одной стороны, внятную механику интересов, руководивших

деянием, и, с другой стороны, рациональность совершившего деяние субъекта. Основания к совершению деяния (которые, как следствие, делают это деяние логичным) и основания субъекта, которые делают его, субъекта, наказуемым, — две эти системы оснований в принципе должны совпадать. Выстраивается целая система гипотез, необходимая новому режиму исполнения карательной власти. Прежде, в старой системе, границы которой совпадают с границами монархии Бурбонов, на уровне субъективных оснований требовался, в сущности, гипотетический минимум. Было достаточно недоказанности помутнения рассудка. Теперь же требуется засвидетельствовать разумность, налицо прямое требование рациональности. К тому же необходимо учитывать совпадаемость оснований, которые делают преступление логичным, и разумности субъекта, который должен быть наказан.

Этот неповоротливый корпус гипотез составляет самую сердцевину новой карательной экономики. Между тем — и вот тут весь уголовный механизм впадает в замешательство, замирает перед проблемой безосновательного деяния, — если само исполнение карательной власти требует этих тяжеловесных гипотез, то что же мы находим на уровне кодекса, закона, определяющего не действительное исполнение карательной власти, а круг применения права карать? Мы находим знаменитую 64-ю статью, где говорится: если во время совершения деяния субъект, подсудимый, был в состоянии помутнения рассудка, то преступления нет. Иными словами, кодекс, устанавливая область применения карательного права, следует старой системе помутнения рассудка. Он требует только одного: не должно быть доказательств помутнения рассудка. Тогда зáкон применим. Но на деле-то этот кодекс выражает в виде закона экономические принципы карательной власти, исполнение которой требует гораздо большего, ибо оно требует рациональности, разумного состояния субъекта, совершившего преступление, и внутренней рациональности самого преступления. Выходит, налицо несоответствие — и этим несоответствием характеризуется вся уголовная механика с XIX века до нашего времени — между кодификацией наказаний, законной системой, определяющей применимость криминального

закона, и тем, что я бы назвал карательной технологией, или исполнением карательной власти. Поскольку же есть это несоответствие, поскольку исполнение карательной власти требует действительной рациональности караемого деяния, каковую Уголовный кодекс и его 64-я статья начисто игнорируют, постольку, очевидно, внутри самой уголовной механики есть неизбывное стремление уклониться от кодекса и 64-й статьи — но в сторону чего? В сторону некоторой формы знания, некоторой формы анализа, которые позволят определить, квалифицировать рациональность деяния и провести границу между разумным и постижимым деянием и — безрассудным и непостижимым деянием. Но в то же время, если есть это постоянное и необходимое отклонение, обусловленное механикой исполнения карательной власти, отклонение от кодекса и закона в сторону психиатрического референта, то есть, иными словами, если апелляции к закону неизменно и все более твердо предпочитается апелляция к знанию, к психиатрическому знанию, то это может быть вызвано лишь наличием двусмысленности внутри самой этой экономики, которую вы могли уловить во всем том, что я говорил: я имею в виду двусмысленность между разумностью субъекта, совершающего преступление, и постижимостью наказуемого деяния. Разумность преступного субъекта — это условие, при котором применяется закон. Если субъект неразумен, закон применять нельзя — так говорит 64-я статья. Но исполнение карательной власти отвечает: я могу наказывать лишь в том случае, если понимаю, почему совершено деяние, каким образом совершено деяние; иными словами, только если могу проникнуть в подвластную анализу логику данного деяния. Этим-то и обусловливается чрезвычайно дискомфортное положение, в которое попадает психиатрия, как только ей преподносится безосновательное деяние, совершенное одаренным разумом субъектом, или всякий раз, когда приходится иметь дело с деянием, в котором невозможно отыскать принцип аналитической связности, притом что субъекту его нет оснований приписывать помутнение рассудка. Неминуемо складывается ситуация, в которой исполнение карательной власти не может быть оправданным, поскольку в деянии нет внутренней логики, ко-

торая открывала бы карательной власти подступ к преступлению. Но в то же время, поскольку нет оснований считать субъекта безумным, закон может и должен быть применен, ибо, согласно 64-й статье, закон должен применяться всегда, когда не подтверждено помутнение рассудка. В подобном случае, и в частности в деле Генриетты Корнье, закон применим, однако карательная власть не находит оснований для своего исполнения. С этим-то и связано замешательство; отсюда этот своего рода обвал, паралич, ступор уголовной механики. Пользуясь законом, который определяет применимость карательного права и модальности исполнения карательной власти, уголовная система оказывается пленницей взаимной блокировки двух этих механизмов. И в результате она неспособна судить; она вынуждена замереть и обратиться с вопросом к психиатрии.[6]

Вы, конечно, понимаете, что это замешательство выразится в своеобразном эффекте податливости — в том смысле, что уголовный аппарат уже не сможет обходиться без помощи научного, медицинского, психиатрического анализа оснований преступления. Впрочем, прибегая к этому анализу, он никоим образом не сможет ввести его заключения — заключения, касающиеся постижимости деяния, — в сам текст кодекса, в букву кодекса, ибо кодексу ведомо лишь помутнение рассудка, то есть дисквалификация субъекта вследствие безумия. Податливости по отношению к психиатрии, причем не просто податливости, а призыву [к психиатрии], сопутствует неспособность интегрировать в уголовный режим дискурс, развиваемый психиатрией по призыву уголовного аппарата. Неполная восприимчивость, просьба высказаться и упорная глухота к высказыванию, как только оно произнесено, игра просьб и отказов — вот чем, как мне кажется, характеризуется странное замешательство уголовного аппарата перед делами, которые можно назвать безосновательными преступлениями, учитывая всю двусмысленность этих слов. Таково мое мнение о причинах, по которым уголовный аппарат брался разрешать эти дела и в то же время оказывался в замешательстве перед ними.

Теперь же я намерен обратиться к медицинскому аппарату и выяснить, по каким причинам и его, в свою очередь, завора-

живали эти знаменитые безосновательные преступления, примером которых служит дело Генриетты Корнье. Мне кажется, что тут есть одно обстоятельство, на котором нужно заострить внимание; возможно, я ошибался, уделив ему недостаточно времени в прошлом году.[7] Дело в том, что психиатрия, какой она сложилась в конце XVIII века и особенно в начале XIX века, не была специализированной областью общей медицины. В начале XIX века, да и позднее, возможно почти до середины XIX века, психиатрия функционирует не как особая специализация медицинского знания или теории, но, в куда большей степени, как отрасль общественной гигиены. Прежде чем сделаться отделом медицины, психиатрия была институциализирована как область социальной защиты, защиты от всевозможных опасностей, с которыми общество может столкнуться вследствие болезни или всего того, что может быть прямо или косвенно связано с болезнью. Психиатрия институциализировалась как своего рода социальная профилактика, как гигиена всей совокупности общественного тела (не будем забывать о том, что первым в каком-то смысле специализированным психиатрическим журналом во Франции были «Анналы общественной гигиены»[8]). Психиатрия была отраслью общественной гигиены, и поэтому понятно, что, дабы самой сделаться научным институтом, то есть основательным и подкрепленным медицинским знанием, ей потребовалось совершить две одновременные кодировки. В самом деле, с одной стороны, надо было определить безумие как болезнь, патологизировать присущие ему расстройства, заблуждения, иллюзии; провести ряд исследований (по симптоматологии, нозографии, прогнозированию, наблюдению, клиническому досье и т. д.), способных навести мосты от этой общественной гигиены, или социальной профилактики, которую психиатрия должна была обеспечивать, к медицинскому знанию — и тем самым позволить этой защитной системе функционировать как медицинское знание. Но, с другой стороны, необходима была, причем в паре с первой, и другая кодировка. Одновременно надо было определить безумие как опасность, то есть представить безумие как источник ряда опасностей, как по самой сути своей источник угроз, а психиатрию тем самым — как зна-

ние о ментальных болезнях, способное действенно работать в качестве общественной гигиены. То есть, с одной стороны, психиатрия перевела целый отдел общественной гигиены в разряд медицины, а с другой стороны, она поставила знание, предупреждение и, при необходимости, лечение ментальных болезней на пост социальной профилактики, совершенно необходимой, чтобы предотвратить целый ряд фундаментальных опасностей, связанных с самим существованием безумия.

Эта двойная кодировка прошла долгий исторический путь, растянувшийся на весь XIX век. Можно сказать, что сильные доли истории психиатрии в XIX, да даже и в XX, веке отмечаются именно тогда, когда две кодировки работают действительно слаженно или когда один общий тип дискурса, один общий тип анализа, один общий понятийный корпус, позволяет определить безумие как болезнь и квалифицировать его как опасность. Так, в начале XIX века понятие мономании позволяет классифицировать в рамках подробной нозографии вполне медицинского типа (во всяком случае, безупречно изоморфной любой другой медицинской нозографии), закодировать внутри медицинского по своей морфологии дискурса, целый комплекс опасностей. В итоге мы находим клиническое описание мономании убийства или, скажем, суицидальной мономании. И социальная опасность кодируется как болезнь в рамках психиатрии. После чего психиатрия в самом деле начинает функционировать как медицинская наука, ответственная за общественную гигиену. Точно так же во второй половине XIX века мы встречаем понятие, не уступающее по эффективности мономании и выполняющее, в известном смысле, ту же самую роль в совсем другом контексте: это понятие «вырождение».[9] Вместе с понятием вырождения вы получаете возможность изоляции, регистрации, ограждения некоторой зоны социальной опасности и, в то же время, способ придать ей статус болезни, патологический статус. Возможен вопрос, а не играет ли ту же самую роль в XX веке понятие шизофрении.[10] Шизофрения, понимаемая некоторыми как болезнь, кровно связанная со всем нашим обществом, — такого рода дискурс о шизофрении, — является, конечно же, тоже способом кодировки социальной опасности как болезни. Разбирая

эти сильные доли — или, если вам угодно, слабые понятия — психиатрии, мы всякий раз обнаруживаем, что психиатрия выполняет функцию общественной гигиены.

Но мне кажется, что и помимо этих общих кодировок психиатрия нуждается в безумце как таковом, на опасный, специфически опасный характер которого она без устали указывала. Иными словами, с тех пор как психиатрия стала функционировать как знание и власть внутри широкой области общественной гигиены, защиты общественного тела, она всегда старалась отыскать секрет преступлений, которые угрожает спровоцировать всякое безумие, или, с другой стороны, ядро безумия, которое должно таиться во всех потенциально опасных для общества индивидах. Короче говоря, чтобы психиатрия могла функционировать так, как я это описал, ей понадобилось принять как принцип сущностную и фундаментальную причастность безумия к преступлению, а преступления к безумию. Эта причастность абсолютно необходима психиатрии, она является одним из условий ее формирования как отрасли общественной гигиены. Как раз поэтому психиатрия осуществила следующие два важных мероприятия. Одно — в лечебнице, и об этом мероприятии я рассказывал вам в прошлом году, оно заключается в построении анализа безумия, который расходится с традиционным анализом и в котором уже не бред выступает смысловым ядром безумия, но, скорее, матричной формой безумия оказывается непослушание, сопротивление, неподчинение, бунт, в буквальном смысле злоупотребление властью. Вспомните, как я говорил вам в прошлом году о том, что для психиатра XIX века безумец — это, в сущности, всегда некто принимающий себя за короля, то есть противопоставляющий свою власть всякой установленной власти и уверенный в превосходстве над нею, будь то власть института или власть истины.[11] Таким образом, уже внутри лечебницы психиатрия функционирует как обнаружение опасности или, точнее, как операция, с помощью которой при диагностике всякого безумия учитывается его возможная опасность. Но, как мне кажется, и за пределами лечебницы идет процесс подобного рода: за воротами лечебницы психиатрия тоже — особенно усердно и яростно в XIX веке, ибо это было время ее

формирования, — стремится обнаружить опасность, которую таит в себе безумие, даже когда это кроткое, безобидное безумие, даже когда оно почти не заметно. Чтобы укрепиться в качестве научного и авторитарного вмешательства в общество, чтобы укрепиться в качестве власти и науки общественной гигиены и социальной защиты, медицина ментальных болезней должна была показать, что она способна распознать некоторую опасность даже там, где никто другой еще не видит ее; и что она способна распознать ее потому, что является медицинским знанием.

Теперь вы понимаете, почему психиатрия в этих условиях очень быстро, с самого начала, как раз тогда, когда шел процесс ее исторического формирования, заинтересовалась проблемой криминальности и криминального безумия. Она заинтересовалась криминальным безумием не вследствие своего развития, не потому, что, исследовав все возможные области безумия, набрела на эту непомерную, экстремальную форму безумия, заключающуюся в убийстве. Она сразу заинтересовалась безумием, способным убивать, так как ей нужно было сформироваться и отстоять свои права в качестве власти и знания в области внутренней защиты общества. Отсюда ее сущностный, конститутивный, в строгом смысле этого слова, интерес к криминальному безумию, а также особенно пристальное внимание ко всем формам поведения, в которых преступление непредсказуемо. Никто не в состоянии его предвидеть, никто не может предугадать его заранее. И когда неожиданно, без подготовки, без объяснения, без мотива, без основания преступление все-таки случается, выходит психиатрия и говорит: если никто не может заранее распознать это внезапно разражающееся преступление, я — как знание, как наука об умственных болезнях, знающая толк в безумии, как раз могу распознать эту таинственную и незаметную для всех остальных опасность. Иными словами, в безосновательном преступлении, в этой опасности, которая внезапно поражает общество изнутри и не подчиняется никакой логике, психиатрия естественно находит для себя особый интерес: она просто не может остаться равнодушной к этим в буквальном смысле непостижимым преступлениям, к этим непредсказуемым преступле-

ниям, к которым не применимы никакие предупредительные меры и в которых она, психиатрия, может выступить экспертом, когда они происходят, а в конечном счете и предвидеть или помочь предвидеть их, заблаговременно выявляя ту необычную болезнь, коей является их совершение. Это, в некотором роде, королевский подвиг психиатрии. Вы ведь знаете истории подобного рода: если ваша ножка столь миниатюрна, что ей придется впору золотая туфелька, вы станете королевой; если ваш пальчик столь тонок, что вам подойдет кольцо, вы станете королевой; если ваша кожа столь нежна, что мельчайшая горошина под ворохом пуховых перин так вонзится в нее, что наутро вы покроетесь синяками, — если вы ко всему этому способны, вы станете королевой. Психиатрия сама устроила себе такого рода испытание на королевский титул, проверку своего величия, своей власти и своего знания на прочность: я способна определить болезнь, — заявила она, — увидеть признаки болезни в том, что никогда себя не проявляет. Представьте себе непредсказуемое преступление, которое при этом может быть сочтено частным признаком диагностируемого, обнаружимого врачом безумия; дайте же его мне, — говорит психиатрия, — и я смогу его распознать; преступление без причины, а значит, являющееся абсолютной опасностью, что таится внутри общества, — я берусь распознать такое преступление. Если я смогу распутать безосновательное преступление, я стану королевой. Именно так — как королевское испытание, как героическую ступень к признанию — следует, на мой взгляд, понимать поистине бешеный интерес, проявленный психиатрией в начале XIX века ко всем этим беспричинным преступлениям.

Итак, завязывается очень любопытная и очень показательная сопричастность внутренних проблем уголовной системы и потребностей, или желаний, психиатрии. С одной стороны, безосновательное преступление ставит уголовную систему в абсолютный тупик. Исполнение карательной власти в таком случае невозможно. Но, с другой стороны, со стороны психиатрии, это безосновательное преступление становится предметом нестерпимого вожделения, ибо, если удастся его определить и проанализировать, то это станет доказательством си-

лы психиатрии, свидетельством ее знания, оправданием ее власти. Поэтому ясно, каким образом два механизма соединяются. Уголовная власть постоянно обращается к медицинскому знанию: я столкнулась с беспричинным деянием и прошу вас — либо отыщите мне его причины, и тогда моя карательная власть сможет исполниться, либо, если вы их не найдете, сочтем деяние безумным. Приведите мне доказательство невменяемости, и я не стану применять свое право карать. Дайте мне основание для исполнения моей карательной власти или дайте основание для неприменения моего права карать. Такое требование уголовный аппарат адресует медицинскому знанию. И медицинское знание-власть отвечает: смотрите, сколь необходима моя наука, — ведь я способно выведать опасность даже там, где никакому разуму не под силу ее найти. Дайте мне все преступления, с которыми вы имеете дело, и я возьмусь показать вам, что за многими из них стоит помутнение рассудка. Другими словами, я могу показать вам, что в глубине всякого безумия есть потенциальное преступление, а следовательно, и подтверждение моей самостоятельной власти. Вот как сопрягаются друг с другом эти потребность и желание, эти замешательство и влечение. Вот почему дело Генриетты Корнье было столь важным пунктом в этой истории, которая разворачивается в первой трети или, если расширить хронологию, в первой половине XIX века.

В самом деле, что именно имело место в деле Генриетты Корнье? Думаю, что мы как нельзя яснее видим в нем за работой оба этих механизма. Преступление без причины, без мотива, без интереса: все это, и сами эти выражения, вы найдете в обвинительном акте, представленном прокуратурой. Неспособность судей применить карательную власть к преступлению, которое между тем столь очевидно относится к ведению закона, была такой явственной, что, когда защитники Генриетты Корнье потребовали психиатрической экспертизы, судьи сразу согласились. Экспертизу проводили Эскироль, Аделон и Левейе. В своем очень любопытном заключении они говорят: надо учесть, что мы увидели Генриетту Корнье по прошествии нескольких месяцев после ее преступления. И через несколько месяцев после преступления она не обнаруживает

очевидных признаков безумия. Тут бы покончить с этим: отлично, судьи могут заняться своим делом. Ничего подобного. Судьи отметили в сообщении Эскироля такую фразу: мы обследовали обвиняемую в течение нескольких дней, то есть в сравнительно короткое время. Если бы нам было дано больше времени, мы могли бы дать вам более точный ответ. И — вот неожиданность — прокурор принимает предложение Эскироля и, воспользовавшись им, заявляет: прошу вас продолжить обследование, с тем чтобы через три месяца предоставить нам второе заключение. Это хорошо передает своеобразную тягу, зов, фатальную склонность к психиатрии именно в тот момент, когда применение закона должно сделаться исполнением власти. Следует вторая экспертиза Эскироля, Аделона и Левейе. Они говорят: все идет своим чередом. Обвиняемая по-прежнему не выказывает признаков безумия. Вы предоставили нам немного больше времени, и мы ничего не обнаружили. Но если бы мы могли подвергнуть Генриетту Корнье экспертизе в момент ее деяния, то мы наверняка что-нибудь нашли бы.[12] Такую просьбу, естественно, удовлетворить было сложнее. Однако в этот момент адвокат Генриетты Корнье вызвал со своей стороны другого психиатра, а именно Марка, который, сославшись на несколько подобных случаев, задним числом восстановил картину происшедшего, какой он ее представлял. И провел не экспертизу, но консультацию Генриетты Корнье, заключение которой фигурирует в документах защиты.[13] Два этих комплекса текстов я и хотел бы сейчас кратко разобрать.

Итак, имеется безосновательное деяние. Как поступает с этим деянием судебная власть? Что говорит обвинитель в своем заключении и речи на суде? И, с другой стороны, что говорит медицина и защита? Отсутствие в этом деянии заинтересованности, о котором очевидно свидетельствует простой рассказ о нем, элементарное его описание, подвергается обвинением своеобразному перекодированию. Каким образом? Обвинение говорит: да, действительно, в этом деянии нет заинтересованности; вернее, оно не говорит этого, не поднимает вопрос о заинтересованности, а говорит вот что: действительно, если мы рассмотрим жизнь Генриетты Корнье во всей ее

широте, что мы увидим? Мы увидим определенное поведение, определенные привычки, определенный образ жизни, и что же из них следует? Ничего хорошего. Ведь она разошлась со своим мужем. Предавалась разврату. Имела двух внебрачных детей. Отдала их в благотворительное учреждение, и так далее. Все это не слишком утешительно. Иными словами, если у нее и не имелось оснований для ее поступка, то, во всяком случае, она вся отразилась в этом поступке, или сам этот поступок уже скрыто присутствовал во всей ее жизни. Ее распущенность, внебрачные дети, распад семьи, все это — предпосылки, или прообраз, того, что произошло, когда она просто-напросто убила жившего по соседству ребенка. Видите, как обвинение подменяет проблему обоснованности или постижимости поступка кое-чем другим — сходством субъекта с его поступком, то есть вменяемостью этого поступка субъекту. Ибо субъект так похож на свое деяние, это деяние так ему присуще, что, стремясь осудить деяние, мы имеем полное право наказать субъекта. Видите, как обвинение хитростью привлекает знаменитую 64-ю статью, которая определяет, при каких условиях вменяемость невозможна или, наоборот, когда нет вменяемости деяния субъекту. И эта первая перекодировка, имеющаяся в обвинительном акте. Кроме того, обвинительный акт ясно оговаривает, что у Генриетты Корнье нет никаких традиционных признаков болезни. Нет того, что психиатры называют меланхолией, нет никаких следов бреда. Напротив, у нее просто нет и следа бреда, но налицо совершенно здравый ум. В пользу ее совершенно здравого ума обвинение приводит ряд аргументов. Во-первых, не вдаваясь в собственно преступление, уже его преднамеренность свидетельствует о здравом уме Генриетты Корнье. В определенный момент, как обвиняемая сама признает это в своих показаниях, она решила, что однажды убьет малолетнюю дочь своей соседки. И она отправилась к соседке с намерением убить ее дочь; решение было принято заранее. Во-вторых, она подготовила свою комнату для совершения преступления, поставив рядом с кроватью ночную вазу, чтобы собрать кровь, которая вытечет из тела жертвы. И наконец, она явилась к соседке, воспользовавшись заранее придуманным ложным предлогом. Она настаи-

вала, чтобы та позволила ей взять ребенка. В известном смысле, это была ложь. Она изобразила любовную заботу и нежность к ребенку. Выходит, все это было припасено в качестве уловки. И в момент самого поступка мы видим то же самое. Когда Генриетта Корнье взяла с собой эту девочку, которую, между прочим, решила убить, она осыпала ее поцелуями и лаской. Дело в том, что, когда они поднимались по лестнице в комнату обвиняемой, навстречу им шла консьержка, которая и увидела, как Генриетта Корнье ласкает ребенка: «Она осыпала ее, — я цитирую обвинительный акт, — лицемерными ласками». После совершения своего поступка «она, — я снова цитирую, — также вполне сознавала тяжесть содеянного». Об этом свидетельствует одна из нескольких фраз, произнесенных ею после убийства: «Это заслуживает смертной казни». Следовательно, она имела ясное представление о моральном значении своего поступка. И не только имела ясное представление о его моральном значении, но и расчетливо попыталась от него откреститься, скрыв, насколько это было возможно, хотя бы часть тела своей жертвы — ведь она выбросила голову девочки в окно, а затем, когда мать решила войти в комнату, сказала ей: «Уходите отсюда, да побыстрее, вы могли бы стать свидетелем». Следовательно, обвиняемая пыталась избежать свидетелей. Все вышеизложенное, по мнению прокуратуры, ясно указывает на здравый ум Генриетты Корнье, преступницы.[14]

Как видите, система обвинения заключается в том, чтобы скрыть или, в некотором смысле, завуалировать эту смущающую безосновательность, которая тем не менее заставила прокуратуру обратиться за помощью к психиатрам. В обвинительной речи, оглашая свое решение потребовать казни Генриетты Корнье, обвинение заслонило это отсутствие основания присутствием — но чего? Присутствием разума, причем разума, понимаемого как здравомыслие субъекта, а значит, как вменяемость деяния субъекту. Именно это присутствие разума, которое дублирует, скрывает и маскирует отсутствие в преступлении внятного основания, и выступает, по-моему, ключевым орудием обвинительного акта. Обвинение замаскировало лакуну, которая мешала исполнению карательной вла-

сти, и, как следствие, освободило путь закону. Был поставлен вопрос: действительно ли преступление было незаинтересованным? И обвинение ответило, но не на этот вопрос, хотя именно он был поставлен прокуратурой. Обвинение ответило, что преступление было совершено в здравом уме. Вопрос — «было ли преступление незаинтересованным?»— вызвал ходатайство об экспертизе, но когда вступила в действие сама процедура обвинения и когда нужно было потребовать исполнения карательной власти, ответ психиатров уже не мог быть воспринят. Внимание переключилось на 64-ю статью, и в обвинительном акте было заявлено, что психиатры могут говорить все что угодно, однако все в этом деянии свидетельствует о здравомыслии. А если есть здравомыслие, значит есть сознательность, если есть сознательность, значит нет помутнения рассудка и налицо вменяемость, а с нею и применение закона. Вот каким образом в этой процедуре практически действуют те самые механизмы, которые перед этим я попытался описать в общем виде.

Теперь посмотрим, что происходит со стороны защиты. Защита работает с теми же самыми элементами, а точнее, с отсутствием тех же самых элементов, с отсутствием в преступлении внятного основания. Она берет эти элементы и разыгрывает их в качестве элементов патологических. Защита и экспертное заключение Марка пытаются разыграть отсутствие интересов в качестве свидетельства болезни, и отсутствие основания превращается в наличие безумия. Осуществляется это в стратегии защиты и экспертном заключении вот как. Во-первых, отсутствие основания включается в общую симптоматологию: демонстрируется не то, что Генриетта Корнье — душевнобольная, но прежде всего и главным образом то, что она — просто больная. У всякой болезни есть начало. Поэтому надо найти то, что могло бы указывать на зарождение у Генриетты Корнье некоей болезни. И действительно, защита указывает, что ее настроение резко менялось от веселого к грустному. Все признаки разгульного поведения, все элементы распутства, развратного образа жизни и т. п., использованные обвинением для того, чтобы уподобить обвиняемую ее преступлению, пускаются защитниками и экспертизой

Марка на проведение различия между прежней жизнью обвиняемой и ее жизнью в момент совершения преступления. Нет больше ни разврата, ни разгула, ни этого безудержного веселья; обвиняемая стала грустной, меланхоличной, часто впадает в оцепенение, не отвечает на вопросы. Пролегла трещина, исчезло сходство между поступками и личностью. Более того, пропало сходство между одной личностью и другой, между двумя жизнями, двумя фазами существования обвиняемой. Эта трещина и есть начало болезни. Во-вторых, и снова с той же целью ввести происшедшее в симптоматологию — я едва не сказал «в благопристойную симптоматологию», — свойственную любой болезни, ищется соматическая корреляция. И действительно, у Генриетты Корнье были менструации в день преступления, и, как всем известно...[15] Но чтобы осуществить эту перекодировку того, что для обвинения было аморальностью, в нозологическом, патологическом поле, чтобы нагрузить это криминальное поведение медицинским смыслом и упредить всякую возможность подозрительной и двусмысленной связи болезненного и предосудительного, необходимо — и вот вторая важнейшая задача защиты и экспертизы Марка — провести своего рода моральную переоценку субъекта. То есть нужно представить Генриетту Корнье как моральную личность, глубоко отличную от совершенного ею поступка, и показать, как проявляется в этом поступке болезнь, как она вспыхивает подобно метеору в несомненном и постоянном моральном сознании обвиняемой. Тут, опять-таки разыгрывая те же самые элементы и признаки, защитники и психиатр говорят следующее. Когда Генриетта Корнье сказала после содеянного: «Это заслуживает смерти», — о чем это свидетельствовало? Да, это свидетельствовало о том, что ее моральное сознание — то, что она, так сказать, вообще моральный субъект, — оставалось неприкосновенным. Она совершенно ясно осознавала законную характеристику и самое достоинство своего поступка. Как моральная личность она оставалась прежней, и поэтому ее поступок не может быть вменен ей как моральной личности — или, другими словами, как юридическому субъекту, то есть как субъекту, которому можно вменять преступные деяния. Таким же образом, взяв знаменитые

слова «вы могли бы стать свидетелем», защитники и Марк, хотя главным образом защитники, основываясь на различных показаниях г-жи Белон, матери девочки, указали на то, что в действительности г-жа Белон не слышала, как Генриетта Корнье сказала: «Идите отсюда, вы могли бы стать свидетелем». Она слышала, как та сказала: «Идите отсюда, вы станете свидетелем». А если Генриетта Корнье сказала именно «вы станете свидетелем», это, конечно же, не значит: «Идите отсюда, ведь я не хочу, чтобы случившемуся были свидетели»; это значит: «Идите отсюда, вызовите полицию и сообщите, что совершено ужасное преступление».[16] Отсутствие этого «бы» в словах обвиняемой становится доказательством того, что ее моральное сознание было совершенно безукоризненным. Одни усматривают в словах «вы могли бы стать свидетелем» признак циничного здравомыслия, а другие видят в словах «вы станете свидетелем» признак того, что моральное сознание сохранилось, осталось, в некотором смысле, ненарушенным в результате преступления.

Таким образом, в анализе защитников и заключении Марка мы имеем следующее: болезненное состояние, безукоризненное моральное сознание, не нарушенное ничем поле моральности, своего рода этическую трезвость. Но в таком случае, как только Марк и защитники представляют эту трезвость как фундаментальный элемент невиновности и невменяемости деяния Генриетте Корнье, им, как вы понимаете, приходится как-то преобразовать механизм безосновательного поступка, переистолковать понятие безосновательного поступка. Ведь этот безосновательный, то есть бессмысленный, поступок должен иметь некие ресурсы, позволяющие переступить барьеры, воздвигаемые безукоризненным моральным сознанием Генриетты Корнье. И вот мы имеем дело уже не с бессмысленным поступком, а, скорее, с поступком, бессмысленным на определенном уровне, тогда как на другом уровне в этом же поступке, посредством которого были поколеблены, преодолены, а значит, и просто отброшены все моральные барьеры, следует усмотреть некую энергию, внутренне присущую его абсурдности, некую динамику, которую он несет в себе и которая движет им. Следует признать наличие внутренне прису-

щей ему силы. Другими словами, анализ защитников и анализ Марка подразумевают, что, если обсуждаемый поступок действительно уклоняется от механики интересов, то уклоняется он от нее постольку, поскольку движим особой динамикой, способной опрокинуть всю эту механику. И когда защита берется за знаменитую фразу Генриетты Корнье «я знаю, что это заслуживает смерти», суть проблемы выясняется окончательно. Ведь если Генриетта Корнье, только что совершив свой поступок, смогла сказать: «Я знаю, что это заслуживает смерти», — то разве это не свидетельствует о том, что ее, равно как и всякого индивида, заинтересованность в жизни оказалась недостаточно сильной, чтобы поставить заслон этой потребности убивать, этому влечению к убийству, этой внутренней динамике, что толкнула ее на убийство? Все, на чем держалась экономика уголовной системы, оказывается поколеблено и едва ли не подорвано этой динамикой, ибо в фундаментальных принципах уголовного права от Беккариа до Уголовного кодекса 1810 г. было заложено: если понадобится выбирать между смертью некоего индивида и своей собственной смертью, всякий предпочтет отказаться от смерти врага, лишь бы сохранить свою жизнь. Но имея дело с человеком, который решает убить другого, не являющегося даже его врагом, ясно сознавая, что тем самым он подвергает смертельной опасности самого себя, разве мы не сталкиваемся с некоей совершенно особой динамикой, которую беккарианская механика, идеологическая, кондильяковская механика интересов XVIII века постичь не в силах? Мы вступаем тем самым в совершенно новое поле. Фундаментальные принципы, которыми диктовалось исполнение карательной власти, попадают под шквальный огонь вопросов и возражений, оказываются обезоружены, оспорены, подточены, подорваны существованием этой глубоко парадоксальной динамики безосновательного поступка, отметающего коренные интересы всякого индивида.

Так в защитительной речи адвоката Фурнье и в экспертизе Марка открывается если еще не понятийное поле, то, во всяком случае, целая новая область, пусть пока и расплывчатая. Марк, медик, употребляет в своем заключении такие выраже-

ния, как «непреодолимый зов», «непреодолимое пристрастие», «почти непреодолимое влечение», «властная склонность, происхождение которой нам неведомо», или говорит, что Генриетту Корнье непреодолимо влечет к «кровавым деяниям». Такова его характеристика происшедшего. Как же далеко позади осталась та механика интересов, что служила каркасом уголовной системы. Фурнье, адвокат, говорит о «странном воздействии на Генриетту Корнье, о котором она сама сожалеет», об «энергии некоей необузданной страсти», о «необычайной движущей силе, неподвластной регулярным законам человеческой организации»; он говорит о «твердой, непоколебимой уверенности, которая, не останавливаясь, идет до конца», о «поработившем все силы Генриетты Корнье воздействии, которое властно руководит всеми без исключения мономанами».[17] Думаю, вам понятно, что все эти обозначения, вся эта серия наименований, терминов, определений и т. д., призванных обозначить динамику непреодолимого, вертится вокруг одного феномена, прямо названного в тексте, — вокруг инстинкта. Фурнье говорит о «варварском инстинкте», Марк говорит об «инстинктивном поступке» и об «инстинктивном влечении». Инстинкт упоминается в экспертном заключении, инстинкт упоминается в защитительной речи, но, я бы сказал, упоминается непродуманно. Еще не продуманно, — иначе и быть не может, иначе и быть не могло, ибо в общепринятом психиатрическом дискурсе того времени нет ничего, что позволило бы дать наименование этому совершенно новому предмету. Поскольку безумие было фундаментально связано с заблуждением, иллюзией, бредом, с ложным представлением и неповиновением правде, а именно так было в начале XIX века, в этом дискурсе еще не находилось места инстинкту как нейтральному динамическому элементу. Он мог быть упомянут, однако он не был выстроен и продуман как понятие. Вот почему Фурнье и Марк, едва заикнувшись об инстинкте, едва его обозначив, неизменно стремятся укоренить его, переопределить его, в известном смысле растворить его в презумпции бреда, поскольку бред в это время, то есть в 1826 г., все еще является конститутивным признаком безумия или, во всяком случае, главным его атрибутом. Марк пря-

мо говорит об этом в связи с только что упомянутым им инстинктом, самостоятельную и слепую динамику которого он подметил в действиях Генриетты Корнье. Он называет его «актом бреда», что совершенно бессмысленно, так как либо речь идет об акте, который продиктован бредом, — но это не тот случай (нельзя сказать, какой бред имеет место у Генриетты Корнье), — либо об акте настолько абсурдном, что он равноценен бреду, хотя им и не является. Но в таком случае что же это за акт? Марк не может его назвать, не может его выразить, не может его помыслить. И говорит об «акте бреда». Что же касается Фурнье, адвоката, то он проводит очень интересную аналогию, хотя ее историческое значение все же не следует преувеличивать. Фурнье говорит о поступке Генриетты Корнье: по сути дела, она действовала как во сне, и пробудилась от этого сна, уже совершив свое деяние. Возможно, эта метафора уже существовала к тому времени у психиатров, но так или иначе она тут же будет подхвачена. Однако не следует усматривать в этой отсылке ко сну, в этом сравнении некое предчувствие связи между сном и желанием, которая получит определение в конце XIX века. Говоря, что обвиняемая была «словно в состоянии сна», Фурнье на деле тайком разыгрывает старое понятие безумия-помутнения, то есть такого безумия, в котором субъект не осознает правду, в котором доступ к правде для него закрыт. Если Генриетта Корнье действовала как во сне, то ее сознание не было подлинным осознанием правды. А потому ее можно рассматривать как человека с помутившимся рассудком.

Я задержался на всех этих подробностях, так как считаю, что здесь намечается-таки, пусть и облеченный в такую форму — у Фурнье в форму сна, у Марка в это странное понятие бредового акта, — новый объект, а точнее, целая область новых объектов, целая серия элементов, которые в скором времени будут названы, описаны, проанализированы и постепенно включены в психиатрический дискурс XIX века. Импульсы, влечения, тенденции, склонности и автоматизмы — словом, все те понятия, все те элементы, которые, в отличие от страстей классической эпохи, не подчинены некоему первоначальному представлению, но, наоборот, повинуются особой динамике,

по отношению к которой представления, страсти, аффекты являются вторичными, производными или подчиненными. В деле Генриетты Корнье мы видим механизм, силами которого деяние, вследствие своей безосновательности повлекшее за собой юридический, медицинский и моральный скандал, становится деянием, которое поднимает перед медициной и правом особого рода вопросы, поскольку основывается на динамике инстинкта. Произошел переход от беспричинного деяния к инстинктивному акту.

Кстати, случилось это (напомню вам в порядке исторических соответствий) в эпоху, когда Жоффруа Сент-Илер доказывал, что уродливые формы некоторых индивидов суть не что иное, как продукт нарушенной игры естественных законов.[18] В эту же самую эпоху судебная психиатрия, принимая участие в ряде дел, среди которых дело Корнье самое характерное и самое интересное, была на пути к открытию того, что чудовищные, то есть безосновательные, деяния некоторых преступников в действительности не просто берутся из пустоты, на которую указывает отсутствие основания, но являются следствием болезненной динамики инстинктов. Как мне кажется, мы находимся в точке открытия инстинктов. И говоря «открытие», я отдаю себе отчет в том, что это не совсем подходящее слово: дело в том, что меня интересует не открытие как таковое, а условия возможности возникновения, построения и упорядоченного употребления понятия внутри данной дискурсивной формации. Для меня важно это стечение обстоятельств, в результате которого понятие инстинкта смогло возникнуть и сформироваться, ибо инстинкт, несомненно, станет центральным вектором проблемы аномалии — или, точнее говоря, оператором, который снабдит координационным принципом преступную монструозность и обычное патологическое безумие. Основываясь именно на инстинкте, психиатрия в XIX веке сумеет сосредоточить в области душевной болезни и ментальной медицины всевозможные расстройства, отклонения, тяжелые расстройства и мелкие отклонения в поведении, не сопряженные с безумием как таковым. Именно благодаря понятию инстинкта вокруг прежней проблемы безумия завяжется проблематика ненормальности, ненормаль-

ности на уровне самых элементарных и обыкновенных поступков. Этот переход к мельчайшему, этот великий переворот, приведший к тому, что монстр, страшный монстр-людоед начала XIX века, стал тиражироваться в виде мелких монстров-извращенцев, число которых будет с конца XIX века неуклонно расти, этот переход от большого монстра к мелкому извращенцу просто не смог бы осуществиться без понятия инстинкта, без его употребления и функционирования в знании и в самой механике психиатрической власти.

В этом, на мой взгляд, заключается второе значение понятия инстинкта и его важнейшее свойство. Вместе с инстинктом возникла совершенно новая проблематика, совершенно новый способ постановки проблемы патологической составляющей безумия. Так, в годы, последовавшие за делом Генриетты Корнье, поднимается целая серия вопросов, которые еще в XVIII веке были немыслимы. Является ли обладание инстинктами патологией? Давать волю своим инстинктам, позволять механизму инстинктов действовать — болезнь это или нет? Или вот еще: существует ли некая экономика или механика инстинктов, являющаяся патологической, болезненной, ненормальной? Существуют ли инстинкты, сами по себе являющиеся носителями некоей болезни, порока, монструозности? Не бывает ли ненормальных инстинктов? Возможно ли властвовать инстинктами? Возможно ли исправлять инстинкты? Возможно ли перевоспитывать инстинкты? Существует ли технология для лечения инстинктов? Инстинкт на глазах становится, по сути дела, центральной темой психиатрии, которая будет приобретать все более значительное место по мере подчинения старой области бреда и умопомешательства, которая была сердцевиной знания о безумии и практики обхождения с ним до начала XIX века. Влечения, импульсы, навязчивые состояния, появление истерии — безумия без бреда и заблуждения, использование модели эпилепсии как простого освобождения автоматизмов, общее изучение двигательных и умственных автоматизмов — все это будет занимать все более значительное, все более центральное положение внутри психиатрии. С понятием инстинкта открывается не просто поле новых проблем, но еще и возможность включить психиатрию не

только в медицинскую модель, которую она использовала уже давно, но и в биологическую проблематику. Является ли человеческий инстинкт инстинктом животного? Является ли болезненный инстинкт человека повторением животного инстинкта? Является ли ненормальный инстинкт человека пробуждением архаических человеческих инстинктов?

Процесс включения психиатрии в эволюционистскую патологию, прививка эволюционистской идеологии к психиатрии, сможет состояться отнюдь не в перспективе старого понятия бреда, но благодаря новому понятию инстинкта. С той поры как инстинкт сделался важнейшей проблемой психиатрии, все это и стало возможным. И в конечном итоге психиатрия XIX века выльется, как вы знаете, в две мощные технологии, одна из которых затормозит ее развитие, а другая резко подтолкнет вперед. С одной стороны, это евгеническая технология вкупе с проблемой наследственности, очищения расы и коррекции путем этого очищения инстинктивной системы людей. Технология инстинкта — вот что такое евгеника от ее основателей до Гитлера. С другой стороны, на противоположном полюсе, мы видим другую великую технологию работы с инстинктами, другое орудие, предложенное одновременно, с очень показательной синхронностью, другую технологию коррекции и нормализации экономики инстинктов: психоанализ. Евгеника и психоанализ — это две мощные технологии, выработанные в конце XIX века ради того, чтобы позволить психиатрии совладать с миром инстинктов.

Прошу прощения за то, что, как обычно, задерживаюсь. Я заострил внимание на деле Генриетты Корнье и возникновении инстинктов из методологических соображений. Я попытался показать вам, как именно в этот момент — и в ходе историй, всего лишь одной из которых, хотя и особенно показательной, было дело Корнье, — произошла некоторая трансформация. Эта трансформация, в сущности, явилась условием мощного процесса, который не завершился и по сей день, — процесса, в котором внутрибольничная, сосредоточенная на болезни психиатрическая власть превратилась в общую, внутри- и внебольничную юрисдикцию уже не безумия, но ненормальности и всякого ненормального поведения. Отправной

точкой, условием исторической возможности этой трансформации является возникновение инстинкта. А ее стержнем, тем механизмом, который привел ее в движение, является эта проблематика, эта технология инстинктов. Причем — что, собственно, я и стремился вам объяснить, — это вовсе не является следствием ни внутреннего открытия в психиатрическом знании, ни идеологии. Если мое доказательство верно (а я хотел предложить именно доказательство), то для вас должно быть очевидно, чтó является причиной всего этого, всех этих эпистемологических — как, впрочем, и технологических — эффектов. Это особого рода игра, особого рода распределение и особого рода смычка одних механизмов власти, характерных для судебного института, и других, характерных для медицинского института, а точнее, для медицинской власти и знания. Именно в этой игре двух властей, в их различии и в их соподчинении, в тех потребностях, которые они испытывали друг в друге, и в тех опорах, которые они друг другу предоставляли, — именно в этом заключен принцип трансформации. Причиной того, что произошел переход от психиатрии бреда к психиатрии инстинкта, со всеми его следствиями для генерализации психиатрии как социальной власти, — причиной этого, с моей точки зрения, является описанная стыковка властей.

Моя лекция на следующей неделе состоится, несмотря на каникулы, и в ней я попытаюсь проследить путь инстинкта в XIX веке, от Генриетты Корнье до выработки понятия вырождения и возникновения евгеники.

Примечания

[1] Намек на сказку «Мальчик с пальчик» из сборника Шарля Перро «Сказки матушки гусыни».

[2] См. выше: лекция от 29 января.

[3] О случае Л.-А. Папавуана см. три папки, хранящиеся в Национальной Библиотеке Франции, в отделе «Factums» (8 Fm 2282—2288), где собраны следующие брошюры: Affaire Papavoine. № 1. Paris, 1825; Plaidoyer pour Auguste Papavoine accusé d'assassinat [№ 2]. Paris, 1825; Affaire Papavoine. Suite des débats. Plaidoyer de l'avocat

général. № 3. Paris, 1825; Papavoine (Louis-Auguste), accusé d'avoir, le 10 octobre 1824, assassiné deux jeunes enfants de l'âge de 5 à 6 ans, dans le bois de Vincennes. Paris, [1825]; Procès et Interrogatoires de Louis-Auguste Papavoine, accusé et convaincu d'avoir, le 10 octobre 1824, assassiné deux enfants, âgés l'un de 5 ans et l'autre de 6, dans le bois de Vincennes. Paris, 1825; Procédure de Louis-Auguste Papavoine. Paris, [s. d.]; Procès criminel de Louis-Auguste Papavoine. Jugement de la cour d'assises. Paris, [s. d.]. Впервые это досье было изучено Э.-Ж. Жорже (см.: *Georget E.-J.* Examen médical... P. 39—65).

4 Случай Генриетты Корнье описывается в следующих кн.: *Marc Ch.-Ch.-H.* Consultation médico-légale pour Henriette Cornier, femme Berton, accusée d'homicide commis volontairement et avec préméditation. Précédée de l'acte d'accusation. Paris, 1826, — текст воспроизводится в кн.: *Marc Ch.-Ch.-H.* De la folie... II. P. 71—116; *Georget E.-J.* Discussion médico-légale sur la folie ou l'aliénation mentale, suivie de l'examen du procès criminel d'Henriette Cornier, et des plusieurs autres procès dans lesquels cette maladie a été alléguée comme moyen de défense. Paris, 1826. P. 71—130; *Grand N.* Réfutation de la discussion médico-légale du Dr Michu sur la monomanie homicide à propos du meurtre commis par H. Cornier. Paris, 1826. С выдержками из судебно-медицинских заключений можно ознакомиться в серии статей, посвященных делу Генриетты Корнье «Судебной газетой» (Gazette des tribunaux, les 21, 28 février; les 18, 23, 25 juin).

5 См.: *Marc Ch.-Ch.-H.* De la folie... II. P. 84, 114.

6 Ср. анализ статьи 64 Уголовного кодекса, предложенный Ш.-Ш.-А. Марком: *Marc Ch.-Ch.-A.* De la folie... II. P. 425—433.

7 См. уже цитированное резюме курса «Психиатрическая власть».

8 «Анналы общественной гигиены и судебной медицины» выходили с 1829 по 1922 г.

9 По поводу теории «вырождения» см., в частности: *Morel B.-A.* Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés maladives. Paris, 1857; Traité des maladies mentales. Paris, 1860; *Magnan V.* Leçons cliniques sur les maladies mentales. Paris, 1891; *Magnan V., Legrain P.-M.* Les Dégénérés. État mental et syndromes épisodiques. Paris, 1895.

10 Понятие «шизофрения» было введено Э. Блейлером: *Bleuler E.* Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. Leipzig—Wien, 1911.

11 Тут М. Фуко ссылается, в частности, на уже цитированный курс «Психиатрическая власть», а также на книгу Э. Жорже (*Georget E.* De la folie. Paris, 1820. P. 282), где говорится: «Скажите [...] мнимому королю, что он не король, и он ответит вам бранью».

[12] Первое заключение Ж.-Э.-Д. Эскироля, Н.-Ф. Аделона и Ж.-Б.-Ф. Левейе было почти целиком опубликовано в кн.: *Georget E.-J.* Discussion médico-légale sur la folie... P. 85—86. Второе заключение, составленное три месяца спустя, пересказывается в тексте там же (p. 86—89).

[13] *Marc Ch.-Ch.-H.* De la folie... II. P. 88—115.

[14] См.: *Marc Ch.-Ch.-H.* De la folie... II. P. 71—87.

[15] См.: *Marc Ch.-Ch.-H.* De la folie... II. P. 110—111. Марк ссылается тут на свою статью «Душевнобольной» в «Словаре медицинских наук» (см.: Dictionnaire des sciences médicales. I. Paris, 1812. P. 328).

[16] См.: *Marc Ch.-Ch.-H.* De la folie... II. P. 82.

[17] Резюме защитительной речи Луи-Пьера-Нарсиса Фурнье приводится в кн.: *Georget E.-J.* Discussion médico-légale sur la folie... P. 97—99. Полный ее текст см. в отделе «Factums» Национальной Библиотеки Франции (8 Fm 719): Pladoyer pour Henriette Cornier, femme Berton accusée d'assassinat, prononcé à l'audience de la cour d'assises de Paris, le 24 juin 1826, par N. Fournier, avocat stagiaire près la Cour Royale de Paris. Paris, 1826.

[18] См.: *Geoffroy Saint-Hilaire I.* Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux. Paris, 1832—1837. 4 vol.; в частности, II. 1832. P. 174—566. Трактат имеет подзаголовок: «Труд, включающий анализ признаков, классификации, физиологического и психологического воздействия, общих отношений, законов и причин уродств, отклонений и пороков строения, или Трактат о тератологии». Следует также обратить внимание на подготовительные работы Э. Жоффруа Сент-Илера: *Geoffroy Saint-Hilaire E.* Philosophie anatomique. Paris, 1822 (глава III: «Человеческие уродства»); Considérations générales sur les monstres, comprenant une théorie des phénomènes de la monstruosité. Paris, 1826 (выдержка из тома XI «Классического словаря естественной истории»).

Лекция от 12 февраля 1975 г.

Инстинкт как объяснительная решетка незаинтересованного и ненаказуемого преступления. — Расширение психиатрического знания и власти вследствие проблематизации инстинкта. — Закон от 1838 г. и завоевание психиатрией важной роли в общественной безопасности. — Психиатрия и административное регулирование, семейный запрос к психиатрии, появление политико-психиатрического дискриминанта индивидов. — Ось преднамеренного и непреднамеренного, инстинктивного и автоматического. — Расщепление симптоматологического поля. — Психиатрия становится наукой и техникой работы с ненормальными. — Ненормальный: огромное поле деятельности.

У меня возникло одно опасение — даже, быть может, навязчивое опасение: несколько дней назад, размышляя о том, что́ я говорил вам в прошлый раз о женщине из Селеста, — помните, о той, что убила свою дочь, отрезала ей ногу и съела ее с капустой, — я понял, что сказал вам, будто ее осудили. Помните? Нет? Я сказал, что ее оправдали? И все? Я ничего не сказал? Но я хотя бы рассказывал об этом? Как бы то ни было, если я говорил вам, что ее осудили, то это ошибка: она была оправдана. Это решение изменило многое в ее судьбе (хотя и никак не изменило судьбу ее дочери), однако, по большому счету, не меняет того, что я хотел сказать вам об этом деле, в котором мне показалось важным то, с какой настойчивостью пытались отыскать систему интересов, которая позволила бы понять преступление и, при необходимости, считать его наказуемым.

Я думал, что сказал вам (в чем тогда и состояла бы ошибка), будто бы эту женщину осудили с учетом того обстоятель-

ства, что стояло голодное время, а сама она была нищей; поэтому у нее было-таки основание съесть свою дочь, так как иначе пришлось бы просто зубы на полку положить. Этот аргумент действительно был использован и едва не заставил судей изменить свое решение, но женщина все-таки была оправдана. И оправдана она была с учетом другого обстоятельства, приведенного адвокатами: дело в том, что у нее имелся некоторый запас продуктов, а следовательно, она не была так уж заинтересована в том, чтобы съесть собственную дочь; она могла бы съесть сало, а уж потом приниматься за дочь; короче говоря, система интересов не работает. Так или иначе, на этом основании она была ⟨оправдана⟩. Если я допустил ошибку, простите меня. Теперь истина установлена — или восстановлена.

А сейчас вернемся к тому, к чему я подошел в прошлый раз, анализируя дело Генриетты Корнье. В лице Генриетты Корнье мы имеем дело с тем незначительным, неярким, обыкновенным, немногословным монстром, в деле которого — впервые так отчетливо и почти откровенно — проступает это понятие или, скорее, этот элемент инстинкта. Психиатрия открывает инстинкт, но вместе с нею его открывают юриспруденция и уголовная практика. Так что же это такое — инстинкт? Это такой гибридный элемент, способный функционировать в двух регистрах, или, если хотите, это своего рода передача, позволяющая двум механизмам — уголовному и психиатрическому — стыковаться друг с другом; или, еще точнее, один механизм власти, уголовная система с накопленным ею грузом знаний, стыкуется [посредством инстинкта] с другим механизмом власти, психиатрией, которая, в свою очередь, тоже обладает своим грузом знаний. Двум этим машинам впервые удалось сомкнуться друг с другом эффективным образом, да так, что это оказалось продуктивным как в уголовной области, так и в психиатрии, — именно посредством этого элемента инстинкта, созревшего к данному моменту. В самом деле, инстинкт позволяет привести этот своеобразный юридический скандал, каким иначе было бы беспричинное, немотивированное, а следовательно, и ненаказуемое преступление, к внятной формуле; и, с другой стороны, он по-

зволяет преобразовать научными средствами безосновательность некоего поступка в позитивный патологический механизм. Вот какова, на мой взгляд, роль этого инстинкта, важной фигуры в игре знания-власти.

Однако дело Генриетты Корнье — это, разумеется, крайний случай. В течение трех—четырех первых десятилетий XIX века ментальная медицина обращается к инстинкту только тогда, когда без этого не обойтись. Иными словами, только за недостатком бреда, помутнения рассудка, умопомешательства, которые почти исчерпывающе определяют ее собственный предмет, только когда их нет, в крайнем случае, психиатрия прибегает к инстинкту. Впрочем, достаточно взглянуть на сложную таксономическую архитектуру психиатрии начала XIX века, когда в нее попадает инстинкт, чтобы понять, насколько ограниченное место он там занимает. Инстинкт отодвинут на самую окраину этого здания с целым разделом безумий — постоянное безумие, возвращающееся безумие, полное безумие, частичное безумие (то есть распространяющееся лишь на одну область поведения). Среди этих частичных безумий есть такие, которые поражают мышление, но не затрагивают все прочее поведение, и, наоборот, есть такие, которые поражают поведение, но не затрагивают ум. Наконец, внутри этой последней категории есть разновидность безумия, касающаяся не поведения в целом, но лишь той или иной его формы. Например, безумие убийства. И вот тут, в этой четко ограниченной области, обнаруживается инстинктивное безумие — в некотором роде, последний кирпич в этом пирамидальном таксономическом здании. Таким образом, инстинкт занимает место, которое, думаю, очень важно политически (я имею в виду, что в конфликтах, соперничествах, распределениях и перераспределениях власти в начале XIX века проблема инстинкта, или инстинктивного безумия, очень значима), но эпистемологически является очень дробной и незначительной деталью.

Проблема, которую сегодня мне хотелось бы разрешить, такова: как эта эпистемологически маргинальная и второстепенная деталь смогла сделаться деталью совершенно фундаментальной и стала определять, пронизывать собою почти все

поле психиатрической деятельности? Более того, она не просто охватила или пропитала всю эту область, но и стала принципиальным элементом процесса расширения психиатрического знания и власти, их приумножения, постоянного удаления их границ, почти бесконечного расширения области их вмешательства. Вот об этом-то, о генерализации психиатрического знания и власти вслед за проблематизацией инстинкта, я и намерен сегодня поговорить.

Прежде всего надо проследить особенности этой трансформации в том, что касается ее предпосылок, определивших ее элементов. Схематически можно сказать следующее. Трансформация произошла под воздействием трех процессов, связанных с проникновением психиатрии в механизмы власти (во внешние ей механизмы власти). Первый процесс, обстоятельства которого я коротко напомню, заключается в том, что приблизительно в 1840-е гг. — по крайней мере, во Франции (в других странах он был почти таким же, но с некоторыми хронологическими сдвигами и отличиями на законодательном уровне) — психиатрия включилась в новую систему административной организации. Об этой новой административной организации я немного рассказывал вам в прошлом году, говоря о сложении внутрибольничной, если так можно сказать, психиатрической власти.[1] В этом году я хочу рассказать о ней с внебольничной точки зрения. Эта новая административная организация явственно выразилась в знаменитом законе от 1838 г.[2] Вы знаете, и я касался этого в прошлом году, что закон от 1838 г. определяет, помимо прочего, то, что принято называть принудительным помещением, иными словами, помещение душевнобольного в психиатрическую больницу по просьбе, а чаще по распоряжению администрации, а именно префектуры.[3] Как регулирует закон от 1838 г. это принудительное помещение? С одной стороны, принудительное помещение должно осуществляться в специализированное учреждение, то есть в учреждение, предназначенное, во-первых, для содержания и, во-вторых, для лечения больных. Таким образом, в законе от 1838 г. четко оговорены медицинский характер этой меры, ибо речь идет о лечении, и ее специализированный медицинский характер, ибо речь идет об учреждении, предназ-

наченном для содержания душевнобольных. Благодаря этому закону психиатрия получила признание как медицинская дисциплина, но в то же время и как специальная дисциплина в рамках общей медицинской практики. С другой стороны, на основании какой процедуры должно производиться принудительное помещение в эти учреждения? На основании решения префектуры, к которому прилагаются (что, впрочем, не является обязательным условием) соответствующие этому решению медицинские справки. Такой медицинской справкой может быть, к примеру, уведомление администрации префектуры о действительном запросе помещения. Но это не обязательно, и после того как администрацией префектуры принято решение о помещении, специализированное учреждение и служащие в нем медики должны предоставить медицинский отчет о состоянии помещенного к ним пациента, выводы которого [отчета] ни к чему администрацию префектуры не обязывают. Если медики придут к заключению о душевном здоровье, решение все равно останется в силе. Третья особенность принудительного помещения, оговоренная законом от 1838 г., состоит в том, что таковое помещение должно быть, цитирую, мотивировано умопомешательством индивида, причем таким умопомешательством, которое может поставить под угрозу общественный порядок и спокойствие. Как видите, роль врача — или, точнее, привязка медицинской функции к административному аппарату — определяется этим законом ясно и тем не менее двусмысленно. В самом деле, закон от 1838 г. санкционирует роль психиатрии как особой, научной и специализированной, техники общественной гигиены; однако он принуждает психиатрию и психиатра поднять перед собой проблему, совершенно новую по отношению к доселе традиционной научной экономике психиатрии.

Ранее, скажем, в эпоху, когда главной юридической процедурой в отношении безумия было лишение гражданских прав, проблема всегда заключалась в том, чтобы выяснить, не поражен ли данный субъект неким явным или скрытым умопомешательством, которое делало бы его недееспособным в качестве юридического субъекта, дисквалифицировало бы в качестве субъекта права.[4] Нет ли у него некоего состояния

сознания или бессознательности, помутнения сознания, способного помешать дальнейшему осуществлению его фундаментальных прав? Но по вступлении в действие закона от 1838 г. перед психиатром встает другой вопрос: перед ним индивид, способный нарушить порядок, представляющий угрозу общественной безопасности, — и что психиатр может сказать по поводу этой потенциальной смуты или угрозы? Вопрос о смуте, о беспорядке, об угрозе — вот какой вопрос, в силу административного решения, встает перед психиатром. Когда психиатр принимает отправленного на принудительное лечение больного, он должен дать и психиатрическое заключение, и заключение по поводу опасности и беспорядка; невзирая на то что его выводы ни к чему не обязывают администрацию префектуры, он должен оговорить возможную связь между безумием, болезнью, с одной стороны, и смутой, угрозой, беспорядком, с другой. Иными словами, под вопросом уже не симптомы недееспособности на уровне сознания, а очаги опасности на уровне поведения. И как следствие, в силу этой новой административной функции, новой административной привязки, направляющей психиатрическую деятельность, появляется целый комплекс новых объектов. Психиатрический анализ, исследование, разметка смещаются от мыслей больного к его поступкам, от того, что он способен понять, к тому, что он может совершить, от того, что он может сознательно пожелать, к тому, что может невольно сказаться в его поведении. Таким образом, как вы понимаете, происходит знаменательный переворот. В случае мономании, этого необычного, экстремального, монструозного феномена, мы имели дело с безумием, которое представляет чрезвычайную опасность в силу своей необычности. И если психиатры придавали мономании такое значение, то именно потому, что они приводили ее в качестве доказательства того, что бывают-таки случаи, когда безумие становится опасным. Психиатры нуждались в таком доказательстве, чтобы определить и обосновать свою власть в рамках регуляционных систем общественной гигиены. Теперь же психиатрам уже не нужно предъявлять, демонстрировать, подчеркивать эту связь безумия и опасности в чудовищных поступках. Связь между безумием и опасностью

признает отныне сама администрация, ибо это администрация, которая отправляет субъекта на принудительное лечение лишь в меру его действительной опасности, то есть в меру того, насколько его умопомешательство, болезнь, сопряжена с опасностью для человека или для общественного благополучия. В мономанах больше нет необходимости. Политическая демонстрация, которую должно было обеспечить эпистемологическое определение мономании, сработала, теперь эта политическая потребность удовлетворена администрацией и — снята с повестки дня. Направленные на принудительное лечение автоматически маркируются как опасные. С введением закона о принудительном помещении администрация сама, причем де-факто, осуществляет тот синтез опасности и безумия, который мономания некогда должна была продемонстрировать теоретически. Она осуществляет этот синтез опасности и безумия не для отдельных случаев, не в отношении неких исключительных, монструозных субъектов, но в отношении всех принудительно изолируемых индивидов. И мономания убийства перестает быть той серьезной политическо-юридической и научной проблемой, какой она была в начале XIX века, поскольку желание убийства или как минимум возможность опасности, беспорядка и смерти становятся коэкстенсивными всему населению больниц. Все, кто находится в лечебнице, являются потенциальными носителями этой смертельной угрозы. В итоге этого великана, выбивающегося из общего ряда монстра-убийцу, — такого, как женщина из Селеста, Генриетта Корнье, Леже или Папавуан, — сменяет в качестве типичной фигуры, референтной фигуры, не страшный мономан-убийца, а мелкий одержимый: мягкий, послушный, ранимый, безобидный фанатик, который, без всякого сомнения, хочет убивать, но который и убивал бы, и мог бы убивать, а потому смиренно просит у своей семьи, у администрации, у психиатра изолировать его, ибо в конце концов не убивать было бы для него счастьем.

В этом смысле можно сопоставить с делом Генриетты Корнье, о котором я рассказывал вам в прошлый раз, случай, описанный Байарже в 1847 г. (и относящийся к 1840 [*rectius*: 1839] г., то есть к самым первым годам действия закона от

1838 г.). Байарже узнал об этом случае от Гратиоле, и случай этот заключается в следующем.[5] Земледелец из Ло по имени Гленадель с ранней юности (с пятнадцати лет, а если учесть, что к моменту происшедшего ему было сорок лет, то в общей сложности двадцать пять лет) испытывал желание убить свою мать. Затем, когда мать умерла своей смертью, его желание перешло на свояченицу. Чтобы избежать этого искушения, чтобы уклониться от своего желания убивать, Гленадель поступил на армейскую службу, и это помогло ему не сделаться, по крайней мере, убийцей матери. Ему несколько раз давали отпуск, однако, чтобы не убить мать, он неизменно отказывался. Но в конце концов он был уволен в запас и решил не возвращаться домой. Лишь узнав, что мать, а вскоре и свояченица умерли, Гленадель вернулся на родину. Однако свояченица — вот незадача — оказалась жива, известие о ее смерти было ложным, и ему пришлось поселиться рядом с нею. Всякий раз, когда желание убить ее становилось особенно острым и нестерпимым, Гленадель с помощью сложной системы цепей и замков приковывал себя к кровати. И по прошествии некоторого времени, приблизительно в 1840 г., в один из таких моментов он уговорил свою семью, или семья уговорила его, пригласить судебного исполнителя — в сопровождении, я полагаю, медика, — чтобы те, засвидетельствовав его состояние, решили, что делать, и в частности не следует ли поместить его в лечебницу. Сохранился протокол, составленный этим судебным исполнителем:[6] он выслушал рассказ Гленаделя о своей жизни и, среди прочего, спросил его о том, как именно он хотел убить свояченицу. Итак, Гленадель привязан к кровати, опутан цепями, замками и т. д., а вся семья, включая свояченицу и судебного исполнителя, собралась вокруг него.[7] И вот его спрашивают: «Как именно вы хотите убить свояченицу?». Глаза его наполняются слезами, он смотрит на свою родственницу и отвечает: «Самым нежным орудием». Тогда его спрашивают о том, не могли бы заставить его отказаться от этой идеи мысли о горе его брата и племянников. Он отвечает, что да, конечно, он сожалел бы о том, что доставил горе брату и племянникам, но, так или иначе, он не видел бы этого горя. В самом деле, если бы он совершил убийство, его сразу же по-

местили бы в тюрьму и вскоре казнили бы, о чем он мечтает сильнее всего, ибо с желанием убить у него сопряжено желание умереть. Услышав это, его спрашивают, а не хочет ли он, испытывая это двойное желание убить и умереть, найти для себя более прочные путы и более надежные цепи. И Гленадель уверенно отвечает: «Дав их, вы доставили бы мне величайшее удовольствие!».[8]

Данный случай кажется мне интересным. Это не первое упоминание в психиатрической литературе феномена, который я буду называть тактичной мономанией.[9] Ряд таких случаев уже приводил Эскироль.[10] И все же это наблюдение имеет особое значение. В первую очередь по причине теоретических, психиатрических выводов, которые извлечет из него Байарже и к которым я вскоре вернусь; но также и потому, что речь идет об идеальном случае с научной, моральной и юридической точки зрения. В самом деле, этот случай не замутнен никаким реальным преступлением. Больной вполне осознает свое состояние, точно знает, что произошло, способен оценить интенсивность своего желания, своего влечения, своего инстинкта, осознает его непреодолимость, сам просит о цепях и, судя по всему, об изоляции. Таким образом, он безукоризненно исполняет роль больного, осознающего свою болезнь и согласного с юридическим, административным и психиатрическим надзором за собой. Кроме того, у него есть семья, причем семья опять-таки хорошая, идеальная. Учитывая желание больного, признавая непреодолимость его влечения, семья соглашается связать ему руки. И как семья, следующая административным рекомендациям, понимающая, что налицо опасность, она приглашает судебного исполнителя, чтобы должным образом засвидетельствовать состояние больного. Что же касается судебного исполнителя, то я думаю, хотя и не вполне уверен в этом, что он тоже хороший чиновник и потому берет с собой врача, дабы по всем правилам составить справку о принудительном или добровольном помещении больного в ближайшую психиатрическую лечебницу (в данном случае это, разумеется, добровольное помещение). Перед нами пример слаженного сотрудничества в цепи «медицина—правосудие—семья—больной». Здравомыслящий больной, его

обеспокоенная семья, бдительный судебный исполнитель, компетентный врач: все они обступают, изолируют, опутывают, локализуют это пресловутое желание убивать и быть убитым, появляющееся здесь в чистом виде, как двусмысленное стремление к смерти, двойное стремление к смерти. Будучи опасным для самого себя, больной опасен и для других, и все берутся за руки вокруг этого мельчайшего, абсолютного, чистого, но отчетливо различимого черного пятна опасности. И мы оказываемся, если угодно, в стихии психиатрического здоровья. В центре — беспримесный, только что явившийся на свет инстинкт смерти. Рядом с ним — больной, носитель, генератор этого инстинкта; по другую сторону — запретная женщина, объект этого инстинкта; за ними — юридический вол и психиатрическая ослица. Это рождество, рождество божественного ребенка, инстинкта смерти, которому суждено стать первым и основополагающим объектом психиатрической религии. Но, говоря «инстинкт смерти», я, разумеется, не имею в виду некое предзнаменование фрейдовского понятия.[11] Я имею в виду лишь следующее: то, что в данном случае вполне отчетливо заявляет о себе, становится отныне главнейшим предметом психиатрии; это инстинкт, причем инстинкт как носитель опасности в ее чистейшей и абсолютной форме, как носитель смерти — смерти больного и смерти тех, кто его окружает, — опасности, которая требует двойного вмешательства как со стороны администрации, так и со стороны психиатрии. В рамках этой фигуры инстинкта—носителя смерти заключен, по-моему, очень важный эпизод истории психиатрии. В дальнейшем я попытаюсь объяснить вам, почему, на мой взгляд, это второе рождение психиатрии, ее истинное рождение после периода протопсихиатрии, которая, в сущности, была всего лишь теорией или медициной умопомешательства. И это все, что я хотел рассказать о первом процессе, ведущем к генерализации элемента инстинкта, а также к генерализации психиатрического знания и власти, — о включении психиатрии в новый административный режим.

Второй процесс, которым объясняется эта генерализация, — это реорганизация семейного ходатайства. И теперь вновь надо сослаться на закон 1838 г. С выходом закона от

1838 г. связь между семьей и психиатрическими и юридическими инстанциями меняется как по своей сути, так и по своим нормам. Отныне решение семьи не является непременным условием принудительной изоляции, она теряет те рычаги, которыми обладала раньше, или, во всяком случае, не может распоряжаться ими так же, как раньше. Раньше существовало два пути: один быстрый, даже стремительный, хотя и сомнительный юридически, заключался в безусловной изоляции отцовской властью; другим путем была громоздкая и запутанная процедура ограничения гражданских прав, которая требовала созыва семейного совета и последующего юридического процесса, в результате которого субъект мог быть изолирован решением специального суда. Теперь же, с выходом закона 1838 г., возможность ходатайствовать о так называемом добровольном помещении в лечебницу (разумеется, добровольное помещение — это изоляция, которой хочет не сам больной, а которой хотят для него его близкие) предоставляется ближайшему окружению больного. Ближайшее окружение, то есть прежде всего близкие больного, получают возможность ходатайствовать об изоляции, но в то же время, прежде чем добиться этого добровольного помещения, то есть до изоляции, им необходимо получить в качестве подтверждающего документа медицинское заключение (хотя префект в этом не нуждается, семья все же не может добиться добровольного помещения без медицинского заключения). После же госпитализации врач соответствующего учреждения должен получить поручительство префекта и, со своей стороны, заверить заключение, с которым к нему поступил больной. Таким образом, число необходимых обращений к судебной администрации, да и к какой бы то ни было администрации, сводится к минимуму, и семья оказывается напрямую связана с медицинским знанием и властью. Семья должна запрашивать у врача как документы, нужные для обоснования изоляции, так и конечное подтверждение обоснованности этой изоляции. Иными словами, характер семейного запроса к психиатрии меняется. Меняется форма этого запроса. Теперь к врачу обращается уже не семья в широком смысле этого слова (то есть не общество, собирающееся на семейном совете), а ближайшее

окружение индивида, и, обращаясь к врачу напрямую, просит его не установить юридическую недееспособность больного, а охарактеризовать степень его опасности для нее, семьи. Но помимо формального изменения, этот запрос меняет и свое содержание. Точкой приложения психиатрического знания, диагноза, прогноза, становится теперь именно та опасность, которую безумец представляет внутри семьи, то есть внутрисемейные отношения. Психиатрия уже не должна определять состояние сознания, волеизъявления больного, как это было, когда речь шла о лишении гражданских прав. Психиатрия должна психиатризировать целый комплекс поступков, расстройств, нарушений, угроз, опасностей, всего того, что относится к области поведения, а не к области бреда, помутнения рассудка или умопомешательства, как было прежде. Отношения родителей и детей, отношения братьев и сестер, отношения мужа и жены с их внутренними вариациями — вот что становится теперь областью изучения, предметом решения, местом вмешательства психиатрии. Иными словами, психиатр оказывается специалистом по внутрисемейным опасностям в их наиболее повседневном выражении. Психиатр становится семейным врачом сразу в двух смыслах этого выражения: он — врач, в котором нуждается семья и который получает статус врача по воле семьи, но также он — врач, предметом заботы которого является нечто, происходящее внутри семьи. Это врач, призванный взять все те нарушения, трудности и т. д., которые могут возникнуть на семейной сцене, под медицинское наблюдение. Таким образом, психиатрия приходит в семьи как техника не только коррекции, но и восстановления того, что можно было бы назвать их [семей] имманентной справедливостью.

Эту очень важную перемену в отношениях психиатрии и семьи наилучшим образом, как мне кажется, характеризует труд Улисса Трела́ под названием «Трезвое безумие», вышедший в 1861 г.[12] Книга эта открывается приблизительно следующими словами. Очевидно, что предметом деятельности психиатра является отнюдь не больной как таковой и отнюдь не семья, но всевозможные неурядицы, которые больной может вызвать в семье. Психиатр вмешивается как врачеватель вза-

имоотношений больного и семьи. В самом деле, — пишет Улисс Трела, — что мы обнаруживаем, изучая душевнобольных? Изучая душевнобольных, мы не можем выяснить, в чем состоит умопомешательство, и даже каковы его симптомы. Что же мы обнаруживаем? «Бесчисленные муки, которым люди, пораженные нередко неизлечимой [*rectius*: неискоренимой] болезнью, подвергают замечательных, энергичных, творческих личностей». «Замечательные, энергичные, творческие личности» — это другие члены семьи, рядом с которыми, соответственно, живут «люди, пораженные нередко неизлечимой [*rectius*: неискоренимой] болезнью». Ведь душевнобольной — это «злодей, разрушитель, обидчик, агрессор», — пишет Трела. Он «убивает все благое».[13] И заключая предисловие к своей книге, Трела поясняет: «Я написал ее не из ненависти к душевнобольным, но ради благополучия семей».[14]

Опять-таки, вслед за переменой в семейно-психиатрических отношениях появляется целая область новых объектов, и если на месте мономана-убийцы мы встречаем одержимого, описанного Байарже, о котором я говорил только что, то еще одним новым персонажем и новым типом объектов, воплощаемых этим персонажем, оказывается, в грубом определении, извращенец. Одержимый и извращенец — вот вам два новых персонажа. Приведу описание, относящееся к 1864 г., из книги Леграна Дюсоля под названием «Безумие перед судом». Я не утверждаю, что это первый в психиатрии персонаж данного типа, вовсе нет, однако это весьма типичный пример нового персонажа, психиатризованного в середине XVIII [*rectius*: XIX] века. Речь идет о некоем Клоде К., который «родился в порядочной семье», но очень рано обнаружил «необычайно непокорный нрав»: «Он с неким наслаждением ломал и уничтожал все, что попадалось ему под руку, он бил своих сверстников, когда видел, что те слабее его; если у него в руках оказывалась кошка или птица, ему словно бы нравилось причинять им страдания, мучить их. С возрастом он становился все злее; он не боялся ни отца, ни матери, к которой испытывал сильнейшую неприязнь, хотя она была очень добра с ним; он оскорблял и бил ее, стоило ей выказать несогласие с его прихотями. Не любил он и старшего брата, настолько же доброго,

насколько сам он был злым. Когда его оставляли одного, он помышлял лишь о том, что бы сделать плохого — сломать ли какой-нибудь полезный предмет, спрятать ли что-нибудь ценное; несколько раз он пытался устроить пожар. В пять лет он стал настоящей грозой детей, живших по соседству, которых третировал как только мог, стоило им потерять бдительность [...]. Когда поступили жалобы на него [надо полагать, в пятилетнем возрасте. — *М. Ф.*], г-н префект постановил отправить его в лечебницу для душевнобольных, где мы имели возможность, — пишет психиатр г-н Боттекс, — наблюдать его более пяти лет. Там, находясь под строгим надзором и сдерживаемый страхом, он редко отваживался на злодеяния, однако никакими средствами не удалось справиться с его природным коварством и извращенностью. Ласки, поощрения, угрозы, наказания — ничто не принесло успеха: он запомнил несколько молитв, и не более того. Он так и не научился читать, хотя на протяжении нескольких лет ему давались уроки. Выйдя из лечебницы год назад [получается, что теперь ему одиннадцать лет. — *М. Ф.*], он стал, насколько мы знаем, еще более злым и опасным, ибо сил у него прибавилось, а всякий страх исчез. Так, он беспрерывно бьет свою мать и грозит ей смертью. Другой его постоянной жертвой является младший брат. И наконец, совсем недавно в двери дома его родителей, которые в это время отсутствовали, постучался безногий, передвигавшийся на тележке в поисках милостыни, так Клод К. столкнул несчастного калеку на землю, поколотил его и убежал, сломав его тележку! [...] Его необходимо поместить в исправительный дом; впоследствии его злодеяния наверняка приведут к тому, что он проживет оставшиеся дни в тюрьме, и, если он не попадет [...] на эшафот, это будет счастливым исходом!».[15]

Этот случай кажется мне интересным и сам по себе и, если угодно, в том виде, как он был проанализирован и описан. Его было бы небесполезно сопоставить с другими наблюдениями этого же типа или достаточно сходными. Разумеется, я имею в виду заключения и отчеты в отношении Пьера Ривьера.[16] В деле Пьера Ривьера мы обнаруживаем целый ряд элементов, которые есть и здесь: истребление птиц, злые выходки в адрес малолетних братьев и сестер, нелюбовь к матери и т. д. Одна-

ко у Пьера Ривьера все эти элементы функционировали как совершенно двусмысленные знаки, свидетельствуя о неискоренимой злости в характере индивида (и, как следствие, о виновности Ривьера, о возможности вменить ему его преступление) или же, наоборот, фигурируя — без малейших изменений — в некоторых медицинских отчетах как предзнаменование безумия и, следовательно, как доказательство того, что Ривьеру нельзя вменить его преступление. Так или иначе в деле Ривьера эти элементы подчинялись чему-то отдельному от них: они были либо предвестиями преступления, либо предвестиями безумия. А сами по себе ничего не значили. Теперь же мы имеем дело с досье на мальчика, который с пяти до десяти лет пробыл в психиатрической лечебнице. А из-за чего? Как раз из-за этих элементов, которые теперь перестали соотноситься либо с тяжелым дементным безумием, либо с тяжким преступлением. Сами по себе, как злость, как извращенность, как всякого рода нарушения, как внутрисемейные беспорядки, в силу самих этих качеств, эти элементы функционируют как симптомы патологического состояния, которое требует изоляции. Сами по себе дают основание для вмешательства. Все эти элементы, которые прежде подвергались криминализации или патологизации при посредничестве некоего внутреннего безумия, теперь медикализованы по праву, самостоятельно, по своей собственной природе. Если некто зол, тем самым он потенциально подлежит медикализации: таков, на мой взгляд, первый интересный вывод из этого наблюдения.

Второй вывод заключается в том, что психиатр вступает в дело, занимая, в известном смысле, вышестоящую позицию по отношению к прочим инстанциям контроля — к семье, соседям, исправительному дому. Психиатр вкрадывается между различными дисциплинарными элементами. Понятно, что вмешательство врача и приобретаемый им размах — дело совершенно особое. Но чем, в сущности, определяется, чем описывается предмет его заботы, то, что становится целью его вмешательства, все эти элементы, медикализованные теперь по праву и по своей природе? Это дисциплинарное поле определяется семьей, школой, соседями, исправительным домом.

Все это и является теперь предметом медицинского вмешательства. Таким образом, психиатрия удваивает эти инстанции, переопределяет, перемещает, патологизирует их; во всяком случае, она патологизирует то, что можно было бы назвать обломками дисциплинарных инстанций.

И наконец, третий вывод, который можно сделать из только что зачитанного текста: принципиальным стержнем этого описания выступают внутрисемейные отношения, и прежде всего отношения любви, а точнее — лакуны в этих отношениях. Как вы помните, в знаменитых описаниях психиатров-алиенистов предшествующей эпохи, в описаниях Эскироля и его современников, речь тоже нередко заходит об отношениях между больным и его близкими. А именно, об отношениях между больным-преступником и его семьей. Но эти отношения, когда они хорошие, неизменно приводятся как доказательство того, что больной — безумец. Лучшее доказательство душевной болезни Генриетты Корнье то, что она поддерживала добрые отношения со своей семьей. В глазах Эскироля одержимость убийством жены является болезнью именно потому, что субъект, испытывающий эту одержимость, в то же время является хорошим мужем. Иными словами, наличие внутрисемейных чувств соотносится с безумием в меру их позитивности. А на чем основывается новая патологизация отношений внутрисемейного поля? Как раз на отсутствии этих добрых чувств. Нелюбовь к матери, издевательства над младшим братом, побои старшего брата — все эти поступки сами по себе и являются теперь патологическими элементами. Таким образом, внутрисемейные отношения уже не соотносятся с безумием, будучи позитивными, но, напротив, своими недостатками конституируют патологические элементы.

Один такой случай я вам привел. У Эскироля также есть наблюдение, которое можно было бы отнести к этому типу, но я не хотел бы сейчас называть точную дату возникновения нового поля психиатрического вмешательства. Я хочу просто охарактеризовать его в виде комплекса наблюдений, отмечаемого в эту эпоху. Иначе говоря, указать на процесс сложения патологии дурных отношений в семье. В книге Трела «Трезвое безумие», о которой я недавно говорил, есть один превос-

ходный пример попадания в поле зрения психиатра семейной неурядицы, которая вносит своего рода разрыв в ровную при нормальном, нормативном порядке ткань семейных отношений, и предстает в итоге как патологический симптом. Это в чистом виде низость в ответ на знаки любви. Итак, у нас есть случай, «в котором добродетель молодой женщины, оказавшейся жертвой обстоятельств, была жестоко обманута [...]. Как это часто бывает, невеста видела лишь элегантную внешность того, чье титулованное имя ей предстояло взять, и не замечала его духовной слабости и низменных привычек. Однако не прошло и восьми дней [после женитьбы. — *М. Ф.*], как новоявленная супруга, такая прекрасная, такая чистая и одухотворенная в свои юные годы, выяснила, что господин граф [ее молодой муж. — *М. Ф.*] с раннего утра посвящал все свои заботы изготовлению из своих испражнений шариков разной величины и их укладке в порядке возрастания на мраморной полке камина, перед большими настенными часами. Бедное дитя сразу утратило все свои иллюзии».[17] Конечно, это смешно, но я думаю, что это также один из бесчисленного множества случаев, когда лакуна внутрисемейных отношений, плохой поступок, совершенный в ответ на хороший, оказывается самостоятельным носителем патологических признаков без всякой отсылки к нозографической таблице умопомешательств, расклассифицированных психиатрами предшествующей эпохи.

Третий процесс генерализации — первым, напомню, была смычка психиатрии и административной регуляции, а вторым было представление нового семейного запроса к психиатрии (семья как потребитель психиатрии), — итак, третий процесс генерализации заключается в выдвижении политического запроса к психиатрии. Собственно говоря, другие запросы (или другие процессы, которые я попытался очертить и которые имели место на уровне администрации и семьи) являлись, по большей части, следствием сдвигов, преобразований отношений, которые уже существовали ранее. А выдвинутый к психиатрии политический запрос — это, мне кажется, новый феномен, и хронологически он следует за двумя другими. Первый и второй запросы могут быть датированы 1840—1850-ми го-

дами. Политический же запрос возникает между 1850 г. и 1870—1875 годами. Что он представляет собою? Думаю, о нем можно сказать следующее: к психиатрии обратились с просьбой о чем-то таком, что можно было бы назвать дискриминантом, политико-психиатрическим дискриминантом индивидов, групп, идеологий и даже исторических процессов; психиатрическим дискриминантом с политическим эффектом.

В виде гипотезы я хотел бы выдвинуть следующее положение. После английской революции XVII века пусть не сложилась окончательно, но, во всяком случае, была установлена на новом фундаменте и получила новое определение политико-юридическая теория правления, теория договора, на котором основывается правление, теория отношений между общим волеизъявлением и административными инстанциями. У Гоббса, Локка или, затем, у французских теоретиков мы можем констатировать политико-юридический дискурс нового типа, одной из функций которого (хотя, разумеется, не единственной) была именно выработка того, что я бы назвал формально-теоретическим дискриминантом, позволяющим провести черту между хорошими и плохими политическими режимами. При создании этих политико-юридических теорий правления такая цель не ставилась, но на всем протяжении XVIII века они в самом деле использовались, среди прочего, как объяснительный принцип режимов недалекого прошлого и древности. Какие режимы хорошие? Какие режимы подходящие? Какие режимы в истории достойны признания, в каких режимах мы можем узнать себя? И в то же время это принцип критики, принцип оценки или развенчания современных режимов. Именно в таком качестве теория договора, или теория правления, весь XVIII век во Франции служила путеводной нитью реальной критики политического режима его современниками. Таково было наследие английской революции XVII века.[18]

После Великой французской революции, в конце XVIII века политическим дискриминантом прошлого и настоящего стал, как мне кажется, не столько политико-юридический анализ режимов и государств, сколько история как таковая. В по-

иске ответов на вопросы «что следует сохранить из революционных свершений?» или «что следует переопределить в уложениях Старого Режима?», или «как определить, что следует принять, а что отвергнуть в наследии прошлого?», — в поиске разрешения всех этих вопросов, во всяком случае, теоретического разрешения, — на роль дискриминанта, критерия, предлагалась история. Когда Эдгар Кине пишет историю третьего сословия, когда Мишле создает историю народа, они пытаются отыскать в истории третьего сословия, в истории народа путеводную нить, которая позволила бы объяснить и прошлое, и настоящее, — путеводную нить, которая позволила бы развенчать, отклонить, посчитать политически нежелательными или исторически непригодными одни события, персонажи и процессы и, наоборот, признать ценность других.[19] Словом, политическим дискриминантом прошлого и настоящего выступает история.[20]

После третьей волны революций, которая захлестнула Европу между 1848 и 1870—1871 гг., — волны республиканских, демократических, националистических или социалистических революций, дискриминантом, который историки попытались использовать, ввести в обиход, стала, как мне кажется, психиатрия и, в более широком смысле, психология. По сравнению с двумя его предшественниками — политико-юридическим и историческим — этот дискриминант, несомненно, гораздо более слаб теоретически, однако его преимущество хотя бы в том, что он подкреплен действенным орудием санкции и изоляции, ибо медицина как власть, психиатрическая больница как институт служат как раз для того, чтобы эффективно санкционировать операцию различения. Во Франции призвание психиатрии на эту должность становится очевидным с 1870 г., но еще раньше оно происходит в Италии.[21] С какой проблемой столкнулся Ломброзо? В движениях, начавшихся в Италии в первой половине XIX века и подхваченных Гарибальди, он усмотрел тенденцию — или отклонение — в сторону социализма и анархизма. Но как среди этих движений выделить такие, которые можно признать, и такие, которые следует, наоборот, подвергнуть критике, изоляции и всевозможным санкциям? Оправдывают ли первые

движения за независимость Италии, за воссоединение Италии, первые антиклерикальные движения — оправдывают ли они социалистические и даже анархические движения, появляющиеся в эпоху Ломброзо, или же, наоборот, эти новые движения компрометируют замыслы предшествующих? Как разобраться во всем этом хаосе массовых волнений и политических процессов? Ломброзо — республиканец, антиклерикал, позитивист и националист стремился, естественно, обосновать расхождение между движениями, которые он признавал, в которых он узнавал себя и которые, по его мнению, прошли проверку ходом истории, и другими движениями, которым он был современником и врагом и которые считал нужным развенчать. Найдя возможность доказать, что современные движения направляют люди, принадлежащие к разряду биологически, анатомически, психологически или психиатрически ненормальных, мы получим различительный принцип. И биологическая, анатомическая, психологическая, психиатрическая наука позволит незамедлительно распознавать в политическом движении тех, кто может быть действительно признан, и тех, кто подлежит развенчанию. Именно об этом Ломброзо говорил, описывая применения антропологии: антропология предоставляет нам возможность отличить подлинную революцию, всегда плодотворную и полезную, от мятежа и бунта, заведомо бесплодных. И далее: великие революционеры — Паоли, Мадзини, Гарибальди, Гамбетта, Шарлотта Корде и Карл Маркс — почти всегда были святыми и гениями, причем им было дано поразительно гармоничное лицо.[22] Напротив, если взять фотографии сорока одного парижского анархиста, то выяснится, что 31% от их числа имеет серьезные физические недостатки. Из ста анархистов, арестовывавшихся в Турине, 34% не обладали поразительно гармоничными чертами Шарлотты Корде и Карла Маркса (и это явно свидетельствует о том, что движение, которое они представляют, подлежит историческому и политическому развенчанию, ибо оно уже развенчано физиологически и психиатрически).[23] Точно так же, по этой модели политического различительного принципа, психиатрия будет использоваться и во Франции после 1871 г. и до конца столетия.

Теперь я снова хотел бы привести вам одно наблюдение, которое может служить дополнением к случаям, о которых я говорил ранее: одержимого у Байарже и маленького извращенца у Леграна Дюсоля. На сей раз это наблюдение Лаборда над одним из участников Парижской коммуны, казненным в 1871 г. Вот сделанный автором психологический портрет: «Р. был во всех смыслах слова *пустоцветом*: не то чтобы он был глуп, вовсе нет, однако его наклонности неизменно приводили к неудачному, безрезультатному или вредному применению имевшихся у него способностей. После безуспешных попыток поступить в Политехническую школу, а затем в Центральную школу [гражданских инженеров], он в конце концов решил изучать врачебное дело, но не продвинулся дальше дилетантского уровня и остался бездельником, озабоченным тем, чтобы создать видимость некоей серьезной цели. Если он и выказывал в медицине какое-то прилежание, то исключительно ради того, чтобы почерпнуть в ней нечто в угоду своему пристрастию к атеистическим и материалистическим доктринам. Положения этих доктрин в сочетании с крайними проявлениями социалистических и революционных убеждений стали у Р. предметом нахального и циничного бахвальства. Плетение заговоров, создание или вступление в уже существующие тайные общества, посещение публичных собраний и клубов, где он развивал на языке коварных и беззастенчивых цитат свои подрывные нигилистические теории; регулярные походы вместе с приспешниками в известные заведения, пользующиеся дурной славой, чтобы разглагольствовать там о политике *inter pocula** [может быть, кто-нибудь из вас знает латынь? — мне не известно, что значит *inter pocula*. — *М. Ф.*] и среди оргии, устраивая в этих притонах академии низкопробного атеизма и социализма; крайний революционаризм или, другими словами, глубочайшее извращение чувств и мышления; и наконец, популяризация этих бесстыдных доктрин на страницах скабрезных газет-однодневок, с момента своего открытия обреченных на полицейское преследование и наказание — вот что составляло круг занятий, да, впрочем, и

* За чашей, во время пира (*лат.*). — *Прим. перевод.*

все существование Р. Понятно, что в таких условиях ему были суждены частые стычки с полицией. Но он не унимался и лишь потакал розыскам [...]. Однажды, придя на закрытое собрание порядочных и уважаемых людей, в том числе юных девиц в компании матерей [...], он к вящему изумлению собравшихся закричал: „Да здравствует революция! Долой церковников"! К такой склонности у подобного человека нельзя отнестись безразлично [...]. В недавних событиях [имеется в виду Парижская коммуна. — *М. Ф.*] эти взрывчатые наклонности Р. нашли исключительно благодатную почву для своей реализации и свободного раскрытия. Наконец-таки наступил тот столь желанный день, когда ничто не мешало осуществлению величайшего из его черных замыслов: собственноручно вершить абсолютную, неограниченную власть ареста, реквизиции, расправы над людьми. И он сполна воспользовался этой властью: его безудержный аппетит нуждался в пропорциональном удовлетворении [...]. Схваченный в силу обстоятельств, он заявляет, что бесстрашно утверждал свои убеждения перед лицом смерти. Не потому ли, что он и не мог бы действовать иначе? Как я уже говорил, Р. было неполных двадцать шесть лет, однако его изможденное, бледное и уже отмеченное глубокими морщинами лицо несло на себе отпечаток преждевременной старости, а глаза смотрели неискренне, что, впрочем, могло быть следствием сильной близорукости. Вообще же, обычно, лицо его выражало некую твердость, ожесточенность и крайнее высокомерие, а приплюснутые, но широко раздутые ноздри дышали чувственностью, так же как и довольно-таки толстые губы, частично закрытые длинной, густой черной бородой с рыжеватыми прядями. Смех Р. был саркастическим, речь отрывистой и властной, причем склонность терроризировать собеседника заставляла его усиливать тембр голоса, чтобы придать ему особенно грозное звучание».[24]

Мне кажется, что подобный текст (более чем столетней давности) уже выводит нас на тот дискурсивный уровень, к которому относятся психиатрические экспертизы, которые я зачитывал вам вначале, на первой лекции. Очевидно, что именно этот тип описания, именно этот тип анализа, именно

этот тип дисквалификации и взяла на вооружение психиатрия. Но так или иначе, между 1840 и 1870—1875 гг. складываются, я думаю, три новых референта психиатрии: административный референт, который предъявляет безумие уже не на фоне общепризнанной истины, но на фоне принудительного порядка; семейный референт, который проводит границу безумия на фоне обязательных чувств, аффектов и отношений; и политический референт, который выделяет гетто безумия на фоне социальной стабильности и незыблемости. Отсюда следует целый ряд выводов, а именно — те самые генерализации, с разговора о которых я начал сегодняшнюю лекцию.

Прежде всего, отсюда следует новая экономика взаимоотношений безумия и инстинкта. Случай Генриетты Корнье, мономания убийства в трудах Эскироля и психиатров-алиенистов были своеобразной пограничной областью, основанной на парадоксе вроде «бреда инстинкта» или, как еще говорили, «непреодолимого инстинкта». Но именно эта пограничная область постепенно, согласно трем процессам, которые я очертил, распространяется, разрастается по всей территории ментальной патологии. Первыми свидетельствами этого процесса стали понятия «морального безумия» у Причарда и «трезвого безумия» у Трела.[25] Однако это лишь территориальные приобретения, никак не разрешающие поднятые ⟨кровопролитным⟩ безумием проблемы. Начиная же с 1845—1850 гг. в психиатрической теории происходит изменение, двойное изменение, особым образом отражающее новые функциональные принципы психиатрической власти, которые я попытался описать.

Во-первых, психиатры отказываются от этого странного, но между тем широко применявшегося алиенистами понятия «частичного безумия» — то есть такого безумия, которое затрагивает лишь некую долю личности, поселяется в единственном углу сознания, поражает лишь незначительную долю поведения и никак не сообщается с остальным психологическим зданием или личностью индивида. Теперь психиатрическая теория пускает все силы на то, чтобы вернуть безумию единство и показать, что даже если безумие проявляется в совершенно отдельном, частном, точечном, пусть и очень своеобразном, симптоме, все равно, сколь бы устойчива ни была

локализация этого симптома, душевная болезнь всегда возникает у индивида, который — как индивид — глубоко и всецело безумен. Субъект как таковой должен быть безумен, только при этом условии может появиться симптом, сколь угодно одиночный и мелкий. Не бывает частичного безумия, но бывают региональные симптомы безумия, которое, в свою очередь, всегда фундаментально и всегда поражает всего субъекта, пусть и неявно.

В связи с этим воссоединением, с этим своего рода общим укоренением безумия, заявляет о себе второе изменение: воссоединение происходит уже не на уровне сознания или восприятия истины, которое было принципиальным ядром безумия у алиенистов. Теперь воссоединение безумия во всех, даже самых частных и региональных его симптомах происходит на уровне своеобразной игры произвольного и непроизвольного. Безумец — это тот, у кого разграничение, игра, иерархия произвольного и непроизвольного оказываются нарушены. Поэтому исследовательская ось психиатрии определяется уже не логическими формами мышления, а особого рода степенями спонтанности поведения, или, во всяком случае, именно ось спонтанности поведения, ось произвольного и непроизвольного в поведении, становится главной. Наиболее отчетливо, как мне кажется, этот коренной переворот в эпистемологической организации психиатрии сформулирован у Байарже в двух статьях 1845 и 1847 гг., где он говорит о том, что безумец характеризуется неким состоянием, подобным состоянию сна. Однако сон для Байарже — это не такое состояние, в котором не сознают правды, но такое, в котором не управляют своей волей; это состояние, в котором всецело подчиняются непроизвольным процессам. Именно в таком качестве — в качестве средоточия непроизвольных процессов — сон выступает моделью всякой душевной болезни. И вот вторая фундаментальная идея Байарже: вследствие этого нарушения в порядке и организации произвольного и непроизвольного развиваются все прочие феномены безумия. Галлюцинации, острые состояния бреда, ложные представления — все то, что раньше, для психиатрии XVIII века и для алиенистов начала XIX века, было сущностным, основополагающим элементом

безумия, теперь переходит во второй ряд, на второй уровень. Острые состояния бреда, галлюцинации, мания, навязчивая идея, маниакальное желание — все это является результатом непроизвольного осуществления способностей, взявшим верх над их сознательным применением вследствие болезненного поражения мозга. Это-то и называется «принципом Байарже».[26] И достаточно вспомнить о том, что составляло главную заботу и неудобство алиенистов предшествующего периода: как возможно, чтобы допускалось говорить о безумии, чтобы полагалось говорить о безумии в тех случаях, когда в сердцевине явления нет и намека на бред? — чтобы понять, что теперь все перевернулось. Теперь не нужно искать за инстинктивным ⟨поведением⟩ микроэлемент бреда, который позволит включить его под рубрику безумия. Что теперь надо отыскать, так это — за всяким бредом — мелкое нарушение в игре произвольного и непроизвольного, которое может помочь понять происхождение бреда. Принцип Байарже с первостепенным значением вопроса о произвольном, спонтанном, автоматическом, с утверждением, что симптомы душевной болезни, даже если они локализованы, поражают всего субъекта, является основополагающим принципом второй психиатрии. В это время — в 1845—1847 гг. — психиатры берут верх над алиенистами. Эскироль был последним алиенистом, ибо последним ставил вопрос о безумии, то есть об отношении к правде. Байарже стал первым французским психиатром (в Германии почти в это же время первым психиатром стал Гризингер[27]), ибо первым поставил вопрос о произвольном и непроизвольном, об инстинктивном и автоматическом в сердцевине процессов душевной болезни.

Далее, вследствие новой ядерной организации психиатрии, с появлением нового ядра психиатрии, происходит великое эпистемологическое разрежение психиатрии — разрежение в двух направлениях. С одной стороны, открывается новое симптоматологическое поле: у психиатрии появляется возможность симптоматологизировать, определить как симптомы болезни, целый комплекс явлений, которые доселе не имели своего статуса в категории душевных болезней. Вследствие чего ранее, в медицине умопомешательства, поведение могло

фигурировать как симптом душевной болезни не потому, что было необычным или абсурдным, а потому, что включало самую незначительную долю бреда. Теперь же симптоматологической функцией поведения, то есть тем, что позволяет некоему элементу поведения, форме поведения, выступать симптомом душевной болезни, оказывается, во-первых, отклонение этого поведения от норм порядка, сообразности, определяющихся либо на фоне административной регулярности, либо на фоне семейных обязательств, либо, наконец, на фоне социально-политической нормативности. Это отклонение, эти отклонения и определяют поведение в качестве потенциального симптома болезни. Во-вторых, симптоматологической функцией поведения выступает расположение этих отклонений на оси произвольного и непроизвольного. Отклонение от поведенческой нормы и степень погружения в область автоматического — это две переменных, которые, начиная, грубо говоря, с 1850-х гг., позволяют включить поведение в регистр душевного здоровья или, напротив, в регистр душевной болезни. Когда отклонение и степень автоматизма минимальны, то есть когда поведение сообразно и сознательно, перед нами, в общем, душевное здоровье. Когда, наоборот, отклонение и автоматизм растут (причем, не обязательно с одинаковой скоростью или в одинаковой степени), перед нами болезненное состояние, определять которое как раз и следует как по степени отклонения, так и по степени возрастающего автоматизма. Если именно так оценивается теперь поведение больного, если именно такова мера патологии, то понятно, что в аналитическое поле психиатрии попадает огромная масса данных, фактов, форм поведения, которые она может описывать и в которых она может искать симптоматологическое значение, основываясь на отклонениях от нормы и согласно оси произвольного и непроизвольного. Словом, ее ведению подлежит теперь вся совокупность поступков, причем, чтобы патологизировать их, нет необходимости ссылаться на умопомешательство. У всякого поведения должно быть свое место на этой оси произвольного и непроизвольного, вся протяженность которой контролируется психиатрией. И у всякого поведения должно быть свое место по отношению к норме, в свете нор-

мы, которая также контролируется или как минимум принимается за таковую психиатрией. Таким образом, психиатрии, чтобы функционировать, не нужно теперь ни безумие, ни умопомешательство, ни бред, ни душевная болезнь. Психиатрия вольна психиатризировать всякое поведение без ссылки на умопомешательство. Она освобождается от пут неразумия. Именно в этом смысле Эскироль — все еще алиенист, тогда как Байарже и его последователи — уже не алиенисты, но психиатры, и психиатры как раз постольку, поскольку не алиенисты. И очевидно, что вследствие этого раскрепощения психиатрической практики, вследствие отмены обязательного соотнесения с ядром бреда, с ядром умопомешательства, с ядром безумия, то есть после того, как пропадает необходимость в этой сверке с правдой, перед психиатрией и открывается в качестве сферы ее возможного вмешательства, ее симптоматологической оценки область всех возможных поведенческих явлений. Благодаря снятию привилегии безумия, этой иллюзорной привилегии безумия, умопомешательства, бреда и т. п. в поведении человека не остается ничего, что так или иначе не подлежало бы психиатрическому рассмотрению.

Но наряду с этим почти безграничным расширением территории, которое позволяет психиатрии ведать всяким поведением, назначение оси произвольного и непроизвольного вводит психиатрию в новые отношения с органической медициной. У алиенистов признаком того, что психиатрия действительно является медицинской наукой, было ее следование общим формальным критериям: нозографии, симптоматологии, классификации, таксономии. То величественное здание психиатрических классификаций, которым восхищался Эскироль, было нужно ему для того, чтобы его дискурс, его разборы, да и сами его объекты были действительно психиатрическим дискурсом, объектами медицинской психиатрии. Медикализация дискурса алиенистов, практики алиенистов, подразумевала формальное структурирование, изоморфное медицинскому дискурсу если не современной им, то как минимум прямо предшествовавшей эпохи (что, впрочем, уже другой вопрос). С новой же психиатрической проблематикой, то есть с обращением психиатрического исследования к отклонениям от нор-

мы на всем протяжении оси произвольного и непроизвольного, душевные болезни, ментальные расстройства, которыми занимается психиатрия, оказывается возможно соотнести, и в некотором смысле, напрямую — на уровне содержания и, того проще, на уровне дискурсивной формы психиатрии — со всеми органическими и функциональными расстройствами, нарушающими ход произвольного поведения, и прежде всего с неврологическими болезнями. Отныне психиатрия и медицина могут сообщаться уже не на уровне формальной организации психиатрического знания и дискурса. Они могут сообщаться на уровне содержания посредством этой промежуточной, или соединительной, дисциплины, каковой является неврология. Через эту область, касающуюся нарушений произвольного контроля над поведением, и проходят теперь контакты медицины и психиатрии. Складывается и в скором времени институционально оформляется нейропсихиатрия. В центре же этого нового поля, напрямую связывающего медицину, область функциональных и органических расстройств, с нарушениями поведения, — в центре этой непрерывной ткани, разумеется, обнаруживается эпилепсия (или истероэпилепсия, ибо соответствующее различие в это время еще не проведено) как вполне неврологическое, функциональное расстройство, выражающееся в непроизвольном раскрепощении автоматизмов и подразумевающее бесчисленные градации. В этой новой организации психиатрического царства эпилепсия выполняет функции обменника. Так же как алиенисты всюду, за всяким симптомом искали бред, психиатры долгое время будут всюду искать подспудную эпилепсию, эпилептический эквивалент или, во всяком случае, автоматизм, каковой должен быть основой всех психиатрических симптомов. На этом-то пути в конце XIX—начале XX века мы и встретимся с теорией, которая дает противоположный вариант перспективы Эскироля[28] и в которой галлюцинации определяются как формы сенсорной эпилепсии.[29]

Итак, с одной стороны, перед психиатрией разворачивается огромное симптоматологическое поле, и ее задачей становится бороздить это поле в погоне за всевозможными нарушениями поведения: в психиатрию вторгается целый комплекс

поведенческих форм, которые прежде имели единственно моральный, дисциплинарный или правовой статус. Всякий беспорядок, всякая недисциплинированность, горячность, непослушание, упрямство, недостаточная любовь и т. д. — все это теперь подлежит психиатризации. Но наряду с открытием симптоматологического поля, с другой стороны, происходит глубокое укоренение психиатрии в телесной медицине, появляется возможность не просто формальной, на уровне дискурса, но и сущностной соматизации душевной болезни. На подходе подлинная медицинская наука, причем распространяющаяся на все формы поведения: это подлинная медицинская наука, так как, вследствие симптоматологического взрыва и при посредничестве неврологии, все формы поведения теперь укоренены в медицине. Организуя это феноменологически открытое, но и стройное научно, поле, психиатрия налаживает взаимодействие двух феноменов. Прежде всего, она недвусмысленно вводит во все подведомственное ей пространство нечто, доселе бывшее ей отчасти чуждым, — норму, понимаемую как правило поведения, как абстрактный закон, как принцип сообразности; норму, которой противостоят неправильность, беспорядок, чудачество, эксцентричность, несоответствие общему уровню, отклонение. Все это, с расширением симптоматологического поля, берется психиатрией под надзор. Но ее укоренение в органической или функциональной медицине, укоренение через неврологию, позволяет ей присвоить и норму в другом смысле — норму как функциональную регулярность, как подобающий, слаженный принцип функционирования; это «нормальное», в отличие от патологии, болезни, дезорганизации, дисфункции. И вот перед вами смычка внутри этого поля, организованного новой психиатрией, или психиатрией, победившей медицину алиенистов, — пока еще сложная для теоретического осмысления (но это уже другой вопрос) смычка, сцепление и частичное перекрытие двух понятий нормы, двух реальностей нормы: нормы как правила поведения и нормы как функциональной регуляции; нормы в противопоставлении неправильности и беспорядку и нормы в противопоставлении патологическому и болезненному. Теперь, думаю, вам понятно, каким образом произошел

переворот, о котором я говорил. Вместо того чтобы на самом своем краю, в редчайшем, исключительном, всецело монструозном разделе мономании столкнуться с противоречием между природным беспорядком и законным порядком, психиатрия в самых своих устоях оказывается предопределяема игрой двух этих норм. Теперь дело не ограничивается тем, что природный сбой в виде экстраординарной фигуры монстра тормозит и ставит под сомнение исполнение закона. Теперь всюду, в любой момент и в том числе в самых незначительных, самых обычных, самых повседневных поступках, в этом своем предпочтительном объекте психиатрия будет иметь дело с чем-то, что, с одной стороны, носит статус неправильности в отношении нормы и — с другой стороны, непременно должно носить статус патологической дисфункции в отношении нормального. Складывается гибридное поле, в предельно плотной ткани которого переплетаются нити нарушений порядка и функциональных расстройств. В этот-то момент психиатрия и становится — уже не на дальних своих границах и не в исключительных случаях, а постоянно, в своей повседневности, во всем до самых мелочей своей работы — судебно-медицинской. Находясь между описанием социальных норм и правил и медицинским анализом аномалий, она будет по сути своей наукой и техникой ненормальных, ненормальных индивидов и ненормальных форм поведения. Первым и очевидным следствием чего является то, что встреча преступления и безумия будет для нее уже не крайним случаем, но обычным делом. Конечно, это мелкие преступления и мелкие душевные расстройства, мельчайшие проступки и почти неразличимые аномалии поведения; но именно они, в конечном счете, будут организующим полем психиатрии, ее фундаментальным полем деятельности. С 1850 г. или, во всяком случае, начиная с тех трех важных процессов, которые я попытался очертить, психиатрия функционирует в пространстве, всецело, пусть и в широком смысле, судебно-медицинском, нормативно-патологическом. Предмет всей ее деятельности — болезненная аморальность или, говоря иначе, болезнь беспорядка. Этим-то и объясняется то, что страшного монстра, этот крайний случай, эту последнюю ступень, поглотил муравей-

ник первичных аномалий — я имею в виду, муравейник аномалий, образующих первейшую область применения психиатрии. Так произошел чудесный переворот. Великий людоед конца истории превратился в мальчика с пальчик, в многоликое племя мальчиков с пальчик, с которыми история начинается снова. Именно тогда, в этот период, начавшийся в 1840-е гг. и продлившийся до середины 1870-х гг., и складывается психиатрия, которую можно определить как технологию аномалии.

И в связи с этим поднимается проблема. Каким образом пересеклись пути этой технологии аномалии и целого ряда других процессов нормализации, для которых предметом было не преступление, не преступность, не устрашающая монструозность, но совсем другое — повседневная сексуальность? Теперь, чтобы распутать этот клубок, я хотел бы проследить историю сексуальности, историю контроля над сексуальностью с XVIII века до того времени, на котором мы остановились сейчас, — приблизительно до 1875 г.

Примечания

[1] См. уже цитированный курс М. Фуко «Психиатрическая власть», в частности лекцию от 5 декабря 1973 г.

[2] «Судебно-медицинский комментарий к закону о душевнобольных от 30 июня 1838 г.» с отдельным параграфом о «принудительном помещении» и «добровольном помещении» (в соответствии с циркуляром Министерства юстиции от 14 августа 1840 г.) можно найти в кн.: *Legrand du Saulle H.* Traité de médecine légale et de jurisprudence médicale. Paris, 1874. P. 556—727. См. также: *Legrand du Saulle H., Berryer G. & Ponchet G.* Traité de médecine légale, de jurisprudence médicale et de toxicologie. Paris, 1862 (2). P. 596—786.

[3] См.: *Vallette Ch.* Attributions du préfet d'après la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Dépenses de ce service. Paris, 1896.

[4] См.: *Laingui A.* La Responsabilité pénale dans l'ancien droit (XVI—XVIII siècle). Paris, 1970. P. 173—204 (часть II, глава I: «Помешательство и состояния, граничащие с помешательством»). Автор этого труда ссылается, в свою очередь, на документы, представленные М. Фуко в книге «Безумие и неразумие. История безумия в классическую эпоху» (*Foucault M.* Folie et Déraison. Histoire de la fo-

lie à l'âge classique. Paris, 1961. P. 166—172) в виде иллюстрации безразличия юристов к справкам о помещении в лечебницу, содержащим классификацию умственных болезней.

[5] Случай Жана Гленаделя был сообщен Пьером-Луи Гратиоле Жюлю-Габриэлю-Франсуа Байарже, который описывает его в своей книге «Исследования по анатомии, физиологии и патологии нервной системы» (*Baillarger J.-G.-F.* Recherches sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie du système nerveux. Paris, 1847. P. 394—399).

[6] См. подробный отчет о беседе земледельца с медицинским служащим в кн.: *Baillarger J.-G.-F.* Recherches sur l'anatomie... P. 394—396.

[7] «Я увидел Гленаделя сидящим на кровати, к спинке которой была привязана веревка, обмотанная вокруг его шеи; другой веревкой были связаны его руки в запястьях» (*Baillarger J.-G.-F.* Recherches sur l'anatomie... P. 394).

[8] «Но видя, что Гленадель охвачен сильнейшим возбуждением, я спросил у него: „Неужели веревка, связывающая его руки, настолько прочна, что он не считает возможным освободиться?" Немного подумав, он ответил: „Думаю, нет." — „Но если бы я предложил вам нечто такое, что связало бы ваши руки намного крепче, вы согласились бы на это?" — „С благодарностью, сударь." — „В таком случае, я могу попросить бригадира жандармерии дать мне то, чем он пользуется, чтобы обезопасить руки арестованных, и предоставлю это вам." — „Вы доставите мне удовольствие"» (*Baillarger J.-G.-F.* Recherches sur l'anatomie... P. 398).

[9] Судебный исполнитель выражается так: «Я совершенно убежден в том, что Жан Гленадель поражен мономанией бреда, характеризующейся в его случае непреодолимой склонностью к убийству» (*Baillarger J.-G.-F.* Recherches sur l'anatomie... P. 398—399).

[10] См.: *Esquirol J.-E.-D.* Des maladies mentales considerées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légale. I. Paris, 1838. P. 376—393.

[11] О понятии «Todestriebe» см.: *Freud S.* Jenseits des Lustprinzips. Leipzig—Wien—Zürich, 1920 (trad. fr.: *Freud S.* Au-delà du principe de plaisir // Essais de psychanalyse. Paris, 1981. P. 41—115). Чтобы понять отличие, подчеркиваемое М. Фуко, см. статью Ж.-Ж. Вирея «Инстинкт» в «Словаре медицинских наук» 1818 г. (Dictionnaire des sciences médicales. XXV. Paris, 1818. P. 367—413), а также статьи «Инстинкт» в «Словаре по психоанализу» Ж. Лапланша и Ж.-Б. Понталиса (*Laplanche J., Pontalis J.-B.* Vocabulaire de la psychanalyse. Paris, 1990 [10; 1 éd. — Paris, 1967]. P. 208) и в «Критическом словаре

психоанализа» Ч. Райкрофта (*Rycroft Ch.* A Critical Dictionary of Psychoanalysis. London, 1968 — trad. fr.: *Rycroft Ch.* Dictionnaire de psychanalyse. Paris, 1972. P. 130—133).

[12] *Trélat U.* La Folie lucide étudiée et considérée au point de vue de la famille et de la société. Paris, 1861.

[13] *Trélat U.* La Folie lucide... P. VIII—IX.

[14] *Trélat U.* La Folie lucide... P. IX: «Таково происхождение этой книги, написанной вовсе не из ненависти к душевнобольным, однако и не ради них, но ради их близких, с положительной целью пролить свет на опасную территорию и по возможности уменьшить число несчастных союзов».

[15] См.: *Legrand du Saulle H.* La Folie devant les tribunaux. Paris, 1864. P. 431—433. Этот случай приводится автором по описанию А. Боттекса (*Bottex A.* De la médecine légale des aliénés, dans ses rapports avec la législation criminelle. Lyon, 1838. P. 5—8).

[16] См. выше, лекция от 8 января.

[17] *Trélat U.* La Folie lucide... P. 36.

[18] Ср.: *Foucault M.* «Il faut défendre la société». P. 79—86 (лекция от 4 февраля 1976 г.).

[19] См.: *Michelet J.* Le Peuple. Paris, 1946; *Quinet E.* La Révolution. I—II. Paris, 1865; Critique de la révolution. Paris, 1867.

[20] Ср.: *Foucault M.* «Il faut défendre la société». P. 193—212 (лекция от 10 марта 1976 г.).

[21] Здесь М. Фуко мог бы сослаться на труды А. Верга и на учебник К. Ливи (*Livi C.* Frenologia forense. Milano, 1868), которые на несколько лет опережают первые исследования болезненной психологии коммунаров (см., напр.: *Legrand du Saulle H.* Le Délire de persécution. Paris, 1871. P. 482—516). К более позднему времени относится книга Ч. Ломброзо и Р. Ласки: *Lombroso C., Laschi R.* Il delitto politico e le rivoluzioni in rapporto al diritto, all' antropologia criminale ed alla scienza di governo. Torino, 1890.

[22] Здесь М. Фуко пересказывает некоторые положения следующей книги: *Lombroso C., Laschi R.* Le Crime politique et les Révolutions, par rapport au droit, à l'anthropologie criminelle et à la science du gouvernement. II. Paris, 1892. P. 168—188 (глава XV: «Индивидуальные факторы. Политические преступники из страсти»), 189—202 (глава XVI: «Влияние гениев на революции»), 203—207 (глава XVII: «Мятежи и революции. Различия и аналогии»).

[23] *Lombroso C., Laschi R.* Le Crime politique et les Révolutions... II. P. 44: «Среди 41 парижских анархистов, обследованных нами в префектуре полиции Парижа, мы обнаружили: душевнобольного эле-

мента — 1, криминального элемента — 13 (31 %), полукриминального — 8 и нормального — 19. Среди 100 человек, задержанных в Турине в ходе забастовок 1 мая 1890 г., я выявил аналогичное соотношение: 34% физиономически криминального элемента, 30% рецидивистов, осуждавшихся за обычные преступления. Напротив, на 100 неполитических преступников Турина приходится 43% криминального элемента и 50 % рецидивистов».

[24] См.: *Laborde J.-B.-V.* Les Hommes et les Actes de l'insurrection de Paris devant la psychologie morbide. Paris, 1872. P. 30—36.

[25] См. уже упоминавшуюся книгу У. Трела, а также два труда Дж. К. Причарда: *Prichard J. C.* A Treatise on Insanity and Other Disorders Affecting the Mind. London, 1835; On the Different Forms of Insanity in relation to Jurisprudence. London, 1842.

[26] М. Фуко имеет в виду прежде всего работу Ж.-Г.-Ф. Байарже «Физиология галлюцинаций в приложении к физиологии бреда, рассмотренного в общем виде» (1845). С нею, равно как и со статьями «Физиология галлюцинаций» и «Теория автоматизма», можно ознакомиться в кн.: *Baillarger J.-G.-F.* Recherches sur les maladies mentales. I. Paris, 1890. P. 269—500.

[27] См.: *Griesinger W.* Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten für Aerzte und Studierende. Stuttgart, 1845 (trad. fr. de l'édition allemande de 1861: *Griesinger W.* Traité des maladies mentales. Pathologie et thérapeutique. Paris, 1865).

[28] Определение Эскироля, впервые предложенное в работе «Галлюцинации у душевнобольных» (1817), можно найти в кн.: *Esquirol J.-E.-D.* Des maladies mentales... I. P. 188. См. также раздел «Галлюцинации» (P. 80—100) и доклад «Иллюзии у душевнобольных» (1832) (P. 202—224).

[29] *Falret J.* De l'état mental des épileptiques. Paris, 1861; *Garimond E.* Contribution à l'histoire de l'épilepsie dans ses rapports avec l'aliénation mentale. Paris, 1877; *Defossez E.* Essai sur les troubles des sens et de l'intelligence causés par l'épilepsie. Paris, 1878; *Tamburini A.* Sulla genesi delle allucinazioni. Reggio Emilia, 1880; *Tamburini A.* La théorie des hallucinations // Revue scientifique. I. 1881. P. 138—142; *Seglas J.* Leçons cliniques sur les maladies mentales et nerveuses. Paris, 1895.

Лекция от 19 февраля 1975 г.

Поле аномалии пронизано проблемой сексуальности. — Раннехристианские обряды покаяния. — От тарифицированной исповеди к таинству покаяния. — Развитие пастырской техники. — «Практическое руководство по таинству покаяния» Луи Абера и «Наставления для исповедников» Карла Борромея. — От исповеди к руководству совестью. — Двойная дискурсивная фильтрация жизни на исповеди. — Раскаяние после Тридентского Собора. — Шестая заповедь: вопросительные модели Пьера Милара и Луи Абера. — Возникновение тела-удовольствия и тела-желания в практиках раскаяния и очищения.

Подведу краткий итог сказанного на предыдущих лекциях. В прошлый раз я попытался показать, каким образом перед психиатрией раскинулось обширное поле деятельности — поле, связанное с явлением, которое можно охарактеризовать как ненормальность. Вследствие локальной, медицинско-юридической проблемы монстра вокруг понятия инстинкта, на основе понятия инстинкта произошел своего рода взрыв, и затем, в 1845—1850-х гг., психиатрии открылась та область контроля, анализа, вмешательства, имя которой — ненормальность.

С учетом всего этого я хотел бы приступить ко второй части моего курса и сосредоточиться на следующем: описанное поле аномалии очень скоро, почти с самого своего возникновения, оказывается пронизанным проблемой сексуальности. Причем пронизанным в двух смыслах. Во-первых, вот по какой причине: это общее поле аномалии сразу же кодируется, расчерчивается с помощью прилагаемой к нему — в виде

принципиальной аналитической решетки — проблемы или, во всяком случае, регистрации феноменов наследственности и вырождения.[1] В связи с этим всякий медицинский и психиатрический анализ репродуктивных функций оказывается составной частью методов анализа аномалии. Во-вторых, в области, основанной на этом понятии аномалии, обнаруживаются, наряду с прочими, расстройства, относящиеся к сексуальной аномалии, которая поначалу предстает как ряд частных случаев аномалии как таковой, а затем, очень скоро, уже в 1880—1890-е гг., и как корень, фундамент, общий этиологический принцип большинства других форм аномалии. Этот процесс начинается очень рано, уже в ту эпоху, контуры которой я попытался очертить в прошлой лекции, то есть в те самые 1845—1850-е гг., когда в Германии появляется психиатрия Гризингера, а во Франции — психиатрия Байарже. В 1843 г. в «Медицинско-психологических анналах» (несомненно, это не первый случай, но, как мне кажется, один из самых недвусмысленных и знаменательных) публикуется один уголовно-психиатрический отчет. Это заключение Бриера де Буамона, Феррюса и Фовиля в отношении учителя-педераста по имени Ферре, которого психиатры обследовали по поводу его сексуальной аномалии.[2] В 1849 г. в «Медицинском союзе» выходит статья Мишса под названием «Болезненные отклонения репродуктивного влечения».[3] В 1857 г. тот самый знаменитый Байарже, о котором я вам рассказывал, публикует статью о «нарушении и извращении репродуктивного чувства».[4] Приблизительно в 1860—1861 гг. Моро Детур выпускает свои «Половые извращения».[5] Затем следует вереница немцев во главе с Крафт-Эбингом,[6] а в 1870 г. выходит первая спекулятивная или, если хотите, теоретическая статья о гомосексуализме, написанная Вестфалем.[7] Как видите, дата рождения или, по меньшей мере, обнаружения, открытия полей аномалии и дата их обработки, если не сказать разметки, проблемой сексуальности почти совпадают.[8]

Теперь я хотел бы попытаться выяснить, что же кроется за этим стремительным вхождением в психиатрию проблемы сексуальности. Ведь если поле аномалии сразу же стало включать в себя как минимум несколько элементов, относящихся к

сексуальности, то, напротив, доля сексуальности в медицине умопомешательства была почти нулевой, в лучшем случае крайне ограниченной. Так что же произошло? Что было в центре дебатов в это время, в 1845—1850 гг.? Как могло случиться, что внезапно, в тот самый момент, когда аномалия сделалась законной областью деятельности психиатрии, перед психиатрией встала проблема сексуальности? Я попытаюсь показать вам, что в действительности дело здесь не в том, что можно было бы счесть снятием цензуры, запрета на обсуждение некоего предмета. Дело не в том, что сексуальность преодолевает, к тому же робкими шагами технического и медицинского плана, дискурсивное табу, табу на обсуждение, табу на оглашение, довлевшее над нею, вероятно, с очень давних пор, во всяком случае с XVII—XVIII веков. Я думаю, что на самом деле около 1850 г. происходит нечто (и немного позднее я попытаюсь проанализировать этот процесс), а вернее, не что иное, как возвращение в новом обличье вовсе не процедуры запрета, некоего вытеснения или замалчивания, но возвращение вполне позитивной процедуры принудительного и обязательного признания. Коротко можно сказать так: на Западе сексуальность является не тем, о чем молчат, не тем, о чем полагается молчать, а тем, в чем полагается признаваться. Если и были периоды, в которые молчание о сексуальности было правилом, то это молчание — всегда глубоко относительное, никогда не тотальное, не абсолютное — неизменно было одной из функций позитивной процедуры признания. Зоны молчания, условия молчания и предписания молчать неизменно определялись сообразно той или иной технике обязательного признания. Что всегда было первичным, что всегда было фундаментальным, так это, на мой взгляд, властная процедура, состоящая в принудительном признании. Исходя из этой процедуры только и может действовать правило молчания, и нам надо попытаться описать ее, выяснить ее экономику. Первичным и фундаментальным процессом является не цензура. Что бы мы ни понимали под цензурой — вытеснение или просто-напросто лицемерие, так или иначе, она оказывается негативным процессом, повинующимся позитивной механике, которую я и попытаюсь разобрать. Я бы даже сказал так: если в

отдельные периоды молчание, или определенные зоны молчания, определенные модальности функционирования молчания, в самом деле использовались, причем использовались в одной упряжке с признанием, то, напротив, мы без труда вспомним эпохи, когда сосуществуют уставная, регламентированная, институциональная обязанность признания в сексуальности и — величайшая свобода в области прочих форм сексуальной речи.[9]

Можно представить себе — у меня таких данных нет, но это можно себе представить, так как, я думаю, это многим доставило бы удовольствие, — что правило молчания о сексуальности приобрело вес не ранее XVII века (то есть эпохи, скажем так, формирования капиталистических обществ), тогда как прежде все могли говорить о сексуальности свободно.[10] Возможно! Возможно, в средние века было именно так, и свободы высказывания о сексуальности было гораздо больше, чем в XVIII или в XIX веке. И тем не менее внутри этого своеобразного поля свободы существовала вполне установленная, совершенно обязательная, прочно институциализированная процедура признания в сексуальности, каковой была исповедь. Хотя, должен сказать, пример Средневековья не кажется мне достаточно разработанным историками, чтобы считаться подлинным. Но посмотрите, что происходит сейчас. С одной стороны, сегодня тоже имеется целый ряд институциализированных процедур признания в сексуальности: психиатрия, психоанализ, сексология. Однако все эти формы признания, подкрепленные как научно, так и экономически, коррелятивны тому, что можно охарактеризовать как относительную раскрепощенность или свободу в области возможной речи о сексуальности. Признание не является возможностью обходить правило молчания наперекор неким нормам, привычкам или морали. Признание и свобода высказывания идут рука об руку, они взаимно дополнительны. И если мы часто посещаем психиатра, психоаналитика, сексолога и задаем им вопросы о своей сексуальности, признаемся в том, что составляет наш сексуальный опыт, то как раз постольку, поскольку всюду — в рекламе, книгах, романах, кино и вездесущей порнографии присутствуют побудительные механизмы, которые направля-

ют индивида от этой повседневной речи о сексуальности к институциональному и дорогостоящему признанию в своей сексуальности у психиатра, психоаналитика и сексолога. Таким образом, сегодня мы имеем дело с фигурой, в рамках которой ритуализация признания уравновешивается коррелятивным ей существованием вездесущего сексуального дискурса.

Поэтому я, весьма приблизительно намечая краткую историю сексуального дискурса, вовсе не хочу поднимать эту проблему в терминах цензуры сексуальности. Когда сексуальность подвергалась цензуре? С каких пор молчание о сексуальности стало обязательным? Когда и при каких условиях стало возможно говорить о сексуальности? Мне хотелось бы, в некотором смысле, перевернуть проблему и обратиться к истории признания в сексуальности. Иначе говоря: при каких условиях и согласно какому ритуалу в окружении прочих сексуальных дискурсов сформировалась та особая форма обязательного, принудительного дискурса, каковой является сексуальное признание? Путеводной нитью на пути к ответу мне, разумеется, послужит обзор обряда покаяния.

Итак, если вы простите мне схематический характер этого обзора, я хотел бы обратить ваше внимание на ряд, как мне кажется, немаловажных обстоятельств.[11] Во-первых, первоначально признание не входило в обряд покаяния. Только со временем оно сделалось непременным и обязательным элементом христианской формы этого обряда. Во-вторых, важно, что действенность признания, роль признания в процедуре покаяния, претерпела значительные изменения со времен Средневековья до XVII века. По-моему, я затрагивал эти темы два или три года назад, а потому теперь лишь кратко вам их напомню.[12]

Прежде всего, первоначально обряд покаяния не включал в себя обязательное признание. Что представляло собой покаяние в раннем христианстве? Покаяние было статусом, свободно и добровольно принимаемым в определенный момент жизни по тем или иным причинам, которые могли быть связаны с неким тяжким, веским и скандальным прегрешением, но могли корениться и в совершенно другой области. Но во всяком случае это был статус, который принимали, причем принима-

ли раз и навсегда, чаще всего при приближении смерти: покаяться можно было только один раз в жизни. Право даровать статус кающегося тому, кто этого просил, имел исключительно епископ. И это подразумевало публичную церемонию, в ходе которой кающегося одновременно порицали и увещевали. После этой церемонии вступал в действие устав покаяния, который обязывал кающегося носить власяницу, специальные одеяния, запрещал ему соблюдать чистоту, а также подразумевал торжественное отлучение от Церкви, неучастие в таинствах, прежде всего в причастии, выполнение строгих обетов, воздержание от всяких половых отношений и обязанность погребения умерших. Когда грешник выходил из статуса покаяния (иногда он так и не выходил из него, оставаясь кающимся до конца своей жизни), этому предшествовало торжественное примирение, коим с него снимался статус кающегося, но снимался не целиком, а с рядом исключений, как например обет целомудрия, который обычно сохранялся пожизненно.

Как видите, в этом ритуале отсутствует как публичное признание в грехах, так и частное, хотя, когда грешник обращался к епископу, чтобы попросить того дать ему статус кающегося, ему обычно приходилось излагать причины и основания своего решения. Однако идея общей исповеди обо всех грехах своей жизни, идея о том, что такое признание само по себе может иметь некое влияние на отпущение грехов, — эта идея в системе раннего христианства абсолютно исключалась. Отпущение грехов могло состояться исключительно вследствие строгости наказаний, которым индивид подвергался или соглашался подвергнуться, принимая статус кающегося. В определенный момент (приблизительно с VI века) к этой старой системе, к ее последствиям присоединилась, а точнее, переплелась с ними, практика «тарифицированного» покаяния, следующая совсем другой модели. Покаяние, о котором я только что говорил, соответствовало, несомненно, модели посвящения. Напротив, за тарифицированным покаянием стоит модель по сути своей светская, судебная, уголовная. Тарифицированное покаяние было введено по образцу германской судебной практики. Оно заключалось в следующем. Если верующий совершал грех, он мог, вернее, должен был (тут-то и

начинается переход от свободной возможности, свободного решения к обязанности) найти священника и рассказать ему о совершенном проступке; священник же, в соответствии с этим проступком, который, вероятно, всякий раз оказывался тяжким, предлагал или предписывал то или иное раскаяние, так называемое «удовлетворение». Всякому греху должно было соответствовать свое удовлетворение. И только выполнение удовлетворения могло повлечь за собой отпущение греха, причем без всякой дополнительной церемонии. Таким образом, это была система, в рамках которой только удовлетворение, то есть, как сказали бы мы, раскаяние в строгом смысле этого слова, выполненное раскаяние, — только выполнение удовлетворения позволяло христианину добиться прощения своего греха. Что же касается раскаяний, то они тарифицировались в том смысле, что существовал перечень обязательных раскаяний для каждой разновидности греха, точно так же, как в светской уголовной системе для каждого преступления и правонарушения было предусмотрено законное возмещение, которое виновник должен был уплатить пострадавшему, дабы загладить преступление. В рамках системы тарифицированного покаяния, впервые возникшей в Ирландии, то есть системы не латинской, и приобретает необходимую функцию оглашение преступления. В самом деле, если за каждый — по крайней мере, тяжкий — проступок должно даваться соответствующее удовлетворение, и если тариф этого удовлетворения определяется, назначается, предписывается священником, то объявление о каждом своем проступке должно быть общеобязательным. Более того, чтобы священник мог накладывать раскаяние должной тяжести, требовать справедливого удовлетворения, а также чтобы он мог разделять тяжкие и нетяжкие проступки, необходимо не только объявлять о проступке, оглашать проступок, но и рассказывать о нем в деталях, объяснять, как и почему он был совершен. В практике этого раскаяния, имеющей, очевидно, светское, судебное происхождение, и начинает мало-помалу завязываться этот узел, поначалу совсем крохотный и носящий сугубо утилитарную функцию, — узел признания.

Один из теологов этой эпохи, Алкуин, говорил: «Как же духовная власть сможет освободить от прегрешения, если ей

неведомы путы, сковывающие грешника? Врачи будут бессильны, если больные откажутся открыть им свои раны. Поэтому грешник должен пойти к священнику, подобно тому как больной должен пойти к врачу, и объяснить священнику, от чего он страдает, какова его болезнь».[13] Помимо этой необходимой импликации, само по себе признание не имеет ценности, не обладает действенностью. Оно лишь позволяет священнику определить наказание. Нельзя сказать, что признание так или иначе влечет за собой отпущение грехов. Самое большее, что мы находим в текстах этой эпохи (VIII—X века христианской эры), это упоминание о том, что в признании, в признании священнику, есть нечто трудное, тягостное, вызывающее чувство стыда. В этом смысле признание само уже является своеобразным наказанием или, в некотором роде, началом искупления. Об этой исповеди, необходимой для того, чтобы священник мог выполнять свою функцию врачевателя, Алкуин говорит, что в ней заключено жертвоприношение, ибо она вызывает чувство унижения и заставляет краснеть. Она вызывает *эрубесценцию*. Грешник краснеет, когда говорит, и тем самым — говорит Алкуин — «дает Богу веское основание, чтобы простить его».[14] И уже это начальное значение, начальная действенность, придаваемая факту признания своих грехов, обусловливает ряд сдвигов. Ведь если сделанное признание — это первый шаг к искуплению, то разве отсюда в конечном итоге не следует, что достаточно дорогое, достаточно постыдное признание само может быть раскаянием? Разве нельзя поэтому применять вместо таких тяжелых видов епитимьи, как пост, ношение власяницы, богомолье и т. д., наказание, которое состояло бы просто-напросто в объявлении о своем проступке? Важнейшей составляющей этого наказания и была бы *эрубесценция*, стыд. И в IX, X, XI веках распространяется практика исповеди мирянам.[15] В конце концов, если ты совершил грех, то, по крайней мере, если рядом нет священника, можно просто поведать свой грех одному или нескольким людям из своего окружения, тем, кто, в некотором смысле, у тебя под рукой, и таким образом заставить себя устыдиться, рассказывая о прегрешениях. Как только исповедь состоится, произойдет искупление, и отпущение грехов будет заверено Богом.

Итак, постепенно ритуал покаяния, а точнее, эта почти юридическая тарификация покаяния, начинает смещаться в сторону символических форм. В то же время механизм отпущения грехов, своего рода миниатюрный действующий элемент, обеспечивающий это отпущение, все теснее собирается вокруг признания. По мере же того как механизм отпущения грехов сосредоточивается вокруг признания, власть священника, а в особенности епископа, неуклонно ослабляется. И во второй половине Средневековья (с XII века до начала Ренессанса) происходит вот что: Церковь, так сказать, укореняет в пределах духовной власти тот самый механизм признания, который до некоторой степени лишил ее влияния в процедуре покаяния. Этой прививкой принципа признания внутри укрепившейся духовной власти характеризуется великая доктрина раскаяния, формирующаяся в эпоху схоластики. Процесс идет несколькими путями. Во-первых, в XII [*rectius*: XIII] веке появляется обязанность исповедоваться регулярно: как минимум ежегодно для мирян и ежемесячно или даже еженедельно для священников.[16] Таким образом, исповедуются теперь не только тогда, когда согрешили. Можно, даже до́лжно исповедоваться, если вы совершили тяжкий грех, но так или иначе нужно исповедоваться регулярно, по меньшей мере раз в году. Во-вторых, обязанность непрерывности: следует признаваться во всех грехах, во всяком случае во всех, совершенных со времени предыдущей исповеди. Опять-таки, правило «согрешил — покайся» исчезает, и восстанавливается тотализация, по меньшей мере частичная, от предыдущей исповеди до нынешней. В-третьих, и это самое главное, появляется обязанность полноты рассказа. Недостаточно рассказать о грехе после того, как он совершен, и только потому, что этот грех считается особенно тяжким. Нужно рассказать обо всех своих грехах, не только о тяжких, но и о менее значительных. Ибо разделять грехи на простительные и смертные — удел священника, только он может проводить это очень зыбкое, устанавливаемое теологами различие между простительным и смертным грехами, которые, как вы знаете, могут превращаться друг в друга в зависимости от обстоятельств, в зависимости от времени действия, его участников и т. д. Словом, появ-

ляются обязанности регулярности, непрерывности и полноты рассказа. Тем самым значительно расширяется обязанность покаяния, а следовательно, и обязанность исповеди, а следовательно, и обязанность признания.

И этому впечатляющему расширению отвечает эквивалентное усиление власти священника. В самом деле гарантией регулярности исповеди служит отныне не только аккуратное выполнение верующими правила ежегодной исповеди, но и то, что они должны исповедоваться определенному священнику, одному и тому же священнику, своему священнику, как принято говорить, то есть тому, в чьем ведении они состоят, как правило — приходскому кюре. Гарантией непрерывности исповеди, того, что ничто из происшедшего после предыдущей исповеди не будет забыто, теперь служит то, что к привычному ритму исповедей прибавился ритм, так сказать, более размеренный, ритм общей исповеди. Верующим рекомендуется, предписывается несколько раз в жизни совершать общую исповедь, заново перечисляя все свои грехи от самого начала жизни. И наконец, исчерпывающая полнота исповеди гарантируется тем, что священник теперь уже не довольствуется произвольным признанием верующего, который приходит к нему, уже совершив проступок, и потому, что совершил проступок. Гарантией исчерпывающей полноты выступает контроль священника над тем, что говорит верующий: он побуждает верующего к ответам, расспрашивает его, уточняет детали признания, применяя целую технику очистки совести. В эту эпоху (XII—XIII века) складывается вопросительная система, выстроенная согласно заповедям Бога, семи смертным грехам, а также, позднее, согласно заповедям Церкви, перечню добродетелей и т. д. Таким образом, в рамках процедуры покаяния XII века властью священника производится полная разметка тотального признания. Но этим дело не ограничивается. Есть и еще нечто, способствующее прочному укоренению признания в механике священнической власти. Дело в том, что теперь, с XII—XIII веков, и далее всегда, священник более не связан иерархией удовлетворений. Теперь он волен назначать наказания сам, в зависимости от грехов, обстоятельств, конкретных людей. Никакого обязательного тарифа

больше нет. В установлении Грациана говорится: «Наказания могут быть произвольными».[17] Во-вторых, и это главное, священник теперь — единственный обладатель «власти ключей». Верующие рассказывают о своих прегрешениях уже не с тем, чтобы устыдиться; никому другому, кроме священника, теперь не исповедуются. Не может быть покаяния без исповеди, но не может быть и исповеди, кроме исповеди священнику. Эта власть ключей, которой облечен только священник, наделяет его возможностью самому отпускать грехи, а точнее, совершать обряд прощения, заключающийся в том, что в лице священника, через жесты и слова священника, прощает грехи сам Бог. С этого момента покаяние становится в строгом смысле слова таинством. Таким образом, в XII—XIII веке формируется сакраментальная, священническая теология покаяния. Ранее покаяние представляло собой акт, совершая который, грешник умолял Бога простить его грехи. С XII—XIII веков священник, свободно даруя прощение, сам вызывает эту по природе своей божественную, но связанную с посредничеством человека операцию прощения. И мы можем сказать, что власть священника отныне прочно и окончательно укоренена в процедуре признания.

С конца Средневековья и до наших дней экономика раскаяния почти не изменилась. Она характеризуется двумя или тремя важнейшими чертами. Во-первых, центральное место в механизме отпущения грехов принадлежит признанию. Признаваться надо абсолютно. Необходимо признаваться во всем до конца. Ничего нельзя пропускать. Во-вторых, вследствие того что признаваться надо не только в тяжких грехах, но во всем, значительно расширилась область признания. И, в-третьих, соответственно выросла власть священника, который дарует прощение, а также его знание, поскольку теперь, в рамках таинства покаяния, он должен следить за каждым словом, расспрашивать и обрамлять услышанное контекстом своего знания, своего опыта и познаний, моральных и теологических. Таким образом, вокруг признания, сердечника покаяния, складывается целый механизм, в котором имплицитно сосредоточены власть и знание священника и Церкви. В этом-то и заключается главная, общая экономика покаяния, какою она

сформировалась в разгаре Средневековья и какою она функционирует по сей день.

Теперь же, чтобы наконец приблизиться к нашей теме, я хочу рассказать вам о том, что произошло начиная с XVI века, то есть с того периода, который характеризуется не началом дехристианизации, а, как убедительно показали некоторые историки, напротив, фазой глубинной христианизации.[18] Между Реформацией и охотой на ведьм, минуя Тридентский Собор, простирается целая эпоха, когда, с одной стороны, начинают формироваться государства нового времени, и когда, с другой стороны, христианские рамки сжимаются вокруг индивидуального существования. Состояние покаяния и исповеди, во всяком случае в католических странах (протестантские проблемы я пока оставлю в стороне, но в самом скором времени мы подойдем к ним по другому поводу), я думаю, можно охарактеризовать следующим образом. Во-первых, Тридентский Собор прямо поддерживает, сохраняет сакраментальный каркас покаяния, о котором я только что говорил, и во-вторых, внутри и даже вокруг собственно покаяния выстраивается могучая машина дискурса и следствия, анализа и контроля. Ее построение идет в двух аспектах. С одной стороны, расширяется область исповеди, признание движется к генерализации. Все или почти все в жизни, деятельности, мыслях индивида должно проходить через фильтр признания, не обязательно, конечно, в качестве греха, но, во всяком случае, в качестве элемента, важного для следствия, анализа, который теперь подразумевает исповедь. С другой стороны, коррелятивно этому значительному расширению сферы исповеди и признания, еще сильнее подчеркивается власть исповедника, вернее, его власть как оператора прощения; власть, которую он приобрел с той поры, как покаяние стало таинством, укрепляется целым комплексом смежных властей, которые одновременно поддерживают и расширяют ее. Вокруг привилегии прощения скапливается то, что можно назвать правом дознания. В поддержку сакраментальной власти ключей формируется эмпирическая власть глаза, взгляда, уха, слуха священника. Этим объясняется впечатляющее развитие пастырства — техники, способной помочь священнику в руководстве душами. Когда

государства подходили к постановке технической проблемы проведения власти над телами и средств, при помощи которых возможно эффективное осуществление этой власти, Церковь, со своей стороны, разрабатывала технику руководства душами, каковую представляет собой пастырство, — пастырство, определенное Тридентским Собором[19] и затем подхваченное, развитое Карлом Борромеем.[20]

Покаянию, разумеется, принадлежит в этом пастырстве решающее, я бы даже сказал, почти исключительное значение.[21] Так или иначе, с этого момента складывается целая литература, двойственная по своему составу: литература для исповедников и литература для кающихся. Причем литература для кающихся, эти маленькие руководства по исповеди, умещающиеся на ладони, по сути, является всего лишь изнанкой другой литературы, литературы для исповедников — объемистых трактатов на темы совести или исповеди, которые священники должны иметь у себя, в которых они должны разбираться и при необходимости консультироваться. Эта-то литература для исповедников и является, как мне кажется, доминирующим элементом, ключевой деталью системы. Именно в ней содержится анализ процедуры дознания, которое ведется теперь по усмотрению и инициативе священника и постепенно подчиняет себе всю исповедь, а к тому же и выходит далеко за ее пределы.

В чем же заключается эта техника покаяния, которую должен знать, которой должен владеть, которую должен предписывать кающимся священник? Прежде всего, сам исповедник должен быть квалифицированным. Он должен обладать рядом непременных качеств. Во-первых, влиятельностью: он обязательно должен иметь священнический сан и, кроме того, должен быть уполномочен принимать исповедь епископом. Во-вторых, священник должен обладать усердием. (Я нашел один трактат по практике исповеди, написанный в конце XVII века Абером; он, несомненно, отражает ригористскую тенденцию, но вместе с тем представляет одну из наиболее подробных разработок техники покаяния.[22]) Помимо влиятельности и усердия, священник должен иметь своего рода «любовь» или «желание». Но это желание, эта любовь, важная

для священника в практике исповеди, есть не «любовь-вожделение», а «любовь-благожелательность»: любовь, которая «привязывает исповедника к интересам других». Это любовь, которая спорит с теми в числе христиан и нехристиан, кто противится Богу. Это любовь, которая, наоборот, «подогревает» тех, кто предрасположен к служению Богу. Именно такая любовь, именно такое желание, именно такое усердие должно действительно присутствовать, работать во время исповеди и, в конечном счете, в таинстве покаяния.[23] Также священник должен быть святым, то есть не должен пребывать в состоянии «смертного греха», хотя вообще-то это не является каноническим запретом.[24] Возведения в священнический сан, даже если облеченный им остается во грехе, достаточно для того, чтобы данное им прощение было действительным.[25] Но под святостью священника понимается еще и то, что он должен быть «стоек в деле добродетели», так как содействие в покаянии может подвергнуть его всевозможным «искушениям». Исповедальня, — говорит Абер, — подобна «комнате больного», в том смысле, что в ней царит «вредный дух», источаемый грехами кающегося и способный заразить самого священника.[26] Потому-то священнику и нужна святость — как своего рода броня, защитная оболочка, гарантия невосприимчивости к греху в то время, как этот грех будет оглашен. Словесная коммуникация не подразумевает реальной коммуникации; коммуникация на уровне высказывания не должна быть коммуникацией на уровне виновности; желание, о котором кающийся поведал на исповеди, не должно превратиться в желание исповедника: вот на чем основан принцип святости.[27] И еще одно: священник, принимающий исповедь, должен питать священное омерзение к простительным грехам, причем не только к чужим, но равно и к своим собственным. Ибо если у священника нет этого омерзения, если он не преисполнен им по отношению к собственным мелким грехам, то его благодать угаснет, как огонь под угольями. Ведь, в самом деле, мелкие грехи ослепляют дух и влекут к плоти.[28] А если так, то любовь-усердие, любовь-благожелательность, с которой священник обращается к кающемуся, но которая очищена святостью и потому заглаживает зло греха, стоит его поведать, — этот

встречный процесс будет невозможен, если священник слишком поглощен собственными грехами, пусть и простительными.[29]

Исповедник должен быть усердным, исповедник должен быть святым и также исповедник должен быть ученым. Он должен быть ученым в трех качествах (я придерживаюсь трактата Абера): ученым «как судья», ибо «он должен знать, что дозволено и что запрещено»; он должен знать закон, как «божественные законы», так и «человеческие законы», как «духовные» законы, так и «гражданские» законы; ученым «как врач», ибо он должен распознавать в грехе не только совершенный проступок, но и своего рода болезнь, таящуюся за грехом и являющуюся самой его основой. Он должен знать «духовные болезни», знать их «причины» и знать «лекарства» от них. Он должен распознавать эти болезни по их «природе» и должен распознавать их по их «числу». Он должен различать то, что является истинной духовной болезнью, и то, в чем заключено простое «несовершенство». Наконец, он должен распознавать болезни, ведущие к «простительному греху», и другие, ведущие к «смертному греху». Итак, ученый как судья,[30] ученый как врач,[31] священник также должен быть ученым как «пастырь».[32] Ибо он должен «руководить совестью» своих кающихся. Он должен «ограждать их от промахов и заблуждений». Он должен «отводить их от подводных камней», встречающихся на пути.[33] И кроме того, помимо усердия, святости и учености, он должен обладать осмотрительностью. Осмотрительность — это необходимое исповеднику искусство применять свою науку, усердие и святость к обстоятельствам. «Обращайте внимание на все обстоятельства, сличайте их друг с другом, ищите то, что скрыто за внешней видимостью, предугадывайте то, что может произойти» — вот в чем, согласно Аберу, должна заключаться необходимая исповеднику осмотрительность.[34]

За этой квалификацией, которая, как вы понимаете, значительно отличается от той, что требовалась в Средневековье, следует ряд нововведений. Основным и достаточным набором качеств средневекового священника было, в общем, следующее: во-первых, иметь церковный сан, во-вторых, выслушивать исповедь и, в-третьих, решать исходя из услышанного,

какую форму покаяния следует применить, вне зависимости от того, использовался ли им старый обязательный тариф, или он сам выбирал наказание. Теперь же к этим простым требованиям прибавляется целый ряд дополнительных условий, квалифицирующих священника как лицо, действующее в собственном статусе, причем не столько в рамках таинства, сколько в общей операции дознания, анализа, исправления кающегося и его постановки на верный путь. Тем самым круг задач, которые призван выполнять священник, значительно расширяется. Он не просто должен даровать прощение, прежде всего он должен опекать и пробуждать в кающемся благие наклонности. Иными словами, когда кающийся приходит к священнику на исповедь, священник должен обеспечить ему хороший прием, показать, что он в распоряжении кающегося, что он открыт для исповеди, которую предстоит выслушать. Согласно св. Карлу Борромею, священник должен принимать «являющихся к нему» с «безотлагательностью и простотой»: ему никогда не следует «отсылать их назад, пренебрегая такой работой». Второе правило требует оказывать благожелательное внимание или, точнее, не выказывать отсутствия благожелательного внимания: священнику никогда не следует «свидетельствовать» кающимся, «даже знаком или словом», что он слушает их «неохотно». Наконец, третье правило касается того, что можно было бы назвать двойным утешением в наказании. Нужно, чтобы являющиеся к священнику грешники утешались, видя, что исповедник сам находит «немалое утешение и редкое удовольствие в том, что они [кающиеся] принимают наказания во благо и успокоение своей души». Перед нами целая экономика наказания и удовольствия: наказание кающегося, которому трудно признаться в своих грехах; успокоение, которое он испытывает, видя, что хотя исповеднику и тяжело слышать о его грехах, он тем не менее и сам утешается тем трудом, который доставляет себе, дабы способствовать путем исповеди успокоению души кающегося.[35] Вот эта-то двойная нагрузка наказания, удовольствия, успокоения — двойная, ибо она имеет место как со стороны исповедника, так и со стороны кающегося — и обеспечивает доброкачественность исповеди.

Все это может показаться вам теоретическим и слишком сложным. Однако на деле эти положения выкристаллизовались внутри института, или даже небольшого объекта, помещения, которое вам хорошо знакомо: это исповедальня. Они воплотились в исповедальне как открытом, анонимном, публичном месте на территории церкви, куда верующий всегда может прийти и где он всегда найдет гостеприимного священника, который выслушает его, рядом с которым ему всегда найдется место, хотя он и будет отгорожен от посетителя небольшой занавесью или решеткой.[36] Эта обстановка является, так сказать, материализацией целого свода правил, регламентирующих и необходимую квалификацию исповедника, и его власть. Если я не ошибаюсь, первое упоминание об исповедальне относится к 1516 г., то есть спустя год после битвы при Мариньяне.[37] До XVI века исповедален не было.[38]

Оказав посетителю описанный прием, священнику следует выяснить, имеются ли у того признаки раскаяния. Действительно ли явившийся к нему грешник находится в состояния раскаяния, каковое выступает условием отпущения его грехов.[39] Для этого священник должен устроить своеобразный экзамен, отчасти словесный, отчасти бессловесный.[40] Грешнику следует задать вопросы о предпосылках исповеди, о том, где он исповедовался в последний раз,[41] а также о том, менял ли он исповедника, и если менял, то по какой причине. Не пришел ли он в надежде найти более снисходительного священника, ибо если так, то его раскаяние не является подлинным и глубоким.[42] Кроме того, надо, ничего не говоря, изучить его поведение, одежду, жесты, позы, звучание его голоса и, к примеру, отправить назад женщин, пришедших «завитыми, нарумяненными [и напудренными]».[43]

Оценив таким образом степень раскаяния грешника, следует провести экзамен его совести. Если это общая исповедь, то нужно (я пересказываю ряд установлений, распространенных по епархиям после Тридентского Собора и в соответствии с пастырскими правилами, определенными Карлом Борромеем в Милане[44]) призвать кающегося «окинуть взглядом всю свою жизнь», изложить всю свою жизнь согласно определенному шаблону. Сначала кающемуся следует указать основ-

ные вехи своего жизненного пути, затем назвать состояния, в которых он побывал: не состоял в браке, женился, занимал те или иные должности; далее следует припомнить выпадавшие на его долю удачи и несчастья, перечислить и описать различные страны, места и дома, которые он посещал.[45] Также надо спросить кающегося о том, где и как он исповедовался прежде.[46] Затем можно приступить к последовательному опросу: сначала по «заповедям Бога», далее согласно перечню «семи смертных грехов», далее о «пяти чувствах человека», далее о «заповедях Церкви», далее согласно перечню «милосердных деяний»,[47] далее по трем основным и трем порядковым добродетелям.[48] Наконец, после этого следует назначить «удовлетворение».[49] И в этом удовлетворении, в этом наказании исповедник должен учесть две стороны собственно покаяния, две стороны кары: уголовную сторону, наказание в строгом смысле этого слова, и «целительную» сторону, согласно термину, введенному Тридентским Собором, — лечебную или исправительную функцию удовлетворения, то, что должно предохранить кающегося от возвращения болезни в будущем.[50] Этот подбор двустороннего, уголовно-целительного удовлетворения также должен повиноваться ряду правил. Необходимо, чтобы кающийся принял наказание, причем не только согласился с ним, но и признал его полезность, даже необходимость. Именно с этой целью Абер рекомендует исповеднику спрашивать у кающегося, какое наказание тот назначил бы себе сам, а затем, если он выберет слишком слабое наказание, объяснять, почему этого наказания недостаточно. Кроме того, необходимо прописывать кающимся лекарства, следуя, в некотором роде, медицинским правилам: лечить недуг его противоположностью, скупость — раздачей милостыни, похоть — презрением к плоти.[51] И наконец, нужно подбирать такие наказания, которые соответствовали бы как тяжести проступков, так и личным склонностям кающихся.[52]

Можно было бы бесконечно перечислять огромный арсенал правил, которыми окружена эта новая практика покаяния, или, вернее, это новое, впечатляющее расширение дискурсивных механизмов дознания и анализа, которые обосновываются как таковые внутри таинства покаяния. Вся жизнь индиви-

дов вверяется процедуре не столько прощения грехов, сколько всеохватного дознания, и не столько из-за распространения покаяния, сколько из-за необычайной перегрузки таинства покаяния. И к этому надо добавить, что от борромеевского пастырства, то есть со второй половины XVI века, ведет свою историю практика не то чтобы исповеди, а, скорее, руководства совестью. В самых христианизированных и самых урбанизированных средах, в семинариях и, до некоторой степени, в коллежах правила раскаяния и исповеди, а затем и правило или, как минимум, настоятельную рекомендацию по руководству совестью, — эти правила мы обнаруживаем вместе. Что значит «наставник совести»? Я приведу вам его определение и его обязанности согласно уставу семинарии в Шалоне (относящемуся к XVII веку): «Испытывая желание совершенствоваться, которое подобает иметь каждому, семинаристы должны время от времени, в промежутках между визитами к исповеднику, обращаться к своему наставнику совести». И о чем же они должны говорить с этим наставником совести? Что они должны делать с этим наставником? «Они должны беседовать с ним о своих шагах по пути добродетели, о своих поступках по отношению к ближним и о своей внешней деятельности. Кроме того, они должны беседовать с ним о том, что касается их личности и внутреннего мира».[53] (Олье же давал наставнику совести такое определение: «Это тот, кому поверяют свой внутренний мир».[54]) Выходит, с наставником следует обсуждать то, что касается личности и внутреннего мира: мелкие прегрешения духа, искушения и дурные привычки, противления добру, самые незначительные ошибки, а также причины их возникновения и средства, которыми надо пользоваться, дабы избавиться от них. А вот как говорит в своих «Размышлениях» Бевле: «Если для того, чтобы обучиться простейшему ремеслу, требуется пройти через руки мастеров, если за советом о своем телесном здоровье мы обращаемся к докторам [...], то насколько же больше сведущих людей нужно, чтобы помочь нам в деле спасения». Откуда следует, что семинаристы должны рассматривать своего наставника как «ангела-хранителя». Они должны говорить с ним «чистосердечно, со всей искренностью и верностью», без «притворства»

и «скрытности».[55] Таким образом, помимо своего рода основной разработки рассказа и опроса обо всей жизни в рамках исповеди, имеет место вторичная разработка той же самой жизни, опять-таки всей, вплоть до мельчайших деталей, в рамках руководства совестью. Двойной узел, двойной дискурсивный фильтр, через который должны пройти все аспекты поведения, все поступки, все отношения с другими, а также все мысли, все удовольствия и страсти (чуть позднее я остановлюсь на этом подробнее).

Итак, от тарифицированного покаяния в Средневековье до XVII—XVIII веков перед нами разворачивается впечатляющая эволюция, нацеленная на то, чтобы подкрепить операцию, которая первоначально даже не была сакраментальной, церковной, целой слаженной техникой анализа, обдуманного выбора, постоянного руководства душами, поступками и, в конечном счете, телами; эволюция, которая сопрягает юридические формы закона, правонарушения и наказания, под влиянием коих и сложилось покаяние, с множеством приемов, относящихся, как мы выяснили, к порядку коррекции, наставничества и медицины. Наконец, это эволюция, стремящаяся заменить или как минимум усилить отрывочное признание в проступке всецелым дискурсивным обзором, обзором всей жизни перед свидетелем, исповедником или руководителем, который должен быть одновременно судьей и врачевателем этой жизни и, во всяком случае, должен определять наказания и предписания для нее. Эта эволюция, которую я вам очень приблизительно описал, относится, разумеется, к истории католической церкви. Но эволюция почти такого же типа обнаруживается и в протестантских странах, хотя там она проходит в совершенно отличных институтах и сопровождается фундаментальным переворотом как в религиозной теории, так и в религиозных формах. Во всяком случае, в ту же эпоху, когда складывается практика исповеди как экзамена совести и руководства совестью, этот постоянный дискурсивный фильтр жизни, в других местах, в частности в английской пуританской среде, возникает процедура перманентной автобиографии, когда каждый рассказывает себе и другим, людям своего окружения, своей общины, свою жизнь ради того, что-

бы распознать в ней признаки богоизбранности. И тут, на мой взгляд, мы имеем дело с укоренением внутри религиозных механизмов того впечатляюще тотального рассказа о жизни, являющегося в известном смысле подоплекой всех техник обследования и медикализации, которые возникнут в дальнейшем.

Итак, эта подоплека возникла, и теперь я хотел бы сказать несколько слов о шестой заповеди, грехе сладострастия, а также о положении, которое отводится сладострастию и похоти в этом процессе введения общих процедур обследования-экзамена. Как определялось признание в сексуальности до Тридентского Собора, то есть в период «схоластического» покаяния, между XII и XVI веками? Оно следовало главным образом юридическим формам: когда кающегося расспрашивали или когда он говорил самостоятельно, от него требовался рассказ о прегрешениях, совершенных им в нарушение ряда правил, касающихся отношений полов. Среди таких прегрешений был прежде всего блуд — сношение между лицами, не связанными ни взаимным обетом, ни браком; затем адюльтер — сношение между лицами, состоящими в разных браках, или между лицом, не состоящим в браке, и лицом, состоящим в браке; затем, бесчестие — сношение с девственницей при ее согласии, но без обязательства вступить с нею в брак или взять ее на содержание; затем насилие — насильственное домогательство плотского характера. Кроме того, было сластолюбие — склонность к ласкам, не ведущим к законному половому сношению; содомия — половое удовлетворение с использованием противоестественного сосуда; инцест — сношение с кровным или другим родственником до четвертой ступени; и наконец, было скотоложство — половое сношение с животным. Однако этот перечень сексуальных обязательств или запретов почти целиком, почти исключительно относится к тому, что можно охарактеризовать как реляционный аспект сексуальности. Нарушения шестой заповеди затрагивают главным образом юридические узы между людьми: таковы адюльтер, инцест, насилие. Эти грехи затрагивают статус личности, священника или же верующего. Они затрагивают форму полового сношения: такова содомия. Да, они могут подра-

зумевать пресловутые ласки, не ведущие к законному половому сношению (то есть, мастурбацию), но такого рода деяние входит в число половых грехов как один из них, как один из способов не совершать половое сношение в его законной форме, то есть в той форме, которая предусматривается на уровне взаимоотношений с партнером.

С XVI века эти рамки, не исчезающие из литературы, напоминающие о себе еще довольно долго, постепенно раздвигаются и претерпевают тройную трансформацию. Во-первых, на уровне техники исповеди, расспросы о соблюдении шестой заповеди поднимают ряд специфических проблем как перед священником, которому надо не запятнать себя, так и перед самим кающимся, который не должен умалчивать ни о чем содеянном, но и ни в коем случае не должен узнать на исповеди больше, чем он уже знает. Поэтому признание в грехе сладострастия должно делаться таким образом, чтобы не затронуть ни сакраментальную чистоту священника, ни естественную неискушенность кающегося. Это подразумевает ряд правил. Я просто назову их: исповедник должен узнавать о половых грехах ровно столько, «сколько необходимо»; как только исповедь завершена, он должен забывать обо всем услышанном; он должен как можно больше спрашивать о «мыслях», дабы не нужно было углубляться в деяния, особенно в том случае, если они даже не были совершены (и, как следствие, чтобы не выдать что-нибудь, не известное собеседнику, кающемуся); он не должен сам произносить названия грехов (то есть употреблять слова «содомия», «мастурбация», «адюльтер», «инцест» и пр.). Он должен вести дознание, спрашивая кающегося о том, какого рода мысли к нему приходили, какого рода поступки он совершал, «с кем» он их совершал, дабы с помощью этих вопросов «вытянуть из кающегося, — как говорит Абер, — все разновидности блуда, не рискуя обучить его ни одной».[56]

С появлением этой техники узловая точка дознания, как мне кажется, заметно смещается. С XVI века в этой практике исповеди о грехе сладострастия происходит, в конечном счете, следующее коренное изменение: реляционный аспект сексуальности теряет место первого, важнейшего, фундаменталь-

ного элемента признания, подразумеваемого покаянием. В сердцевине дознания о соблюдении шестой заповеди оказываются уже не отношения партнеров, но само тело кающегося, его жесты, чувства, удовольствия, помыслы, желания, сила и природа того, что он испытывает на телесном уровне. Прежнее дознание основывалось по сути своей на перечне дозволенных и запрещенных отношений. Новое дознание становится детальным обозрением тела, своего рода анатомией сладострастия. Именно тело с его различными частями, именно тело с его разнообразными ощущениями, но уже не (или, во всяком случае, в гораздо меньшей степени) законы легитимного союза, служат выразительным принципом грехов сладострастия. Тело и его удовольствия становятся, в известном смысле, кодексом, языком плоти, каковым прежде была предусмотренная законом форма легитимного союза.

Приведу вам два примера. Во-первых, модель опроса о соблюдении шестой заповеди, обнаруживаемая нами в начале XVII века в книге Милара, которая, в некотором роде, отражает промежуточную, общераспространенную, еще не разработанную и довольно-таки архаичную практику покаяния.[57] В «Большом справочнике священника» Милар говорит о том, что дознание должно проводиться в следующем порядке: простой блуд, затем растление девственницы, затем инцест, насилие, адюльтер, искусственное семяизвержение, содомия и скотоложство; затем развратные взгляды и прикосновения; затем проблема танца, книг, песен; затем использование возбуждающих средств; затем вопросы о том, испытывает ли верующий трепет и томление при слушании песен; и наконец, носит ли он показную одежду и применяет ли декоративный макияж.[58] Как видите, такого рода организация дознания, впрочем, еще приблизительная в данном случае, показывает, что первостепенное, сущностное значение отдается грубым нарушениям, но грубым нарушениям на уровне отношений с другими: таковы блуд, растление девственницы, инцест, насилие и т. п. Напротив, в несколько более позднем трактате, относящемся к концу XVII века и вновь принадлежащем Аберу, порядок постановки вопросов или, вернее, точка зрения, направляющая постановку вопросов, существенно смещается.

В самом деле, Абер прежде всего говорит вот о чем: прегрешения похоти настолько многочисленны, практически бесконечны, что надо решить, по какой схеме, каким образом, в каком порядке их организовать и соответственно задавать вопросы. И отвечает: «Поскольку грех порочности совершается бесконечно разными способами, с участием всех телесных чувств и всех душевных способностей, исповедник [...] должен обследовать все чувства одно за другим. Затем следует изучить желания. И наконец, после этого рассмотреть мысли».[59] Выходит, именно тело служит принципом анализа необозримого мира похоти. Исповедь должна следовать уже не порядку значения, тяжести нарушений реляционных законов, но своего рода греховной картографии тела.[60]

Прежде всего, осязание: «Не совершали ли вы неприличные прикосновения? Какого рода? К чему?». И если кающийся «говорит, что совершал таковые к себе», его следует спросить: «С какой целью?». «Всего-навсего из любопытства (такое случается очень редко), или из чувственности, или для того, чтобы вызвать неприличные движения? Сколько раз? И эти движения доходили *usque ad seminis effusionem*?».[61] Как видите, сладострастие начинается отнюдь не с пресловутого блуда, отнюдь не с незаконного сношения. Сладострастие начинается с прикосновения к самому себе. В порядке грехов то, что впоследствии станет статуей Кондильяка (сексуальной статуей Кондильяка, если хотите), заявляет о себе, не становясь ароматом розы, но прикасаясь к своему собственному телу.[62] Первейшая форма греха против плоти есть прикосновение к самому себе: ощупывание себя, мастурбация. Вторым после осязания идет зрение. Следует проанализировать взгляды: «Смотрели ли вы на неприличные предметы? На какие предметы? С каким намерением? Сопровождались ли эти взгляды чувственным удовольствием? Претворялись ли эти удовольствия в желания? В какого рода желания?».[63] В области того же взгляда, по статье зрения и взгляда, анализируется чтение. Таким образом, чтение может оказаться греховным не только напрямую, через мысль, но и прежде всего по отношению к телу. Именно как зрительное удовольствие, именно как похотливая деятельность взгляда, чтение может быть грехов-

ным.[64] Третьим следует язык: удовольствия языка — это удовольствия от неприличных речей и непристойных слов. Непристойные слова доставляют удовольствие телу; дурные речи вызывают похоть или вызываются телесной похотью. Вы произносили эти «непристойные слова», эти «неприличные речи» бездумно? «Без всяких неприличных помыслов?». «Или, наоборот, они сопровождались неприличными мыслями? А эти мысли, возможно, сопровождались дурными желаниями?».[65] В этой же рубрике языка осуждается неприличное действие песен.[66] Четвертый момент — уши. Проблема удовольствия от неприличных слов и непристойных речей, воспринимаемых на слух.[67] Таким же образом следует расспросить верующего обо всем теле, разобрать всю поверхность тела. Имели ли место «похотливые жесты»? Эти похотливые жесты совершались в одиночестве или с кем-то другим? С кем?[68] Не «одевались» ли вы недостаточно благопристойно? Испытывали ли вы удовольствие от этой одежды?[69] Не занимались ли вы неприличными «играми»?[70] А во время «танца» не было ли у вас «чувственных движений, когда вы держались за руку партнера[71] или смотрели на женственные позы или походку»? Не испытывали ли вы удовольствие, «слыша голос, пение или дыхание»?[72]

Коротко можно сказать, что происходит общее сосредоточение плотского греха вокруг тела. Граница греха проводится уже не противозаконным сношением, но самим телом. Вопрос поднимается с точки зрения тела. Одним словом, плоть укореняется в теле. Плоть, грех плоти, были прежде всего нарушением правила союза. Теперь же грех плоти сосредоточен непосредственно в теле. Расспрашивая о теле, об отдельных частях тела и различных чувственных инстанциях тела, и подбираются теперь к плотским грехам. Именно тело со всеми эффектами удовольствия, которые в нем имеют место, должно быть узловым центром экзамена совести в том, что касается шестой заповеди. Разного рода нарушения реляционных законов, относящихся к партнерам, к форме сношения, все те деяния, что расположены между блудом и скотоложством, — все это является отныне лишь следствием, в некотором смысле преувеличенным следствием той первой, фундаментальной

ступени греха, каковой выступает отношение к себе и собственная чувственность тела. В свете этого понятно, каким образом происходит другой очень важный сдвиг, а именно то, что ключевой проблемой уже не является различение реального деяния и мысли, которое так занимало схоластов. Желание и удовольствие — вот в чем проблема.

В схоластической традиции — поскольку исповедь не была некоей внешней совестью, экзаменом деяний, но была внутренней совестью, которая должна была сама судить индивида, — суду, как известно, подлежали не только деяния, но и намерения, мысли. Однако эта проблема отношения между деянием и помыслом была, по большому счету, не более чем проблемой намерения и реализации. Напротив, после того как предметом экзамена о соблюдении шестой заповеди становится собственно тело с его удовольствиями, различие между тем, в чем содержалось всего-навсего желание, допущение греха, и, с другой стороны, совершенным грехом, — это различие становится безнадежно недостаточным для того, чтобы охватить все открывшееся поле. Это придание центрального статуса телу сопровождается открытием огромной новой области, которая ложится в основание того, что может быть названо моральной физиологией тела, несколько кратких примеров которой я хотел бы вам представить.

Руководство по ведению исповеди, вышедшее в 1722 г. и предназначавшееся для Страсбургской епархии, требует, чтобы экзамен совести (эту рекомендацию вы найдете и у Абера, и у Карла Борромея) начинался не с деяний, но с помыслов. И в отношении помыслов дается следующий порядок: «Надо переходить от простых мыслей к греховным, то есть к таким мыслям, которые смакуют; затем от греховных мыслей следует переходить к желаниям; затем от мимолетных желаний к желаниям неотступным; затем от неотступных желаний к более или менее греховным поступкам; и только в самом конце подбираться к наиболее тяжким проступкам».[73] А вот как Абер в трактате, о котором я уже не раз говорил, объясняет механизм похоти и на его основании указывает путеводную нить, которой надо придерживаться при определении тяжести греха. Для него похоть начинается с некоей телесной эмоции,

чисто механической эмоции, вызываемой сатаной. Эта телесная эмоция влечет за собой то, что Абер называет «чувственным прельщением». Это прельщение вызывает сладостное чувство, разлитое в плоти, чувство сладости и телесного упоения, или, другими словами, трепетания и воспаления. Эти трепетание и воспаление побуждают к рассуждению об удовольствиях, которые вы принимаетесь анализировать, сравнивать друг с другом, взвешивать и т. п. Это рассуждение об удовольствиях может вызвать новое удовольствие, на сей раз удовольствие от самой мысли. Это мысленное наслаждение. Мысленное наслаждение, которым подогревается желание всевозможных чувственных наслаждений, порождаемых первоначальной телесной эмоцией, причем так, что вы желаете не чего-то греховного, а напротив, чего-то допустимого и благоприятного. Желание же, будучи само по себе слепой способностью и не имея в себе возможности знать, что хорошо, а что плохо, легко поддается убеждению. И вот согласие получено, а согласие — первая ступень греха, еще не являющаяся намерением и даже влечением, — в большинстве случаев оказывается простительным зерном, из которого и развивается грех. Далее следует пространная дедукция собственно греха, которую я оставлю за скобками.

Из всех этих тонкостей и складывается теперь пространство, внутри которого разворачивается экзамен совести. Его путеводной нитью служит уже не закон и его нарушение, не старая юридическая модель, применявшаяся в практике тарифицированного покаяния, а вся эта диалектика наслаждения, греховных мыслей, удовольствия, влечения, которая впоследствии, у Альфонса де Лигуори в конце XVIII века, упростится и отольется в общую и сравнительно простую формулу, которой будет следовать вся пастырская практика XIX века.[74] У Лигуори остается всего четыре фазы: побуждение, первый помысел к злодеянию, затем согласие (генезис которого, по Аберу, я только что приводил), вслед за ним упоение и, наконец, вслед за упоением — либо удовольствие, либо самолюбование.[75] Упоение — это удовольствие в настоящем, желание — это упоение, обращенное в будущее, а самолюбование — это упоение, обращенное в прошлое. Так или иначе пейзаж, в ко-

тором разворачивается теперь сама процедура экзамена совести, а следовательно, и процедура признания и исповеди, являющаяся непременным элементом покаяния, — пейзаж этот абсолютно нов. Разумеется, в нем присутствует закон и связанный с законом запрет; разумеется, речь идет о регистрации правонарушений; однако вся процедура дознания обращена отныне на это тело-желание и тело-удовольствие, которое становится полноправным партнером операции и таинства покаяния. И это полный — или, если хотите, радикальный — переворот: произошел переход от закона к телу как таковому.

Конечно, этот сложный механизм не является обязательным элементом реальной, массовой и повсеместной практики исповеди, возникшей в XVI или XVII веке. Хорошо известно, что на практике исповедь была ритуалом, который в XVII и в первой половине XVIII века ежегодно совершался подавляющим большинством католиков и начал постепенно терять популярность во второй половине XVIII века. Эти ежегодные массовые исповеди, проводившиеся нищенствующими орденами, доминиканцами или местными священниками, в их безыскусности и быстроте не имели, по всей видимости, ничего общего с тем сложным сооружением, о котором я говорил только что. Однако, думаю, было бы неверно усматривать в нем только лишь теоретическое здание. Схемы комплексной и суммарной исповеди, которые я приводил, действительно применялись, но применялись на определенном уровне, и прежде всего на втором уровне. Они применялись тогда, когда стояла задача не воспитания средних, обыкновенных верующих, но подготовки самих исповедников. Иными словами, существовала целая дидактика покаяния, и правила, с которыми я вас довольно подробно познакомил, принадлежат именно этой дидактике. Именно в семинариях (институтах, которые были предписаны, то есть одновременно изобретены, определены и учреждены, Тридентским Собором — и стали своего рода педагогическими школами Церкви) развилась представленная мною практика покаяния. Но следует сказать вот что. Ведь семинарии были исходной точкой, а зачастую и моделью крупных образовательных учреждений, предназначенных для так называемой второй ступени обучения. Колле-

жи иезуитов и ораторианцев возникли как продолжение этих семинарий или как подражание им. Поэтому изощренная технология исповеди, конечно, не была массовой практикой, но в то же время не была и чистой мечтательностью, утопией. Она формировала элиты. И достаточно заметить, с какой регулярностью трактаты, в частности трактаты о страстях, вышедшие в XVII и XVIII веках, черпают материал в этом ландшафте христианского пастырства, чтобы понять, что подавляющее большинство представителей элиты XVII и XVIII веков обладало глубоким знанием всех этих концептов, понятий, аналитических методов и вопросительных решеток, предназначавшихся для исповеди.

Обычно центральной в истории покаяния в период Контрреформации, то есть в XVI—XVIII веках, считается проблема казуистики.[76] Однако не думаю, что именно она была подлинным нововведением. Казуистика, несомненно, важна как ставка в борьбе между различными орденами, различными социальными и религиозными группами. Но сама по себе она была не нова. Казуистика принадлежит давней традиции — традиции юридического представления о покаянии: покаяние как санкция за правонарушения, покаяние как анализ частных обстоятельств, в которых правонарушение было совершено. В сущности, казуистика уже содержится в тарифицированном покаянии. Что же действительно было новым в XVI веке, с возникновением пастырства в трактовке Тридентского Собора, так это технология души и тела, тела как носителя удовольствия и желания. Эта технология вместе со всеми предоставляемыми ею орудиями анализа, распознавания, руководства и перевоспитания является, на мой взгляд, самой сутью новизны церковного пастырства. Сразу вслед за нею возник, или оказался выработан, целый комплекс новых объектов, относящихся одновременно к порядку тела и души: это формы удовольствия, модальности удовольствия. Таким образом, произошел переход от старинного представления о теле как источнике всех грехов к идее о том, что за всеми проступками таится похоть. И это не просто абстрактное утверждение, не просто теоретический постулат — это условие, необходимое новой технике вмешательства и новому принципу исполнения

власти. Начавшись в XVI веке, вокруг процедур исповедального признания состоялось отождествление тела и плоти или, если угодно, инкарнация тела и инкорпорация плоти, вследствие которых на стыке души и тела открылась первозданная игра желания и удовольствия, бытующая в пространстве тела и уходящая корнями в сознание. На конкретном уровне это означает, что мастурбатор стал первой формой признаваемой сексуальности, то есть сексуальности, подлежащей признанию. Дискурс признания, дискурс стыда, контроля, коррекции сексуальности начинается с проблемы мастурбации. Говоря еще конкретнее, этот мощный технический аппарат покаяния в самом деле сказался почти исключительно в семинариях и коллежах, то есть там, где единственной формой сексуальности, подлежащей контролю, была, разумеется, мастурбация.

Мы можем констатировать кругообразный процесс, весьма типичный для технологий знания и власти. Более сложные, чем прежде, формулы новой христианизации, начавшейся в XVI веке, породили властные институты и специальности знания, форма которых сложилась в семинариях и коллежах, то есть в институтах, где в самых благоприятных условиях могло проступить уже не сексуальное сношение между индивидами, не законные и незаконные сексуальные сношения, но одинокое желающее тело. Юноша-мастурбатор — вот кто становится пока еще не скандальной, но уже тревожной фигурой, которая преследует через эти распространяющиеся и умножающиеся в числе семинарии и коллежи, все более назойливо преследует дисциплину руководства совестью и признания грехов. Все новые приемы и правила признания, разработанные после Тридентского Собора, — эта, в своем роде, гигантская интериоризация всей жизни индивидов в дискурсе покаяния, — неявно сосредоточены вокруг тела и мастурбации.

В заключение я хочу сказать следующее. В эту же эпоху, то есть в XVI—XVII веках, в армии, в коллежах, в мастерских, в школах набирает обороты новая технология выучки тела — выучка полезного тела. Вводятся новые методы надзора, контроля, пространственного распределения, регистрации и т. д. Тело прямо-таки облагается механизмами власти, стремящимися сделать его одновременно покорным и полезным. Возни-

кает новая политическая анатомия тела. Если же теперь мы возьмем не армию, мастерские, начальные школы и другие светские учреждения, а техники покаяния, те самые, что практиковались в семинариях и коллежах, которые следовали их образцу, то обнаружим в них обложение тела уже не как полезного тела, не в соответствии с регистром способностей, но обложение тела на уровне желания и благопристойности. Бок о бок с политической анатомией тела развивалась моральная физиология плоти.[77]

В следующий раз я хотел бы рассказать вам о том, как эта моральная физиология плоти, или воплощенного тела, или, наконец, принявшей телесные черты плоти, пришла в соприкосновение с проблемами дисциплины полезного тела в конце XVIII века; как сформировалось явление, которое можно было бы назвать педагогической медициной мастурбации, и как эта педагогическая медицина мастурбации претворила проблему желания в проблему инстинкта, в ту самую проблему, которой принадлежит центральное место в организации аномалии. Ибо именно мастурбация, которая проступила в исповедальном признании XVII века и вскоре переросла в педагогическую и медицинскую проблему, в конечном итоге привела сексуальность на территорию аномалии.

Примечания

[1] О теории наследственности см.: *Lucas P.* Traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle dans les états de santé et de maladie du système nerveux, avec l'application méthodique de lois de la procréation au traitement général des affections dont elle est le principe. I—II. Paris, 1847—1850; о теории «вырождения» см. выше, лекция от 5 февраля.

[2] Случай Рока-Франсуа Ферре с приложением экспертиз А. Бриера де Буамона, Ж.-М.-А. Феррюса и А.-Л. Фовиля опубликован в издании: Annales médico-psychologiques. 1843. I. P. 289—299.

[3] *Michéa C.-F.* Des déviations maladives de l'appétit vénérien // L'Union médicale. III/85. 17 juillet 1849. P. 338c—339c.

[4] *Baillarger J.-G.-F.* Cas remarquable de maladie mentale. Observation recueillie au dépôt provisoire des aliénés de l'Hôtel-Dieu de Troyes,

par le docteur Bédor // Annales médico-psychologiques. 1858. IV. P. 132—137.

[5] Окончательный вариант «Половых извращений» см. в кн.: *Moreau de Tours P.* Des aberrations du sens génésiques. Paris, 1883 (3; 1 éd. 1880).

[6] *Krafft-Ebing R.* Psychopatia sexualis. Eine klinische-forensische Studie. Stuttgart, 1886. Во втором издании этого труда (*Krafft-Ebing R.* Psychopatia sexualis, mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung. Stuttgart, 1887) Крафт-Эбинг предлагает исследование «противоестественной сексуальной чувственности». Первый французский перевод книги сделан по восьмому немецкому изданию: *Krafft-Ebing R.* Étude médico-légale. Psychopatia sexualis, avec recherches spéciales sur l'inversion sexuelle. Paris, 1895. Ныне существующий французский вариант следует исправленному переводу А. Моля (1923): *Krafft-Ebing R.* Psychopatia sexualis. Étude médico-légale à l'usage des médecins et des juristes. Paris, 1950.

[7] *Westphal J. C.* Die conträre Sexualempfindung, Symptome eines nevropatischen (psychopatischen) Zustand // Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. II. 1870. P. 73—108. См. также: *Magnan V.* Des anomalies, des aberrations et des perversions sexuelles. Paris, 1885. P. 14: «Влечение может быть [...] связано с глубокой аномалией и направляться на особ своего пола. Это то, что Вестфаль называет *противоестественным половым чувством*» (курсив автора). По поводу французских дебатов см.: *Charcot J.-M., Magnan V.* Inversion du sens génital // Archives de neurologie. III. 1882. P. 53—60; IV. 1882. P. 296—332; *Magnan V.* Des anomalies, des aberrations et des perversions sexuelles // Annales médico-psychologiques. 1885. I. P. 447—472.

[8] Отражением французских дебатов по этому поводу может служить сборник П. Гарнье: *Garnier P.* Les Fétichistes: pervertis et invertis sexuels. Observations médico-légales. Paris, 1896. Это своего рода ответ на публикацию книги Моля: *Moll A.* La Perversion de l'instinct génital. Paris, 1893 (éd. orig.: *Moll A.* Die conträre Sexualempfindung. Berlin, 1891).

[9] Этот тезис М. Фуко развивает в книге «Воля к знанию» (*Foucault M.* La Volonté de savoir. P. 25—49: глава II «Побуждение к рассказам», §1 «Репрессивная гипотеза»).

[10] См.: *Foucault M.* La Volonté de savoir. P. 9.

[11] В данной области М. Фуко опирается главным образом на трехтомное исследование Х. Ч. Ли «История обряда исповеди и отпущения грехов в католической церкви» (*Lea H. Ch.* A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church. Philadelphia, 1896).

[12] См. уже цитированный курс лекций М. Фуко в Коллеж де Франс «Уголовные теории и институты».

[13] *Albinus seu Alcuinus F.* Opera omnia. I (Patrologiae cursus completus, series secunda, tomus 100). Lutetiae Parisiorum, 1851. Col. 337.

[14] *Albinus seu Alcuinus F.* Opera omnia. I. Col. 338—339: «Erubescis homini in salutem tuam ostendere, quod non erubescis cum homine in perditionem tuam perpetrare? [...] Quae sunt nostrae victimae pro peccatis, a nobis commissis, nisi confessio peccatorum nostrorum? Quam pure deo per sacerdotem offerre debemus; quatenus orationebus illius, nostrae confessionis oblatio deo acceptabilis fiat, et remissonem ab eo accipiamus, cui est sacrificium spiritus contribulatus, et cor contritum et humiliatum non spernit».

[15] *Albinus seu Alcuinus F.* Opera omnia. I. Col. 337: «Dicitur vero neminem vero ex laicis suam velle confessionem sacerdotibus dare, quos a deo Christo cum sanctis apostolis ligandi solvendique potestatem accepisse credimus. Quid solvit sacerdotalis potestas, si vincula non considerat ligati? Cessabunt opera medici, si vulnera non ostendunt aegroti. Si vulnera corpulis carnalis medici manus expectant, quanto magis vulnera animae spiritualis medici solatia deposcunt?».

[16] О каноническом установлении 1215 г. см.: *Foreville R.* Latran I, II, III et Latran IV. Paris, 1965. P. 287—306 (VI том цикла «История экуменических соборов», вышедшего под редакцией Ж. Дюмежа), где дается также сокращенный французский перевод соборного декрета от 30 ноября 1215 г. «Об исповеди, тайне исповеди и обязательности пасхального причастия». С. 357—358 (и в частности: «Каждый верующий, как мужского, так и женского пола, по достижении сознательного возраста должен не менее одного раза в год чистосердечно исповедоваться во всех грехах своему священнику, тщательно, по мере своих возможностей, выполнять предписанные ему обеты покаяния и не реже чем на каждую Пасху почтительно приобщаться к таинству Евхаристии, за исключением тех случаев, когда, по весомым основаниям и заручившись согласием священника, он решил временно воздержаться от этого. В противном случае он должен быть отлучен от церкви *ab ingressu ecclesiae* при жизни и не удостоен христианских похорон по смерти. Настоящий благотворный декрет будет часто вывешиваться в церквах, дабы никто не мог оправдывать свою слепоту незнанием»). Латинский оригинал см. в кн.: Conciliorum oecumenicorum decreta. Friburgi in Brisgau, 1962. P. 206—243.

[17] *Gratianus.* Decretum, emendatum et variis electionibus simul et notationibus illustratum, Gregorii XIII pontificis maximi iussu editum.

Paris, 1855. P. 1519—1656 (Patrologia latina, tomus 187). Декрет был утвержден в 1130 г.

[18] См., в частности: *Delumeau J.* Le Catholicisme entre Luter et Voltaire. Paris, 1971. P. 256—292 («Христианизация»), 293—330 («Дехристианизация?»).

[19] Пастырская функция исповеди была утверждена в ходе XIV сессии Тридентского Собора (25 ноября 1551 г.), акты которой опубликованы в кн.: Canones et decreta concilii tridentini / edidit Æ. L. Richter. Lipsiae, 1853. P. 75—81 (это воспроизведение римского издания 1834 г.).

[20] *Borromeus C.* Pastorum instructiones ad concionandum, cofessionisque et eucharistiae sacramenta ministrandum utilissimae. Antverpiae, 1586.

[21] Особое внимание подготовке клира к совершению таинства покаяния было уделено на XXIII сессии Тридентского Собора (De reformatione): «Sacramentorum tradendorum, maxime quae ad confessiones audiendas videbuntur opportuna, et rituum ac caeremoniarum formas ediscent» (Canones et decreta... P. 209).

[22] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence ou méthode pour l'administrer utilement. Paris, 1748. В частности, качества исповедника описываются на с. 2—9, 40—87, хотя весь первый трактат Абера посвящен этим качествам: с. 1—184. По поводу ригоризма Абера и его последствий в религиозной истории Франции конца XVII—начала XVIII века см. биографическую заметку А. Эмбера в кн.: Dictionnaire de théologie catholique. VI. Paris, 1920. Col. 2013—2016.

[23] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 40—41.

[24] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 12.

[25] Это замечание не принадлежит Аберу, который пишет: «Хотя действие таинств зависит вовсе не от святости исполнителя, но от добродетелей Иисуса Христа, тем не менее будет тяжелым оскорблением и великим кощунством, если тот, кто сам отвергает благодать, станет давать ее другим» (*Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 12).

[26] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 13: «Он должен твердо стоять на пути добродетели по причине великих искушений, которым подвергает его эта миссия. Ибо даже вредный дух, который царит в комнате больного, оказывает на тело меньшее воздействие, чем рассказ об иных грехах производит на дух. И если только те, кто обладает хорошим телосложением, могут лечить больных, перевязывать их раны и находиться рядом с ними, не причиняя вред своему здоровью, то с необходимостью следует признать и то, что

руководить зараженной совестью способны лишь те, кто старательно укреплял себя в служении добродетели длительной практикой добрых дел».

[27] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 14: «Но из всех грехов нет более заразительных, таких, которые передавались бы более легко, чем те, которые противны целомудрию».

[28] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 14: «Необходимая исповеднику святость должна поддерживать в нем священное омерзение ко всем, даже самым незначительным грехам [...]. И хотя они [незначительные грехи] не отменяют привычного милосердия, все равно они действуют, как пепел, который заслоняет огонь и мешает ему освещать и согревать комнату, в которой его поддерживают».

[29] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 16—40. Вторая часть главы II развивает три следующих тезиса, объединенные М. Фуко: (1) «слепота человека, который не заботится об избежании мелких грехов»; (2) «его нечувствительность к грехам, которые для него обыкновенны»; (3) «тщетность усилий, которые он мог бы предпринять, чтобы освободиться от них».

[30] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 88: «Подобно судье, он должен знать, что дозволено или запрещено тому, кто предстает перед его судом. Но как он может знать это, если не согласно закону? Кого именно и в какой области он должен судить? Всех и за все деяния из любой области, ибо все верующие, в каких бы условиях они ни находились, обязаны исповедоваться. Поэтому он должен знать, каков долг каждого, то есть ему должны быть ведомы божественные и человеческие, духовные и гражданские законы, со всем, что они позволяют, и со всем, что они запрещают во всяком занятии. Ибо судья выносил бы свой приговор, доверяясь случаю, и допускал бы великие несправедливости, если бы осуждал одних и оправдывал других, не зная закона. Закон — это необходимое равновесие, которое обязывает исповедника рассмотреть деяния и упущения своих прихожан; это правило и мера, без которых он не может вынести решение о том, выполнили они свой долг или же пренебрегли им. Поэтому ему, как судье, необходимы знания».

[31] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 88—89: «Как врач, он должен быть сведущ в духовных болезнях, их причинах и лекарствах от них. Эти болезни — грехи, в которых он должен знать природу [...], число [...], различие...». Знать природу греха означает различать «обстоятельства, изменяющие его разряд, а также те, которые, не изменяя разряд, значительно облегчают или отягощают

природу греха». Знать число означает знать, «когда много раз повторенные деяния или речи являются в моральном смысле одним грехом, а когда они умножают грех, и потому их число следует учитывать при исповеди». Наконец, знание различия позволяет отличить грех от несовершенства: «Ибо только грех является предметом таинства покаяния, и не следует даровать прощение тому, кто считает себя виновным в простых несовершенствах, как это часто бывает с набожными людьми».

[32] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 89: «Исповедник — это судья, врачеватель и поводырь кающихся...».

[33] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 89: «Исповедник, как поводырь, обязан руководить совестью своих кающихся, ограждать их от промахов и заблуждений, а также отводить их от подводных камней, которые встречаются им на пути, каково бы ни было их занятие, каковое подобно пути, по которому ему [священнику] надлежит вести их к вечному блаженству».

[34] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 101: «Осмотрительность не противоречит науке, но с необходимостью предполагает ее; она вовсе не заменяет собою изучение, но всего лишь требует большего чистосердечия и большей прямоты намерения, большей силы и широты духа, чтобы учитывать все обстоятельства, сопоставлять их друг с другом, открывать то, что скрыто за внешней видимостью, и предвидеть то, что может случиться, по тому, что налицо уже сейчас».

[35] *Borromée Ch.* Instructions aux confesseurs de sa ville et de son diocèse. Ensemble: la manière d'administrer le sacrement de pénitence, avec les canons pénitentiaux, suivant l'ordre du Décalogue. Et l'ordonnance du même saint sur l'obligation des paroisseurs d'assister à leur paroisses. Paris, 1665 (4). P. 8—9 (1 éd. Paris, 1648). Наставления были «отпечатаны по решению Духовной ассамблеи Франции в Витре».

[36] *Borromée Ch.* Instructions aux confesseurs... P. 12: «Исповедальни должны располагаться в открытом помещении церкви, чтобы их было видно со всех сторон, но вместе с тем хорошо будет предусмотреть в этом помещении некоторую преграду, с тем чтобы в то время, когда некто исповедуется, другие прихожане не могли подойти слишком близко».

[37] Мы не смогли найти источник приводимой М. Фуко информации.

[38] *Lea H. Ch.* A History of Auricular Confession... I. P. 395: «The first allusion I have met to this contrivance is in the council of Valensia in 1565, where it is ordered to be erected in churches for the hearing of confession, especially of women» [«Первое упоминание об этом изобре-

тении (исповедальне), которое мне удалось найти, было сделано во время Валенсийского Собора в 1565 г., который постановил устраивать в церквах специальные помещения для исповедания прихожан, особенно женщин»]. В этом же году К. Борромей предписывает «использовать первоначальную форму исповедальни — павильон с перегородкой (tabella), отделяющей друг от друга исповедника и кающегося».

[39] *Borromée Ch*. Instructions aux confesseurs... P. 21—22.

[40] *Borromée Ch*. Instructions aux confesseurs... P. 24: «Сначала [...] исповедник должен задать несколько вопросов, с тем чтобы решить, как ему следует вести дальнейшую исповедь».

[41] *Borromée Ch*. Instructions aux confesseurs... P. 21—22, 24—25.

[42] *Borromée Ch*. Instructions aux confesseurs... P. 24—25 («Какие вопросы следует задавать в начале исповеди»).

[43] *Borromée Ch*. Instructions aux confesseurs... P. 19. Однако «то же самое следует учитывать и у мужчин» (p. 20).

[44] *Borromeus C*. Acta ecclesiae mediolanensis. Mediolani, 1583 (латинское издание ин-фолио для Франции было выпущено в Париже в 1643 г.). Ср.: *Borromée Ch*. Instructions aux confesseurs...; Règlements pour l'instruction du clergé, tirés des constitutions et décrets synodaux de saint Charles Borromée. Paris, 1663.

[45] *Borromée Ch*. Instructions aux confesseurs... P. 25—26.

[46] *Borromée Ch*. Instructions aux confesseurs... P. 30.

[47] *Borromée Ch*. Instructions aux confesseurs... P. 32—33: «Он [исповедник] должен задавать вопросы по порядку, начав с заповедей Бога. Невзирая на то что к этим заповедям могут быть сведены все разделы, по которым следует спрашивать, их следует особенно тщательно разбирать с теми, кто редко приобщается к этому таинству. Затем хорошо будет рассмотреть семь смертных грехов, пять человеческих чувств, установления церкви и милосердные деяния».

[48] Перечень добродетелей не упоминается в издании, по которому мы приводим ссылки.

[49] *Borromée Ch*. Instructions aux confesseurs... P. 56—57.

[50] *Borromée Ch*. Instructions aux confesseurs... P. 52—62, 65—71; *Habert L*. Pratique du sacrement de pénitence... P. 403 (третье правило). Ср.: Canones et decreta... P. 80—81 (сессия XIV, глава VIII: «De satisfationis necessitate et fructu»).

[51] *Habert L*. Pratique du sacrement de pénitence... P. 401 (второе правило).

[52] *Habert L*. Pratique du sacrement de pénitence... P. 411 (четвертое правило).

[53] Здесь М. Фуко пересказывает фрагмент из книги Ф. Виалара (*Vialart F.* Règlements faits pour la direction spirituelle du séminaire [...] établi dans la ville de Châlons afin d'éprouver et de préparer ceux de son diocèse qui se présentent pour être admis aux saints ordres. Châlons, 1664 [2]. P. 133): «Им следует быть откровенными в беседах с исповедником, совершенно доверяться ему, если они хотят улучшить свое поведение. Поэтому им следует не только чистосердечно признаваться во всем во время исповеди, но и посещать священника отдельно, чтобы советоваться обо всех своих затруднениях, огорчениях и искушениях»; р. 140—141: «Чтобы добиться большей пользы, им следует всецело довериться наставнику, с тем чтобы смиренно и простодушно рассказывать ему о своих поступках. Дабы достичь этой цели, пусть они относятся к своему наставнику как к ангелу во плоти, которого Бог посылает им, чтобы привести их на небо, если они будут прислушиваться к его словам и следовать его советам; также пусть они утвердятся в том, что уединение без откровенности и чистосердечия есть скорее тщетная попытка духа обмануть самого себя, нежели проявление набожности и благочестия, свидетельствующее об упорстве на пути к спасению, о преданности Богу, стремлении к добродетели и к совершенствованию своего состояния. Если откровенная беседа с исповедником вызывает у них отвращение, то, борясь с этим искушением, они смогут приумножить свою решительность и уверенность, а победив его, заслужат великую честь, тогда как в противном случае, если они будут прислушиваться к этому искушению, оно обесценит все их уединение».

[54] М. Фуко ссылается на кн.: *Olier J.-J.* L'Esprit d'un directeur des âmes // Œuvres complètes. Paris, 1856. Col. 1183—1240.

[55] *Beuvelet M.* Méditations sur les principales vérités chrétiennes et ecclésiastiques pour toutes les dimanches, fêtes et autres jours de l'année. I. Paris, 1664. P. 209. Приводимый М. Фуко фрагмент взят из LXXI размышления, озаглавленного «Четвертое средство, способное помочь на пути к добродетели. О необходимости наставника».

[56] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 288—290.

[57] *Milhard P.* La Grande Guide des curés, vicaires et confesseurs. Lyon, 1617. Первое издание этой книги, известное под названием «Истинный спутник священников», вышло в 1604 г. и было объявлено архиепископом Бордо обязательным в его юрисдикции, однако в 1619 г., после осуждения Сорбонной, было изъято из оборота.

[58] *Milhard P.* La Grand Guide... P. 366—373.

[59] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 293—294.

[60] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 294—300.

[61] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 294.

[62] *Condillac E. B. de.* Traité des sensations. Paris, 1754. I, 1, 2 (Кондильяк Э. Б. де. Трактат об ощущениях // Соч., М., 1982. Т. 2. С. 195): «Если мы преподнесем ей [статуе] розу, то по отношению к нам она будет статуей, ощущающей розу. Но по отношению к себе она будет просто самим запахом этого цветка. Таким образом, она будет запахом розы, гвоздики, жасмина, фиалки в зависимости от предметов, которые станут действовать на ее орган обоняния».

[63] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 295.

[64] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 296.

[65] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 296.

[66] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 297.

[67] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 297: «Помимо разговоров, во время которых произносятся или слышатся неприличные слова, можно согрешить и в том случае, если вы слышите речи, в которых никоим образом не участвуете. Для выяснения подобного рода грехов и надо использовать следующие вопросы, ибо первые грехи [связанные с участием в разговорах] были достаточно освещены в предыдущей статье».

[68] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 297—298: «Не совершали ли вы похотливые жесты? С каким намерением? Сколько раз? Присутствовал ли при этом кто-то еще? Кто? Сколько человек? Сколько раз?».

[69] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 298: «Не одевались ли вы с намерением понравиться? Кому? С какой целью? Сколько раз? Было ли что-нибудь похотливое в вашей одежде, например приоткрытая грудь?».

[70] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 298 (М. Фуко убрал конец предложения: «с лицами противоположного пола»).

[71] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 297 (М. Фуко убрал слова «другого пола»).

[72] *Habert L.* Pratique du sacrement de pénitence... P. 297—298.

[73] Нам не удалось ознакомиться с главой II, §3 книги «Monita generalia de officiis confessarii olim ad usum diocesis argentinensis» (Argentinae, 1722). Пассаж из нее, приводимый М. Фуко («sensim a cogitationbis simplicibus ad morosas, a morosis ad desideria, a desideriis levibus ad consensum, a consensu ad actus minus peccaminosos, et si illos fatentur ad magis criminosos ascendendo»), взят из другого издания: *Lea H. Ch.* A History of Auricular Confession... I. P. 377.

[74] *Liguori A. de.* Praxis confessarii ou Conduite du confesseur. Lyon, 1854; *Liguory A.-M. de.* Le Conservateur des jeunes gens ou Remède contre les tentations déshonnêtes. Clermond-Ferrand, 1835.

[75] *Ligorius A. de.* Homo apostolicus instructus in sua vocatione ad audiendas confessiones sive praxis et instructio confessionarum. I. Bassani, 1782 (5). P. 41—43 (трактат 3, глава II, §2: «De peccatis in particulari, de desiderio, compiacentia et delectatione morosa»). Ср.: *Liguori A. de.* Praxis confessarii... P. 72—73 (art. 39); *Liguory A.-M. de.* Le Conservateur des jeunes gens... P. 5—14.

[76] Здесь М. Фуко, несомненно, имеет в виду тезисы главы II («Пробабилизм и казуистика») из книги Ли: *Lea H. Ch.* A History of Auricular Confession... II. P. 284—411.

[77] См. уже цитированный курс лекций «Карательное общество» (лекции от 14 и 21 марта 1973 г.), а также книгу «Надзирать и наказывать» (*Foucault M.* Surveiller et Punir. P. 137—171).

Лекция от 26 февраля 1975 г.

Новая процедура дознания: дисквалификация тела как плоти и кульпабилизация тела плотью. — Руководство совестью, эволюция католического мистицизма и феномен одержимости. — Различие между одержимостью и колдовством. — Луденская одержимость. — Конвульсия как пластическое, зримое выражение борьбы, происходящей в теле одержимой. — Проблема одержимых с их конвульсиями не вписывается в историю болезней. — Антиконвульсанты: стилистическая модуляция исповеди и руководства совестью; запрос к медицине; обращение к дисциплинарным и педагогическим системам XVII века. — Конвульсия как неврологическая модель душевной болезни.

В прошлый раз я попытался показать вам, как в недрах практики покаяния и техники руководства совестью, которая развивалась начиная с XVI века, хотя о ее сложении в это время говорить еще рано, появляется тело-желание и тело-удовольствие. Коротко можно сказать следующее: в ответ духовному наставничеству возникает плотский порок, плотский порок как дискурсивная область, как поле вмешательства, как предоставленный этому наставничеству объект познания. От сферы тела, телесной материальности, к которой теология и практика средневекового покаяния просто-напросто возводила происхождение греха, постепенно обособляется более сложная и в то же время более расплывчатая область плоти, область исполнения власти и в то же время область объективации. Это область тела, пронизанного целым комплексом механизмов, всевозможными «прельщениями», «трепетаниями» и т. д.; это область тела, в котором действуют бесчисленные силы удо-

вольствия и упоения; это область тела, проникнутого, поддерживаемого, а подчас и одержимого влечением, которое откровенничает или таится, угождает себе или отказывается себе угождать. Словом, это чувствительное и сложное тело похоти. Которое, как мне кажется, и является коррелятивным новой технике власти. В связи с этим я хотел вам показать, что квалификация тела как плоти, в то же время являющаяся дисквалификацией тела как плоти, — эта кульпабилизация тела плотью, в то же время являющаяся возможностью дискурса о теле, аналитического постижения тела, — это постулирование греха как греха в теле и в то же время постулирование возможности объективировать это тело в качестве плоти, — все это коррелятивно тому, что мы можем назвать новой процедурой дознания.

Это дознание, как я опять-таки попытался вам показать, повинуется двум правилам. Во-первых, оно должно быть по возможности равновеликим всей жизни: как дознание, практикуемое в исповедальне, так и дознание, применяемое наставником совести, подразумевает проведение всей жизни сквозь фильтр экзамена, анализа и дискурса. Все, что сказано, все, что сделано, должно пройти через эту дискурсивную решетку. Во-вторых, это дознание вовлечено в отношение к авторитету, во властное отношение, очень строгое и в то же время эксклюзивное. Да, наставнику следует говорить обо всем, принимающему исповедь следует рассказывать все, но рассказывать все следует ему одному. Таким образом, дознание, которым характеризуются новые техники духовного руководства, повинуется, с одной стороны, правилу полноты, но, с другой стороны, правилу эксклюзивности. В результате произошло следующее. Возникнув как объект безграничного аналитического дискурса и постоянного надзора, плоть оказалась сопряжена с введением процедуры полного дознания и одновременно правила молчания за пределами этой процедуры. Говорить следует обо всем, но только здесь и только данному человеку. Все рассказывать следует только в исповедальне, во время покаяния или же при встрече со своим духовным наставником. Говорить только в данном месте и только данному человеку — это, конечно, не то фундаментальное и дазно из-

вестное правило молчания, с которым в отдельных случаях, как корректив, может сочетаться необходимость признания. Теперь эти элементы образовали сложную систему (о которой я рассказывал в прошлый раз), в рамках которой молчание, правило молчания, не-говорения, оказалось коррелятивным другому механизму, механизму высказывания: ты должен рассказывать все, но ты должен делать это лишь в определенных условиях, в рамках определенного ритуала и в присутствии некоего, вполне определенного лица. Иными словами, наступающая эпоха характеризуется не тем, что плоть наконец-таки окружается молчанием, но тем, что плоть оказывается коррелятивна системе власти, властному механизму, который подразумевает всеобъемлющую дискурсивность и окружающее ее молчание, поддерживаемое вокруг этого обязательного и перманентного признания. Власть, исполняющаяся в виде духовного наставничества, не предполагает молчание, не-говорение, как фундаментальное правило; она предполагает его лишь как непременный катализатор, необходимое условие выполнения всецело позитивного правила говорения. Плоть — это то, что называют, то, о чем рассказывают, то, о чем говорят. В XVII веке (но так будет и в XVIII, и в XIX веках) сексуальность, по сути своей, является не тем, что делают, но тем, в чем признаются: чтобы признаться в ней в надлежащих условиях, как раз и следует молчать о ней во всех остальных случаях.

Таков аппарат признания-молчания, историю которого я попытался в общих чертах восстановить для вас в прошлый раз. Понятно, что этот аппарат, эта техника духовного руководства, которая-то и обнаруживает плоть как свой объект или как объект эксклюзивного дискурса, не распространялась на весь христианский мир. Этот изощренный и прихотливый аппарат контроля, равно как и тело желания и удовольствия, которое возникло вместе с ним, затронули всего лишь тонкую прослойку этого мира, подвергшуюся сложным, тщательно разработанным формам новой христианизации, — самые высокие сферы этого мира, семинарии и монастыри. Разумеется, в широкой практике ежегодной исповеди, которую городские и сельские общины проводили и в XVII, и в XVIII веках (ис-

поведь при пасхальном причастии), следов этих сравнительно тонких механизмов почти нет. Однако мне кажется, что они важны по, как минимум, двум причинам. О первой из этих причин я упомяну вкратце, а на второй, напротив, задержусь.

Итак, во-первых: несомненно, именно из этой техники вырос (со второй половины XVI века, а во Франции главным образом с XVII века) католический мистицизм, в котором так велико значение темы плоти. Посмотрим на все, что произошло, что было сказано во Франции в период между деятельностью отца Сюрена и госпожи Гюйон.[1] Очевидно, что эти темы, эти новые объекты, эта новая форма дискурса, — очевидно, что все это было связано с новыми техниками духовного наставничества. Но я думаю, что в более широком, или, во всяком случае, в более глубоком смысле это тело желания, это тело похоти заявляет о себе и в более широких слоях населения, где, в любом случае, происходил ряд более глубоких процессов, нежели те, о которых можно судить по довольно-таки замысловатому мистическому дискурсу госпожи Гюйон. Я хотел бы поговорить о том, что можно обозначить как фронт глубинной христианизации.

На своей вершине аппарат руководства совестью порождает те проявления мистицизма, которые я назвал. Но наряду с ними, ниже, он порождает другого рода феномен, который связан с первым, соответствует ему, находит в нем целый комплекс опорных механизмов, однако, в конечном счете, имеет иное предназначение: этот феномен — одержимость. По-моему, одержимость как очень типичное для процесса сложения нового аппарата церковного контроля и власти явление следует сопоставить с колдовством, от которого она достаточно радикально отличается. Нет сомнения, что колдовство XV и XVI веков и одержимость XVI и XVII веков следуют друг за другом, повинуясь своеобразной исторической преемственности. Есть основания считать, что колдовство, или великие эпидемии колдовства, которые вспыхивали с XV до начала XVII века, и мощные волны одержимости, надвигавшиеся с конца XVI до начала XVIII века, следует на равных поставить в ряд общих следствий форсированной христианизации, о которой я вам говорил. Однако это две совершенно

различные серии следствий, за которыми стоят принципиально разные механизмы.

Колдовство (так, во всяком случае, утверждают историки, занимающиеся этой проблемой сегодня) является отражением той борьбы, которую новая волна христианизации, начавшаяся в конце XV—начале XVI века, предприняла против известного числа религиозных форм, остававшихся если не вовсе не затронутыми, то, по крайней мере, вполне жизнеспособными при первых, очень неторопливых волнах христианизации, то есть со времен античности. Колдовство было в полном смысле этого слова периферийным феноменом. В том, до чего прежняя христианизация не добиралась, в тех культовых формах, которые сохранялись на протяжении веков, а может быть, и тысячелетий, христианизация XV—XVI веков встречает препятствия, а затем придает этим препятствиям вес, демонстративную и одновременно противящуюся демонстрации форму. Именно колдовство в это время кодифицируется, принимается к рассмотрению, осуждается, пресекается, выжигается, изничтожается механизмами инквизиции. Колдовство оказывается вовлечено в процесс христианизации, причем как феномен, расположенный на внешних границах этого процесса. Это периферийный и поэтому в большей степени деревенский, нежели городской, феномен; это феномен, заявляющий о себе в приморских, горных регионах, именно там, куда не простиралось влияние традиционных, средневековых очагов христианизации, крупных городов.

Что же касается одержимости, то, хотя она также становится мишенью этой христианизации, которая разгорается с новой силой с конца XV века, ее следует счесть скорее внутренним, нежели внешним явлением. Она — не столько признак включения в христианский мир новых регионов, новых географических или социальных областей, сколько следствие методичного освоения религией тела, а также того всеобъемлющего дискурса и эксклюзивного авторитета, того двойного механизма, о котором я только что вам говорил. Впрочем, это сразу же подтверждается тем обстоятельством, что колдовство разоблачается главным образом извне, его разоблачают авторитетные, именитые граждане. Кто такая колдунья? Это

женщина с окраины деревни, граничащей с лесом. Это дурная христианка. Напротив, кто такая одержимая (одержимая XVI века, а особенно XVII и начала XVIII века)? Это отнюдь не та, кого разоблачил кто-то другой, это та, которая признается, исповедуется, причем исповедуется спонтанно. К тому же это не деревенская женщина, а горожанка. Театром одержимости, от Лудена до парижского кладбища Сен-Медар, является город, маленький или большой.[2] Более того, одержимая — это не простая горожанка, но монахиня. Более того, в монастыре она чаще всего не послушница, но старшая монахиня или даже настоятельница. Внутри самого христианского института, внутри тех самых механизмов духовного руководства и нового покаяния, о которых я вам говорил, — вот где возникает этот уже не маргинальный, но, наоборот, вполне центральный персонаж новой технологии католицизма. Колдовство появляется на внешних границах христианства. Одержимость появляется в самой его сердцевине, и в тот самый момент, когда христианство стремится внедрить свои механизмы власти и контроля, провести свои дискурсивные предписания в самое тело индивидов. Когда церковь запускает индивидуализирующие и принудительные механизмы контроля и дискурса, тогда-то и появляется одержимость.

Об этом свидетельствует тот факт, что сцена одержимости с ее ключевыми элементами совершенно не похожа на сцену колдовства, коренным образом отлична от нее. Центральным персонажем в историях одержимости становится исповедник, наставник, пастырь. В громких случаях одержимости в XVII веке мы обнаруживаем следующие имена: Гофриди из Экса,[3] Грандье из Лудена.[4] В деле о кладбище Сен-Медар в начале XVIII века это будет реальный персонаж, хотя бы и умерший к моменту выяснения одержимости: дьякон Франсуа Де Пари.[5] Таким образом, в центре сцены одержимости, в сердцевине механизмов одержимости оказывается священнослужитель, персонаж, наделенный полномочиями священника (полномочиями наставничества, авторитета и дискурсивного принуждения). Если в колдовстве мы имели дело с простой дуальной формулой с дьяволом по одну сторону и колдуньей по другую, то в рамках одержимости возникает трехсторонняя, а к

тому же и дополнительно усложненная, система отношений. Возникает трехчленная матрица: прежде всего, конечно, дьявол; на противоположном краю — одержимая монахиня; и между ними — страивающий отношение исповедник. Причем, исповедник, или наставник, является заведомо усложненной и раздваивающейся фигурой: либо исповедник, который сначала был хорошим исповедником, хорошим наставником, но в определенный момент стал плохим, перешел на противоположную сторону; либо две группы исповедников или наставников, вступающих в соперничество. Это отчетливо видно, например, в Луденском деле, где есть представитель белого духовенства (священник Грандье) и, в противопоставлении ему, другие наставники или исповедники, которые вмешиваются в дело, представляя черное духовенство: таков первый дуализм. Далее, внутри черного духовенства есть еще один конфликт, еще одно раздвоение между теми, кто выступает в качестве патентованных экзорцистов, и теми, кто выполняет роль наставников и в то же время врачевателей. Конфликт, соперничество, состязание, конкуренция между капуцинами и иезуитами и т. д. Во всех прочих случаях центральный персонаж наставника, исповедника, также размножается, раздваивается сообразно конфликтам, свойственным церковному институту как таковому.[6] Что же касается одержимой, третьего члена триады, то она тоже раздваивается — в том смысле, что не является, в отличие от колдуньи, пособницей, покорной служанкой дьявола. Ее статус сложнее. Одержимая — разумеется, та, кто находится во власти дьявола. Но как только эта власть поселяется, укореняется в теле одержимой, как только эта власть проникает в нее, она встречает сопротивление. Одержимая — это та, кто сопротивляется дьяволу, будучи его восприемницей. Таким образом, и она представляет собой дуализм: то, что подчиняется дьяволу и что уже не является ею, но становится просто-напросто дьявольским орудием; и другая инстанция, она сама, сопротивляющаяся одержимая, которая направляет против дьявола собственные силы или ищет поддержки со стороны наставника, исповедника, Церкви. В одержимой скрещиваются злодеяния демона и благодеяния божественного или церковного покровительства, к которому

она обращается. Можно сказать, что одержимая фрагментирует и будет бесконечно фрагментировать тело колдуньи, которое доселе (если взять схему колдовства в его простейшей форме) было соматическим единством, проблема деления которого не поднималась. Тело колдуньи просто состояло на службе дьявола или же было наделено им рядом способностей. Тело же одержимой — это множественное тело, тело, которое, в некотором смысле, рассеивается, рассыпается на множество противоборствующих способностей, сил, ощущений, которые обуревают и пронизывают ее. Эта беспредельная множественность является, наряду с яростной схваткой добра и зла, одной из общих характеристик феномена одержимости.

Также надо сказать вот что. Тело колдуньи, согласно процедурам заклинания колдовства, применявшимся инквизицией, — это единое тело, состоящее на службе сатаны или, при необходимости, оккупируемое его неисчислимыми полчищами: асмодеями, вельзевулами, мефистофелями и т. д. Впрочем, Шпренгер подсчитывал эти тысячи и тысячи дьяволов, носившихся по миру (я позабыл их точное число, кажется, триста тысяч, но это не важно).[7] Теперь же, с телом одержимой, все меняется: тело одержимой само по себе является средоточием беспредельного множества движений, сотрясений, ощущений, толчков, болей и удовольствий. Поэтому понятно, как и почему с появлением одержимости исчезает один из фундаментальных элементов колдовства, а именно договор. Колдовство было, как правило, разновидностью обмена: «Ты отдаешь мне свою душу, — говорил сатана колдунье, — а я передаю тебе часть моей власти»; или же: «Я овладеваю твоей плотью и впредь буду пользоваться ею, когда мне заблагорассудится. В качестве вознаграждения и взамен ты сможешь вызывать мое сверхъестественное присутствие всегда, когда тебе это потребуется»; «Я вступлю с тобою в связь, — говорил сатана, — но ты сможешь совершать столько зла, сколько захочешь. Я возьму тебя на шабаш, но ты сможешь вызывать меня при первой надобности, и я окажусь там, где тебе нужно». Принцип обмена находит выражение в договоре, который утверждается преступным сексуальным

сношением. Это визит демона, это поцелуй нечистого на шабаше.[8]

В одержимости же, напротив, договора, который скреплялся бы актом, нет, но есть вторжение, коварное и непреодолимое проникновение дьявола в пределы тела. Связь одержимой с дьяволом не договорного типа; это связь, основанная на вселении, сожительстве, проникновении. Дюжий черный дьявол, который являлся в спальню колдуньи и хвастливо потрясал перед нею своими гениталиями, уходит, его сменяет совсем другая фигура. Вот, скажем, сцена, с которой начинается спектакль Луденских сумасбродств, во всяком случае, одна из первых его сцен: «Послушница лежала в постели, в ее комнате горела свеча [...], и вдруг, ничего не видя [то есть, образ исчез, этой большой черной фигуры больше нет. — *М. Ф.*], она почувствовала, как кто-то берет ее за руку и вкладывает в ладонь три колючки боярышника. [...] Вскоре по получении упомянутых колючек названная послушница и другие монашки почувствовали странные изменения в своем теле [...], изменения такого рода, что иной раз они теряли всякое самообладание и их обуревали сильнейшие конвульсии, как будто бы вызванные чем-то необыкновенным».[9] Форма дьявола исчезла, его наличный и четко очерченный образ стерся. Есть ощущения, есть передача объекта, множественные и странные изменения в теле. Сексуального обладания нет, есть просто коварное проникновение в тело странных ощущений. А вот еще один рассказ, также взятый из протокола Луденского дела, каким мы находим его в книге Мишеля де Серто «Одержимые из Лудена»: «В тот же день, когда сестра Агнесса, послушница-урсулинка, совершила исповедь, ею овладел дьявол». Овладение произошло следующим образом: «Проводником чар послужил букет мускатных роз, обнаруженный на ступеньках, ведущих в дортуар. Матушка настоятельница подобрала его и понюхала, и ее примеру последовали несколько других монахинь, после чего ими немедля овладел дьявол. Они принялись кричать и звать Грандье, к которому их так влекло, что ни другие сестры, ни кто-либо еще не был способен их удержать [на этом эпизоде я еще остановлюсь. — *М. Ф.*]. Они хотели разыскать его и для этого взбежали на крышу мона-

стыря, забрались на деревья и уселись в своих монашеских одеяниях на ветвях. Сначала они издавали ужасные крики, а затем их постиг град, мороз и дождь, и пять дней и четыре ночи они оставались там без еды».[10]

Итак, совершенно другая система одержимости предусматривает совершенно другую дьявольскую инициацию. Это не сексуальный акт, не яркое богопротивное видение, но постепенное проникновение в тело. При отсутствии договорной системы. Вместо системы обмена — бесконечные заместительные игры: на месте тела монахини оказывается тело дьявола. Когда монахиня, ища внешней поддержки, открывает рот, чтобы принять облатку, ее внезапно подменяет дьявол, или один из дьяволов, Вельзевул. И выплевывает облатку изо рта монахини, которая открыла рот, чтобы ее принять. Таким же образом речь дьявола подменяет собою слова упования и молитвы. Когда монахиня решает прочесть «Отче наш», дьявол, оказываясь на ее месте, отвечает своим собственным языком: «Я его проклинаю».[11] Но подмены эти — подмены не без борьбы, не без конфликта, не без взаимодействия, не без сопротивления. Когда монахиня принимает облатку, которую затем выплюнет, она сжимает рукой горло, чтобы прогнать оттуда дьявола, готового выплюнуть облатку, которую она вот-вот проглотит. А когда экзорцист просит демона назвать свое имя, то есть выдать себя, тот отвечает: «Я забыл свое имя. [...] Я потерял его среди белья».[12] Вот эта игра замещений, пропаж, состязаний и характеризует сцену одержимости, даже, можно сказать, пластику одержимости, тем самым разительно отличающуюся от всевозможных игр иллюзии, присущих колдовству. А главное, в этом самая суть перемены, что игра согласия, согласия одержимого субъекта, стала, по сравнению с колдовством, значительно сложнее.

В случае колдовства предполагаемая воля колдуньи — это, в сущности, воля юридического типа. Колдунья соглашается на предложенный обмен: ты предлагаешь мне удовольствие и силу, а я отдаю тебе тело и душу. Колдунья соглашается на обмен, подписывает договор и, по сути своей, является юридическим субъектом. Именно в этом качестве она подлежит наказанию. При одержимости (вы наверняка догадываетесь

об этом по тем элементам, по тем деталям, которые я привел только что) воля наделена всеми двусмысленностями желания. Воля хочет и не хочет. Так, опять-таки в связи с Луденским делом, в рассказе матери Жанны от Ангелов ясно проступает тончайшая игра воли с самою собой: воля стоит на своем и тут же уступает.[13] Экзорцисты внушали матери Жанне, будто демон вселял в нее такого рода ощущения, что она не могла понять, что в этом состоит его игра.[14] Однако мать Жанна отлично знает, что экзорцисты, говоря так, говорят неправду, ведь им не ведомо, что творится в ее сердце. Она понимает, что все не так просто, и что если демон сумел вселить в нее эти странные ощущения, за которыми он скрывается, то потому, что она позволила ему это сделать. Это вселение было осуществлено с помощью игры маленьких удовольствий, незаметных ощущений, пустяковых согласий, своего рода простительной постоянной снисходительности, в которой воля и желание оплетают друг друга, вьются друг вокруг друга и вызывают обманчивое впечатление. Обманывают мать Жанну от Ангелов, которая видит одно удовольствие и не видит зла; и обманывают экзорцистов, ибо те думают, что все это дело рук дьявола. Вот как говорит сама Жанна от Ангелов в своей исповеди: «Дьявол нередко обманывал меня с помощью маленькой приятности, которую я испытывала от вызываемого им в моем теле возбуждения и других необычных вещей».[15] Или вот еще: «К моему великому стыду, в первые дни после того, как моим наставником и экзорцистом назначили отца Лактанция, я подчас не одобряла его привычку действовать с помощью множества мелочей, тогда как она была совершенно верной: это я была дурна».[16] Так, отец Лактанций предлагает монахиням причаститься через решетку. Мать Жанна чувствует себя оскорбленной и принимается роптать: «Молча я думала, что было бы лучше, если бы он следовал обычаю других священников. Когда я неосмотрительно задержалась на этой мысли, мне пришло в голову, что это демон, дабы унизить святого отца, решил проявить непочтительность к высочайшему Таинству. Я была настолько дурна, что не воспротивилась этой мысли с должной силой. Когда я подошла к причастию [к решетке причастия. — *М. Ф.*], в мои помыслы проник

дьявол, и после того как я приняла облатку и уже почти проглотила ее, он выплюнул ее священнику в лицо. Я знаю, что не совершала этого намеренно, но в то же время я убеждена, что это мое величайшее смятение позволило сделать это дьяволу, и что он не был бы на это способен, если бы я не была с ним заодно».[17] Здесь обнаруживается та самая тема связи, связи с дьяволом, которая лежала в основании колдовства. Однако очевидно, что в этой игре удовольствия, согласия, непротивления, мелкой приятности одержимость далека от юридически весомого согласия, даваемого раз и навсегда и удостоверяемого колдуньей, когда та подписывает заключенный с дьяволом договор.

Два рода согласия, но также два рода тела. Околдованное тело характеризовалось, как вы знаете, прежде всего двумя чертами. С одной стороны, тело колдуньи было обложено или, в некотором смысле, облечено целым рядом привилегий, одни из которых считались реальными, другие иллюзорными, но это не важно. Тело колдуньи было способно переноситься из одного места в другое, или поддавалось перенесению; оно было способно появляться и исчезать; оно становилось невидимым, но в некоторых случаях, напротив, неопровержимо присутствовало. Короче говоря, оно было наделено своеобразной трансматериальностью. Также оно характеризовалось тем, что всегда несло на себе признаки, пятна, зоны нечувствительности, которые выступали в качестве отметин демона. По ним демон мог узнать своих, но в то же время это было средством, с помощью которого инквизиторы, представители церкви, судьи определяли, что перед ними колдунья. Иначе говоря, с одной стороны, тело колдуньи пользовалось привилегиями, которые позволяли ей прибегать к дьявольской силе и уклоняться от преследования, но, с другой стороны, тело колдуньи было помечено, и эти отметины связывали колдунью как с демоном, так и с судьей или священником, которые выслеживали демона. Вооруженная привилегиями, колдунья одновременно была связана отметинами.

Тело одержимой совершенно иного рода. Оно не облечено привилегиями; оно является местом театрального спектакля. Различные способности и их поединки друг с другом разворачиваются прямо в нем, в этом теле, внутри этого тела. Это не

переносимое тело, это тело, пронизанное в глубину. Это тело нагрузок и противонагрузок. Это по сути своей тело-крепость: укрепленная и осаждаемая крепость. Тело-цитадель, тело-битва: битва демона и сопротивляющейся одержимой; битва между тем, что в самой одержимой сопротивляется, и той ее частью, которая, наоборот, соглашается и сдается; битва демонов, экзорцистов и наставников и, с другой стороны, самой одержимой, которая то помогает им, то изменяет, будучи то на стороне демона в игре удовольствий, то, своим сопротивлением, на стороне наставников и экзорцистов. Из всех этих позиций складывается соматический театр одержимости. Например: «Бесспорно замечательным было то, что [дьявол. — *М. Ф.*], которому приказывали по-латыни позволить [матери Жанне от Ангелов. — *М. Ф.*] сложить вместе руки, был вынужден повиноваться, и ее руки, неизменно дрожа, соединялись. Приняв святое Таинство, он, тяжело дыша и краснея, как лев, хотел выплюнуть его. Но после приказа не проявлять непочтительность [демон. — *М. Ф.*] прекратил сопротивление, и святое Таинство опустилось в желудок. Было видно, что он испытывает позывы к тошноте, но после того как ему запретили это делать, он сдался».[18] Как вы видите, на место, на смену тела колдуньи, которое поддавалось перенесению и становилось невидимым, приходит новое, разорванное тело, тело, охваченное постоянным возбуждением и дрожью, тело, в котором прослеживаются различные эпизоды битвы, тело, которое проглатывает и выплевывает, тело, которое принимает и отторгает, своего рода физиологический и теологический театр, конституируемый телом одержимой — вот что, как мне кажется, вполне отчетливо противопоставляется телу колдуньи. К тому же эта борьба также имеет свой признак, но этот признак — ни в коем случае не отметина, которую обнаруживали у колдуньи. Отметина или признак одержимости — это не пятно, которое находили у колдуньи на теле. Это нечто совсем другое, это элемент, которому суждено приобрести решающее значение в медицинской и религиозной истории Запада, — это конвульсия.

Что это такое, конвульсия? Конвульсия — это пластическое и зримое выражение борьбы в теле одержимой. В одной

стороне конвульсивных феноменов, которую составляют твердость, выгибы, нечувствительность к ударам, сказывается всесилие демона, его физическая мощь. Но в той же самой конвульсии обнаруживаются рывки, сотрясения и т. д. как чисто механическое следствие борьбы, как, в некотором смысле, столкновение противоборствующих сил. Есть и целый ряд непроизвольных, однако значимых жестов: одержимая бьется, плюется, подает знаки отрицания, произносит непристойные и нерелигиозные слова, богохульства, но всегда делает это автоматически. Все это складывается в цепь эпизодов битвы, атаки и контратаки, перевеса противников друг над другом. И наконец, удушье, бессилие, обмороки указывают момент, точку, в которой тело погибает в этом бою от самого избытка действующих сил. Так впервые столь отчетливым образом заявляет о себе исключительная важность конвульсивного элемента. Конвульсия — это колоссальное понятие-паук, протягивающее свою паутину и в сторону религии и мистицизма, и в сторону медицины и психиатрии. Вокруг этой-то конвульсии и развернется трудная борьба между медициной и католицизмом, которая продлится два с половиной века.

Но прежде чем обратиться к этой борьбе, я хотел бы указать вам на то, что плоть, которую вынесла на свет духовная практика XVI—XVII веков, развившись до некоторой степени, становится конвульсивной плотью. Она возникает на территории этой новой практики, каковой было руководство совестью, как предел, граничная веха нового определения плоти, продиктованного практикой руководства душами после Тридентского Собора. Конвульсивная плоть — это тело, освоенное правом дознания, тело, повинующееся обязанности полного признания, и тело, бунтующее против этого права дознания, против этой обязанности полного признания. Это тело, которое противопоставляет норме всеохватного дискурса молчание или крик. Это тело, которое противопоставляет норме послушания руководству резкие вспышки непроизвольного бунта или мелкие измены скрываемых утех. Конвульсивная плоть — это и крайнее следствие, и точка трансформации механизмов телесной нагрузки, созданных новой волной христи-

анизации в XVI веке. Конвульсивная плоть — это следствие сопротивления этой христианизации на уровне индивидуальных тел.

Вкратце можно сказать следующее: точно так же, как колдовство было и следствием, и точкой трансформации, и очагом сопротивления той волне христианизации и тем орудиям, какими были инквизиция и инквизиционные суды, одержимость является следствием и точкой трансформации другой техники христианизации, приметы которой — исповедальня и руководство совестью. Чем колдовство было в суде инквизиции, тем одержимость была в исповедальне. Поэтому проблему одержимых и их конвульсий следует помещать не в историю болезней. Создавая историю физических или ментальных болезней на Западе, мы не сможем разгадать тайну [возникновения] одержимых и конвульсивных. Я не думаю также, что в этом помогла бы история суеверий и умозрений: конвульсивные и одержимые возникли не потому, что люди верили в дьявола. Но мне кажется, что, взявшись за историю взаимоотношений тела и властных механизмов, которые за него боролись, мы сумеем-таки понять, как и почему именно в эту эпоху на смену сравнительно недавно возникшим феноменам колдовства пришли новые феномены одержимости. Появление одержимости, развитие одержимости и те механизмы, которые ее поддерживали, — все это является частью политической истории тела.

Вы скажете мне, что, проводя столь резкое различие между колдовством и одержимостью (как я только что попытался это сделать), я рискую оставить без внимания ряд достаточно очевидных феноменов ради интерпретации лишь двух из них в конце XVI и начале XVII века. Да, колдовство, каким оно развивалось с конца XV века, включало, всегда вблизи своих границ, некоторое число явлений, связанных с одержимостью. И наоборот, в ключевых случаях одержимости, которые имели место главным образом в начале XVII века, участие, присутствие колдуна вполне очевидно, даже бросается в глаза. Примером этого взаимопроникновения может быть Луденское дело, начавшееся в 1632 г. Масса элементов колдовства: есть суд инквизиции, есть пытки, есть, в конце концов, приговор к

сожжению на костре для того, кто был признан в этом деле колдуном, то есть для Юрбена Грандье. Целая картина колдовства. Но рядом, вперемешку с ней, еще одна картина — картина одержимости. Суда инквизиции с пытками и костром уже нет, но есть церковный придел, приемная, исповедальня, монастырская ограда и т. д. В этом деле 1632 г. ясно просматривается сдвоенный аппарат одержимости и колдовства.

Но, я думаю, дело вот в чем: до XVI века одержимость была, несомненно, не более чем одним из аспектов колдовства; затем, начиная с XVII века (по всей видимости, с 1630—1640 гг.), возникает, по крайней мере во Франции, тенденция противоположного свойства: колдовство постепенно становится всего лишь одной из сторон одержимости, причем не всегда наличествующей. Если Луденское дело произвело такой скандал, если благодаря ему сохранилась дата этой истории и память о ней, то потому, что оно отразило самую систематическую, но в то же время и самую отчаянную, самую обреченную попытку вернуть феномен одержимости, в высшей степени типичный для новых механизмов церковной власти, в рамки старой литургии, предусмотренной для изгнания колдунов. Мне кажется, что Луденское дело — типичное, по крайней мере в истоке своем, дело об одержимости. Ведь все персонажи, которые фигурируют в деле 1632 г., — это персонажи внутрицерковные: монахини и монахи, кюре, кармелиты, иезуиты и т. д. Лишь во вторую очередь в нем появились внешние лица: судьи и представители центральной власти. В исходной точке — это внутреннее дело Церкви. В нем нет никаких маргинальных персонажей, всякого рода неполноценных христиан, которые обнаруживаются в делах о колдовстве. Сама картина этого дела разворачивается не просто в пределах Церкви, но внутри определенного, конкретного монастыря. Пейзаж Луденского дела — это пейзаж дортуаров, молелен, часовен. Что же касается задействованных в нем элементов, то это, как я только что говорил, ощущения: почти как запах розы у Кондильяка, проникающий в обоняние монахинь.[19] Это конвульсии, контрактуры. Словом, плотское расстройство.

Однако вот что, как мне кажется, произошло: Церковь, столкнувшись в этом деле (и точно такой же механизм мы, не-

сомненно, обнаружим в случае в Эксе и в других делах) со всеми этими феноменами, которые были связаны общей нитью с новой техникой церковной власти, но вместе с тем знаменовали момент, точку, в которой эти техники подходили к своему пределу, за коим следовал поворот, — Церковь взялась контролировать эти феномены. Она взялась ликвидировать эти конфликты, порожденные самою техникой, которую она применяла в исполнении своей власти. И тогда, поскольку у Церкви не было средств, чтобы контролировать эти следствия вновь установленного механизма власти, она подвергла оказавшийся перед нею феномен старым методам контроля, характерным для изгнания колдунов, ибо не могла совладать с ним иначе, нежели переведя его в старые термины колдовства. Вот почему за этими случаями одержимости, поразившими урсулинский монастырь в Лудене, надо было любой ценой отыскать колдуна. Поскольку же все персонажи, занятые в этом деле изначально, были персонажами церковными, роль колдуна также мог сыграть лишь человек, имеющий отношение к Церкви. Таким образом, Церковь была вынуждена отречься от одного из своих членов и представить в качестве колдуна священника. Роль колдуна выпало сыграть Луденскому кюре Юрбену Грандье; его насильственно назначили на эту роль в деле, которое было типичным делом об одержимости. И после этого сразу же возобновили, вновь пустили в ход процедуры, характерные для процессов над колдунами, для процессов инквизиции, к тому времени начавшие было исчезать. Их вновь мобилизовали и применили, но для того, чтобы поставить под контроль и усмирить феномены совершенно другой, нежели ранее, природы. В Луденском деле Церковь попыталась соотнести все плотские расстройства, связанные с одержимостью, с традиционной, юридически разработанной формой дьявольского договора о колдовстве. В результате чего Грандье оказался священнослужителем-колдуном и как таковой был принесен в жертву.

Но, разумеется, такого рода операция была чрезвычайно трудоемкой. С одной стороны, из-за этого самопожертвования, к которому Церковь оказалась вынужденной и к которому она, конечно же, оказалась бы вынужденной еще и еще раз,

во всех делах этого типа, когда ей пришлось бы применять старые процедуры изгнания колдунов. И, с другой стороны, эта операция была трудоемкой в силу необходимости реактивации глубоко устаревших, рядом с новыми принципами церковной власти, методов вмешательства. Как возможна слаженная работа суда, подобного суду инквизиции, в эпоху духовного руководства? И наконец, эта операция была трудоемкой еще и потому, что непременным ее условием было обращение к судебной системе, с которой все труднее уживалась светская власть административной монархии. В Лудене Церковь сталкивается с крайними следствиями своих же новых властных механизмов, с крайними следствиями новой, индивидуализирующей технологии своей власти; и, предпринимая регрессивную, архаизирующую попытку прибегнуть к инквизиционным средствам контроля, терпит поражение. Мне кажется, что в Луденском деле впервые обретает совершенно ясную формулировку то, что с середины XVII века станет одной из главных проблем католической церкви. Эту проблему можно охарактеризовать так: как можно сохранить и развить технологии руководства душами и телами, которые ввел в обиход Тридентский Собор? Как упрочить этот дискурсивный учет и этот контроль плоти, избежав следствий, выступающих ему в противовес, избежав этих эффектов сопротивления, ярчайшими, крайними и театральными формами которых являются конвульсии одержимых? Иначе говоря, как можно руководить душами согласно тридентской формуле, не сталкиваясь однажды с телесными конвульсиями? Руководить плотью, не попадая в ловушку конвульсий — в этом, я думаю, содержалась серьезная проблема для Церкви, в этом был предмет ее дискуссии с самою собой в отношении сексуальности, тела и плоти, начиная с XVII века. Освоить плоть, провести ее сквозь фильтр всеохватного дискурса и постоянного дознания, подчинить ее всю, в детальном перечне, эксклюзивной власти и, следовательно, поддерживать над плотью неотлучное руководство, владеть ею на уровне руководства, но любой ценой избегать этой уклончивости, увертки, утечки, встречной атаки, какой является одержимость. Обладать руководством над плотью, не допуская, чтобы тело оказывало

этому руководству сопротивление, представляемое одержимостью.

Чтобы разрешить эту задачу, Церковь разработала ряд механизмов, которые я бы назвал антиконвульсантами. Предлагаю разделить эти антиконвульсанты на три типа. Первый метод — это внутренний модератор. Внутри исповедальных практик, внутри практик руководства совестью вводится дополнительное правило, правило сдержанности. Иными словами, в рамках руководства совестью при покаянии по-прежнему надо рассказывать все, по-прежнему надо во всем признаваться, но с новым условием: нельзя говорить, признаваться как угодно. Таким образом, внутри общего правила полного признания вводится правило стиля, риторические нормы. Вот что я имею в виду. В руководстве по исповеди, относящемся к первой половине XVII века, составленном Тамбурини и носящем заглавие «Methodus expeditae confessionis» (то есть, если я не ошибаюсь, методика быстрой, срочной исповеди), мы находим детальное описание того, что могло быть, должно было быть добротной исповедью по шестой заповеди (то есть по поводу греха сладострастия) непосредственно перед введением этого стилистического модератора.[20] Вот несколько примеров того, о чем следовало говорить, или о чем исповедник должен был спрашивать во время такого рода покаяния. По поводу греха «моллитий», то есть искусственного семяизвержения без соития,[21] кающийся — в том случае, если он совершал этот грех — должен был рассказать, о чем именно он думал, когда производил это семяизвержение. Ибо в зависимости от того, о чем именно он думал, его грех менялся. Думать о кровосмешении было, разумеется, более тяжким грехом, нежели думать о простейшем блуде, даже если в обоих случаях результатом было искусственное семяизвержение без соития.[22] Нужно было спросить или, во всяком случае, узнать из уст кающегося, пользовался ли он при этом неким орудием,[23] пользовался ли он рукой другого человека[24] или частью тела другого человека. Затем, он должен был рассказать, какой именно частью тела другого человека он пользовался.[25] Он должен был рассказать о том, пользовался ли он этой частью тела только из утилитарных соображений, или же был привле-

чен к ней неким *affectum particularis*, особого рода желанием.[26] Если дело касалось греха содомии, также следовало задать ряд вопросов, с тем чтобы услышать ряд подробностей.[27] Если речь шла о получении удовольствия двумя мужчинами, следовало спросить о том, объединяли ли они свои тела и двигались ли, как это должно иметь место при совершенной содомии.[28] В случае двух женщин, напротив, если поллюция была вызвана простой потребностью в разрядке либидо (*explenda libido* — говорится в тексте), то это не очень тяжкий грех, обыкновенные «моллитии».[29] Если же эта поллюция была продиктована влечением к своему (неподобающему) полу, то налицо несовершенная содомия.[30] Что же касается содомии между мужчиной и женщиной, то, если она была вызвана влечением к женскому полу вообще, это не более чем *copulatio fornicaria*.[31]* Но если содомия мужчины по отношению к женщине, напротив, была обусловлена особым пристрастием к задним частям ее тела, это опять-таки несовершенная содомия, ибо желаемая часть тела не является естественной; разумеется, этот грех входит в категорию содомских, но так как пол не является неподобающим — ведь речь идет о женщине и мужчине, — так как пол подобающий, содомия не будет совершенной, но будет только несовершенной.[32]

Вот какая информация должна была быть собрана, согласно уставу, в течение исповеди (причем, в течение срочной исповеди, *expedita confessio*). Чтобы воспрепятствовать провокационным следствиям правила исчерпывающего рассказа, вводится ряд смягчающих принципов. Одни из них основаны на материальной обстановке исповеди: необходимость затемнения; введение решетки в тесном помещении исповедальни; правило, согласно которому исповедник не должен смотреть в глаза кающемуся, если последний — женщина или молодой человек (формулировка этого правила принадлежит Анджиоло де Кивассо).[33] Другие правила оговаривают характер дискурса; одно из таковых выражается в совете исповеднику: «Требуйте подробного описания грехов только на первой исповеди, затем же, при следующих беседах, ссылайтесь (уже не

* Развратное соитие (*лат.*). — *Прим. перевод.*

описывая и не вдаваясь в детали) на те грехи, которые были названы при первой исповеди. Совершали ли вы то, о чем вы поведали во время вашей первой исповеди, или же вы совершали что-то такое, чего ко времени первой исповеди не делали?».[34] Таким образом, действительного, прямого употребления дискурса признания можно избежать. Но вот что здесь особенно серьезно и особенно важно: целый риторический корпус, разработанный иезуитами и представляющий собой метод вкрадчивости.

Вкрадчивость является частью пресловутого лаксизма, терпимости, в которой упрекали иезуитов и которая, не будем забывать, всегда была двойственной: с одной стороны, разумеется, была терпимость на уровне покаяния, то есть легкое возмещение за грехи, если есть хотя бы какие-то обстоятельства, позволяющие смягчить вину; но, с другой стороны, существовала также терпимость на уровне речи. Терпимость иезуитов позволяла кающемуся не говорить все или, во всяком случае, не вдаваться в подробности, ибо принцип терпимости гласит: лучше будет, если исповедник отпустит смертный грех, который он считает простительным, чем если самой своей исповедью он заронит в дух, в тело, в плоть своего прихожанина новые искушения. Именно в этом смысле Римский Собор 1725 г.[35] прямо рекомендовал исповедникам быть осторожными в беседе с кающимися, особенно когда кающиеся — молодые люди и тем более дети. В результате чего сложилась парадоксальная ситуация, когда в этой структуре признания, которую мы разбираем вот уже третью лекцию, стали действовать два правила: правило полной и эксклюзивной дискурсивности, а также новое правило сдерживаемой речи. Нужно говорить все и нужно говорить об этом как можно меньше; другими словами, «говорить об этом как можно меньше» является тактическим принципом в рамках общей стратегии, согласно которой нужно говорить все. Придерживаясь всего этого, Альфонсо де Лигуори в конце XVIII—начале XIX века предлагает свод правил, описывающих новую исповедь и формы признания в рамках нового — и современного — обряда покаяния.[36] Лигуори, неизменно верный принципу полного признания, в своем наставлении по поводу шестой заповеди,

переведенном на французский под названием «Охранитель отроков», говорит: «Во время исповеди необходимо выяснить не только [все] совершённые сношения, но также [все] чувственные прикосновения, все неприличные взгляды, все непристойные разговоры и особенно все подобного рода деяния, совершенные с удовольствием. [...] Также следует учесть все неприличные мысли».[37] Однако в другом тексте, в «Поведении исповедника», тот же Лигуори говорит, что, когда дело касается шестой заповеди, нужно — особенно при исповедании детей — соблюдать величайшую осторожность. Во-первых, начинать следует с «окольных и несколько туманных вопросов»; спросить о том, «говорили ли дети нехорошие слова, играли ли они с другими детьми, с мальчиками или девочками, и, может быть, играли тайком». Затем следует спросить, «не совершали ли они некрасивые и гадкие поступки. Часто бывает, что дети отвечают на такой вопрос отрицательно. Тогда полезно задать им наводящие вопросы, например такие: „Сколько раз вы это делали? Десять? Пятнадцать?"». Следует спросить их о том, «с кем они спят, и не случается ли, что лежа в постели, они забавляются двумя руками. Девочек следует спросить, дружат ли они с кем-нибудь, не водится ли за ними дурных мыслей, дурных слов, дурных развлечений. Продолжать опрос надо в зависимости от ответов». Но остерегайтесь «спрашивать их», как девочек, «так и мальчиков, *an adfuerit seminis effusio* [перевода не требуется. — *М. Ф.*]. Лучше пренебречь вещественной целостностью исповеди, чем дать повод к тому, чтобы они узнали о новом для себя зле, или пробудить в них желание о нем узнать». Просто спросите их о том, «дарили ли они подарки [взрослым], совершали ли они покупки для мужчин и женщин. У девочек надо спросить о том, не принимали ли они подарки от подозрительных лиц», особенно от священников или монахов![38] Как видите, на основе того же правила, что и прежде, складывается совершенно другой механизм признания: вводится необходимость целого ряда стилистических и риторических приемов, позволяющих высказать нечто, не называя это вслух. В практику признания входит целомудренная кодировка сексуальности, и следа которой не было в относящемся к середине XVII века тексте

Тамбурини, который я приводил вам немногим ранее. Итак, вот первый антиконвульсант в арсенале Церкви: стилистическая модуляция исповеди и руководства совестью.

Второй метод, второй прием, который использует Церковь, это уже не внутренний модератор, а внешний перенос: это вытеснение конвульсии как таковой. Мне кажется, что Церковь попыталась (причем, относительно рано, во второй половине XVII века) провести разделительную черту между этой ненадежной, греховной плотью, которую руководство совестью с его беспредельным и скрупулезным дискурсом призвано контролировать и выслеживать, и пресловутой конвульсией, этим крайним следствием и более чем очевидным препятствием, оказавшимся на пути; черту между плотью и конвульсией, от которой Церкви пришлось избавляться, открещиваться, чтобы та не завлекла в свою западню весь механизм наставничества. Потребовалось перевести конвульсивное, то есть пароксизмы одержимости, на некий новый дискурсивный регистр, не связанный с покаянием и руководством совестью, и в то же время подвергнуть его [конвульсивное] новому механизму контроля. Вот отсюда-то и берет начало долгая и славная история сотрудничества власти с медициной.

Вкратце можно сказать о нем следующее. Во время некоторых важных эпизодов колдовских процессов уже имело место обращение к медицине и медикам, но к ним обращались наперекор церковной власти, в противовес произволу инквизиции.[39] Обычно к ним обращались гражданская власть или судебное ведомство, которые пытались привлечь медицину к процессам о колдовстве, чтобы уравновесить церковную власть извне.[40] Теперь же сама церковная власть обращается к медицине, чтобы отгородиться от этой проблемы, от этого вопроса, от этой ловушки, которую одержимость расставляет перед руководством совестью, сложившимся в XVI веке.[41] Конечно, это пока еще робкий, противоречивый, нерешительный запрос, ибо, вводя медика в дела об одержимости, нужно ввести медицину и в теологию, медиков — в монастыри и вообще открыть юрисдикции медицинского знания эту область плоти, которую конституировала новая практика священнического пастырства. Ведь эта плоть, через которую Церковь осуществ-

ляла контроль над телами, теперь, с появлением новой формы анализа и распоряжения телом, может перейти под контроль другой власти, светской власти медицины. Этим, разумеется, и обусловлено недоверие к медицине, нерешительность, которой Церковь будет сдерживать свою собственную потребность в обращении к медикам. Ибо совсем отказаться от него невозможно. Это обращение стало необходимым, поскольку конвульсия постоянно, в терминах руководства совестью, оказывается тем, с помощью чего руководимые на телесном и плотском уровне восстают против руководителей, завлекают их в западню и, в некотором смысле, сами приобретают власть над ними. Нужно искоренить этот механизм, в силу которого руководство оборачивается против себя самого и само попадается на крючок. А для этого следует провести радикальный разрез, который сделает конвульсию самостоятельным, обособленным феноменом, глубоко отличным по своей природе от того, что́ может иметь место внутри механизма руководства совестью. И конечно, еще настоятельнее эта потребность становится оттого, что конвульсии все более прямо соотносятся с религиозным или политическим сопротивлением. Стоит им обнаружиться не просто в урсулинском монастыре, а, скажем, у конвульсивных кладбища Сен-Медар (то есть в относительно низких слоях населения) или у протестантов Севенна, как медицинская кодировка станет абсолютным императивом. Поэтому между Луденом (1632 г.) и конвульсивными кладбища Сен-Медар или Севенна (начало XVIII века), между двумя этими сериями явлений, пролегает целая история — история конвульсии как орудия и предмета поединка религии с самой собой, а также состязания религии и медицины.[42] Соответственно, мы имеем дело с двумя сериями феноменов.

Во-первых, начиная с XVIII века конвульсия становится привилегированным медицинским объектом. В самом деле, с этого времени конвульсия (или весь комплекс явлений, родственных конвульсии) образует всю ту область, которая станет столь плодотворной, столь важной для медицины, — область нервных болезней, всякого рода припадков и приступов. То, что христианское пастырство определило как плоть, в

XVIII веке постепенно становится медицинским объектом. Именно отсюда, от освоения этой плоти, которую, по сути дела, Церковь сама преподнесла ей, столкнувшись с феноменом конвульсии, медицина вступает, впервые в своей истории вступает, на территорию сексуальности. Иначе говоря, область болезней сексуального характера, сексуального происхождения или сексуального оттенка была открыта медиками не на пути расширения традиционных представлений греческой и средневековой медицины о матке и жидких средах. Нет, медицина обрела статус гигиенического, а в перспективе и научного, контроля над сексуальностью вследствие того, что она унаследовала ограниченную и организованную Церковью область плоти, вследствие того, что по воле самой Церкви она стала полной или частичной наследницей этой области. Важность того, что в данную эпоху в патологии XVIII века, именовалось «нервной системой», заключается в том, что это выражение послужило первой анатомической и медицинской кодировкой той области плоти, которую христианское искусство покаяния до сих пор характеризовало с помощью таких понятий, как «движения», «прельщения», «щекотания» и т. д. Нервная система, изучение нервной системы, механика, пусть и фантастическая механика, которую будут приписывать нервной системе в XVIII веке, — за всем этим кроется перевод на медицинский язык той области объектов, которую очертила и сформировала, начиная с XVI века, практика покаяния. Похоть была греховной душой плоти. Теперь же, с XVIII века, рациональным, научным телом той же самой плоти становится категория нервного. Нервная система с полным правом занимает должность похоти. Ибо является материальной и анатомической версией этого старого понятия.

В свете этого понятно, почему изучение конвульсии как крайнего проявления деятельности нервной системы становится первой значительной формой невропатологии. На мой взгляд, историческое значение конвульсии в медицине душевных болезней не следует недооценивать, так как психиатрия — вспомните то, о чем я говорил вам на предыдущих лекциях, — к 1850 г. окончательно распрощалась с алиенизмом. Бросив изучать заблуждение, бред, иллюзию, она стала нау-

кой о всевозможных нарушениях инстинкта. Психиатрия определила в качестве своей области инстинкт, его расстройства, весь запутанный клубок произвольного и непроизвольного. И конвульсия (то есть пароксизмальное возмущение нервной системы, которое было для медицины XVIII века средством перекодировки старой конвульсии и всей унаследованной у христианства области похоти) оказалась не чем иным, как непроизвольным высвобождением автоматизмов. Как следствие, она вполне естественно предоставила неврологическую модель душевной болезни. Психиатрия, как я попытался показать вам, перешла от изучения душевной болезни как бреда к изучению аномалии как расстройства инстинкта. В это же время или даже раньше, уже в XVIII веке, началась прокладка другого пути, пути совершенно другого происхождения, ибо речь шла о пресловутой христианской плоти. Эта похотливая плоть, перекодированная благодаря конвульсии в понятие нервной системы, и предоставила необходимую модель, когда понадобилось осмыслить расстройство инстинкта и приступить к его изучению. Такой моделью стала конвульсия, конвульсия как бурное автоматическое высвобождение фундаментальных, инстинктивных механизмов человеческого организма; более того, конвульсия стала прототипом безумия. Думаю, вы понимаете, как в недрах психиатрии XIX века смог вырасти этот разнородный и противоречивый, с нашей точки зрения, монумент — знаменитая истероэпилепсия. В середине XIX века эта истероэпилепсия (понятие царило с 1850-х гг. и до тех пор, пока его не развенчал Шарко, то есть приблизительно до 1875—1880 гг.) стала орудием анализа под рубрикой нервной конвульсии нарушения инстинкта в том виде, в каком это нарушение выделилось из области изучения душевных болезней, прежде всего случаев монструозности.[43] Так произошло слияние двух долгих историй христианского признания и монструозного преступления (о котором я также вам рассказывал), которые соединились в рамках психиатрического анализа и этого столь характерного для тогдашней психиатрии понятия, каким является истероэпилепсия.

Итак, шло все более глубокое, все более отчетливое укоренение конвульсии в медицинском дискурсе и медицинской

практике. Изгнанная из области духовного руководства и унаследованная медициной конвульсия впоследствии послужила аналитической моделью применительно к феноменам безумия. Но в то время как конвульсия все глубже укоренялась в медицине, католическая Церковь, со своей стороны, все настойчивее стремилась избавиться от нее как от препятствия, оградить от конвульсивной опасности плоть, которую она контролировала, при том что конвульсия и для медицины стала орудием в борьбе против Церкви. Ведь всякий раз, когда медики анализировали конвульсию, их целью было еще и показать, что феномены колдовства и феномены одержимости были на самом деле всецело патологическими феноменами. Таким образом, чем более полновластно медицина распоряжалась конвульсией, чем чаще медицина приводила конвульсию в качестве опровержения целого ряда христианских верований и обрядов, тем яростнее и тем радикальнее Церковь старалась от этих пресловутых конвульсий отделаться. В результате, когда в XIX веке разразилась новая волна христианизации, конвульсия стала неуклонно обесцениваться как предмет христианского, католического, да, впрочем, и протестантского почитания. Она стала неуклонно обесцениваться, и на смену ей пришло нечто другое, а именно явление. Церковь развенчивает конвульсию — или поддается ее развенчанию медициной. Она больше слышать не хочет обо всем, что напоминало бы об этом коварном проникновении тела наставника в плоть монахини. Но взамен она превозносит явление — и, разумеется, уже не явление дьявола, не то странное ощущение, которое испытывали монахини в XVII веке. Это явление Богоматери, явление на одновременно близком и далеком расстоянии, так, что до него, в некотором смысле, можно дотронуться, но в то же время недоступное. Хотя, так или иначе, явления XIX века (типичные примеры — случаи в Салетте и Лурде) абсолютно исключают телесный контакт. Правило неприкосновенности, неслиянности духовного тела Богоматери и материального тела озаренного — это одно из фундаментальных правил системы явления, сложившейся в XIX веке. Итак, это явление Богоматери на расстоянии, без контакта; явление, субъекты которого — уже не монахини за монастыр-

ской оградой и на церковном попечении, которые поставили в тупик руководство совестью. Теперь субъектом становится ребенок, невинный ребенок, которого едва коснулась рискованная практика духовного наставничества. Этим-то ангельским очам ребенка, перед его взглядом, перед его лицом является лик той, что плачет в Салетте, или шепот той, что исцеляет в Лурде. Лурд соответствует Лудену — или, во всяком случае, указывает еще один ключевой эпизод в этой длинной истории плоти.

Обобщая, надо сказать следующее. В 1870—1890-е гг. складывается перекличка Лурда и Салетта, с одной стороны, и Сальпетриера,* с другой стороны, на фоне Лудена как исторического узла этого процесса: образуется треугольник. С одной стороны, Лурд, откуда говорится: «Возможно, Луденская чертовщина и в самом деле была истерией наподобие той, что теперь есть в Сальпетриере. Так оставим ее Сальпетриеру. Нас это никоим образом не касается, ибо мы теперь заняты явлениями и маленькими детьми». На что Сальпетриер отвечает: «Мы можем сами сделать все то, что делалось в Лудене и Лурде. Мы вызываем конвульсии и можем вызвать явления». Лурд возражает: «Лечите по-своему, но есть исцеления, на которые вы не способны, и вот ими займемся мы». Таким образом, и опять-таки на старинном фоне истории конвульсий, складывается это переплетение и это соперничество между церковной и медицинской властями. Между Луденом и Лурдом, Салеттом, Лизье[44] произошел грандиозный сдвиг, перераспределение медицинских и религиозных ставок на тело, своеобразная передислокация плоти с соответствующим передвижением конвульсий и явлений. И мне кажется, что все эти феномены, очень важные для возникновения сексуальности на территории медицины, могут быть поняты не в терминах науки или идеологии, не в терминах истории умозрений, не в терминах социологической истории болезней, но в рамках исторического изучения технологий власти.

И наконец, надо сказать о третьем антиконвульсанте. Первым, напомню, был переход от правила всеохватного дискур-

* Старинная больница в Париже, включающая и большое отделение для душевнобольных. — *Прим. перевод.*

са к стилистике дискурса сдерживаемого; вторым была передача конвульсии как таковой на попечение медицинской власти. Третий же антиконвульсант, о котором я буду говорить в следующий раз, это опора, которую церковная власть нашла со стороны дисциплинарно-педагогических систем. Чтобы поставить под контроль, чтобы пресечь, чтобы окончательно искоренить все эти феномены одержимости, о которые споткнулась новая механика церковной власти, была предпринята попытка привить руководство совести и исповедь, все эти новые формы религиозного опыта, в среде дисциплинарных механизмов, которые в эту же эпоху были введены в казармах, школах, больницах и т. д. В виде иллюстрации этой прививки или, если хотите, внедрения духовных техник, отлаженных католицизмом после Тридентского Собора, в те новые дисциплинарные аппараты, которые приобретают контуры и организуются в XVIII веке, я приведу только один пример, на котором подробно остановлюсь в следующий раз. Это пример Олье, основателя семинарии при церкви Сен-Сюльпис, решившего построить для нее здание, которое отвечало бы поставленной задаче. Семинария Сен-Сюльпис, задуманная Олье, должна была воплотить, и воплотить во всех деталях, те самые техники духовного контроля, самоанализа и исповеди, что были характерны для тридентской религиозности. Потребовалось соответствующее здание. Олье не знал, как построить такую семинарию. Тогда он отправился в Нотр-Дам и попросил у Богоматери совета на сей счет. И действительно, Богоматерь явилась ему и вручила план, который стал планом семинарии Сен-Сюльпис. Вот что сразу поразило Олье: вместо дортуаров там были отдельные комнаты. Именно это, а не расположение капеллы, не размеры молельни и т. п., было главной особенностью преподнесенного Богоматерью плана сооружения семинарии. Ибо Богоматерь не ошибалась. Она хорошо понимала, что опасности, достигшие крайней степени, границы, предела в рамках этих техник духовного руководства, коренятся именно в ночи и в постели. Иначе говоря, именно постель, ночь, тела, созерцаемые в подробностях и в самом раскрытии их возможных сексуальных проявлений, — именно это является принципом всех опасностей, в которые за

последние годы начали попадать духовные наставники, недостаточно искушенные в том, чем в действительности является плоть. Необходимо было выяснить процесс конституции этой плоти — богатой, сложной, преисполненной ощущениями, но и обуреваемой конвульсиями, с которыми наставники имели дело; необходимо было подобраться к истоку плоти, понять, каковы механизмы ее функционирования. Поэтому, оградив тела, поместив их в детально обозреваемое пространство, дисциплинарные аппараты (коллежи, семинарии и т. п.) позволили заменить всю эту сложную и несколько ирреальную теологию плоти дотошным наблюдением за сексуальностью в ее последовательном и реальном раскрытии. Так в центре внимания оказались тело, ночь, уход за собой, ночная одежда, постель, ибо не где-нибудь, а именно в простынях следует искать механизмы возникновения всех тех расстройств плоти, которые тридентское пастырство выявило, вознамерилось контролировать, но в итоге само оказалось в их западне.[45]

Так в самом сердце, в самом средоточии, в самом очаге всех этих плотских расстройств, сопряженных с новыми формами духовного руководства, в конечном счете обнаружилось тело, поднадзорное тело юноши, тело мастурбатора. Об этом-то мы и поговорим в следующий раз.

Примечания

[1] Узнать обо «всем, что было сказано в период времени, истекший между» Ж.-Ж. Сюреном (1600—1665) и госпожой Гюйон (1648—1717) поможет кн.: *Bremond H.* Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de Religion. Paris, 1915—1933. Vol. I—XI.

[2] Круг документов, относящихся к случаям одержимости, которые упоминает М. Фуко, очень широк. Для первого примера мы ограничимся указанием на кн.: Possession de Loudun / présenté par M. de Certeau. Paris, 1980 (1 éd. 1970) — издатель которой ссылается на книгу самого Фуко «Безумие и неразумие. История безумия в классическую эпоху» как «основополагающую для понимания эпистемологической проблемы, находящейся в центре луденского дела» (с. 330). По поводу второго примера см.: *Mathieu P.-F.* Histoire des miraculés et des convulsionnaires de Saint-Médard. Paris, 1864.

[3] О Л. Гофриди см.: *Fontaine J.* Des marques de sorciers et de la réelle possession que le diable prend sur le corps des hommes. Sur le sujet du procès de l'abominable et détestable sorcier Louys Gaufridy, prêtre bénéficié en l'église paroissiale des Accoules de Marseille, qui naguère a été exécuté à Aix par l'arrêt de la cour de parlement de Provence. Paris, 1611 (réimpr.: Arras, [s. d.: 1865]).

[4] О Ю. Грандье см.: Arrêt de la condamnation de mort contre Urbain Grandier, prêtre, curé de l'église Saint-Pierre-du-Marché de Loudun, et l'un des chanoines de l'église Sainte-Croix dudit lieu, atteint et convaincu du crime de magie et autres cas mentionnés au procès. Paris, 1634; *Certeau M. de.* La Possession de Loudun. P. 81—96.

[5] Дьякон-янсенист Франсуа де Пари — первый среди конвульсивных одержимых кладбища Сен-Медар. Ему приписывается сочинение «Наука истинного, в которой содержатся главнейшие таинства веры» (Париж, 1733). Основной источник о нем: *Carré de Montgeron L.-B.* La Vérité des miracles opérés par l'intercession de M[édard] de Paris et autres appelants. I—III. Cologne, 1745—1747.

[6] См. по этому поводу: *Viard J.* Le procès d'Urbain Grandier. Note critique sur la procédure et sur la culpabilité // Quelques procès criminels des XVII et XVIII siècles / sous la direction de J. Imbert. Paris, 1964. P. 45—75.

[7] См.: *Institoris H., Sprengerus I.* Malleus maleficarum. Argentonari, 1488 (trad. fr.: Le Marteau des sorcières. Paris, 1973).

[8] См.: *Foucault M.* Les déviations religieuses et le savoir médical (1968) // Dits et Écrits. I. P. 624—635.

[9] Более точный текст: «Послушница лежала в постели, в ее комнате горела свеча [...], и вдруг она почувствовала, ничего не видя, как кто-то берет ее руку в свою и оставляет три колючки боярышника. [...] Вскоре по получении упомянутых колючек названная послушница и другие монашки почувствовали странные изменения в своем теле [...], изменения такого рода, что иной раз они теряли всякое самообладание, и их обуревали величайшие конвульсии, вызванные, как казалось, необыкновенными причинами» (*Certeau M. de.* La Possession de Loudun. P. 28).

[10] *Certeau M. de.* La Possession de Loudun. P. 50.

[11] *Certeau M. de.* La Possession de Loudun. P. 157. По тексту: «И когда вернувшийся к ней рассудок повелел ей прочесть стих „Memento salutis", и она хотела произнести слова „Maria mater gratiae", из ее уст вдруг вырвался безобразный голос и прокричал: „Я отвергаю Бога. Я проклинаю ее [Богоматерь]"».

[12] *Certeau M. de.* La Possession de Loudun. P. 68.

[13] *Jeanne des Anges*. Autobiographie / préface de J.-M. Charcot. Paris, 1886. Этот текст, вышедший в издательстве «Progrès médical» в рамках коллекции «Дьявольская библиотека», которую курировал Д.-М. Бурнвиль, был переиздан в 1990 г. в Гренобле с приложением эссе Мишеля де Серто, ранее опубликованном в качестве послесловия к изданию переписки Ж.-Ж. Сюрена (Correspondance de J.-J. Surin. Paris, 1966. P. 1721—1748).

[14] Ср. сообщение Ж.-Ж. Сюрена: *Surin J.-J.* Triomphe de l'amour divin sur les puissances de l'enfer en la possession de la mère prieure des Ursulines de Loudun et Science expérimentale des choses de l'autre vie. Avignon, 1828 (réimpr. Grenoble, 1990).

[15] *Certeau M. de*. La Possession de Loudun. P. 47. Ср.: *Jeanne des Anges*. Autobiographie. P. 83.

[16] *Certeau M. de*. La Possession de Loudun. P. 48. Ср.: *Jeanne des Anges*. Autobiographie. P. 85.

[17] *Certeau M. de*. La Possession de Loudun. P. 49. Ср.: *Jeanne des Anges*. Autobiographie. P. 85.

[18] *Certeau M. de*. La Possession de Loudun. P. 70.

[19] См. выше, лекция от 19 февраля.

[20] *Tamburinus Th*. Methodus expeditae confessionis tum pro confessariis tum pro poenitentibus. Romae, 1645. Мы сверяли текст по изданию: *Tamburinus Th*. Methodi expeditae confessionis libri quattuor // Opera omnia. II: Expedita moralis explicatio. Venetiae, 1694. P. 373—414.

[21] *Tamburinus Th*. Methodus expeditae confessionis... P. 392: «Mollities est pollutio volontaria sine coniunctione corporum seu [...] est peccatum contra naturam per quod voluntaria pollutio procuratur, extra concubitum, causa explendae delectationis venereae» (art. 62).

[22] *Tamburinus Th*. Methodus expeditae confessionis... P. 392: «Si quis tamen, dum se polluit, consentiat vel cogitet morose in aliquam aliam speciem — verbi gratia: in adulterium, incestum — contrahit eandem malitiam, quam cogitat, adeoque confitendam» (art. 62).

[23] *Tamburinus Th*. Methodus expeditae confessionis... P. 392: «Inanimatum instrumentum quo quis se polluat non facit mutationem speciei» (art. 63).

[24] *Tamburinus Th*. Methodus expeditae confessionis... P. 392: «Dixi inanimato [instrumento], nam si animato, ut si manibus alterius fiat, iam nunc subdo» (art. 63).

[25] *Tamburinus Th*. Methodus expeditae confessionis... P. 392: «Si quis se pollueret inter brachia, coxendices, os feminae vel viri, cum id regulariter procedat ex affectu personae seu concubitus cum illa, est sine

dubio specialiter explicandum, quia non est mera pollutio, sed copula inchoata» (art. 64).

[26] *Tamburinus Th.* Methodus expeditae confessionis... P. 392: «Non tamen credo necessarium esse explicandas peculiares partes corporis, nisi sit affectus aliquis particularis — verbis gratia: ad partes praepostera, ob sodomiam [...]. Illa maior delectatio quae in una ex partibus quaeritur non trascendit speciem malitiae quae est in alia» (art. 64).

[27] *Tamburinus Th.* Methodus expeditae confessionis... P. 392: «Sodomia — et quidem perfecta — est concubitus ad sexum non debitum, ut vir cum viro, femina cum femina» (art. 67); «Concubitus viri cum femina in vase prepostero est sodomia imperfecta» (art. 67); «Concubitus est copula carnalis carnalis consummata: naturalis si sit in vase debito; innaturalis si sit in loco seu vase non debito» (art. 67); «Sed hic est quaestio: quando mutua procuratio pollutionis inter mares vel inter feminas debeat dici mollities, quando sodomia» (art. 68); «Respondeo: quando ex affectu ad personam adest concubitus, si sit inter indebitum sexum, hoc est inter virum et virum, feminam et feminam, tunc est sodomia» (art. 68); «Quando vero est mutua pollutio absque concubitu, sed solum ad explendam libidinem est mollities» (art. 68).

[28] *Tamburinus Th.* Methodus expeditae confessionis... P. 392: «Hic si duo mares commisceant corpora et moveantur ad procurandum pollutionem, vel quandocunque se tangant impudice, ex affectu indebiti sexus, ita ut effusio seminis vel sit intra vas praeposterum, vel etiam extra, puto esse sodomiam» (art. 69).

[29] *Tamburinus Th.* Methodus expeditae confessionis... P. 392: «Sed si ipsae feminae commisceant corpora ex affectu solum se polluendi — id est explendae libidinis — est mollities» (art. 69).

[30] *Tamburinus Th.* Methodus expeditae confessionis... P. 392: «Si [ipsae feminae commisceant corpora] ex affectu ad indebitum sexum est sodomia» (art. 69).

[31] *Tamburinus Th.* Methodus expeditae confessionis... P. 392: «Sed quid dicendum si quis se polluat inter caeteras partes feminae (coxendices, brachia)? Respondeo: Si primo sit concubitus ex affectu ad personam ipsam, sexumque femineum, est copula fornicaria, sive adulterina, sive incestuosa, iuxta conditionem personae, atque adeo est aperiendus. Si secundo sit concubitus ex affectu ad praeposteras partes est sodomia imperfecta [...] ac similiter aperiendus. Si tertio denique sit sine concubitu, sed mere ad explendam libidinem, est mollities» (art. 74).

[32] *Tamburinus Th.* Methodus expeditae confessionis... P. 392. В первом случае («effusio intra vas praeposterum») имеет место совершенная содомия, а во втором случае («effusio extra vas praeposterum») —

несовершенная: «Quia, quamvis tunc non sit copula, tamen per illum concubitum est affectus venereus ad indebitum sexum, qui proprie constituit sodomiam. Nam coeterum, sive semen effundatur intra, sive extra, semper aeque in loco non suo dispergitur. Locus enim praeposterus videtur materialiter se habere in sodomia. Sed formaliter eius essentia sumitur ex motivo, scilicet ex concubitu cum affectu ad indebitum sexum. Confirmo [предыдущий тезис] quia femina cum femina non alio modo commiscetur nisi per dictum concubitim cum effusione seminis et non intra vas praeposterum. Inter illas enim non potest esse copula proprie» (art. 69); «Sodomiam imperfectam, quam alii vocant innaturalem concumbendi modum, est peccatum contra naturam, per quod vir cum femina concumbit extra vas naturale. Est species distincta a sodomia perfecta. Adeoque speciatim in confessione exprimenda. Perfecta enim procedit ex affectu ad indebitum sexum. Haec vero procedit non ex affectu ad indebitum sexum, sed licet ad indebitum tamen ad partem innaturalem» (art. 74).

33 Это общее правило, обнаруживающееся во многих средневековых трудах по каноническому праву. Согласно «Interrogationes in confessione» А. де Клавазио, «Quod stet [кающийся] facie versa lateri confessoris (si est mulier vel iuvenis) et non permittas quod aspiciat in faciem tuam, quia multi propter hoc corruerunt» (Summa angelica de casibus conscientae / cum additionibus I. Ungarelli. Venetiis, 1582. P. 678). Ср.: *Lea H. Ch.* A History of Auricular Confession... I. P. 379.

34 *Tamburinus Th.* Methodus expeditae confessionis... P. 392. Тамбурини в своем рассуждении о сдержанности основывается на понятии *prudentia*, взятом у В. Филиуччи (*Filliucius V.* Moralium quaestionum de christianis officiis et casibus conscientiae ad formam cursus qui praelegi solet in collegio romano societatis Iesu tomus primus. Ludguni, 1626. P. 221—222).

35 Под *Concilium romanum*, или *Concilium lateranense*, 1725 г. следует понимать синод местных епископов Италии, созванный Бенедиктом XIII. Ср.: *Pastor L. von.* Geschichte der Päpste. XV. Freiburg im Brisgau, 1930. P. 507—508.

36 См.: *Guerber J.* Le Ralliement du clergé français à la morale liguorienne. Rome, 1973.

37 *Liguory A.-M. de.* Le Conservateur des jeunes gens... P. 5.

38 *Liguori A. de.* Praxis confessarii... P. 140—141 (art. 89).

39 Схема, которую использует здесь М. Фуко, была изложена в виде посвящения своему сеньору, герцогу Юлих-Клевскому, архиатром И. Вирусом: *Wierus I.* De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis libri quinque. Basileae, 1563. М. Фуко затрагивает эту

проблему в тексте: *Foucault M.* Médecins, juges et sorciers au XVII siècle (1969) // Dits et Écrits. I. P. 753—767.

[40] *Mandrou R.* Magistrats et Sorcières en France en XVII siècle. Une analyse de psychologie historique. Paris, 1968.

[41] См.: *Zacchia P.* Quaestiones medico-legales. II. Avenione, 1660. P. 45—48 (в частности, раздел «De daemoniacis», глава «De dementia et rationis laesione et morbis omnibus qui rationem laedunt»).

[42] Основной источник по этому вопросу: [*Misson M.*] Le Théâtre sacré des Cévennes ou Récit des diverses merveilles opéreés dans cette partie de la province de Languedoc. Londres, 1707 (переиздано под названием «Протестантские пророки» [Париж, 1847]).

[43] См.: *Charcot J.-M.* Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpêtrière. Paris, 1874. В 1882 г., когда положения Шарко только начинали распространяться, Ш. Фере опубликовал первые «Замечания к истории истероэпилепсии» в «Архивах неврологии», в разделе «Нервная клиника» (Archives de neurologie. III. 1882. P. 160—175, 281—309). Эта история освещается М. Фуко в уже цитированном курсе «Психиатрическая власть» (лекция от 6 февраля 1974 г.).

[44] См. раздел «Явления и паломничества», статьи «Салетт» и «Лурд» в кн.: La Grande Encyclopédie. Paris, [s. d.]. XXII. P. 678—679; XXIX. P. 345—346. Говоря о Лизье, М. Фуко имеет в виду монастырь кармелиток, где жила Тереза Мартен (т. н. Тереза Младенца Иисуса).

[45] М. Фуко опирается на «Жизнеописание», «Воспоминания» и «Дух наставника душ» Ж.-Ж. Олье, опубликованные в кн.: *Olier J.-J.* Œuvres complètes. Paris, 1865. Col. 9—59, 1082—1183, 1183—1239. См. также его многочисленные письма: *Olier J.-J.* Lettres. Paris, 1885.

Лекция от 5 марта 1975 г.

Проблема мастурбации между христианским дискурсом плоти и сексуальной психопатологией. — Три формы соматизации мастурбации. — Привлечение детства в сферу патологической ответственности. — Препубертатная мастурбация и совращение взрослым: порок приходит извне. — Новая организация семейного пространства и контроля: устранение посредников и прямое приложение тел родителей к телу детей. — Культурная инволюция семьи. — Медикализация новой семьи и признание ребенка врачу как наследство христианских исповедальных техник. — Медицинское преследование детства путем нападок на мастурбацию. — Сложение закрытой семьи, ответственной за тело и жизнь ребенка. — Естественное воспитание и государственное воспитание.

В прошлой лекции я попытался показать вам, что возникновение тела желания и удовольствия было, судя по всему, коррелятивным новой волне христианизации, имевшей место в XVII—XVIII веках. Во всяком случае, именно это тело, как мне кажется, вольготно, непринужденно открывается взгляду во всевозможных техниках руководства душами, духовного наставничества и развернутой исповеди, словом, всего того, что можно было бы назвать аналитическим покаянием. Также я попытался показать вам, как это тело желания и удовольствия само взяло в оборот эти властные механизмы, как посредством целой игры сопротивления, потворства и перехвата власти оно само пустило в ход эти механизмы, которые должны были его оградить, как оно оккупировало их и, в некотором смысле, повернуло их действие вспять. Этому послужил

обостренный, форсированный феномен конвульсии. И наконец, я хотел показать вам, как внутри христианской технологии руководства индивидами были предприняты попытки поставить под контроль эффекты этой конвульсивной плоти, этого тела, проникнутого движением, возбуждением и удовольствием, при помощи различных средств в таких воспитательных учреждениях, как семинарии, пансионы, школы, коллежи и т. п.

Теперь же я намерен попытаться охарактеризовать эволюцию этого контроля над сексуальностью в христианских, прежде всего католических, учебных заведениях школьного уровня в XVII и XVIII [*rectius*: XVIII и XIX] веках. С одной стороны, в это время все отчетливее проступает тенденция к ограничению той нескромной словоохотливости, той дискурсивной пристрастности к телу желания, которая отличала техники руководства душами в XVII веке. Делаются попытки, в некотором смысле, успокоить словесные бури, разгоравшиеся вокруг самого анализа желания и удовольствия, анализа тела. Теперь исповедники стараются сглаживать, вуалировать, метафоризировать эти темы, разрабатывают целую стилистику сдержанности в исповеди и руководстве совестью: об этом пишет Альфонсо де Лигуори.[1] Но в то же время, сглаживая, вуалируя, метафоризируя, вводя правило если не молчания, то, во всяком случае, *discretio maxima*,* сооружают целые здания, определяют расположение мест и предметов, ищут новые принципы устройства дортуаров, институциализации надзорных инстанций, планирования классных комнат и расположения в них стульев и столов; организуемое столь тщательно (ищут нужную форму, устройство уборных, высоту дверей, избегают темных углов) пространство видимости в школьных учреждениях сменяет собою и заставляет умолкнуть нескромный разговор о плоти, который подразумевало руководство совестью. Иначе говоря, материальные устройства призваны сделать просто бесполезными все эти взволнованные разглагольствования, которые в XVI—XVII веках ввела в обиход христианская техника, чьи контуры очертил Тридентский Со-

* Предельной сдержанности (*лат.*). — *Прим. перевод.*

бор. Чем теснее будет ограждение тел, тем более деликатным и, как следствие, немногословным сможет быть руководство душами. В коллежах, семинариях, школах как можно меньше теперь говорят о теле-удовольствии, однако все в распорядке мест и предметов отображает его опасности. О нем почти не говорят, но всё о нем свидетельствует.

И вот среди этого поддерживаемого безмолвия, внутри самого этого механизма, где задача контроля над душами, телами и желаниями передана вещам и пространству, раздается внезапный шум, вспыхивает непредвиденный галдеж, которому не будет конца более столетия (то есть до конца XIX века) и который, пусть в несколько измененной форме, продолжится, несомненно, до наших дней. В 1720—1725 гг. (точной даты я не помню) в Англии выходит книга под названием «Онания», приписываемая перу Беккера;[2] в середине XVIII века выходит знаменитая книга Тиссо,[3] затем, в 1770—1780 гг., к этому дискурсу о мастурбации присоединяется Германия: Базедов,[4] Зальцман[5] и другие. Беккер в Англии, Тиссо в Женеве, Базедов в Германии — как видите, дело разворачивается в протестантских странах. Совсем неудивительно, что дискурс мастурбации зарождается в странах, где, с одной стороны, не было руководства совестью тридентского, католического, типа, а, с другой стороны, не было и крупных образовательных учреждений. Тем, что существование образовательных учреждений и техник руководства совестью препятствовало возникновению этой проблемы, и объясняется то, что в католических странах она была поднята и произвела фурор несколько позднее. Но это было опоздание лишь в несколько лет. И после публикации книги Тиссо во Франции очень быстро возник и дискурс, и проблема, и горячая дискуссия о мастурбации, которая не смолкала в течение целого века.[6]

Итак, в середине XVIII века стремительно распространяются тексты, книги, иллюстрированные проспекты и брошюры, по поводу которых уместны два замечания. Во-первых, в этом дискурсе о мастурбации есть нечто глубоко отличное от того, что можно было бы назвать христианским дискурсом плоти (краткую генеалогию которого я попытался очертить вам в предыдущих лекциях); в то же время он значительно от-

личается и от того, что веком позднее будет названо *psychopathia sexualis*, сексуальной психопатологией, первым характерным текстом которой станет книга Генриха Каана, вышедшая в 1840 г. [*rectius*: 1844].[7] Таким образом, дискурс мастурбации появляется, причем появляется весьма специфическим образом, на полпути между христианским дискурсом плоти и сексуальной патологией. Это вовсе не тот дискурс плоти, о котором я говорил вам в прошлый раз, и вот по какой причине (она бросается в глаза): дело в том, что в дискурсе мастурбации никогда не используются такие слова, такие термины, как желание или удовольствие. В течение нескольких месяцев я с немалым интересом, хотя и быстро утомляясь, просматривал эту литературу и во всем ее корпусе обнаружил лишь единственное упоминание одного из этих терминов. Вопрос: «Почему юноши мастурбируют?». И одному медику, в 1830—1840-е гг., вдруг приходит в голову: «Должно быть потому, что это доставляет им удовольствие!».[8] Таков единственный случай. В этом дискурсе, в отличие от предшествующей христианской литературы, начисто отсутствуют желание и удовольствие.

Во-вторых, что также любопытно, дискурс мастурбации еще далек от сексуальной психологии или психопатологии в том виде, какой она приобретет у Каана, Крафт-Эбинга[9] или Хэвлока Эллиса,[10] ибо в нем почти нет сексуальности. С нею, конечно, считаются. Ссылаются на общую теорию сексуальности, какою, разумеется, она могла быть в это время в общем климате философии природы. Однако интересно заметить, что в этих текстах о мастурбации почти никогда не затрагивается взрослая сексуальность. Более того, о сексуальности ребенка в них тоже не говорят. В них говорят именно о мастурбации, о мастурбации как таковой, почти вне всякой связи как с нормальными проявлениями сексуальности, так и с ненормальными. Лишь в двух местах я обнаружил очень робкие догадки о том, что ярко выраженная детская мастурбация может впоследствии стать источником некоторых форм гомосексуального желания.[11] Причем прямым следствием мастурбации в обоих этих случаях является не столько гомосексуализм, сколько импотенция. Таким образом, в центре внимания этой

литературы находится мастурбация как таковая, мастурбация в отдельности, а возможно, и в полном отрыве от своего сексуального контекста — мастурбация в своей специфичности. К тому же встречаются тексты, в которых говорится, что между мастурбацией и нормальной, реляционной, сексуальностью существует глубокое отличие в природе и что вовсе не одни и те же механизмы заставляют мастурбировать и желать кого-то другого.[12] Таким образом, вот первое замечание: мы имеем дело если не с промежуточной областью, то как минимум с областью, совершенно отличной как от дискурса плоти, так и от сексуальной психопатологии.

Второе замечание, на котором я хотел бы заострить ваше внимание, состоит в том, что этот дискурс мастурбации приобретает форму не столько научного анализа (хотя в нем есть явственная отсылка к научному дискурсу — и к этому я еще вернусь), сколько настоящей кампании: делаются призывы, даются советы и наказы. Пишутся специальные руководства, в том числе предназначенные для родителей. Например, приблизительно в 1860 г. мы находим справочники для отцов по поводу того, как им бороться с мастурбацией у детей.[13] И наоборот, есть трактаты для детей, для самих подростков. Самый знаменитый из них — это пресловутая «Книга без названия», у которой, конечно, нет заглавия, но зато есть иллюстрации, то есть, на одной стороне идут страницы, где разбираются все катастрофические последствия мастурбации, а рядом прилагаются изображения постепенно гниющего, проваливающегося, похожего на оскал скелета, прозрачного лица юного мастурбатора, который себя истощил.[14] Кампания эта подразумевает и создание институтов, которые должны лечить мастурбаторов или заботиться о них, выпуск брошюр о медикаментах, публичные выступления врачей, которые обещают семьям исцелить детей от этого порока. Так, от имени одного из таких институтов, больницы, открытой в Германии Зальцманом, утверждалось, что она — единственная во всей Европе, где дети никогда не мастурбируют.[15] Мы находим рецепты, сведения о медикаментах, о приспособлениях и бандажах, к которым я еще вернусь. Теперь же, чтобы завершить этот краткий обзор самого характера кампании, крестового похода,

который был присущ литературе против мастурбации, приведу вам один факт. Кажется, во времена Империи (во всяком случае, в последние годы XVIII—начале XIX века) во Франции был организован музей восковых фигур, куда родителей приглашали прийти вместе с детьми, если у последних были отмечены признаки мастурбации. Музей этот как раз и представлял в виде статуй всевозможные болезни, которые могли поразить того, кто мастурбирует. Наряду с музеями мастурбации Гревена и Дюпюитрена он исчез с карты Парижа в 1820-е гг., но в 1825 г. есть упоминание о его работе в Марселе (причем парижские медики сожалели о том, что в их распоряжении больше нет этого маленького театра).[16] Не знаю, может быть, в Марселе он существует до сих пор.

И вот в чем проблема. Почему в середине XVIII века столь внезапно, с таким размахом и шумом начался этот крестовый поход? Этот феномен известен, я не придумал его (или, во всяком случае, придумал не целиком!). Он стал предметом ряда комментариев, и сравнительно недавняя книга Ван Усселя под названием «История сексуальных репрессий» уделяет значительное и, на мой взгляд, вполне заслуженное внимание этому феномену возникновения мастурбации как проблемы в середине XVIII века. Объяснительная схема Ван Усселя такова. Она, в общем и целом, позаимствована у Маркузе — поспешно позаимствована у Маркузе — и заключается в следующем:[17] по мере развития капиталистического общества тело, которое прежде — по Ван Усселю — было «органом удовольствия», становится и должно стать «орудием эффективности», эффективности, сообразной требованиям производства. Этим вызывается раскол, цезура в теле, которое подавляется как орган удовольствия и, наоборот, кодируется, дрессируется как орудие производства, орудие эффективности. Такого рода анализ нельзя назвать неверным, он не может быть неверным в силу своей широты; однако я не думаю, что он позволяет продвинуться в объяснении частных феноменов этой кампании, этого крестового похода. Меня, говоря шире, несколько смущает в подобного рода исследованиях использование понятийных серий, являющихся одновременно психологическими и негативными: например, постановка в центр анализа та-

кого понятия, как «репрессия» или «вытеснение»; или употребление таких понятий, как «орган удовольствия», «орудие эффективности». Все это мне кажется одновременно психологическим и негативным: с одной стороны, это ряд понятий, которые, возможно, могут пригодиться в рамках психологического или психоаналитического исследования, но, по-моему, не могут отразить механику исторического процесса; с другой стороны, это негативные понятия — в том смысле, что они упускают из виду тот факт, что такая кампания, как крестовый поход против мастурбации, вызвала ряд позитивных и созидательных следствий в рамках истории общества.

И есть еще два момента, которые смущают меня в этой истории. Если кампания против мастурбации в XVIII веке действительно вписывается в процесс вытеснения тела-удовольствия и возвеличивания эффективного тела или продуктивного тела, то вместе с тем имеются две проблемы, остающиеся за рамками этой схемы. Первая из них такова: почему дело касалось именно мастурбации, а не сексуальной активности в целом? Если действительно хотели подавить или вытеснить тело-удовольствие, то почему подняли такой шум вокруг одной мастурбации, почему уделили такое внимание именно ей, не поставив вопрос сексуальности в общем виде? Между тем дело в том, что сексуальность в общем виде попала в медицинское и дисциплинарное поле зрения лишь начиная с 1850-х гг. А вот вторая проблема: не менее странно, что этот крестовый поход против мастурбации был направлен прежде всего на детей или, во всяком случае, подростков, а не на работающих людей. Мало того, это был крестовый поход против главным образом детей и подростков из буржуазной среды. Не где-нибудь, но именно в этой среде, в учебных заведениях для детей из этой среды, и не как-нибудь, но именно в виде инструкций для буржуазных семей борьба с мастурбацией и вышла на авансцену. Таким образом, если бы мы и впрямь имели дело с обыкновенным подавлением тела-удовольствия и возвеличиванием продуктивного тела, то должно было бы иметь место подавление всей сексуальности в целом и, в частности, сексуальности трудящегося, или, если угодно, взрослого трудящегося населения. Но имело место другое;

под вопросом оказалась не сексуальность, а мастурбация, причем мастурбация у детей и подростков из буржуазных семей. Мне кажется, что именно этот феномен заслуживает объяснения, и объяснения при помощи немного более подробного анализа, нежели анализ Ван Усселя.

Чтобы попытаться выяснить это (я ни в коем случае не обещаю предоставить решение и даже должен сказать, что набросок решения, который я смогу дать, будет, по всей вероятности, очень несовершенен; но все же попытаемся продвинуться вглубь) — чтобы выяснить это, нужно рассмотреть не столько темы этой кампании, сколько ее тактику, то есть рассмотреть различные темы этой кампании, этого крестового похода как проявления ее тактики. Первым бросается в глаза, разумеется, то, что можно было бы назвать (но только в первом приближении, с расчетом на более точный анализ) кульпабилизацией детей. Напротив, с удивлением замечаешь другое — то, что доля морализаторства в этом антимастурбационном дискурсе минимальна. Например, очень мало внимания уделяется различным формам сексуальных или другого рода извращений, которым могла бы способствовать мастурбация. Мы не видим древа аморальности, растущего из семени мастурбации. Когда детям запрещают мастурбировать, им грозят не растраченной в грехах и разврате, но загубленной болезнями взрослой жизнью. Таким образом, речь идет не столько о морализации, сколько о соматизации, патологизации. И эта соматизация осуществляется в трех различных формах.

Во-первых, мы встречаемся с тем, что можно было бы назвать фикцией тотальной болезни. В текстах, связанных с этим крестовым походом, мы регулярно обнаруживаем красочные описания своеобразной полиморфной болезни, абсолютной болезни без выздоровления, которая соединяет в себе все симптомы всевозможных болезней или, во всяком случае, огромное количество этих симптомов. В истощенном, разрушенном теле юного мастурбатора собираются вместе все болезненные признаки. Вот пример (причем я взял его отнюдь не из сомнительных, маргинальных текстов кампании, но из научного сочинения): это статья Серюрье из «Словаря медицинских наук», катехизиса серьезной медицины начала

XIX века. Итак: «Этот молодой человек пребывал в состоянии полного маразма, его глаза смотрели безнадежно потухшим взглядом. Он удовлетворял себя всюду, где бы ни находился по требованию природы. Его тело источало невыносимо тошнотворный запах. Его кожа имела землистый оттенок, его язык дрожал, глаза глубоко впали в глазницы, все зубы шатались, а десны были покрыты язвами, которые предвещали цинготное перерождение. Смерть стала бы для него не более чем счастливым окончанием долгих страданий».[18] Теперь вы представляете себе портрет юного мастурбатора с его фундаментальными характеристиками: истощение, крайняя худоба, инертное, полупрозрачное и размягченное тело, постоянные выделения, сочащийся изнутри гной, зловонная аура вокруг тела больного, как следствие — невозможность приблизиться к нему, многоликость симптомов. Все его тело чем-то покрыто, чем-то поражено; на нем нет живого места. И наконец, в нем уже присутствует смерть, ибо в обнажившихся зубах и провалившихся глазницах угадывается скелет. Мы в пределах, я бы сказал, научной фантастики, но, дабы не смешивать жанры, скажем: в пределах научного воображения, создаваемого и передаваемого на периферии медицинского дискурса. Я говорю «на периферии», хотя только что цитировал «Словарь медицинских наук», во всем совпадающий с множеством мелких сочинений, публиковавшихся от имени врачей, а иногда и самими врачами, но не имевших научного статуса.

[Вторая форма соматизации]: интересно, что эта кампания, приобретшая форму научной фантазии о тотальной болезни, заявляет о себе также (она сама или, во всяком случае, ее эффекты, отголоски, ряд ее элементов) в более упорядоченной медицинской литературе, более внимательной к нормам научности медицинского дискурса своей эпохи. Заглянув не в те книги, которые прямо посвящены мастурбации, а просто в книги, написанные о различных болезнях самыми именитыми врачами этого времени, вы обнаружите в них мастурбацию уже не как источник этой сказочной тотальной болезни, но как вероятную причину всякой реальной болезни. Мастурбация фигурирует в этиологической картине самых разных недугов. Она является причиной менингита, — говорит Серр в

своей «Сравнительной анатомии мозга».[19] Она является причиной энцефалита и воспаления мозговых оболочек, — говорит Пайен в своем «Исследовании энцефалита».[20] Она является причиной миелита и различных поражений спинного мозга, — говорит Дюпюитрен в статье из «Французского ланцета» за 1833 г.[21] Она является причиной болезни костей и вырождения костных тканей, — утверждает Буайе в «Лекциях о болезнях костей» от 1803 г.[22] Она является причиной глазных болезней, и в частности полной слепоты, — говорят Сансон в статье «Слепота» из «Словаря медицинских наук» [*rectius*: из «Словаря практической медицины и хирургии»][23] и Скарпа в своем «Трактате о глазных болезнях».[24] Бло в статье из «Медицинского ревю» за 1833 г. объясняет, что мастурбация часто, а может быть, и постоянно, вмешивается в этиологию всех заболеваний сердца.[25] И наконец, вы, разумеется, найдете ее в истоке поражения легких и туберкулеза, об этом сообщает уже Порталь в своих «Наблюдениях о природе и лечении рахитизма» от 1797 г.[26] Этот тезис о связи легочной болезни и мастурбации будет иметь хождение весь XIX век. Особый статус чахоточной девушки, явный интерес к ней и в то же время глубоко двусмысленную ее оценку, распространенные до самого конца XIX века, следует объяснять отчасти именно тем обстоятельством, что чахоточная всегда уносит с собой свой постыдный секрет. Также, конечно, надо сказать и о том, что мастурбация сплошь и рядом приводится в качестве источника безумия.[27] Таким образом, во всей медицинской литературе она то фигурирует как причина сказочной всеобъемлющей болезни, то, наоборот, аккуратно указывается как одна из причин в этиологии различных заболеваний.[28]

И наконец, третья форма, в которой мы сталкиваемся с принципом соматизации: медики этой эпохи заподозрили и вызвали-таки (по тем причинам, которые я только что описал) настоящий ипохондрический бред у своих пациентов-юношей — ипохондрический бред, с помощью которого им удалось повернуть дело так, что больные сами приписывали себе симптомы, связанные с этим первичным и фундаментальным пороком, каким считалась мастурбация. В медицинских трактатах, во всем этом корпусе проспектов, брошюр и т. д., то и де-

ло заявляет о себе литературный жанр «письмо больного». Не были ли эти письма сочинены самими врачами? Некоторые из них, например те, которые приводит Тиссо, явно являются его собственными произведениями; некоторые другие, по всей видимости, аутентичны. Это целый литературный жанр, жанр краткой автобиографии мастурбатора, автобиографии, сосредоточенной вокруг его тела, истории его тела, истории его болезней, ощущений, всевозможных расстройств, подробно описываемых начиная с детства или, во всяком случае, отрочества — и до момента признания.[29] Приведу вам один пример такого рода из книги Розье под названием «Тайные привычки у женщин». Вот этот текст (неважно, что написан он мужчиной): «Эта привычка привела меня в ужасное состояние. Я не надеюсь и на несколько лет дальнейшей жизни. Меня ежедневно обуревает страх. Я чувствую, как смерть шаг за шагом приближается ко мне [...]. С тех пор [как я приобрел эту дурную привычку. — *М. Ф.*] меня стала охватывать слабость, которая с каждым днем усиливалась. По утрам, когда я просыпался [...], у меня случались обмороки. Мои конечности начали издавать потрескивание, подобное тому, какое производит приводимый в движение скелет. Через несколько месяцев [...] я каждый день, по утрам, поднявшись с постели, стал харкать и сморкаться кровью, иногда живой, а иногда уже свернувшейся. Я испытывал нервные припадки, которые не позволяли мне шевелить руками. У меня бывали головокружения и время от времени болело сердце. Кровяные выделения [...] становятся все обильнее [и к тому же у меня насморк! — *М. Ф.*]».[30]

Итак, во-первых, научная фикция тотальной болезни, далее, этиологическая кодировка мастурбации в общепринятых нозографических категориях и, наконец, организация под нажимом и при участии самих врачей своеобразной ипохондрической тематики, соматизации следствий мастурбации в речи, в жизнедеятельности, в ощущениях, в самом теле больного.[31] Я не вижу оснований считать, что мастурбация была перенесена или просто занесена под моральную рубрику заблуждения. Напротив, я бы сказал, что в этой кампании мы имеем дело с соматизацией мастурбации: она соотносится с телом или,

во всяком случае, ее следствия соотносятся с телом, с областью медицины, — все в ней и в том числе речь и опыт субъектов. За всем этим предприятием, которое, как видите, глубоко укоренено внутри медицинского дискурса и медицинской практики, за всем этим научным сочинительством просматривается то, что можно было бы охарактеризовать как неисчерпаемую причинную силу детской сексуальности или как минимум мастурбации. И мне кажется, что произошло тогда, в общем, вот что. Мастурбация усилиями самих врачей, по инициативе самих врачей приобрела характер своего рода рассеянной, общей и полиморфной этиологии, позволяющей соотнести с нею, то есть с некоторым сексуальным запретом, все поле патологического, включая смерть. Подтверждением этому может служить то обстоятельство, что в обсуждаемой литературе постоянно встречается, скажем, идея о том, что мастурбация не имеет собственной симптоматологии, однако ее следствием может быть какая угодно болезнь. Также часто говорится, что время проявления такого следствия абсолютно непредсказуемо, и детской мастурбацией вполне может быть вызвана старческая болезнь. В пределе, умирающий от старости умирает от мастурбации, которой занимался в детстве, и от связанного с нею преждевременного истощения своего организма. Мастурбация постепенно становится универсальной причиной, универсальным происхождением всех болезней.[32] Трогая руками свои половые органы, ребенок раз и навсегда ставит под удар всю свою жизнь, причем не имея возможности рассчитать последствия, даже если он уже относительно развит и сознателен. Иными словами, в ту же эпоху, когда патологическая анатомия подбиралась к обнаружению в теле болезненной каузальности, на которой будет основываться вся клиническая и позитивная медицина XIX века, в это же самое время (то есть в конце XVIII—начале XIX века) набирала обороты кампания против мастурбации, в рамках которой на уровне сексуальности, а точнее, на уровне аутоэротизма и мастурбации, открывалась другая медицинская, другая патогенетическая каузальность, которой суждено было сыграть вспомогательную и обусловливающую роль по отношению к органической каузальности, выявленной впоследствии вели-

кими клиницистами и патологоанатомами XIX века.[33] Сексуальность позволяет объяснить то, что не поддавалось объяснению иными путями. И в то же время она выступает добавочной каузальностью, поскольку подкрепляет видимые, обнаруживаемые в теле причины своеобразной исторической этиологией, подразумевающей ответственность больного за его собственную болезнь: если ты болен, то потому, что ты хотел этого; если твое тело поражено, то потому, что ты его трогал.

Разумеется, такого рода патологическая ответственность больного за свою болезнь не была открытием. Но мне кажется, что в обсуждаемый момент она претерпевает двойную трансформацию. В самом деле, в традиционной медицине, в той медицине, которая царила до самого конца XVIII века, врачи тоже всегда стремились установить некоторую ответственность больного за свои симптомы и за свою болезнь, пользуясь понятием режима. Несоблюдение режима, излишества, всякого рода неблагоразумие — вот что делало больного виноватым в болезни, которая его постигла. Теперь же эта общая каузальность в некотором смысле стягивается вокруг сексуальности, а скорее даже — вокруг собственно мастурбации. На смену старому вопросу «что же ты сделал со своим телом?» постепенно приходит новый вопрос — «что ты натворил своими руками?». И одновременно с тем как ответственность больного за свою болезнь смещается от режима вообще к мастурбации в частности, — сексуальная ответственность, которая прежде, в той же медицине XVIII века, признавалась и определялась исключительно для венерических болезней, теперь распространяется на все болезни. Происходит взаимопроникновение между открытием аутоэротизма и назначением патологической ответственности: автопатологизация. Детство нагружается патологической ответственностью, и медицина XIX века об этом не забудет.

Итак, вследствие этой общей этиологии, вследствие причинной силы, которой теперь обладает мастурбация, ребенок несет ответственность за всю свою жизнь, за свои болезни и за свою смерть. Он ответствен за нее, однако виновен ли он в ней? Это второй момент, на котором я хочу заострить внима-

ние. В самом деле, мне кажется, что участники этого крестового похода твердо настаивали на том, что ребенок не может считаться действительным виновником своей мастурбации. Почему? Да просто-напросто потому, что у мастурбации, как считалось, нет эндогенного происхождения. Да, половое созревание, нагнетание телесных жидкостей, как тогда говорили, развитие половых органов, усиленная секреция, натяжение стенок, общее возбуждение нервной системы — да, все эти факторы могут объяснить, почему ребенок мастурбирует, однако сама природа ребенка в его развитии должна считаться неповинной в мастурбации. Впрочем, еще Руссо говорил, что надо вести речь не о природе, но об образце.[34] Вот почему, поднимая проблему мастурбации, медики этой эпохи настаивают на том, что она не связана с естественным развитием, с естественным созреванием, о чем как нельзя лучше свидетельствуют случаи ее более раннего появления. И с конца XVIII века мы то и дело сталкиваемся с наблюдениями над мастурбацией у детей препубертатного периода, в том числе у совсем маленьких. Моро Деласарт приводит случай двух девочек, которые мастурбировали в возрасте семи лет.[35] Розье в 1812 г. наблюдает слабоумного семилетнего ребенка из детского приюта на улице Севр, который также мастурбирует.[36] Сабатье собирает рассказы девочек-подростков, признающихся в том, что мастурбировали с шести лет.[37] Сериз в своем тексте от 1836 г. под названием «Медик в приюте» пишет: «В приюте [и в других местах] мы видели двухлетних, трехлетних детей, совершенно автоматические движения которых несомненно предвещали необычную чувствительность».[38] И наконец, де Бурж в своем «Справочнике отца семейства» от 1860 г. советует: «Следите за детьми с колыбели».[39]

Важность, придаваемая этой препубертатной мастурбации, как раз и связана со стремлением, в некотором смысле, снять с ребенка или хотя бы с природы ребенка ответственность за этот феномен мастурбации, который в то же время, в другом смысле, делает ребенка ответственным за все, что с ним случится. Так кто же во всем виноват? Виноваты внешние обстоятельства, то есть случай. Доктор Симон в 1827 г. в своем «Трактате о гигиене в приложении к подросткам» выражается

так: «Зачастую уже в самом нежном возрасте, в четыре—пять лет, а иногда и раньше, детей, вынужденных проводить свое время дома, какой-либо случай или зуд подталкивает к тому, чтобы потрогать свои половые органы. Возбуждение, вызванное легким прикосновением, влечет за собой прилив крови, нервную эмоцию и моментальное изменение формы органа, а это, в свою очередь, возбуждает любопытство».[40] Как видите, дело в случае, в непреднамеренном, подчас механическом жесте, к которому удовольствие не причастно. Психика вмешивается в процесс лишь единожды, и то в качестве любопытства. Однако чаще всего говорят не о случае. Наиболее распространенной причиной мастурбации в текстах этого крестового похода является совращение, совращение взрослым: порок приходит извне. «Разве можно предположить, — пишет Мало в сочинении под названием „Новый Тиссо", — что мастурбатор сам, без всякого посредничества, может сделаться преступником? Нет, идею подобного рода разврата пробуждают в нем посторонние советы, намеки, откровения, примеры. Надо было бы иметь совершенно развращенное сердце, чтобы с рождения представлять себе тот противоестественный порок, всю степень чудовищности которого нам и самим трудно оценить».[41] Иными словами, природа здесь ни при чем. А примеры? Это может быть пример, поданный ребенком постарше, однако чаще всего это непроизвольное и неосторожное потворство со стороны родителей или воспитателей при визитах в туалет — эти «неблагоразумные и распущенные руки», как говорится в одном тексте.[42] Это может быть и, наоборот, намеренное и на сей раз скорее развратное, чем неосторожное, возбуждение со стороны, к примеру, кормилицы, желающей успокоить дитя. Это может быть самое обыкновенное совращение со стороны слуг, воспитателей или учителей. Очень быстро, можно сказать, с самого начала, кампания по борьбе с мастурбацией обращается против сексуального развращения детей взрослыми, а еще более, чем взрослыми, повседневным окружением, то есть всеми, кому в ту эпоху полагалось находиться в доме. Горничная, гувернантка, воспитатель, дядя и тетя, двоюродные братья и сестры и т. д. — все они вкрадываются между добродетелью родителей и природной невин-

ностью ребенка и вводят это измерение извращенности. Деланд в 1835 г. пишет: «Особенно опасайтесь домработниц-женщин; [поскольку] малолетних детей оставляют на их попечение, они нередко пользуются детьми в целях компенсации своего вынужденного безбрачия».[43] Влечение взрослых к детям — вот в чем следует видеть источник мастурбации. Андриё приводит пример, который повторяется во всей литературе этой эпохи, а потому, я думаю, вы позволите мне его процитировать. Опять-таки в истоке этого фундаментального недоверия оказывается преувеличенный, а возможно, и придуманный рассказ; или, точнее говоря, этот пример ясно показывает, каков истинный адресат кампании: ее мишень — домашние, домашние во всем расширении этого слова, то есть все промежуточные внутрисемейные персонажи. Итак, одна малолетняя девочка, за которой ухаживала кормилица, стала чахнуть. Родители встревожились. И вот однажды они входят в комнату, где находилась кормилица, и с превеликим ужасом «обнаруживают эту несчастную [речь идет о кормилице. — *М. Ф.*] изнуренной, застывшей в неподвижности рядом с грудным ребенком, который [все еще], в омерзительном и, разумеется, бесплодном сосании, пытается получить пищу, которую могла бы дать ему только грудь!!!».[44] Вот вам бесспорная внутрисемейная мания. Тут, рядом с ребенком, дьявол — дьявол в обличье взрослого, взрослого-посредника, если быть точным.

Таким образом, обвинению подвергается не ребенок, но промежуточное и вредоносное пространство дома, причем эта кульпабилизация приводит, в конечном счете, к виновности родителей, так как несчастья происходят именно потому, что родители не хотят брать на себя непосредственную заботу о своих детях. Их безучастность, их невнимательность, их нерадивость и стремление к покою — вот что, по большому счету, выносит на свет детская мастурбация. Ведь в конце концов им просто надо было быть рядом и смотреть за своим ребенком. Поэтому вполне естественно, что результатом кампании — и это ее третья важная особенность — становится упрек в адрес родителей и отношения родителей к своим детям внутри семьи. В кампании, предметом которой является детская мастурбация, адресатом увещевания или, собственно

говоря, даже упрека становятся родители: «Подобные случаи, число которых неуклонно растет, непременно должны, — пишет Мало, — приучить отцов и матерей к [большей] осмотрительности».[45] Вина родителей провозглашается в рамках этого крестового похода устами самих детей, всех этих истощенных малолетних мастурбаторов, которые оказались на краю могилы и перед самой смертью в последний раз обращаются к своим родителям с такими словами (как один из них, в письме, которое приводит Дуссен-Дюбрей): «Как же они жестокосердны [...] — родители, воспитатели, друзья, которые не предостерегли меня от опасности этого порока». А Розье пишет: «Родители [...], которые с непростительной беспечностью предали своих детей пороку, способному их погубить, должны быть готовы к тому, чтобы однажды услышать отчаянный крик умирающего ребенка, достигшего последней стадии болезни: „Будь проклят тот, кто меня упустил!"».[46]

Тем же, за что ратуют, — и это четвертая важная особенность кампании, — чего требуют, является, если смотреть в глубину, новая организация, новая физика семейного пространства: устранение всех посредников, по возможности отказ от прислуги и, во всяком случае, тщательный надзор за домашними; в идеале же ребенок должен быть один в сексуально безопасном пространстве. «Если бы единственным обществом девочки могла быть ее кукла, — пишет Деланд, — а единственным обществом мальчика — его лошадки, солдатики и барабаны, это было бы лучше всего. Такая изоляция была бы для них исключительно благоприятной».[47] Вот, если хотите, идеальная ситуация для ребенка: быть одному со своей куклой или барабаном. Идеальная ситуация — и неосуществимая ситуация. На деле же семейное пространство должно быть пространством постоянного надзора. В туалете, при засыпании, при пробуждении, во время сна дети всегда должны быть под наблюдением. Ко всему вокруг своих детей, к их одежде, к их телу родителям следует быть предельно внимательными. Тело ребенка должно быть под их неусыпным присмотром. Оно — предмет первейшей заботы взрослых. Взрослые должны прочитывать его как геральдический знак или как поле возможных признаков мастурбации. Если ребенок

бледен, если у него тусклое лицо, синеватые или сиреневатые веки, томный взгляд, если, поднявшись с постели, он выглядит усталым или апатичным, то причина всего этого ясна: мастурбация. Если ребенок с трудом просыпается в положенный час, значит он мастурбирует. Надо быть рядом с ним в ключевые, опасные моменты: когда он ложится спать и когда просыпается. Также родителям следует расставить ряд ловушек, с помощью которых они смогут застать ребенка врасплох, за совершением того, в чем заключен не столько проступок, сколько первопричина всех его болезней. Вот какие советы дает родителям Деланд: «Присматривайте за ребенком, если он ищет темноты и одиночества, если он подолгу остается один, не приводя основательных причин уединения. Будьте особенно внимательны к нему в те минуты, которые он проводит в постели, прежде чем уснуть или встать; именно в это время можно застигнуть мастурбатора врасплох. Его руки никогда не бывают снаружи, обычно ему нравится забираться под одеяло с головой. Стоит ему лечь в постель, и вот он уже, кажется, погружен в глубокий сон: эта особенность всегда настораживает внимательного человека и более других способствует пробуждению или усилению бдительности родителей. [...] И вот вы застигли молодого человека, чьи руки, если он не успел их переместить, — на органах, с которыми он балуется, или рядом с ними. Также вы можете заметить напряженный член или даже следы недавнего семяизвержения: о последнем можно догадаться и по специфическому запаху, который распространяется от постели или запачканных пальцев. Поэтому следует насторожиться, если мальчики, ложась в постель, или во время сна ведут себя так, как я только что описал [...]. Следы семени надо расценивать как определенные доказательства онанизма, когда речь идет о неполовозрелых детях, и как вполне вероятные признаки этой привычки у подростков».[48]

Простите меня за то, что я привел все эти детали (к тому же под портретом Бергсона![49]), однако я думаю, что мы имеем дело с внедрением той семейной драматургии, которая всем нам хорошо знакома, великой семейной драматургии XIX и XX веков, этого малого театра семейной комедии и трагедии с его кроватями и покрывалами, с его темнотой и светильника-

ми, с осторожным приближением на цыпочках, с запахами и пятнами на тщательно проверяемых простынях; всей этой драматургии, в которой любопытство взрослых вплотную приближается к телу ребенка. Это подробная симптоматология удовольствия. В этом все более тесном приближении взрослого к телу ребенка в тот момент, когда это тело испытывает удовольствие, мы, в конечном счете, сталкиваемся с правилом, симметричным правилу одиночества, о котором я говорил только что: мы сталкиваемся с правилом непосредственного физического присутствия взрослого рядом с ребенком, вокруг ребенка, чуть ли не на ребенке. Если есть необходимость, — как говорит Деланд, — то вам надо спать рядом с юным мастурбатором, чтобы помешать ему мастурбировать, спать с ним в одной комнате, а, может статься, и в одной постели.[50]

Существует целый ряд техник, позволяющих в том или ином смысле связать тело взрослого с телом ребенка в состоянии удовольствия — или с телом ребенка, которому нужно помешать войти в состояние удовольствия. Так, детям связывали на ночь руки, причем один из шнурков привязывался также к руке взрослого. Когда ребенок шевелил руками, взрослый просыпался. Известна история подростка, который сам просил привязывать его к стулу в спальне своего старшего брата. К стулу, на котором он спал, были прикреплены колокольчики, и когда он начинал двигаться во сне с намерением мастурбировать, колокольчики звенели, отчего брат просыпался.[51] Розье приводит историю воспитанницы пансиона, «тайная привычка» которой однажды была замечена начальницей. Начальница вся «содрогнулась» и «с этой минуты» решила «делить свой сон с юной больной; никогда, ни на мгновение она не позволяла той ускользнуть от своего взгляда». И наконец, «несколько месяцев спустя» настоятельница (монастыря или пансиона) вернула юную воспитанницу родителям, которые с гордостью смогли представить свету «в высшей степени разумную, здоровую, сознательную, исключительно приятную девушку»![52]

За всеми этими глупостями скрывается, как мне кажется, очень и очень важная тема. Я имею в виду правило прямого,

непосредственного и постоянного сопровождения тела ребенка телом взрослого. Да, посредники исчезают, но, в позитивных терминах, это означает вот что: тело ребенка должно находиться под бдительным присмотром или, в некотором смысле, неотступно сопровождаться телом его родителей. Максимальная близость, предельный контакт, почти слияние; обязательное ограничение тела одних телом других; обязанность взгляда, присутствия, сопричастности, контакта. Именно об этом говорит Розье, комментируя случай, который я приводил только что: «Мать подобной больной должна стать, в некотором роде, одеждой или тенью своей дочери. Когда что-либо угрожает детенышам двуутробки [кажется, это нечто вроде кенгуру. — *М. Ф.*], мать не только присматривает за ними, но и складывает их прямо в свое туловище».[53] Включение тела ребенка в тело родителей: вот в чем, на мой взгляд, состоит (и простите меня за долгий окольный путь с атаками и отступлениями) центральный предмет всего этого предприятия, всего этого крестового похода. Речь идет о конституции нового семейного тела.

Аристократическая и буржуазная семья (кампания, напомню, ограничивалась именно этими формами семьи) до середины XVIII века была по сути своей реляционным ансамблем, сетью отношений восходящей линии, нисходящей линии, бокового родства, двоюродных связей, первородства, брака, которые соответствовали схемам передачи рода, деления и распределения имущества и социальных статусов. Именно взаимные отношения служили действительным основанием сексуальных запретов. Теперь же складывается, в некотором смысле, сжатое, твердое, плотное, массивное, телесное, аффективное семейное ядро: семья-клетка вместо реляционной семьи, семья-клетка с ее телесным пространством, с ее аффективным, сексуальным пространством, без остатка заполненным прямыми отношениями «родители — дети». Иными словами, я бы не сказал, что преследуемая и запрещаемая сексуальность ребенка является неким следствием сложения сжатой, или супружеской, родительской семьи XIX века. Я бы сказал, что, наоборот, сексуальность ребенка — одна из составных частей этой семьи. С выдвижением на передний план

сексуальности ребенка, а точнее сказать, его занятия мастурбацией, с выдвижением на передний план тела ребенка, подверженного сексуальной опасности, родителям был предписан императив: ограничивать обширное, полиморфное и опасное пространство семейного дома и быть со своими детьми, со своим потомством своего рода единым телом, связанным заботой о детской сексуальности, тревогой о детском аутоэротизме и мастурбации: родители, будьте бдительны к возбуждению ваших дочерей и желанию ваших сыновей, ибо только в этом случае вы будете родителями в подлинном смысле этого слова! Не стоит забывать о приведенном Розье образе двуутробки. Складывается семья-кенгуру: тело ребенка оказывается ядром, центральным элементом тела семьи. Маленькая семья сплачивается вокруг теплой и подозрительной постели подростка. И постановка во главу угла сексуализируемого, самоэротизируемого тела ребенка является орудием, ключевым элементом, конститутивным вектором того, что можно было бы назвать великой — или, если угодно, маленькой — культурной инволюцией семьи вокруг отношения «родители — дети». Нереляционная сексуальность, аутоэротизм ребенка, выступивший узловой точкой, точкой схода обязанностей, виновности, власти, заботы, физического присутствия родителей — все это было одним из факторов сложения прочной и солидарной семьи, телесной и аффективной семьи, маленькой семьи, которая кристаллизуется, конечно, внутри семьи-сети, но и в ущерб ей, и образует семью-клетку со своим телом, со своей физическо-аффективной и физическо-сексуальной субстанцией. Возможно (во всяком случае, я это допускаю), что большая реляционная семья, сотканная из разрешенных и запрещенных отношений, исторически сложилась на фоне запрета инцеста. Но я бы сказал, что маленькая, аффективная, прочная, субстанциальная семья, которая характеризует наше общество или, во всяком случае, которая возникла в XVIII веке, выросла из подразумеваемого инцеста взглядов и жестов вокруг тела ребенка. Этот эпистемофилический инцест, этот инцест прикосновения, взгляда и надзора лег в основание семьи нового времени.

Разумеется, прямой контакт родитель—ребенок, который столь императивно предписан в этой семейной клетке, дает

родителям абсолютно безграничную власть над ребенком. Безграничную? И да и нет. Ибо на деле в тот самый момент, когда родители в результате описанного крестового похода получают установку, предписание вести тщательный, детальный, почти унизительный надзор за телом своих детей, — в этот момент и как раз постольку, поскольку им это предписывается, они попадают в область совершенно новых отношений и нового контроля. Вот что я имею в виду. Когда родителям говорят: «Будьте начеку, вы не знаете, что происходит с телом вашего ребенка, что происходит в его постели», — когда мастурбация выходит на авансцену морали как едва ли не первейший запрет новой этики новой семьи, — в этот же самый момент, как вы помните, та же мастурбация включается не в регистр аморального, но в регистр болезни. Ее представляют как своего рода универсальную практику, как некое опасное, нечеловеческое и монструозное «х», следствием которого может быть любая болезнь. В силу чего родительский, внутренний контроль, который предписывается отцам и матерям, по необходимости сопрягается с внешним медицинским контролем. Внутренний родительский контроль должен соотнести свои формы, критерии, приемы и решения с медицинскими основаниями, с медицинским знанием: поскольку ваши дети станут больными, поскольку их тела подвергнутся таким-то и таким-то физиологическим, функциональным, а в известных случаях и патологическим нарушениям, которые хорошо известны медикам, — вот по этой причине (говорят родителям) вы должны следить за детьми. Поэтому отношение «родители — дети», постепенно утверждающееся в рамках своего рода сексуально-телесной единицы, должно быть гомогенным отношению «врач — больной»; оно должно продлевать это отношение. Вот этот отец, вот эта мать, столь близкие к телу своего ребенка, в буквальном смысле охватывающие своим телом его тело, должны быть в то же время родителями-диагностами, родителями-терапевтами, родителями-медиками. Но это также означает, что их контроль является подчиненным, что он должен быть открыт для медицинского, гигиенического вмешательства, что, как только их что-либо встревожит, им следует обращаться к внешней, научной медицинской инстан-

ции. Иными словами, одновременно с закрытием клеточной семьи в насыщенном аффективном пространстве происходит, в перспективе возможной болезни, назначение рациональности, которая подключает эту же самую семью к внешней медицинской технологии, к медицинской власти и знанию. Новая семья, субстанциальная, аффективная и сексуальная семья, вместе с тем является семьей медикализованной.

Вот две иллюстрации этого процесса закрытия семьи, сопровождающегося нагрузкой семейного пространства медицинской рациональностью. Первая из них касается проблемы признания. Родители должны следить, внимательно присматриваться, подбираться на цыпочках, срывать одеяло, спать рядом [с ребенком]; но, как только порок обнаружен, для его лечения они должны немедленно обратиться к врачу. Однако это лечение будет полноценным и эффективным только в том случае, если больной с ним согласен и сам участвует в нем. Необходимо, чтобы больной признал свою болезнь, чтобы он оценил ее последствия, чтобы он согласился с необходимостью лечения. Словом, чтобы он признался. При этом во всех текстах этой кампании говорится, что признание ребенка не может и не должно совершаться перед родителями. Он должен признаться именно врачу: «Самым необходимым из всех доказательств является признание», — говорит Деланд. Ибо признание устраняет «последние сомнения». Оно делает «более полноценным» и «более действенным вмешательство врача». Оно не позволяет пациенту отказаться от лечения. Оно наделяет врача и «всех авторитетных лиц [...] таким положением, которое позволяет им идти прямо к цели и, следовательно, достичь этой цели».[54] Один английский автор по имени Ламерт приводит очень интересную дискуссию о том, какому именно врачу следует признаваться: семейному врачу или специалисту. И делает заключение: нет, семейному врачу признаваться не следует, так как он слишком близок к семье.[55] Передавать близким нужно лишь коллективные секреты, индивидуальные же секреты нужно сообщать специалисту. Далее во всей этой литературе следует длинный перечень примеров излечения, достигнутого благодаря признанию врачу. Выходит, сексуальность, мастурбация ребенка, как объект

постоянного родительского надзора, выяснения и контроля, в то же время становится объектом признания и дискурса только извне, со стороны врача. Внутренняя медикализация семьи и отношений «родители — дети» сопровождается внешней дискурсивностью в отношениях с врачом. Будучи окружена молчанием в пределах семьи, сексуальность становится явной благодаря системе надзора. Но там, где она становится явной, о ней не следует говорить. О ней следует говорить за пределами этого пространства, у врача. Словом, детская сексуальность помещается в сердцевину семейной связи, в центр механизма семейной власти, но оглашение детской сексуальности одновременно смещается к медицинскому институту и авторитету. Сексуальность — это такая материя, о которой можно говорить только врачу. Физическая интенсивность сексуальности в семье соседствует с дискурсивной открытостью за пределами семьи, на медицинской территории. Именно медицина заговорит о сексуальности и разговорит сексуальность, тогда как семья обнаружит сексуальность, ибо именно семья наблюдает за нею.[56]

Другим элементом, свидетельствующим об этом сопряжении семейной и медицинской власти, является проблема инструментария. Дабы воспрепятствовать мастурбации, семье надлежит стать передаточным агентом медицинского знания. Семья, в сущности, призвана быть не более чем посредником, своего рода приводным ремнем между телом ребенка и техникой врача. Этим и обусловлены варианты лечения, которые назначают врачи, но применять которые должна семья. В тех медицинских текстах и брошюрах, о которых я вам рассказывал, описывается множество таких вариантов. Были знаменитые ночные рубашки с застежками внизу, которые, возможно, вы и сами еще застали; были бандажи. Был пресловутый пояс Жалад-Лаффона, который использовался несколько десятков лет и представлял собой своеобразный металлический корсет, надевавшийся на низ живота (в его разновидности для мальчиков была предусмотрена глухая металлическая трубочка с несколькими отверстиями для мочеиспускания, изнутри окленная мягкой тканью). Его следовало носить всю неделю, и в установленный день висячий замок, с помощью которого он

фиксировался на теле, отпирался, чтобы ребенка можно было помыть. Этот пояс был распространен главным образом во Франции в начале XIX века.[57] Были механические орудия, как например палочка Вендера, изобретенная в 1811 г. и представлявшая собой вот что. В деревянной палочке делалась выемка, ее внутренние стороны гладко обтачивались, и получившаяся узкая скобка надевалась на половой орган мальчика, а затем привязывалась веревочкой. По словам Вендера, этого было достаточно, чтобы предотвратить всякое сладостное ощущение.[58] Хирург Лалеман предлагал вводить в уретру мальчиков постоянный зонд. Если я не ошибаюсь, он же в самом начале XIX века использовал для борьбы с мастурбацией акупунктуру, во всяком случае, вводил в половые органы иглы.[59] Разумеется, были химические средства, например опиаты, применявшиеся Давила, ванны и клизмы с различными растворами.[60] Весьма сильнодействующее средство изобрел Ларрей, хирург Наполеона. Это средство заключалось в следующем: в уретру мальчика вводили раствор того, что Ларрей называет (я не знаю точно, что это такое) субкарбонатом соды (что это — бикарбонат? — непонятно). Половой член перед этим туго перевязывался у основания, чтобы этот раствор субкарбоната соды оставался в уретре и не попадал в мочевой пузырь; это вызывало расстройства, которые требовали нескольких дней или даже недель лечения, и в это время ребенок не мастурбировал.[61] Применялось прижигание уретры, а для девочек — прижигание и удаление клитора.[62] Если я не ошибаюсь, в самом начале XIX века Антуан Дюбуа отрезал клитор одной больной, которую безуспешно пытались лечить иными способами, связывая ей руки и ноги. Она лишилась клитора «одним прикосновением скальпеля», — сообщает доктор Дюбуа. Успех был «полным».[63] В 1822 г. Грефе, опять-таки после безрезультатного лечения (больной прижигали голову, то есть при помощи огня нанесли ей рану, рубец на голове, после чего вливали туда виннокаменную кислоту, чтобы рана не заживала, однако мастурбация не прекратилась), также провел ампутацию клитора. И «здравый рассудок» больной, — который находился в помутнении и даже, я думаю, так никогда и не развился (это была слабоумная), — «бывший, в некотором ро-

де, заложником [порока], после этого начал быстрое развитие».[64]

Разумеется, и в XIX веке велись дискуссии о правомерности этих кастраций или квазикастраций, однако Деланд, видный теоретик мастурбации, утверждает в 1835 г., что «такое решение отнюдь не противоречит морали, напротив, оно вполне отвечает самым строгим моральным требованиям. Удаляя половой орган, поступают так же, как и при всякой ампутации: жертвуют второстепенным ради главного, частью ради целого». «Какой же вред может причинить женщине удаление клитора?» — спрашивает он. «Наибольший вред» такой ампутации заключается в том, что женщина, подвергшаяся ей, попадет «в и без того многочисленную категорию» женщин, «невосприимчивых» к удовольствиям любви, «что не мешает им становиться хорошими матерями и образцовыми [*rectius*: преданными] супругами».[65] Еще и в 1883 г. хирурги, к примеру Гарнье, практиковали ампутацию клитора у девочек, которые предавались мастурбации.[66]

Так или иначе во всем том, что есть все основания назвать активным физическим преследованием детства и мастурбации в XIX веке, которое, не возымев таких же последствий, носило размах, аналогичный преследованию колдунов в XVI—XVII веках, складывается взаимодействие и преемственность медицины и больного. При посредничестве семьи налаживается контакт медицины и сексуальности: семья, обращаясь к врачу, принимая, одобряя и применяя в случае необходимости назначенное им лечение, сопрягает, с одной стороны, сексуальность и, с другой стороны, медицину, которая доселе практически не имела дела с сексуальностью, подбираясь к ней разве что окольным и опосредованным путем. Семья становится проводником медикализации сексуальности в своем собственном пространстве. В итоге намечаются сложные отношения своеобразного раздела: с одной стороны, есть молчаливый надзор, недискурсивная нагрузка тела ребенка родителями, а с другой стороны, есть внесемейный, научный дискурс, а именно — дискурс признания, ограниченный областью медицинской практики, наследующей в этом смысле христианскому признанию. Наряду с этим разделом сущест-

вует преемственность, которая усилиями семьи, в семье, обеспечивает постоянное присутствие сексуальной медицины, своего рода медикализацию, все более тщательную медикализацию сексуальности, — и прививает в семейном пространстве техники, формы вмешательства медицины. Идет процесс обмена: медицина становится средством этического, телесного и сексуального контроля в рамках семейной морали и одновременно внутренние пороки семейного тела, сосредоточенного вокруг тела ребенка, приобретают статус медицинской проблемы. Пороки ребенка, вина родителей подталкивают медицину к медикализации проблемы мастурбации, детской сексуальности и тела ребенка в целом. Медицинско-семейный тандем организует одновременно этическое и патологическое поле, в котором проявления сексуальности оказываются объектом контроля, принуждения, дознания, суда и вмешательства. Иными словами, инстанция медикализованной семьи функционирует как принцип нормализации. Именно семья, которой дана вся прямая, непосредственная власть над телом ребенка, но которая контролируется извне медицинским знанием и техниками, и порождает, оказывается способна породить в это время, начиная с первых десятилетий XIX века, понятия нормального и ненормального в сексуальной области. Именно семья становится как принципом детерминации, дискриминации сексуальности, так и принципом перевоспитания ненормального.

Разумеется, тут возникает вопрос, на который необходимо ответить: каков источник всей этой кампании и каково ее значение? Почему понадобилось представить мастурбацию как первостепенную проблему или, во всяком случае, как одну из первостепенных проблем, выдвигаемых отношениями между родителями и детьми? На мой взгляд, эту кампанию следует поместить в рамки общего процесса сложения клеточной семьи, о которой я только что вам говорил и которая, вопреки своей кажущейся закрытости, доводит до ребенка, до индивида, до тел и жестов ту власть, что выступает в обличье медицинского контроля. По сути дела, от сжатой семьи, от семьи-клетки, от этой телесной и субстанциальной семьи требовалось вот что: принять на себя ответственность за тело ребенка,

которое в конце XVIII века становилось очень важной ставкой сразу в двух смыслах. Во-первых, от сжатой семьи требовалось взять на себя ответственность за тело ребенка просто потому, что ребенок — это живой человек, который не должен умереть. Постепенно обнаруживающийся политический и экономический интерес выживания ребенка — это, без сомнения, одна из причин, по которым вялый, полиморфный и запутанный аппарат большой реляционной семьи понадобилось заменить узконаправленным, мощным и постоянным аппаратом семейного надзора, то есть надзора родителей за детьми. Родители отвечают за детей, родители должны оберегать детей, оберегать в двух смыслах: препятствовать их гибели, то есть, разумеется, следить за ними, но вместе с тем подготавливать их к дальнейшей жизни. Будущее детей находится в руках родителей. И государство, новые производственные формы или отношения требуют от родителей, чтобы издержки, подразумеваемые самим существованием семьи, родителей и явившихся на свет детей, не оказались бесполезными вследствие преждевременной смерти последних. Таким образом, тело и жизнь детей попадает в сферу ответственности родителей: такова одна из причин, по которым от родителей требуется окружить детские тела постоянным и пристальным вниманием.

Во всяком случае, я думаю, что именно в такой контекст следует поместить крестовый поход против мастурбации. В сущности, этот поход — лишь часть более широкой кампании, которая вам хорошо известна, кампании за естественное воспитание детей. Что, собственно, такое эта знаменитая идея естественного воспитания, которая получает распространение во второй половине XIX [*rectius*: XVIII] века? Это идея такого воспитания, которое, во-первых, было бы всецело или по большей своей части доверено самим родителям, естественным наставникам своих детей. Всевозможные приглашенные, воспитатели, гувернеры и гувернантки могут быть в лучшем случае посредниками и должны быть как можно более верными посредниками в этом естественном отношении между родителями и детьми. Идеальным же является такой порядок, при котором все эти посредники исчезают, и родители дейст-

вительно берут на себя прямую ответственность за детей. Однако естественное воспитание также означает, что воспитание должно повиноваться некоторой рациональной схеме, ряду правил, которые как раз и должны обеспечить, с одной стороны, здоровье ребенка, с другой стороны — его подготовку и нормальное развитие. Правила же эти, равно как и рациональность этих правил, определяются такими инстанциями, как профессиональные воспитатели, врачи, педагогическое и медицинское знание, — словом, целым рядом технических инстанций, которые обрамляют семью и возвышаются над нею. Когда в конце XVIII века начинаются разговоры о естественном воспитании, за ними скрываются одновременно две цели: прямой контакт родителей и детей, это сосредоточение ограниченной семьи вокруг тела ребенка, и в то же время рационализация, освоение педагогической или медицинской рациональностью отношения «родители — дети». Ограничивая семью, приводя ее к компактному и сжатому виду, ее, собственно говоря, делают проницаемой для политических и моральных критериев; ее делают проницаемой для определенного типа власти; ее делают проницаемой для целой властной техники, проводниками которой в семью и являются медицина и медики.

Но когда обнаруживается сексуальность, в тот самый момент, когда от родителей требуют, так сказать, всерьез и непосредственно взять на себя ответственность за своих детей в том, что касается их телесности, самого их тела, то есть их жизни, жизнеспособности, готовности к обучению, — что происходит в этот момент на уровне социальных слоев, о которых я все это время говорил, то есть аристократии и буржуазии? В этот момент от родителей требуют не только воспитывать своих детей так, чтобы они могли принести пользу государству, но и фактически передать их в руки государства, доверить их если не начальному воспитанию, то, по меньшей мере, технической подготовке, такому обучению, которое будет прямо или косвенно контролироваться государством. Первые призывы к созданию государственного или подконтрольного государству обучения раздаются именно тогда, когда начинается поход против мастурбации во Франции и Германии,

то есть в 1760—1780-е гг. У Шалотуа в его «Опыте о национальном образовании» звучит тема воспитания, обеспечиваемого государством.[67] В это же время Базедов создает свой «Филантропинум» с идеей особого воспитания для избранных классов общества, которое должно осуществляться не в опасном пространстве семьи, но в пространстве специальных институтов, контролируемых государством.[68] Да и вообще, помимо этих проектов, помимо единичных образцовых мест вроде базедовского «Филантропинума», это эпоха, когда по всей Европе создаются крупные воспитательные заведения, большие школы и т. д.: «Нам нужны ваши дети, — говорит Базедов. — Отдайте их нам. Мы, так же как и вы сами, нуждаемся в том, чтобы эти дети получили нормальное развитие. Так доверьте же их нам, чтобы мы подготовили их согласно критериям нормальности». Таким образом, требуя от семей взять на себя ответственность за тело детей, обеспечить их жизнь и здоровье, от них в то же время требуют отказаться от этих детей, отказаться от их реального присутствия, от власти, которой обладают над ними родители. Разумеется, родители должны заниматься детьми в одном их возрасте и отдавать их тело на попечение государства в другом возрасте. Но должен идти процесс обмена: «Растите своих детей энергичными и крепкими, физически здоровыми, а также послушными и способными, чтобы впоследствии мы могли вручить их механизму, над которым вы не властны, государственной системе воспитания, образования и обучения». Мне кажется, что в этом двойном требовании — «занимайтесь своими детьми» и «затем оставьте своих детей нам» — сексуальное тело ребенка является, в некотором смысле, обменной монетой. Родителям говорят: «В теле ребенка есть нечто, неотъемлемо принадлежащее вам, от чего вы никогда не сможете отрешиться, ибо оно всегда будет с вами: это его сексуальность; сексуальное тело ребенка принадлежит и всегда будет принадлежать семейному пространству, и никто другой не будет иметь действительной власти над ним и отношения к нему. Но взамен, создавая для вас эту территорию столь безоговорочной, столь всеобъемлющей власти, мы просим вас предоставить нам, если угодно, тело способностей ребенка. Мы просим вас дать

нам этого ребенка, чтобы мы сделали из него то, в чем действительно нуждаемся». Как вы понимаете, в этом обмене заключен подвох, ибо задача, которая ставится перед родителями, заключается именно в овладении телом ребенка, в окружении этого тела, в столь неотлучном наблюдении за ним, чтобы ребенок никогда не мог мастурбировать. Однако ведь нет таких родителей, которые помешали бы ребенку мастурбировать, и, более того, медики той эпохи хладнокровно и цинично заявляют: так или иначе, все дети мастурбируют. По сути дела, перед родителями ставится неразрешимая задача: держать в своих руках и контролировать детскую сексуальность, которая все равно, так или иначе, от них ускользнет. Но получая в распоряжение сексуальное тело ребенка, родители теряют другое его тело — его эффективное, способное тело.

Детская сексуальность — это западня, благодаря которой смогла сложиться прочная, аффективная, субстанциальная, клеточная семья и под прикрытием которой у семьи выманили ребенка. Детская сексуальность была ловушкой, в которую попали родители. Это явная, то есть — я имею в виду — реальная ловушка, но предназначенная для родителей. Она была одним из векторов сложения новой прочной семьи. Она была одним из орудий обмена, который позволил перевести ребенка с территории его семьи в институциализированное и нормализованное воспитательное пространство. Она была этой фиктивной монетой без номинала, игрушечной монетой, которая осела в кармане родителей; игрушечной монетой, к которой родители тем не менее тянулись изо всех сил, ибо уже в 1974 г., когда встал вопрос о сексуальном воспитании детей в школе, они были бы вправе сказать, если бы знали историю: так целых двести лет нас обманывали?! Двести лет нам говорили: отдайте нам ваших детей, и вы сохраните их сексуальность; отдайте нам ваших детей, и мы гарантируем вам, что их сексуальное развитие будет идти в семейном пространстве, под вашим контролем; отдайте нам ваших детей, и ваша власть над их сексуальным телом, над телом удовольствия детей, будет в неприкосновенности. А теперь психоаналитики говорят им: «Нам! Нам! Нам тело удовольствия детей!». Государство, психологи, психопатологи говорят им: «Нам!

Нам! Нам сексуальное воспитание!». Таков великий обман, которому подверглась родительская власть. Фиктивная власть, фиктивная организация которой тем не менее обусловила реальное сложение того пространства, к которому все так стремились по тем причинам, о которых я говорил, того субстанциального пространства, вокруг которого сузилась и сжалась большая реляционная семья и внутри которого жизнь ребенка, тело ребенка попало под надзор и одновременно подверглось валоризации и сакрализации. Детская сексуальность, как мне кажется, затрагивает не столько детей, сколько родителей. Во всяком случае, вокруг подозрительной детской постели родилась современная семья — семья, пронизанная и насыщенная сексуальностью и озабоченная здоровьем.

Именно к этой, таким образом расцененной, сложившейся внутри семьи сексуальности, над которой врачи получили контроль уже с конца XVIII века, они и обращаются в середине XIX века, чтобы сформировать — при посредничестве инстинкта, о котором я говорил вам на предыдущих лекциях, — обширную область аномалий.

Примечания

[1] *Liguori A. de*. Praxis confessarii... P. 72—73 (art. 39); p. 140—141 (art. 89); *Liguory A.-M. de*. Le Conservateur des jeunes gens... P. 5—14.

[2] Onania or the Heinous Sin of Self-Pollution and All its Frightful Consequences in Both Sexes Considered, with spiritual and physical advice to those who have already injured themselves by this abominable practice. London, 1718 (4). Неизвестно, сохранились ли экземпляры первого и двух последующих изданий этой книги. Атрибуция памфлета некоему Беккеру ведет свою историю от «Онанизма» Тиссо (см. следующее примечание и ниже, прим. 6), однако так и остается не подтвержденной.

[3] Книга С.-А.-А.-Д. Тиссо, упоминаемая М. Фуко, была написана по-латыни («Tentamen de morbis ex manu stupratione») и вошла в издание: *Tissot S.-A.-A.-D.* Dissertatio de febribus biliosis seu historia epidemiae biliosae lausannensis. Losannae, 1758. P. 177—264. Этот труд, хотя и был благосклонно принят некоторыми специалистами, прошел почти незамеченным.

[4] *Basedow J. B.* Das Methodenbuch für Väter und Mütter der Familien und Völker. Altona-Bremen, 1770 (trad. fr.: *Basedow J. B.* Nouvelle Méthode d'éducation, Francfort-Leipzig, 1772); *Basedow J. B.* Das Elementarwerk, [s. l.: Leipzig], 1785(2) (trad. fr.: Manuel élémentaire d'éducation. Berlin-Dessau, 1774). Мы не смогли отыскать экземпляры ни «Маленькой книги для детей всех возрастов» (1771), ни «Маленькой книги для родителей и воспитателей детей всех возрастов» (1771).

[5] *Salzmann C. G.* Ists recht, über die eimichen Sünden der Jugend, öffentlich zu schreiben. Schnepfenthal, 1785; *Salzmann C. G.* Carl von Carlsberg oder über das menschliche Eleng. Leipzig, 1783; *Salzmann C. G.* Über die heimlischen Sünden der Jugend. Leipzig, 1785 (trad. fr.: *Salzmann C. G.* L'Ange protecteur de la jeunesse ou Histoires amusantes et instructives destinées à faire connaître aux jeunes gens les dangers que l'étourderie et l'inexpérience leur font courir. Paris, 1825).

[6] Обсуждение первого французского издания книги С.-А.-А.-Д. Тиссо «Онанизм, или Физическое рассуждение о болезнях, вызываемых мастурбацией» (Лозанна, 1760) не вышло за пределы медицинских кругов. Дискуссия, о которой говорит М. Фуко, началась вокруг третьего издания (1764), значительно дополненного и выдержавшего 62 переиздания (до 1905 г.), в том числе с комментариями других врачей, которые считали себя опытными специалистами в деле борьбы с мастурбацией (например, К.-Т. Морель в 1830 г., Э. Клеман в 1875 г., Кс. Андре в 1886 г.).

[7] *Kaan H.* Psychopatia sexualis. Lipsiae, 1844.

[8] Нам не удалось выяснить происхождение этой цитаты.

[9] *Krafft-Ebing R.* Psychopatia sexualis. Eine Klinische-forensische Studie. Stuttgart, 1886.

[10] *Havelock Ellis H.* Studies in the Psychology of Sex. Philadelphia, 1905—1928 (trad. fr. par A. Van Gennep: *Havelock Ellis H.* Études de la psychologie sexuelle. Paris, 1964—1965).

[11] Здесь М. Фуко несомненно имеет в виду такие тексты, как «Новые элементы терапевтики» Алибера (*Alibert J.-L.* Nouveaux Éléments de thérapeutique. II. Paris, 1827. P. 47) или «Страсти в их отношении со здоровьем и болезнями» Буржуа (*Bourgeois L.* Les Passions dans leur rapports avec la santé et les maladies. II. Paris, 1861. P. 31).

[12] Происхождение цитат неизвестно.

[13] См., напр.: *Bourge J. B. de.* Le Mémento du père de famille et de l'éducateur de l'enfance, ou les Conseils intimes sur les dangers de la masturbation. Mirecourt, 1860.

[14] Это издание действительно было выпущено под заголовком «Книга без названия»: Le Livre sans titre. Paris, 1830.

[15] В предисловии к уже цитированной книге К. Г. Зальцмана «Über die heimlischen Sünden der Jugend» (во французском издании название изменено) читаем: «Германия пробудилась от своего сна, немцы обратили пристальное внимание на зло, которое проникло в самые корни человечества. Тысячи юных немцев, которые подвергались опасности окончить свою мученическую жизнь в больнице, были спасены и сегодня применяют свои сохраненные силы во благо человечества, и в первую очередь немецкого человечества. И тысячи других детей могли быть ограждены от ядовитого змея прежде, чем он поразил их».

[16] См.: Précis historique, physiologique et moral des principaux objets en cire préparée et colorée d'après nature, qui composent le museum de J. F. Bertrand-Rival. Paris, 1801. О посещениях музея Дюпюитрена см.: *Doussin-Dubreuil J.-L.* Nouveau Manuel sur les dangers de l'onanisme, et Conseils relatifs au traitement des maladies qui en résultent. Ouvrage nécessaire aux pères de famille et aux instituteurs. Paris, 1839. P. 85. Упоминание о еще одном таком музее в конце XIX века см. в кн.: *Bonnetain P.* Charlot s'amuse. Bruxelles, 1883 (2). P. 268.

[17] «История сексуальных притеснений» Йоса Ван Усселя написана в основном под влиянием книг Г. Маркузе «Эрос и цивилизация» (*Marcuse H.* Eros and Civilisation. A philosophical inquiry into Freud. Boston, 1955; trad. fr.: *Marcuse H.* Éros et Civilisation. Paris, 1971) и «Одномерный человек» (*Marcuse H.* One-Dimensional Man. Studies in the ideology of advanced industrial society. Boston, 1964; trad. fr.: *Marcuse H.* L'Homme unidimensionnel. Paris, 1970).

[18] *Serrurier J.-B.-T.* Pollution // Dictionnaire des sciences médicales. XLIV. Paris, 1820. P. 114. Ср.: Masturbation // Dictionnaire des sciences médicales. XXXI (1819). P. 100—135.

[19] *Serres E.-R.-A.* Anatomie comparée du cerveau. II. Paris, 1826. P. 601—613 («О действии мозжечка на половые органы»).

[20] Л. Деланд (*Deslandes L.* De l'onanisme et des autres abus vénériens considérés dans leur rapports avec la santé. Paris, 1835. P. 159) также ссылается на этот тезис Ж.-Л.-Н. Пайена (*Payen J.-L.-N.* Essai sur l'encéphalite ou inflammation du cerveau, considérée spécialement dans l'enfance. Paris, 1826. P. 25).

[21] *Dupuytren G.* Atrophie des branches antérieures de la moelle épinière; paralysie générale du mouvement, mais non de la sensibilité; traitement; considérations pratiques. Hémiplégie guérie par une forte commotion électrique // La Lancette française, 114. 14 septembre 1833. P. 339—340.

[22] *Boyer A.* Leçons sur les maladies des os, rédigées en un traité complet de ces maladies. I. XI [1802—1803]. P. 344.

[23] *Sanson L.-J.* Amaurose // Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. II. Paris, 1829. P. 85—119.

[24] *Scarpa A.* Traité pratique des maladies des yeux, ou Expériences et Observations sur les maladies qui affectent ces organes. II. Paris, 1802. P. 242—243 (éd. orig.: *Scarpa A.* Saggio di osservazione e di esperienze sulle principali malattie degli occhi. Pavia, 1801).

[25] *Blaud P.* Mémoire sur les concrétions fibrineuses polypiformes dans les cavités du cœur // Revue médicale française et étrangère. Journal de clinique. IV. 1833. P. 175—188, 331—352.

[26] *Portal A.* Observations sur la nature et sur le traitement du rachitisme. Paris, 1797. P. 224.

[27] *Lisle.* Des pertes séminales et de leur influence sur la production de la folie // Annales médico-psychologiques. 1851. III. P. 333 sq.

[28] В качестве примера этой литературы см.: *Deslandes L.* De l'onanisme... P. 152—153, 159, 162—163, 189, 198, 220, 221, 223, 243—244, 254—255.

[29] К письмам из «Онании» и письмам, опубликованным Тиссо, можно добавить следующий сборник Ж.-Л. Дуссена-Дюбрея: *Doussin-Dubreuil J.-L.* Lettres sur les dangers de l'onanisme, et Conseils relatifs au traitement des maladies qui en résultent. Ouvrage utile aux pères de famille et aux instituteurs. Paris, 1806; *Doussin-Dubreuil J.-L.* Nouveau Manuel sur les dangers de l'onanisme... (издание, просмотренное, исправленное и дополненное Ж. Мореном).

[30] М. Фуко использует третье издание книги: *Rozier.* Des habitudes secrètes ou des maladies produites par l'onanisme chez les femmes. Paris, 1830. P. 81—82 (два предыдущих издания имеют другие заголовки, но то же самое содержание: Lettres médicales et morales. Paris, 1822; Des habitudes secrètes ou de l'onanisme chez les femmes. Lettres médicales, anecdotiques et morales à une jeune malade et à une mère, dédiées aux mères de famille et aux maîtresses de pensions. Paris, 1825).

[31] *Rozier.* Des habitudes secrètes... P. 82: «Я не вырос и не окреп. Я худой, у меня нет ни единой выпуклости. Мне кажется, особенно по утрам, что я отрываюсь от земли. Я не принимаю в себя сок продуктов. Иногда я чувствую колики в желудке, между лопатками, и мне становится трудно дышать. Вот уже три месяца я чувствую постоянные встряски конечностей по мере течения крови. Малейший подъем, кратчайшая прогулка меня утомляют. Я весь дрожу, особенно по утрам».

[32] См.: *Fournier H., Begin.* Masturbation // Dictionnaire des sciences médicales. XXXI. Paris, 1819. P. 108.

[33] См.: *Foucault M.* Naissance de la clinique... P. 125—176.

[34] См. наблюдения Руссо в «Исповеди» и «Эмиле» (*Rousseau J.-J.* Œuvres complètes, éditees sous la direction de B. Ganebin et M. Raymond. I. Paris, 1959. P. 66—67; IV. 1969. P. 663).

[35] *Rozier.* Des habitudes secrètes... P. 192—193: «Профессор Моро де ла Сарт сообщает, что ему довелось наблюдать двух маленьких семилетних девочек, которые по непростительной халатности родителей предавались возбуждению с такой частотой и чрезмерностью, которые впоследствии вызвали истощение и похудание».

[36] *Rozier.* Des habitudes secrètes... P. 193: «И наконец, сам я в 1812 г. имел случай видеть в детском приюте на улице Севр в Париже юную особу, также семи лет, которая уже была поражена этой наклонностью в самой высокой степени. Она была лишена почти всяких умственных способностей».

[37] Наблюдение Сабатье приводится тем же Розье (*Rozier.* Des habitudes secrètes... P. 92): «Одно из самых ужасных, но и самых распространенных последствий этого порока, с которым я сталкивался, это узловатый позвоночник. Мое мнение, с учетом исключительно раннего возраста больных, неизменно считали необоснованным; однако недавние признания убедили меня в том, что многие впадали в этот порок ранее шестого года своей жизни».

[38] *Cerise L.-A.-Ph.* Le Médecin des salles d'asile, ou Manuel d'hygiène et d'éducation phisique de l'enfance, destiné aux médecins et aux directeurs de ces établissements et pouvant servir aux mères de famille. Paris, 1836. P. 72.

[39] *Bourge J. B. de.* Le Mémento du père de famille... P. 5—14.

[40] *Simon [de Metz F.].* Traité d'hygiène appliquée à la jeunesse. Paris, 1827. P. 153.

[41] *Malo Ch.* Le Tissot moderne, ou Réflexions morales et nouvelles sur l'onanisme, suivies des moyens de le prévenir chez les deux sexes. Paris, 1815. P. 11—12.

[42] Возможно, речь идет о кн.: *Jozan E.* D'une cause fréquente et peu connue d'épuisement prématuré. Paris, 1858 (P. 22: «В руках кормилицы дети не защищены от опасностей»).

[43] *Deslandes L.* De l'onanisme... P. 516. Деланд развивает эту тему и в другом сочинении: *Deslandes L.* Manuel d'hygiène publique et privée, ou Précis élémentaire des connaissance relatives à la conservation de la santé et au perfectionnement physique et moral des hommes. Paris, 1827. P. 499—503, 513—519.

[44] Об этом случае, в достоверности которого уверяет Ж. Андрие, издатель «Анналов акушерства, женских и детских болезней» (1842—1844), а также книги «Элементарные сведения для всех, или

Энциклопедия для юношества» (Париж, 1844), впервые сообщает Л. Деланд (*Deslandes L.* De l'onanisme... P. 516—517).

[45] *Malo Ch.* Le Tissot moderne... P. 11.

[46] М. Фуко цитирует письмо по кн.: *Rozier.* Des habitudes secrètes... P. 194—195.

[47] Нам не удалось разыскать источник цитаты.

[48] *Deslandes L.* De l'onanisme... P. 369—372.

[49] Лекции М. Фуко читались в зале, где висел портрет Анри Бергсона, который тоже являлся профессором Коллеж де Франс.

[50] Ср.: *Deslandes L.* De l'onanisme... P. 553.

[51] Нам не удалось разыскать источник цитаты.

[52] *Rozier.* Des habitudes secrètes... P. 229—230.

[53] *Rozier.* Des habitudes secrètes... P. 230.

[54] *Deslandes L.* De l'onanisme... P. 375—376.

[55] *La'Mert S.* La Préservation personnelle. Traité médical sur les maladies des organes de la génération résultant des habitudes cachées, des excès de jeunesse ou de la contagion; avec des observation pratiques sur l'impuissance prématurée. Paris, 1847. P. 50—51: «Пожелание автора заключается в том, чтобы его книга стала настольной для всех, кто руководит младшими и старшими школами, для священнослужителей, родителей и надзирателей, а также для всех, кому доверено воспитание юношества. Она будет полезна всем этим людям, ибо позволит обнаружить тайные привычки тех, за кем они призваны присматривать, и подскажет, как принять меры предосторожности, чтобы предупредить возникновение этих привычек или пресечь их последствия. Большинство среди тех, кто занимается лечением половых болезней, глубоко убеждены в широком распространении порока мастурбации. Быть может, в этом сомневаются простые врачи? Быть может, они отрицают это? Да, но ведь они менее других способны составить представление об этом пороке, ибо оказываются последними, кому люди открывают тайну подобных привычек. Семейный врач может быть посвящен в семейные тайны, ему могут быть ведомы общие для всех членов семьи наследственные склонности, однако совсем иное дело — знание индивидуальных секретов или получение признания, которое не было бы доверено ни отцу, ни матери, ни брату, ни сестре. Обычный семейный врач, который не дает, и вполне обоснованно не дает, консультаций в подобных случаях, оказывается в неведении как относительно распространения этих опаснейших привычек, так и относительно лечения, коего они требуют» (оригинальное издание: *La'Mert S.* Self Preservation. A popular inquiry into the [...] causes of obscure disorders of the generative system. Manchester, 1841).

[56] Ср.: *Foucault M.* La Volonté de savoir. P. 145—147.

[57] *Jalade-Laffont G.* Considératons sur la confection des corsets et des ceintures propres à s'opposer à la pernicieuse habitude de l'onanisme. Paris, 1819. Это сочинение вошло в кн.: *Jalade-Laffont G.* Considérations sur les hernies abdominales, sur les bandages herniaires rénixigrades et sur de nouveaux moyens de s'opposer à l'onanisme. I. Paris, 1821. P. 441—454. На страницах этой книги медик-изобретатель дает набросок корсета, предназначенного для предохранения лиц женского пола от опасностей онанизма (р. X—XI).

[58] *Deslandes L.* De l'onanisme... P. 546. Деланд цитирует А. Й. Вендера (*Wender A. J.* Essai sur les pollutions nocturnes produites par la masturbation, chez les hommes, et exposition d'un moyen simple et sûr de les guérir radicalement [1811]).

[59] Методы, применявшиеся Кл.-Ф. Лалеманом, упоминаются Л. Деландом (*Deslandes L.* De l'onanisme... P. 543), который, вероятно, пользовался исследованием Лалемана «Болезни мочеполовых органов», экземпляра которого мы не обнаружили.

[60] Согласно Деланду (*Deslandes L.* De l'onanisme... P. 543—545), Ж. Де Мадри-Давила в своем «Рассуждении о непроизвольных поллюциях» (Париж, 1831) также предлагает введение зонда в уретру.

[61] Речь идет о Доминике-Жане Ларрее. См.: *Larrey D.-J.* Mémoires de chirurgie militaire. I—IV. Paris, 1812—1817; Recueil de mémoires de chirurgie. Paris, 1821; Clinique chirurgicale. Paris, 1829—1836. Однако источник цитаты нам найти не удалось.

[62] *Deslandes L.* De l'onanisme... P. 429—430.

[63] О вмешательстве, проведенном Антуаном Дюбуа, сообщает Деланд (*Deslandes L.* De l'onanisme... P. 422), ссылающийся, в свою очередь, на кн.: *Richerand A.* Nosographie chirurgicale. IV. Paris, 1808 (2). P. 326—328.

[64] *Deslandes L.* De l'onanisme... P. 425. О вмешательстве Э. А. Г. Грефе см.: Guérison d'une idiotie par l'extirpation du clitoris // Nouvelle Bibliothèque médicale. IX. 1825. P. 256—259.

[65] *Deslandes L.* De l'onanisme... P. 430—431.

[66] См.: *Garnier P.* Onanisme, seul et à deux, sous toutes ses formes et leur conséquences. Paris, 1883. P. 354—355.

[67] *Caradeuc de la Chalotois L.-R.* Essai sur l'éducation nationale, ou Plan d'études pour la jeunesse. Paris, 1763.

[68] См.: *Pinloche A.* La Réforme de l'éducation en Allemagne au dix-huitième siècle. Basedow et le Philantropinisme. Paris, 1889. Ср.: *Foucault M.* La Volonté de savoir. P. 41.

Лекция от 12 марта 1975 г.

Что делает приемлемой для буржуазной семьи психоаналитическую теорию инцеста? (Опасность исходит от желания ребенка). — Нормализация городского пролетариата и оптимальное распределение в рабочей семье (опасность исходит от отца и братьев). — Две теории инцеста. — Предпосылки ненормальности: судебно-психиатрическая и семейно-психиатрическая смычки. — Проблематика сексуальности и анализ ее отклонений. — Двойная теория инстинкта и сексуальности как политико-эпистемологическая задача психиатрии. — У истоков сексуальной психопатологии (Генрих Каан). — Этиология безумия сообразно истории инстинкта и сексуального воображения. — Дело солдата Бертрана.

Я хотел бы вернуться к ряду вещей, упомянуть о которых у меня не хватило времени на предыдущей лекции. Итак, мне кажется, что проблема сексуальности ребенка и подростка поднимается в XVIII веке. Первоначально эта сексуальность рассматривается в своей нереляционной форме, то есть в первую очередь поднимается проблема аутоэротизма и мастурбации; мастурбация преследуется и приобретает значение первостепенной опасности. Начиная с этого момента тела, жесты и позы, выражения и черты лица, постели, белье, пятна — все это становится предметом надзора. Родители привлекаются к выслеживанию запахов, следов, признаков. Мне кажется, что мы имеем дело с учреждением, сложением одной из новых форм отношений между родителями и детьми: завязывается своего рода постоянное состязание родителей и детей, которое видится мне характерным для ситуации пусть не всякой

семьи, но, по меньшей мере, некоторой формы семьи в современную эпоху.

Нет сомнения в том, что происходит перенесение в стихию семьи христианской плоти. Перенесение в самом узком смысле этого термина, ибо имеет место локальная пространственная миграция исповедальни: проблема плоти переносится в постель. И перенесение это сопровождается трансформацией, а также, что особенно важно, редукцией, поскольку все эти сугубо христианские хитросплетения руководства совестью, которые я попытался вкратце обрисовать и которые оперировали целым рядом понятий — таких, как воспаление, трепетание, желание, потворство, упоение, сладострастие, — теперь оказываются приведены к единственной проблеме, к предельно простой проблеме жеста, руки, отношения руки и тела, словом, к простому вопросу: «Соприкасаются ли рука и тело?». Но наряду с редукцией христианской плоти к этой исключительно простой и, в некотором смысле, скелетной проблеме происходят три трансформации. Во-первых, переход к соматизации: проблема плоти постепенно превращается в проблему тела, в проблему физического, больного тела. Во-вторых, инфантилизация — в том смысле, что проблема плоти, которая, пусть и сосредоточиваясь довольно-таки явно вокруг подростков, была, по большому счету, проблемой всех христиан, теперь, по самой сути своей, организуется вокруг детской и подростковой сексуальности или аутоэротизма. И наконец, в-третьих, медикализация, так как отныне эта проблема соотносится с некоторой формой контроля и рациональности, за которыми обращаются к медицинскому знанию и власти. Весь двусмысленный и безграничный дискурс греха сводится к провозглашению и диагностике одной физической опасности и к системе материальных мер, с помощью которых эту опасность можно предотвратить.

В прошлой лекции я попытался объяснить вам, почему, на мой взгляд, преследование мастурбации не является следствием сложения этой узкой, клеточной, субстанциальной, супружеской семьи. Мне кажется, что преследование мастурбации не просто не было следствием сложения семьи нового типа, но, напротив, было его орудием. Под влиянием этого пресле-

дования, под влиянием этого крестового похода как раз и образовалась суженная и субстанциальная семья. Эта кампания со всеми практическими рекомендациями, которые давались в ее рамках, была средством сплочения семейных отношений и замыкания центрального прямоугольника «родители—дети» в качестве субстанциальной, компактной и аффективно насыщенной единицы. Одним из орудий концентрации супружеской семьи как раз и было возложение на родителей ответственности за тело своих детей, за жизнь и смерть своих детей, — возложение, осуществленное при посредничестве аутоэротизма, который был представлен невероятно опасным внутри медицинского дискурса и его усилиями.

Короче говоря, я бы отказался от линейной схемы: сначала сложение по ряду экономических причин супружеской семьи; затем запрет на сексуальность внутри этой супружеской семьи; вследствие этого запрета — патологический возврат этой сексуальности, невроз; и в результате всего этого — проблематизация сексуальности ребенка. Такова общепринятая схема. Мне же кажется, что правильнее было бы увидеть целый комплекс элементов, соединенных круговой связью, в числе которых валоризация тела ребенка, экономическая и аффективная валоризация его жизни, возникновение боязни вокруг этого тела и вокруг сексуальности, поскольку она несет в себе опасности, встречаемые ребенком и его телом; кульпабилизация и, одновременно с нею, облечение ответственностью родителей и детей вокруг этого тела как такового; введение обязательной, регламентированной близости родителей и детей; организация суженного и сплоченного семейного пространства; инфильтрация всего этого пространства сексуальностью и его обложение орудиями контроля или, во всяком случае, медицинской рациональностью. Словом, вокруг всех этих процессов, исходя из кругового сцепления всех этих различных элементов и оформляется, как мне кажется, супружеская, сжатая, четырехугольная семья родителей и детей, которая характеризует, по крайней мере отчасти, наше общество.

В связи с этим я хотел бы сделать две ремарки.

Первая из них такова. Если принять данную схему, если согласиться с тем, что проблематизация детской сексуально-

сти заведомо связана с сближением тела родителей и тела детей, с приложением тела родителей к телу детей, то становится понятной та напряженность, которую приобрела в конце XIX века тема инцеста, то есть одновременно та трудность и та легкость, с которыми она была принята. Эту тему было трудно принять, поскольку с конца XVIII века говорилось, объяснялось, раз за разом провозглашалось, что сексуальность ребенка изначально является аутоэротической и, как следствие, нереляционной сексуальностью, несопоставимой с межиндивидуальным сексуальным отношением. Кроме того, эта нереляционная и всецело сосредоточенная на теле ребенка сексуальность считалась несопоставимой с сексуальностью взрослого типа. Поэтому пересмотр детской сексуальности с тем, чтобы поместить ее в инцестуозное отношение со взрослым, введение в контакт, постановка в общий ряд сексуальности ребенка и сексуальности взрослого при посредничестве инцеста или инцестуозного желания между детьми и родителями — все это представлялось очень затруднительным. Родителям трудно признать, что они могут быть поражены, затронуты инцестуозным влечением со стороны своих детей, в то время как их более ста лет уверяли в том, что сексуальность их детей надежно локализована, сосредоточена, заперта внутри их аутоэротизма. Но с другой стороны, можно сказать, что кампания против мастурбации, внутри которой-то и возникает новый страх инцеста, до некоторой степени облегчила восприятие родителями этой темы — того, что их дети испытывают к ним инцестуозное влечение.

Эту легкость, соседствующую или переплетающуюся с трудностью, можно объяснить или понять довольно просто. Ведь что говорили родителям с 1750—1760 гг., с середины XVIII века? Будьте как можно ближе к своим детям; смотрите за своими детьми; будьте рядом с ними; при необходимости спите с ними в одной постели; заглядывайте к ним под одеяло; замечайте, выслеживайте и застигайте врасплох все признаки желания в своих детях; ночью на цыпочках подбирайтесь к их постели, срывайте одеяла и смотрите, чем они там занимаются, или хотя бы залезьте туда рукой, чтобы помешать им. И вот теперь, после того как в течение ста лет им так

говорили, выясняется: это опасное желание, которое вы открыли — в буквальном смысле этого слова, — это желание обращено к вам. Самое страшное в этом желании то, что оно касается именно вас.

А это имеет ряд следствий, среди которых три, на мой взгляд, особенно важны. Во-первых, как вы понимаете, сформировавшееся более века назад отношение инцестуозной пристрастности некоторым образом переворачивается. В течение ста лет от родителей требовали быть ближе к своим детям, родителям предписывали проявлять инцестуозную пристрастность. Теперь, по прошествии ста лет, с них снимают вину, которую они чувствовали, разоблачая желающее тело своих детей, и говорят им: не беспокойтесь, инцестуозны не вы. Инцест направлен не от вас к ним, не от вашей пристрастности, не от вашего любопытства к их обнаженному телу, а наоборот, от них к вам, ибо это они, дети, первыми начинают вас желать. Таким образом, в тот самый момент, когда инцестуозное отношение «родители—дети» достигает этиологического насыщения, с родителей снимается моральное обвинение в нескромности, в инцестуозном поведении, в инцестуозной близости, к которой их принуждали более века. Таково первое моральное преимущество, которое делает приемлемым психоаналитическую теорию инцеста.

Во-вторых, родителям — что, по-моему, очевидно — дается дополнительная гарантия, ибо им говорят не просто о том, что сексуальное тело ребенка по праву принадлежит им, что они должны наблюдать, выслеживать, контролировать и подлавливать его, но также о том, что это тело принадлежит им на более глубоком уровне, ибо желание детей обращено к ним, к родителям. Поэтому тело ребенка, хозяевами которого они являются, не только находится в их материальном распоряжении, но, более того, они являются хозяевами самого желания ребенка, так как именно к ним это желание обращено. Возможно, эта новая гарантия родителям соответствует новой волне отчуждения ребенка от семьи, ибо в конце XIX века расширение школьного образования и умножение средств дисциплинарной подготовки с новой силой вырывают детей из семейной среды, в которую они были включены. Все это

следовало бы изучить поподробнее. Но как бы то ни было, с утверждением о том, что желание ребенка обращено к родителям, произошла подлинная реаппроприация сексуальности ребенка. Контроль над мастурбацией был ослаблен, но дети [*rectius*: родители] при этом не потеряли право распоряжаться сексуальностью детей, ибо на них оказалось направлено детское желание.

И наконец, третья причина, по которой эта теория инцеста, вопреки ряду затруднений, была в конечном итоге принята: дело в том, что, поместив столь страшное отклонение в самую сердцевину отношения «родители—дети», сделав инцест — абсолютное преступление — исходной точкой всех незначительных аномалий, удалось подкрепить необходимость внешнего вмешательства, своего рода промежуточного элемента, призванного анализировать, контролировать и исправлять. Иными словами, получила поддержку возможность приложения медицинской технологии к сплетению внутрисемейных отношений. В общем и целом в этой теории инцеста, появляющейся в конце XIX века, мы имеем дело с щедрым вознаграждением родителям, которые теперь чувствуют себя объектом безумного желания и в то же время открывают — благодаря той же самой теории, — что сами могут быть субъектами рационального знания о своих отношениях с детьми: чтобы выяснить, чего хочет ребенок, я уже не должен вести себя как подозрительный слуга, прокрадываясь ночью в спальню и срывая одеяло; я знаю, чего хочет ребенок благодаря научно подтвержденному знанию, ибо это медицинское знание. А следовательно, я — субъект знания и в то же время объект этого безумного желания. В такой ситуации понятно, почему родители, с появлением психоанализа в начале XX века, стали (вполне сознательно стали!) ревностными, неудержимыми и воодушевленными агентами новой волны медицинской нормализации семьи. Таким образом, я считаю, что вопрос о функционировании темы инцеста следует рассматривать в рамках вековой практики борьбы с мастурбацией. Эта тема — один из эпизодов этой борьбы или, во всяком случае, ее разворот.

Вторая ремарка, которую я хотел бы сделать, заключается вот в чем: то, о чем я только что говорил, разумеется, не отно-

сится к обществу в целом, ко всякому типу семьи. Крестовый поход против мастурбации (о чем я, кажется, говорил вам в начале прошлой лекции) имел своим предметом почти исключительно буржуазную семью. Однако в эпоху, когда эта кампания достигла своей кульминации, рядом с нею, но без прямой связи, набирала ход совсем другая кампания, обращенная к народной семье, а точнее, к семье складывавшегося городского пролетариата. Эта кампания, начавшаяся несколько позднее первой (первая началась около 1760 г., вторая же — на рубеже веков, в самом начале XIX века, и приобрела размах в 1820—1840-е гг.) и нацеленная на городскую пролетарскую семью, сконцентрирована вокруг иных тем. Вот первая из этих тем. На сей раз уже нет лозунга, выдвигавшегося перед буржуазной семьей: «Будьте как можно ближе к телу ваших детей». Разумеется, нет и такого лозунга: «Избавьтесь от всех второстепенных домашних и родственников, которые преграждают, нарушают, расстраивают ваши отношения с детьми». Кампания заключается просто-напросто вот в чем: «Женитесь, не наживайте внебрачных детей, чтобы затем их бросить». Эта кампания направлена против свободного сожительства, против внебрачных связей, против внесемейного, или парасемейного, перетекания.

Я не буду предпринимать анализ этого феномена, который, без сомнения, был бы трудным и длительным, но лишь укажу некоторые гипотезы, которые разделяются сегодня большинством историков. До XVIII века в деревнях и городских общинах, даже бедных, законный брак был, как правило, очень уважаемым. Число свободных сожительств и даже внебрачных детей было поразительно скромным. С чем это было связано? Несомненно, с церковным контролем, а также, возможно, с социальным и, в известной степени, судебным контролем. Определенно, и более глубоко, это было связано с тем обстоятельством, что брак был сопряжен с целой системой имущественного обмена, даже у относительно бедных людей. И, во всяком случае, брак подразумевал поддержание или изменение социального статуса. Кроме того, над браком довлели формы общинной жизни в деревнях, приходах и т. д. Словом, брак не просто служил религиозной или юридической санк-

цией сексуальных отношений. В него оказывался вовлечен весь социальный персонаж целиком, со всеми своими связями.

Между тем очевидно, что по мере возникновения и становления в начале XIX века городского пролетариата все эти основания брака, все эти связи, все эти нагрузки, которые придавали браку прочность и необходимость, — все эти опоры брака становятся бесполезными. Вследствие этого распространяется внебрачная сексуальность, связанная, возможно, не столько с откровенным бунтом против обязанности вступать в брак, сколько с простым выяснением того, что этот брак с его системой обязанностей и всевозможными институциональными и материальными опорами становится безосновательным в рамках блуждающей популяции, которая ждет или ищет работу и, во всяком случае, имеет зыбкую, временную работу в случайном месте. Естественно, что в рабочей среде укореняется свободное сожительство (чему имеется ряд свидетельств — по крайней мере, в 1820—1840-е гг. возмущение этим встречается сплошь и рядом).

В этом хрупком, эпизодическом, временном характере брачных отношений буржуазия, очевидно, находила (в некоторых условиях и в некоторые моменты) ряд преимуществ: первым среди таковых была мобильность рабочего населения, мобильность рабочей силы. Но, с другой стороны, очень скоро возникла необходимость в стабильности рабочего класса — как по экономическим причинам, так и по причинам, связанным с политическим ограждением и контролем, с нежелательностью миграций, волнений и т. д. В этот момент и началась, какими бы ни были ее действительные причины, кампания в поддержку брака, которая получила стремительное развитие в 1820—1840-е гг.; кампания, которая велась средствами обыкновенной пропаганды (выпуск книг и т. п.), с помощью экономических рычагов, путем создания обществ поддержки (которые помогали исключительно тем, кто состоял в законном браке), с помощью таких механизмов, как «Сберегательные кассы», с помощью жилищной политики и т. д. Но параллельно эта поддержка брака, эта кампания по укреплению брачных уз, сопровождалась и отчасти корректировалась

другой кампанией: в этом устойчивом пространстве, которое вы должны сформировать с тем, чтобы стабильно жить внутри него, в этом социальном пространстве надо быть начеку. Не сливайтесь воедино, делите пространство, держите как можно бóльшую дистанцию; пусть между вами будет поменьше контактов, пусть семейные отношения в этом четко определенном пространстве придерживаются своих границ, соблюдают индивидуальные, возрастные, половые различия. Таким образом, кампания выступает против общих спален, против общих постелей для родителей и детей, а также для детей «разного пола». В конечном счете идеальной является одиночная постель. Идеальным в проектируемых в это время городских кварталах становится пресловутый трехкомнатный дом: общая комната, комната для родителей и комната для детей; или — комната для родителей, комната для мальчиков и комната для девочек.[1] Никакой близости, никаких контактов, никакой путаницы. Это совсем не то, что было в кампании против мастурбации: «Будьте ближе к вашим детям, вступайте с ними в контакт, вглядывайтесь в их тело как можно пристальнее»; это нечто противоположное: «Держите ваши тела на максимальной дистанции». Как вы понимаете, в рамках этой кампании возникает иного рода проблематизация инцеста. Это уже не та опасность инцеста, которая исходит от детей и угрозу которой формулирует психоанализ. Это опасность инцеста между братом и сестрой, между отцом и дочерью. Главное — избежать установления между взрослыми и детьми, между старшими и младшими близости, чреватой возможным инцестом.

Итак, две кампании, два механизма, два страха инцеста, формирующиеся в XIX веке, глубоко различны. Хотя несомненно, что в конечном итоге кампания за сложение сплоченной, аффективно интенсивной буржуазной семьи вокруг сексуальности ребенка и кампания за распределение и укрепление рабочей семьи приходят — не скажу: к точке схода, — но к некоторой взаимозаменяемой или общей для обоих случаев форме. Возникает семейная модель, которую можно назвать межклассовой. Это маленькая клетка «родители — дети», элементы которой дифференцированы, но тесно сплочены, при

том что их связывает и в то же время им угрожает опасность инцеста. Однако в этой общей форме, в этой общей оболочке, в этом, собственно говоря, абстрактном коконе происходят два совершенно разных процесса. С одной стороны, процесс, о котором я говорил вам на прошлой лекции, процесс сближения-сгущения, который позволяет выделить в рамках большой семьи, носительницы статусов и имущественных благ, маленькую сплоченную клетку, группирующуюся вокруг угрожающе сексуализованного тела ребенка. С другой стороны, идет другой процесс — уже не процесс сближения-сгущения, а процесс стабилизации-распределения сексуальных отношений: установление оптимальной дистанции в окружении взрослой сексуальности, от которой на сей раз исходит угроза. В одном случае опасна сексуальность ребенка, и именно она подталкивает к сплочению семьи; в другом случае опасна сексуальность взрослого, и именно она требует, наоборот, оптимального распределения семьи.

Таковы два процесса образования, два пути организации клеточной семьи вокруг сексуальной опасности, два способа добиться сексуализации, одновременно опасной и необходимой сексуализации семейного пространства, два способа обозначить точку приложения авторитетного вмешательства, хотя точнее будет сказать, что в двух случаях имеют место два разных авторитетных вмешательства. Ибо, с одной стороны, есть опасная, угрожающая сексуализация семьи, исходящая от сексуальности ребенка. Какого рода внешнее вмешательство, какого рода внешняя рациональность ей требуется? Ей требуется рациональность, которая проникнет в семью, будет разрешать вопросы, контролировать и корректировать ее внутренние отношения: это медицина. Опасностям детской сексуальности, с которыми сталкиваются родители, должно отвечать медицинское вмешательство, медицинская рациональность. Напротив, в другом случае налицо сексуальность или, точнее, сексуализация семьи исходя из инцестуозного и опасного влечения родителей или старших детей, — и эта сексуализация вокруг возможного инцеста, идущая сверху, от старших членов семьи, также требует внешнего участия, вмешательства извне, арбитража или, точнее, разрешения. Только

на сей раз отнюдь не медицинского, но судебного типа. Судья, жандарм или их всевозможные заместители, существующие сегодня, с начала XX века, все так называемые инстанции социального контроля, социальной помощи — весь этот персонал и должен вмешиваться в семью с целью предотвратить опасность инцеста, исходящую от родителей или старших. Таким образом, у нас есть множество формальных аналогий, но в действительности — два глубоко различных процесса: с одной стороны, необходимое обращение к медицине, с другой — необходимое обращение в суд, полицию и т. д.

Во всяком случае, мы не должны забывать о том, что в конце XIX века одновременно появляются два механизма, два институциональных тела. Во-первых, психоанализ, который рождается как техника лечения детского инцеста и всех его вредоносных последствий в семейном пространстве. А во-вторых, одновременно с психоанализом, — но, я полагаю, сообразно второму процессу, о котором я говорил, — появляются институты ограждения народных семей, основной функцией которых является отнюдь не лечение инцестуозных желаний детей, но, как принято говорить, «защита детей от внешней угрозы», то есть от инцестуозных влечений отца и матери, а также их эвакуация из семейной среды. В одном случае психоанализ возвращает желание в семью (вы знаете, кто описал этот феномен лучше меня[2]), а в другом случае, не будем забывать, в симметричном и современном первому процессе совершается другая операция, не менее реальная: ребенка изымают из семьи в виду опасности инцеста со стороны взрослых.

Возможно, следует продолжить это описание двух форм инцеста и двух институциональных ансамблей, которые им отвечают. Возможно, следует сказать, что есть также две совершенно различные теории инцеста. Одна из них представляет инцест как непреодолимое желание, связанное с развитием ребенка, и под сурдинку нашептывает родителям: «Будьте уверены, что, когда ваши дети прикасаются к себе, они думают о вас». Другая, уже не психоаналитическая, а социологическая теория инцеста описывает запрещение инцеста как социальную необходимость, как условие обмена и благополучия, и

тоже нашептывает родителям: «Не прикасайтесь к вашим детям. Вы ничего не достигнете этим и, более того, вы много потеряете», — уж не структуру ли обмена, которая определяет и структурирует совокупность социального поля? Было бы интересно проследить игру двух этих форм, институциализации инцеста вкупе с его профилактикой и его теоретизации. Но как бы то ни было, я хочу подчеркнуть абстрактный и академический характер всякой общей теории инцеста, и в частности, разумеется, известной этнопсихоаналитической попытки связать запрет на взрослый инцест с инцестуозным желанием у детей. Я хочу показать, что абстрактна всякая теория, которая говорит: поскольку дети испытывают влечение к своим родителям, у нас есть все основания запретить родителям прикасаться к своим детям. Есть два типа сложения клеточной семьи, есть два типа определения инцеста, есть две характеристики страха инцеста и две институциональные сети вокруг этого страха; не скажу, что есть две сексуальности, буржуазная и пролетарская (или народная), но уверен, что есть две формы сексуализации семьи, или две формы «фамилиализации» сексуальности, два семейных пространства сексуальности и сексуального запрета.[3] И эту двойственность не в силах эффективно преодолеть никакая теория.

Вот в каком направлении я хотел продолжить сказанное на предыдущей лекции. Теперь же вернемся назад и попытаемся связать эти замечания о сексуальности с тем, что я говорил вам об инстинкте и персонаже монстра, так как я думаю, что персонаж ненормального, весь статус, весь размах которого открывается в конце XIX века, имел за собою двух—трех предшественников. Вот его родословная: юридический монстр, о котором я говорил, маленький мастурбатор, которому я посвятил последние занятия, и третий предшественник, о котором я, к сожалению, рассказать не успел (но, как вы увидите, он не слишком важен) — это недисциплинированный. Теперь я попытаюсь показать, как сомкнулись между собою проблематика монстра и инстинкта и, с другой стороны, проблематика мастурбатора и детской сексуальности.

Я попытаюсь очертить процесс сложения судебно-психиатрического механизма, который возник в ответ монстру, или

проблеме беспричинного преступника. Внутри этого механизма и с опорой на него возникли три, на мой взгляд, важные вещи. Во-первых, определение общего поля преступности и безумия. Расплывчатого, сложного, переменчивого поля, ибо выяснилось, что за всяким преступлением вполне может быть обнаружено некое безумное поведение, и, наоборот, во всяком безумии вполне может быть заключена опасность преступления. Возникло поле общих объектов безумия и преступления. Во-вторых, вследствие этого возникла необходимость если пока еще не института, то, во всяком случае, инстанции судебно-медицинского характера, представляемой персонажем психиатра, который уже постепенно становится криминалистом; необходим психиатр, который в принципе один обладает возможностью провести границу между преступлением и безумием и вместе с тем вынести суждение о том, какова опасность, скрывающаяся во всяком безумии. Наконец, в-третьих, в качестве привилегированного понятия в этом поле объектов, обозреваемом психиатрической властью, возникло понятие инстинкта как непреодолимого влечения, как поведения, нормально расположенного или ненормально смещенного на оси произвольного и непроизвольного: таков принцип Байарже.[4]

Далее, что мы видим, глядя на другую нить, на еще одно генеалогическое древо, которое я попытался наметить? На фундаменте плотского греха в XVIII веке возникает смычка — не судебно-психиатрическая, но семейно-психиатрическая смычка, отвечающая уже не страшному монстру, а вполне обычному персонажу, каковым является подросток-мастурбатор, представленный в виде ужасного или, во всяком случае, опасного монстра в силу насущной необходимости. Что же возникает в этой организации, вследствие этого механизма? С одной стороны, как я говорил в прошлый раз, сущностная принадлежность сексуальности к области болезней, а точнее, принадлежность мастурбации к общей этиологии болезни. Сексуальность, по крайней мере в своей мастурбационной форме, входит как постоянный и часто встречающийся элемент в поле этиологии, в круг причин болезни: это постоянный элемент, так как он обнаруживается везде, но, вооб-

ще-то говоря, случайный, так как мастурбация может повлечь за собой какую угодно болезнь. Во-вторых, этот механизм порождает необходимость в медицинской инстанции внутренней поддержки, вмешательства и рационализации семейного пространства. И наконец, по этой общей территории болезни и мастурбации, соотносящейся с медицинским знанием-властью, распространяется элемент, понятие которого в эту эпоху находится в стадии разработки: это понятие сексуальной «наклонности» или сексуального «инстинкта» — такого инстинкта, который, в силу самого своего непостоянства, обречен уклоняться от гетеросексуальной и экзогамной нормы. Итак, происходит смычка психиатрии с судебной властью. Этой смычке психиатрия обязана проблематикой непреодолимого влечения и появлением области инстинктивных механизмов как привилегированной области своих объектов. Тогда как симметричной смычке с семейной властью (которой увенчалось совсем другое генеалогическое древо) психиатрия обязана другой своей проблематикой — проблематикой сексуальности и анализа сексуальных отклонений.

Из чего, полагаю, следуют два вывода. Первый — это, разумеется, огромная прибыль в сфере возможного вмешательства психиатрии. В прошлом году я попытался показать вам, как на территории, которая традиционно была кругом компетенции психиатрии, в области умопомешательства, слабоумия и бреда, безумие [*rectius*: психиатрия], не покидая лечебницы, превратилось в своего рода управление безумцами, внедрив особую технологию власти.[5] И вот теперь психиатрия оказалась сопряжена с совсем другой областью — вовсе не с управлением безумцами, но с контролем семьи и сферой необходимого вмешательства в уголовную практику. Впечатляющее расширение: с одной стороны, психиатрии предстоит ведать всей областью отклонений и нарушений закона, а с другой, — основываясь на своей технологии управления безумцами, она призвана взять под контроль расстройства внутрисемейных отношений. На огромной территории, простирающейся от малого господства в семье до общей, непререкаемой формы закона, психиатрия выступает, призвана выступать и функционировать как технология индивида, которой суждено стать

обязательной для работы ключевых механизмов власти. Психиатрия становится одним из внутренних операторов, которого мы встречаем попеременно или одновременно в столь разных устройствах власти, как семья и судебная система, как в отношении «родители—дети», так и в отношении «государство—индивид», как при разрешении внутрисемейных конфликтов, так и при контроле и анализе нарушений закона. Психиатрия — это общая технология индивидов, которую мы встречаем всюду, где есть власть: в семье, в школе, в мастерской, в суде, в тюрьме и т. д.

Таким образом, происходит впечатляющее расширение области деятельности психиатрии. Но в то же время психиатрия оказывается перед совершенно новой для нее задачей. Дело в том, что условием осуществления, эффективного осуществления этой общей функции, этого всеприсутствия или междисциплинарности, является способность психиатрии организовать единое поле инстинкта и сексуальности. Если психиатрия хочет эффективно контролировать всю эту область, широту которой я попытался показать, если она хочет эффективно функционировать как в семейно-психиатрической, так и в судебно-психиатрической смычке, то ей нужно выявить перекрестную игру инстинкта и сексуальности, то есть в пределе, игру сексуального инстинкта как конститутивного элемента всех умственных болезней и, более того, всех поведенческих нарушений: от тяжких преступлений, идущих вразрез с наиболее важными законами, до мельчайших отклонений, будоражащих маленькую семейную [клетку]. Иными словами, она должна выработать не только дискурс, но и аналитические методы, концепты, теории, с помощью которых можно было бы переходить, оставаясь внутри психиатрии и не покидая ее границ, от детского аутоэротизма к убийству, от незначительного инцеста-прикосновения к ненасытному людоедству монстров-антропофагов. Вот какова теперь, начиная с 1840—1850-х гг., задача психиатрии (таким образом, я возвращаюсь к теме, оставленной после разговора о Байарже). Всю вторую половину XIX века будет разрабатываться проблема смычки инстинкта и сексуальности, желания и безумия, удовольствия и преступления — смычки, с помощью которой

страшных монстров, возникших на границе судебного аппарата, удастся сократить, расщепить, проанализировать и сделать обыкновенными, найдя их в смягченной форме внутри семейных отношений, а мелких мастурбаторов, которые прозябали в тиши семейного очага, — раз за разом обнаруживая, раздувая и демонстрируя их, — удастся превратить в ужасных преступников-безумцев, которые насилуют, расчленяют и пожирают людей. Как происходит это воссоединение? Как разрабатывается двойная теория инстинкта и сексуальности, как решается эта политико-эпистемологическая задача психиатрии, начиная с 1840—1850-х гг.? Об этом-то я и хотел бы сейчас поговорить.

В первую очередь это воссоединение происходит путем открытия границ между мастурбацией и прочими сексуальными отклонениями. В самом деле, вы наверняка помните, как в прошлый раз я настаивал на том, что мастурбация смогла сделаться первостепенной заботой семейной клетки вследствие того, что она оказалась обособлена от всех остальных непризнанных или осуждаемых сексуальных проявлений. Я пытался показать вам, что мастурбация всегда определялась как нечто совершенно отдельное, совершенно необычное. Столь необычное, что, с одной стороны, она определялась как следствие инстинкта или механизма, безоговорочно чуждого нормальной, реляционной и двуполой сексуальности (теоретики XVIII века были убеждены, что детской мастурбацией и взрослой сексуальностью руководят совершенно разные механизмы). Но, с другой стороны, последствия этой [детской] сексуальности соотносили ее не с аморальностью как таковой и даже не с аморальностью или ненормальностью сексуального свойства: последствия мастурбации обнаруживались в области соматической патологии. Это была телесная, физиологическая и даже, в предельном случае, патологоанатомическая расплата: именно ее в конечном счете влекла за собой мастурбация как принцип болезни. Я бы сказал, что в мастурбации, какою она понималась, анализировалась и преследовалась в XVIII веке, был минимум возможной сексуальности. В этом-то несомненно и заключался гвоздь кампании против нее. Родителям говорили: «Занимайтесь проблемой мастурба-

ции ваших детей и будьте уверены, что тем самым вы не затронете их сексуальность».

Теперь же, с того момента, когда психиатрия XIX века оказалась перед необходимостью объять обширную область, простирающуюся от семейных отклонений до противозаконных деяний, ее задачей, наоборот, становится вовсе не изолировать мастурбацию, но наладить сообщение между всеми внутрисемейными и внесемейными отклонениями. Психиатрия должна выстроить, вычертить генеалогическое древо всех сексуальных расстройств. И тут, в качестве первого решения этой задачи, мы встречаем знаменитые трактаты XIX века по сексуальной психопатологии, первым в ряду которых была, как вы знаете, «Psychopatia sexualis» Генриха Каана, вышедшая в Лейпциге в 1844 г. (насколько мне известно, это первый трактат по психиатрии, всецело посвященный сексуальной психопатологии, однако последний, в котором о сексуальности говорится по-латыни; к сожалению, он так и не был переведен, хотя меня, насколько моя латынь сумела с ним справиться, его текст очень заинтересовал). Что же мы находим в этом труде? В «Psychopatia sexualis» Генриха Каана мы, прежде всего, находим тему, которая бесспорно роднит эту книгу со всей теорией сексуальности ее эпохи. Согласно Каану, человеческая сексуальность вписывается своими механизмами и общими формами в естественную историю сексуальности, которую можно возвести к растениям. Утверждение сексуального инстинкта — *nisus sexualis*, как говорится в тексте, — вот что является не то чтобы психической, а, скажем просто: динамической манифестацией работы половых органов. Как существует некое чувство, впечатление, некая динамика голода, соответствующая аппаратам питания, так существует и сексуальный инстинкт, соответствующий работе половых органов. Такова недвусмысленная натурализация человеческой сексуальности, и вместе с тем таков принцип ее генерализации.

Для этого инстинкта, для этого *nisus sexualis*, который описывает Каан, соитие (то есть гетеросексуальный реляционный половой акт) является одновременно естественным и нормальным. Однако, — говорит Каан, — соития недостаточно

для полного определения или, вернее, полного осуществления силы и динамики этого инстинкта. Сексуальный инстинкт превосходит, причем естественным образом превосходит, свое естественное назначение. Другими словами, по отношению к соитию он нормально избыточен и частично маргинален.[6] Это силовое превосходство сексуального инстинкта над копуляционным предназначением, — говорит Каан, — проявляется и эмпирически подтверждается рядом явлений, в частности сексуальностью детей, и прежде всего сексуальностью, которая ясно просматривается в детских играх. Когда дети играют, в самом деле можно заметить, хотя их половые органы определились еще лишь предварительно и сексуальный *nisus* не приобрел свою силу, что их игры, напротив, очень отчетливо сексуально поляризованы. Игры девочек всегда отличаются от игр мальчиков, и это доказывает, что за всем поведением детей, даже за их играми, присутствует подоплека, поддержка сексуального *nisus*, сексуального инстинкта, который уже имеет свою специфику, даже когда органический аппарат, которым он должен управлять и который он должен пронизывать, дабы приводить его к соитию, еще далек от работоспособности. Существование этого *nisus sexualis* заметно и в совершенно другой области — уже не в игре, но в любознательности. Так, дети семи—восьми лет, согласно Каану, уже испытывают величайшее любопытство не только к своим половым органам, но и к половым органам своих товарищей, причем как своего, так и противоположного пола. Во всем этом — в самой работе разума, в этой любознательности, воодушевляющей детей и к тому же способствующей их обучению, — налицо присутствие, работа сексуального инстинкта. Таким образом, сексуальный инстинкт в своей жизненной энергии, в своем динамизме выходит далеко за пределы обыкновенного соития: он берет начало прежде соития и превосходит его.[7]

Разумеется, этот сексуальный инстинкт оказывается от природы направлен на соитие, сфокусирован на нем.[8] Но поскольку это соитие, в некотором смысле, является хронологически последней целью сексуального инстинкта, его неустойчивость вполне объяснима: ведь это слишком энергичный,

слишком ранний, слишком емкий инстинкт, он слишком вездесущ в организме и поведении индивидов, чтобы получать эффективное выражение, то есть чтобы осуществляться исключительно в виде взрослого двуполого соития. По этой причине, — объясняет Каан, — он подвержен целому ряду аномалий, всегда рискует отклониться от нормы. Совокупность этих отклонений, естественных и в то же время ненормальных, и образует область *psychopatia sexualis*, в рамках которой Генрих Каан выстраивает династию различных сексуальных нарушений, составляющих в его глазах особую и единую область.[9] Он перечисляет эти нарушения: существует *onania* (онанизм); существует педерастия — как любовь к неполовозрелым; существует то, что он называет лесбийской любовью, — любовь индивидов, как мужчин, так и женщин, к лицам своего пола; существует соитие с мертвецами, скотоложство и, наконец, шестое отклонение.[10] Вообще, во всех трактатах по сексуальной психопатологии неизменно присутствует маленькая деталь... — кажется, это Крафт-Эбинг считал одним из наихудших сексуальных отклонений болезнь, при которой люди ходят по улице с ножницами и отрезают девочкам косы. Да уж, это просто мания![11] Но за несколько лет до Крафт-Эбинга Генрих Каан утверждает, что существует одно сексуальное отклонение, весьма значительное сексуальное отклонение, которое его очень беспокоит: половое сношение со статуями. Впрочем, так или иначе, это первая большая, всеобъемлющая династия сексуальных отклонений. И надо сказать, что в общей области *psychopatia sexualis* онанизм, который, как видите, фигурирует в числе отклонений и поэтому является не более чем одним из элементов этого класса, выполняет совершенно особую роль, занимает весьма привилегированное место. В самом деле, откуда идут другие извращения, не связанные с онанизмом? Как возникают подобные нарушения законов естественного сношения? Да вот же в чем дело: фактором отклонения выступает воображение, то, что называется *phantasia*, болезненное воображение. Именно оно способствует преждевременному желанию или, точнее, возбуждаемое преждевременными желаниями, находит дополнительные, побочные, заместительные средства для их удовлет-

ворения. Как говорит Каан, *phantasia*, воображение, прокладывает путь всем сексуальным отклонениям. Следовательно, люди с ненормальной сексуальностью берутся из числа детей или же тех, кто в детстве осуществлял сексуально поляризованное воображение путем онанизма и мастурбации.[12]

Мне кажется, что в этом анализе Генриха Каана, который может показаться довольно-таки безыскусным, тем не менее присутствует ряд очень важных моментов для истории психиатрической проблематизации сексуальности. Во-первых, то, что ненормальность естественна для инстинкта. Во-вторых, то, что зазор между естественностью и нормальностью инстинкта, или, другими словами, глубинная и неотчетливая связь между естественностью инстинкта и его аномалией, чаще и определеннее всего проявляется в детстве. Третья важная тема: существует явственная связь между сексуальным инстинктом и *phantasia*, или воображением. Если инстинкт как таковой привлекается в эту эпоху главным образом как подоплека привычных, непреодолимых, автоматических действий, не сопровождающихся мыслями или представлениями, то сексуальный инстинкт, описываемый Кааном, связан, помимо прочего, с воображением. Именно воображение открывает перед ним пространство, где он может раскрыть свою ненормальную природу. Именно в воображении сказываются эффекты расхождения природы и нормальности, и именно оно, воображение, будет отныне служить посредником, передатчиком для всех каузальных и патологических проявлений сексуального инстинкта.[13]

Коротко можно сказать следующее. Психиатрия уже осваивала в это время инстинкт, но этот инстинкт (вспомните, о чем мы говорили три или четыре занятия назад) был, по сути своей, альтернативой бреда. Там, где не удавалось обнаружить бред, следовало привлекать безмолвные и автоматические инстинктивные механизмы. И вот Генрих Каан открывает в сексуальном инстинкте такой инстинкт, который, разумеется, не принадлежит к разряду бреда, однако несет в себе некоторую связь, интенсивную, явственную и постоянную связь с воображением. Взаимная работа инстинкта над воображением и воображения над инстинктом, их смычка и систе-

ма их взаимодействия — вот что позволяет провести общий ряд, соединяющий механику инстинкта и отчетливые проявления бреда. Иначе говоря, решающее значение для плодотворности анализа психиатрических понятий принадлежит введению воображения в инстинктуальную экономику при посредничестве сексуального инстинкта.

И наконец, в связи с этой книгой Каана надо подчеркнуть то, что в ней обнаруживается следующий фундаментальный тезис. Дело в том, что с учетом этого механизма инстинкта и воображения сексуальный инстинкт оказывается в истоке не только соматических расстройств. Генрих Каан удерживает в своем трактате старые этиологии, о которых я говорил вам в прошлый раз и согласно которым гемиплегия, общий паралич, опухоль мозга могут явиться следствием чрезмерной мастурбации. Все это есть в его книге, однако есть в ней и то, чего мы не найдем в антимастурбационной кампании: согласно Каану, мастурбация может сама по себе повлечь целый ряд одновременно сексуальных и психиатрических расстройств. Организуется особое, отдельное поле сексуальной аномалии внутри поля психиатрии. Книга Каана вышла в 1844 г. Это произошло в эпоху, когда Причард выпустил свою знаменитую книгу о душевных болезнях, которая пусть не ставит точку, но все же свидетельствует о перебое в развитии теории умопомешательства, сосредоточенной на бреде; с нею в поле психиатрии входит целый ряд расстройств поведения, не связанных с бредом.[14] Почти одновременно Гризингер закладывает основы нейропсихиатрии, основываясь на общем правиле, согласно которому объяснительные и аналитические принципы для ментальных заболеваний должны быть теми же, что и для неврологических болезней.[15] И наконец, с разницей в один или два года Байаржс, о котором я вам говорил, устанавливает примат оси произвольного и непроизвольного над привилегией, некогда отданной бреду.[16] Словом, 1844—1845 гг. ознаменовались концом алиенистики и зарождением психиатрии, или нейропсихиатрии, организованной вокруг влечений, инстинктов и автоматизмов. Этой же датой завершается история сказаний о мастурбации — или, во всяком случае, возникает психиатрия, анализ сексуальности, характеризующийся

поиском сексуального инстинкта, который пронизывает все поведение, от мастурбации до нормальной деятельности. Это эпоха, когда при участии Генриха Каана складывается психиатрическая генеалогия сексуальных отклонений. Это момент, когда — опять-таки благодаря книге Каана — устанавливается первостепенная и этиологическая роль воображения или, точнее говоря, воображения в связке с инстинктом. И наконец, это момент, когда детские стадии развития инстинктов и воображения приобретают опрделяющую роль в этиологии болезней и прежде всего умственных болезней. Таким образом, книга Генриха Каана обозначает дату рождения или как минимум дату вступления сексуальности и сексуальных отклонений на территорию психиатрии.

Но мне кажется, что это была лишь первая стадия процесса: открытие границ мастурбации, которая так настойчиво акцентировалась и в то же время обособлялась в рамках той кампании, о которой я рассказывал вам в прошлый раз. Открытие границ: с одной стороны, мастурбация сопрягается с сексуальным инстинктом вообще, с воображением и, тем самым, со всем полем отклонений и, в конечном счете, болезней. Но необходимо (и это вторая задача или, если угодно, вторая операция, осуществленная психиатрией в середине XIX века) очертить то пространство добавочной власти, которое назначает сексуальному инстинкту совершенно особую роль в генезисе несексуальных расстройств: необходимо выстроить этиологию видов безумия или ментальных болезней, основанную на истории сексуального инстинкта и связанного с ним воображения. А значит, необходимо освободиться от старой этиологии, о которой я говорил вам в прошлый раз (от этиологии, которая шла через истощение тела, ослабление нервной системы и т. д.), и найти собственную механику сексуального инстинкта и его аномалий. Об этой этиологической валоризации, об этой добавочной причинности, которая все более настойчиво приписывается сексуальному инстинкту, имеется ряд теоретических свидетельств, утверждений наподобие слов того же Генриха Каана: «Сексуальный инстинкт руководит всей психической и физической жизнью». Однако я хотел бы остановиться на одном конкретном случае, кото-

рый ясно показывает, как механика сексуального инстинкта постепенно приобретала первенство над механикой всех прочих инстинктов, чтобы в итоге сыграть свою фундаментальную этиологическую роль.

Это история, происшедшая между 1847 и 1849 годами, известная как история солдата Бертрана.[17] До самого последнего времени я числил ее в категории дел о мономании, характерными примерами которых являются дела Генриетты Корнье, Леже, Папавуана и т. п. По-моему, я даже относил это дело к 1830 г. (если так, то прошу прощения).[18] Простите, если я ошибся, но история солдата Бертрана относится к 1847—1849 гг. Как бы то ни было, я допустил если не хронологическую, то уж точно историческую или эпистемологическую ошибку. Ибо эта история, во всяком случае по многим своим обстоятельствам, имеет совершенно иную конфигурацию, нежели дело Корнье, о котором я говорил пять или шесть недель назад. Солдат Бертран — это человек, которого однажды поймали на кладбище Монпарнас за осквернением могил. Действительно, с 1847 г. (а схвачен он был в 1849 г.) он совершил серию осквернений на провинциальных кладбищах, а также на кладбищах вблизи Парижа. Когда преступления участились и приобрели демонстративный характер, Бертрана начали выслеживать, и однажды ночью, кажется в мае 1849 г., он был ранен сидевшими в засаде жандармами, скрылся в госпитале Валь-деграс (поскольку был солдатом) и там по собственной воле во всем признался врачам. Он рассказал, что с 1847 г. время от времени, с регулярными или нерегулярными перерывами, но не постоянно, был обуреваем желанием раскапывать могилы, открывать гробы, вынимать оттуда тела, разрезать их своим штыком, извлекать кишки и прочие органы, а затем развешивать тела на крестах и ветвях деревьев, составляя из них гирлянду. Но, говоря об этом, Бертран не упомянул, что среди оскверненных им таким образом трупов женские тела по численности значительно превосходили мужские (мужчин было, по-моему, не больше двух, тогда как остальные полтора десятка тел принадлежали женщинам и, в основном, молодым девушкам). Привлеченные, встревоженные этим обстоятельством доктора или следователи решили изучить выпотро-

шенные тела. И обнаружили на останках этих тел, впрочем уже сильно разложившихся, следы сексуальных посягательств.

Что происходит дальше? Сам Бертран и его первый врач (военный врач по имени Маршаль, представивший экспертизу для военного трибунала, который судил Бертрана) преподносят вещи следующим образом.[19] Они говорят (Бертран от первого лица, а Маршаль — в своем отчете психиатра): «Исходным было желание осквернять могилы; желание уничтожать мертвые тела, и так уже уничтоженные».[20] Как говорит в своем отчете Маршаль, Бертран поражен «деструктивной мономанией». Эта деструктивная мономания была типичным случаем мономании, ибо речь шла об уничтожении чего-то, уже подвергшегося далеко зашедшему разрушению. Это был, в некотором роде, пароксизм уничтожения: расчленение тел, уже наполовину разложившихся. Как только эта деструктивная мономания приобрела силу, — объясняет Маршаль, — солдата Бертрана поразила вторая мономания, в известном смысле сопряженная с первой, которая, в свою очередь, подтверждает ее патологический характер. Эта вторая мономания — «эротическая мономания», заключающаяся в том, что упомянутые тела, или останки тел, используются для получения сексуального удовольствия.[21] Тут Маршаль делает интересное сравнение с другим случаем, о котором выяснилось за несколько месяцев или лет до этого. Это была история слабоумного, помещенного в больницу Труа, который прислуживал там и имел доступ в морг. Там, в морге, он удовлетворял свои сексуальные потребности с подвернувшимися трупами женщин.[22] В обоих этих случаях, — говорит Маршаль, — нет эротической мономании, ибо мы имеем дело с человеком, у которого есть сексуальные потребности. Он не может удовлетворить эти сексуальные потребности с живыми служащими госпиталя, так как никто не желает оказывать ему в этом помощь и поддержку. Для него остаются только трупы, а потому естественная и в каком-то смысле рациональная механика интересов прямиком приводит его к осквернению этих трупов. Поэтому упомянутый слабоумный не может считаться пораженным эротической мономанией. Напротив, солдат Бертран, чье патологическое состояние первоначально проявилось в

виде мании уничтожения, обнаруживает за деструктивной манией другой симптом, а именно — эротическую мономанию. Он молод, имеет нормальную внешность, у него есть деньги. Так почему же он не найдет девушку, чтобы удовлетворить свои потребности? И Маршаль, в терминах, полностью совпадающих с терминами анализа Эскироля, делает вывод о том, что сексуальное поведение Бертрана продиктовано мономанией, или проявлением фундаментальной деструктивной мономании в виде эротической мономании.

В самом деле, на уровне клинической картины совершенно ясно, что деструктивная симптоматика количественно преобладает над эротической. Но в 1849 г. в газете под названием «Медицинский союз» психиатр по имени Мишеа предлагает анализ, имеющий противоположные выводы, в котором он берется показать, что в сердцевине патологического состояния Бертрана находится «эротическая мономания», тогда как «деструктивная мономания» является не более чем следствием мономании или, во всяком случае, болезни, связанной именно с «инстинктом воспроизводства», как тогда говорилось.[23] Анализ Мишеа весьма интересен. Сначала он показывает, что речь никоим образом не идет о бреде, и проводит различие между случаем солдата Бертрана и вампиризмом. Что такое вампиризм? Вампиризм, — говорит Мишеа, — это особого рода бред, при котором живой человек, словно бы находясь в кошмаре (в тексте говорится: «такова дневная разновидность кошмара»), думает, будто мертвые, или некая категория мертвых, выходят из могил и нападают на живых.[24] У Бертрана же все наоборот. Во-первых, он не бредит и к тому же отнюдь не является вампирическим персонажем. Он не вовлек сам себя в бредовую тему вампиров, ибо, скорее уж, является вампиром наоборот. Ведь Бертран — живой человек, преследующий мертвых, а в некотором смысле и пьющий их кровь; таким образом, в нем нет никаких следов бредовой убежденности. Речь идет о безумии без бреда. Это ясно всем. Но в этом безумии без бреда есть две совокупности симптомов: с одной стороны, деструктивные, а с другой, эротические. И вопреки симптоматологической незначительности эротизма, именно он, с точки зрения Мишеа, играет здесь главную роль. Разумеется,

Мишеа не выстраивает от эротизма генеалогию симптомов, тем более что у него не было концептуального или аналитического каркаса, позволяющего это сделать. Но он выдвигает общий принцип, задает обрамление возможной идеологии.[25] Он говорит, что сексуальный инстинкт, вне зависимости от частностей, наиболее важен и «наиболее властен среди побуждающих человека и животное потребностей».[26] Поэтому — в чисто количественных терминах, в терминах динамики или экономики инстинктов, — имея дело с расстройством инстинктов, нужно всегда искать как возможную причину сексуальный инстинкт, так как он — самый бурный, самый властный, самый емкий из всех инстинктов. Причем, — говорит Мишеа, — этот сексуальный инстинкт может удовлетворяться, всегда оставаясь источником удовольствий, совершенно иначе, нежели в актах, ведущих к размножению вида.[27] Иными словами, Мишеа признает абсолютно сущностным, абсолютно естественным для инстинкта неравенство удовольствия и акта размножения. И доказательство этого неравенства он видит в препубертатной мастурбации у детей, а также в удовольствии, которое женщины испытывают, будучи беременными или после менопаузы, то есть тогда, когда они не могут быть оплодотворены.[28]

Таким образом, инстинкт обособляется от акта оплодотворения в силу того обстоятельства, что он, по сути своей, является источником удовольствия, и это удовольствие может быть локализовано, или актуализировано, в неисчислимом множестве актов. Акт размножения или воспроизводства является всего лишь одной из форм, в которых может состояться или возникнуть удовольствие, внутренне присущий сексуальному инстинкту экономический принцип. Поэтому, как источник удовольствия, не связанного от природы с размножением, сексуальный инстинкт может быть подоплекой целого ряда поведенческих проявлений к размножению не причастных. И Мишеа перечисляет их: это «греческая любовь», «скотоложство», «влечение к объекту нечувствительной природы», «влечение к [человеческому] трупу» (к уничтожению кого-либо, к смерти кого-либо и т. д.) как источники «удовольствий».[29] Вследствие самой своей силы сексуальный ин-

стинкт является наиболее важным и, следовательно, господствующим в общей экономике инстинктов. Но как принцип, вызывающий удовольствие (причем вызывающий удовольствие где угодно, когда угодно и в любых условиях), он смыкается со всеми прочими инстинктами, и удовольствие, испытываемое при удовлетворении инстинкта, должно быть соотнесено, с одной стороны, с самим этим инстинктом, а с другой стороны — с сексуальным инстинктом, который, в некотором смысле, является универсальным источником универсального удовольствия. Мне кажется, что с анализом Мишеа в психиатрию входит новый объект, или новый концепт, которому ранее в ней не было места; он разве что проглядывал, вырисовывался в нескольких анализах Лере (я говорил с вами об этом в прошлом году). Это роль удовольствия.[30] У Мишеа удовольствие становится психиатрическим, или психиатризируемым, объектом. Обособление сексуального инстинкта от репродукции обеспечивается механизмами удовольствия, и это обособление позволяет определить единое поле отклонений. Не скованное нормальной сексуальностью удовольствие служит опорой целого ряда ненормальных, отклоняющихся, подлежащих психиатризации видов инстинктивного поведения. Так намечается, — чтобы сменить и уже сменяя старую теорию умопомешательства, сосредоточенную на представлении, интересе и заблуждении, — теория инстинкта и его отклонений, связанная с воображением и удовольствием.

В следующий раз я хотел бы рассказать вам о том, как психиатрия, — открывая перед собой это новое поле инстинкта, связанного с воображением и удовольствием, эту новую серию «инстинкт—воображение—удовольствие», свою единственную возможность охватить всю область, отведенную ей политически или, если хотите, назначенную ей организацией механизмов власти, — как психиатрия, найдя орудие охвата всей этой области, оказывается перед необходимостью разработать ее в своей собственной теории, на своем собственном концептуальном каркасе. Именно в этом, на мой взгляд, заключен смысл теории вырождения. С вырождением, с персонажем выродка, возникает общая формула охвата психиатрией той области вмешательства, которую доверила ей механика власти.

Примечания

[1] См.: *Foucault M.* La politique de la santé au XVIII siècle (1976) // Les Machines à guérir. Aux origines de l'hôpital moderne. Dossiers et documents. Paris, 1976. P. 11—21 (Dits et Écrits. III. P. 13—27). Этот текст заканчивается так: «Реформа больниц в XVIII веке обязана своим значением той совокупности проблем, которые поднимались городским пространством, массой населения с ее биологическими характеристиками, сплоченной семейной клеткой и телом индивидов». См. также: Politique de l'habitat (1800—1850) / étude réalisée par J.-M. Alliaume, B. Barret-Kriegel, F. Béguin, D. Rancière, A. Thalamy. Paris, 1977.

[2] М. Фуко имеет в виду Ж. Делеза и Ф. Гваттари. См.: *Deleuze G., Guattari F.* Capitalisme et Schizophrénie. L'Anti-Œdipe. Paris, 1972.

[3] См.: *Foucault M.* La Volonté de savoir. P. 170—173.

[4] См. выше, лекция от 12 февраля.

[5] См. уже цитированный нами курс «Психиатрическая власть» (в частности, лекции от 7 и 14 ноября, от 5, 12 и 19 декабря 1973 г. и от 9 января 1974 г.).

[6] *Kaan H.* Psychopatia sexualis. Lipsiae, 1844. P. 34, 36: «Instinctus ille, qui toti vitae psychicae quam physicae imperat omnibusque organis et symptomatibus suam notam imprimit, qui certa aetate (pubertate) incipit certaque silet, est nisus sexualis. Uti enim cuique functioni organismi humani, quae fit ope contactus cum rebus externis, inest sensus internus, qui hominem conscium reddit de statu vitali cuiusvis organi, ut situs, fames, somnolentia, sic et functio procreationis gaudet peculiari instinctu, sensu interno, qui hominem conscium reddit de statu organorum genitalium et eum ad satisfaciendum huic instinctui incitat. [...] In toto regno animale instinctus sexualis conducit ad copulationem; estque copulatio (coitus) naturalis via, qua ens instinctui sexuali satisfacit et munere vitae fungitur, genus suum conservans».

[7] *Kaan H.* Psychopatia sexualis. P. 37: «Etiamsi in homine nisus sexualis se exolit tempora pubertatis tamen et antea eius vestigia demonstrari possunt; nam aetate infantili pueri amant occupationes virorum, puellae vero feminarum. Et id instinctu naturali ducti faciunt. Ille instinctus sexualis etiam specie curiositatis in investigandis functionibus vitae sexualis apud infantes apparte; infantes octo vel novem annorum saepe sive invicem genitalia examinant et tales investigationes saepe parentum et pedagogorum curam aufugiunt (haec res est summi momenti et curiositas non expleta validum momentum facit in aetiologia morbi quam describo)».

[8] *Kaan H.* Psychopatia sexualis. P. 38, 40: «Eo tempore prorumpit desiderium obscurum, quod omnibus ingenii facultatibus dominatur, cuique

omnes vires corporis obediunt, desiderium amoris, ille animi adfectus et motus, quo quivis homo saltem una vice in vita adficitur et cuius vis certe a nemine denegari potest. [...] Instinctus sexualis invitat hominen ad coitum, quem natura humana exposcit, nec moralitas nec religio contradincunt».

[9] *Kaan H.* Psychopatia sexualis. P. 43: «Nisus sexualis, ut ad quantitatem mutationes numerosas offert, ita et ad qualitatem ab norma aberrat, et diversae rationes extant nisui sexuali satisfaciendi et coitum supplendi».

[10] *Kaan H.* Psychopatia sexualis. P. 43—44 («Onania sive masturbatio»); p. 44 («Puerorum amor»); p. 44 («Amor lesbicus»); p. 45 («Violatio cadaverum»); p. 45 («Concubitus cum animalibus»); p. 43 («Expletio libidinis cum statuis»).

[11] На самом деле речь, вероятно, идет о следующем случае: *Voisin A., Socquet J., Motet A.* État mental de P., poursuivi pour avoir coupé les nattes de plusieurs jeunes filles // Annales d'hygiène publique et de médecine-légale. XXIII. 1890. P. 331—340. См. также: *Magnan V.* Des exhibitionnistes // Annales d'hygiène publique et de médecine-légale. XXIV. 1890. P. 152—168.

[12] *Kaan H.* Psychopatia sexualis. P. 47—48. Связь между отклонением и фантазией описывается в короткой главе под названием «Что такое сексуальная психопатология?».

[13] *Kaan H.* Psychopatia sexualis. P. 47: «In omnibus itaque aberrationibus nisus sexualis phantasia viam parat qua ille contra leges naturae adimpletur".

[14] Речь идет о книге Дж. К. Причарда «Трактат об умопомешательстве» (*Prichard J. C.* Treatise on Insanity).

[15] *Griesinger W.* Die Pathologie und Terapie... P. 12.

[16] См. выше, лекция от 12 февраля.

[17] Основными источниками по этому делу являются уже цитированная статья Кл.-Ф. Мишеа «Болезненные отклонения любовного влечения» (*Michéa Cl.-F.* Des déviations maladives de l'appétit vénérien) и статья Л. Люнье «Судебно-медицинское исследование случая инстинктивной мономании. Дело сержанта Бертрана» (*Lunier L.* Examen médico-légale d'un cas de monomanie instinctive. Affaire du sergent Bertrand // Annales médico-psychologiques. 1849. I. P. 351—379). В разделе «Factums» Национальной библиотеки Франции (под номером 8 Fm 3159) можно также найти следующий документ: Le Violateur des tombeaux. Détails exacts et circonstanciés sur le nommé Bertrand qui s'introduisait pendant la nuit dans la cimetière Montparnasse où il y déterrait les cadavres des jeunes filles et des jeunes femmes, sur lesquels il commettait d'odieuses profanations [s. l. n. d.]. См. также: *Castelnau de.* Exemple remarquable de monomanie destructive et éroti-

que ayant pour objet la profanation des cadavres humains // La Lancette franaise. 82. 14 juillet 1849. P. 327—328; *Brierre de Boismont A*. Remarques médico-légales sur la perversion de l'instinct génésique // Gazette médicale de Paris. 29. 21 juillet 1849. P. 555—564; *F. J*. Des aberrations de l'appétit génésique // Gazette médicale de Paris. 30. 28 juillet 1849. P. 575—578; отчет Л.Люнье в изд.: Annales médico-psychologiques. 1850. II. P. 105—109, 115—119; *Legrand du Saulle H*. La folie devant les tribunaux. P. 524—529; *Tardieu A*. Études médico-légales sur les attentats aux mœurs. Paris, 1878 (7). P. 114—123.

18 См. выше, лекция от 29 января.

19 Об участии в процессе военного врача Маршаля (де Кальви), который представил суду документ, написанный Бертраном, см.: *Lunier L*. Examen médico-légale d'un cas de monomanie instinctive... P. 357—363.

20 *Lunier L*. Examen médico-légale d'un cas de monomanie instinctive... P. 356.

21 *Lunier L*. Examen médico-légale d'un cas de monomanie instinctive... P. 362: «Случай, с которым мы имеем дело, является образцом деструктивной мономании, осложненной эротической мономанией и начавшейся с мономании уныния, что встречается очень часто или даже является общим правилом».

22 Случай в Труа, на который ссылается М. Фуко, не упоминался Маршалем. Маршаль привел в пример более позднее дело некоего А. Симеона, о котором сообщает Б.-А. Морель в первом из его писем к Бедору: Considérations médico-légales sur un imbécile érotique convaincu de profanation de cadavres // Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie. 1857. 8. P. 123—125 (случай Симеона); 11. P. 185—187 (случай Бертрана); 12. P. 197—200; 13. P. 217—218. Ср.: *Baillarger J.-G.-F*. Cas remarquable de maladie mentale.

23 *Michéa Cl.-F*. Des déviations maladives de l'appétit vénérien. P. 339a: «Я считаю, что подоплекой этого чудовищного безумия была эротическая мономания и что она предшествовала деструктивной мономании». Однако Б.-А. Морель (*Morel B.-A*. Traité des maladies mentales. P. 413), помещая случай Бертрана в раздел «Извращение инстинктов воспроизводства», объясняет его как следствие ликантропии.

24 *Michéa Cl.-F*. Des déviations maladives de l'appétit vénérien. P. 338c—339a: «Вампиризм [...] является разновидностью кошмара, дневным бредом, продолжающимся и в состоянии бодрствования; он характеризуется убеждением в том, что люди, достаточно давно умершие, выходят из своих могил, чтобы пить кровь живых».

[25] *Michéa Cl.-F.* Des déviations maladives de l'appétit vénérien. P. 338c: «В связи с этим столь странным и необычайным случаем позвольте мне представить некоторые соображения, вызванные внимательным чтением документов процесса, — частные соображения, к которым я добавлю несколько общих суждений о патологической психологии, которые непосредственно связаны с ними, являются их логическим дополнением, естественным следствием».

[26] *Michéa Cl.-F.* Des déviations maladives de l'appétit vénérien. P. 339a.

[27] М. Фуко пересказывает следующий пассаж Мишеа (*Michéa Cl.-F.* Des déviations maladives de l'appétit vénérien. P. 339a): «Вернув права женщине, христианство произвело подлинную революцию нравов. Оно сделало физическую любовь средством, а не целью; оно провозгласило единственной целью любви умножение вида. Всякий любовный акт, совершенный без такого намерения, сделался для христианства насилием, которое переходило как таковое из христианской морали в гражданское и уголовное право, где за него нередко назначалось жестокое и крайне тяжелое наказание. [...] Некоторые философы нового времени, как например [Жюльен де] Ламетри [*La Mettrie J. de.* Œuvres philosophiques. Paris, 1774. II. P. 209; III. P. 223], думали так же. [...] Поскольку половые органы, — говорят физиологи школы Ламетри, — предназначены божественной мудростью исключительно для целей умножения вида, ощущение удовольствия, вызываемое действием этих органов, не должно иметь места, когда человек еще не достиг или уже покинул область условий, требующихся для его воспроизводства».

[28] *Michéa Cl.-F.* Des déviations maladives de l'appétit vénérien. P. 339a.

[29] См. анализ четырех этих категорий: *Michéa Cl.-F.* Des déviations maladives de l'appétit vénérien. P. 339a, 339c.

[30] Анализы Ф. Лере намечаются в его «Психологических фрагментах о безумии» (*Leuret F.* Fragments psychologiques sur la folie. Paris, 1834) и подробно развиваются им в кн. «О моральной трактовке безумия» (*Leuret F.* Du traitement moral de la folie. Paris, 1840. P. 418—462). См. также заключение цитированного курса «Карательное общество» (лекция от 19 декабря 1972 г.) и другой, также цитированный курс «Психиатрическая власть» (лекция от 19 декабря 1973 г.).

Лекция от 19 марта 1975 г.

Смешанная фигура: монстр, мастурбатор и не поддающийся нормативной системе воспитания. — Дело Шарля Жуи и семья, подключенная к новой системе контроля и власти. — Детство как историческое условие генерализации психиатрического знания и власти. — Психиатризация инфантильности и формирование науки о нормальном и ненормальном поведении. — Великие теоретические конструкции в психиатрии второй половины XIX века. — Психиатрия и расизм; психиатрия и социальная защита.

Сегодня я попытаюсь замкнуть проблему, обсуждаемую нами в этом году, то есть проблему возникновения персонажа ненормального, области аномалий, как центрального объекта психиатрии. Начиная нынешний курс, я пообещал вам представить генеалогию ненормального, описав трех персонажей: страшного монстра, малолетнего мастурбатора и непослушного ребенка. В моей генеалогии не хватает третьего члена; надеюсь, вы меня извините. Вы сможете составить о нем представление по тексту, который я для вас подготовлю. Поэтому оставим его генеалогию в стороне, так как описывать ее у меня нет времени.

Сегодня же, основываясь на конкретном деле, я хотел бы представить вам комбинированную, смешанную фигуру, соединяющую в себе черты монстра, юного мастурбатора и непослушного — или, во всяком случае, не поддающегося нормативной системе воспитания. Дело, о котором я говорю, относится к 1867 г. и является, как вы увидите, необычайно банальным, однако в нем можно усмотреть, если не зарождение ненормального как психиатризируемого индивида, то, по

крайней мере, точное указание периода психиатризации ненормального и того способа, каким она была осуществлена. Это дело сельскохозяйственного рабочего из окрестностей Нанси, переданного в сентябре—октябре 1867 г. административному главе его деревни родителями малолетней девочки, которую он наполовину, отчасти, в некоторой степени изнасиловал. Против него выдвинули обвинение. Он подвергается первому психиатрическому обследованию местным врачом, после чего препровождается в Марсвиль, в крупную психиатрическую лечебницу региона Нанси, существующую, надо сказать, и поныне. Там в течение нескольких недель он проходит полное психиатрическое обследование под наблюдением двух психиатров, один из которых имел известность: его звали Бонне.[1] Что же выявляет досье этого персонажа? В момент совершения деяний ему было сорок лет. Он родился внебрачным ребенком, его мать умерла, когда он был подростком, и впоследствии он жил на окраине деревни, почти неграмотный, немного пьющий, нелюдимый, имея мизерный заработок. И являясь, в некоторой степени, деревенским сумасшедшим. И я уверяю вас, что нет моей оплошности в том, что его фамилия была Жуи.* Допрос пострадавшей девочки показал, что сначала Шарль Жуи мастурбировал с ее помощью в поле. Собственно говоря, эта девочка, Софи Адам, и Шарль Жуи были тогда не одни. Вместе с ними была еще одна девочка, которая смотрела на происходящее, но отказалась сменить свою подружку, когда та попросила ее об этом. Затем, повстречав одного крестьянина, который проходил мимо по дороге домой, девочки рассказали ему обо всем, а именно о том, как делали вместе с Жуи «матон», то есть, на местном наречии, простоквашу.[2] Крестьянин, казалось, ничуть этим не обеспокоился, однако некоторое время спустя, в день праздника деревни, Жуи увел маленькую Софи Адам (а может быть, Софи Адам увела Шарля Жуи — не важно) в овраг у дороги, ведущей в Нанси. И там что-то произошло — не исклю-

* Фамилия Жуи (Jouy) во французском языке созвучна глаголу *jouir* (наслаждаться) и его производным — *jouissance* (наслаждение), *jouisseur* (ищущий наслаждений, жуир) и т. д. — *Прим. перев.*

чено, что полуизнасилование. Так или иначе, Жуи великодушно дал девочке четыре су, и та побежала на ярмарку, чтобы купить жареный миндаль. Само собой, — рассказывает девочка, — она ничего не сказала родителям, боясь заработать пару оплеух. И только несколько дней спустя мать что-то заподозрила, стирая ее белье.

То, что судебная психиатрия взялась за подобное дело; то, что она разыскала в глухой деревне обвиняемого в оскорблении нравов (я бы даже сказал, банального обвиняемого в обычном оскорблении элементарных нравов); то, что она приняла к рассмотрению этого персонажа; то, что он был подвергнут первой психиатрической экспертизе, а затем и второму обследованию, очень углубленному, тщательному, полному обследованию; то, что его поместили в лечебницу; то, что психиатрия потребовала и без труда добилась от судьи решения прекратить дело; и, наконец, то, что в итоге она добилась окончательной (если верить документам) «изоляции» этого человека, — все это свидетельствует не только о серьезном изменении в области объектов, с которыми работает психиатрия, но и о совершенно новом принципе ее функционирования. Что же такое это новое психиатрическое функционирование, с которым мы сталкиваемся в этом деле?

Напомню вам образцовое, основополагающее дело, о котором я говорил вам несколько месяцев назад. Это дело Генриетты Корнье,[3] служанки, которая практически без единого слова, без объяснений, без малейшего дискурсивного сопровождения обезглавила маленькую девочку. Генриетта Корнье — это целый пейзаж. Она, конечно, тоже была крестьянкой, но крестьянкой, переехавшей в город. Заблудшая, потерянная дочь сразу в нескольких смыслах этого слова, ибо она все время переезжала с места на место, ибо она была брошена своим мужем или любовником, имела нескольких детей, которых, в свою очередь, бросила сама, и к тому же, в той или иной степени, была проституткой. Заблудшая дочь, но и безмолвный персонаж, который без всяких объяснений совершил этот чудовищный поступок, — чудовищный поступок, произведший в городской среде эффект разорвавшейся бомбы и промелькнувший перед глазами очевидцев подобно фантасти-

ческому, черному, таинственному метеору, о котором никто не мог сказать ни слова. Никто и не сказал бы о нем ничего, если бы по ряду теоретических и политических причин им не заинтересовались психиатры.

Дело Шарля Жуи носит довольно-таки родственный характер, однако его пейзаж совершенно другой. Шарль Жуи — персонаж, близкий к типу деревенского сумасшедшего: простой, молчаливый. Человек без происхождения, внебрачный ребенок, тоже, как и Генриетта Корнье, непостоянный. Ходит с места на место: «Что вы делали с четырнадцатилетнего возраста? — Жил то у одних, то у других», — отвечает он. Был исключен из школы: «Вами были довольны [...] в школе? — Меня не захотели там держать». Был нежелателен в играх: «Вы когда-нибудь играли с другими мальчиками?». Ответ: «Они не хотели со мной играть». Так же он был отлучен и от сексуальных игр. Психиатр весьма прозорливо спрашивает его, в связи с этой мастурбацией вместе с девочками, а почему он не обратился к девочкам постарше. И Шарль Жуи отвечает, что они смеялись над ним. Он был отверженным даже у себя дома: «Когда вы возвращались [с работы. — *М. Ф.*], что вы делали? — Я сидел в конюшне». Да, это маргинальный персонаж, но в своей деревне он вовсе не чужак. Он глубоко вовлечен в социальную конфигурацию, он обретается и вращается в ней, функционирует в ней. Экономически функционирует в ней очень отчетливым образом, ибо, строго говоря, является последним работником, выполняет последнюю часть работы, то, чего никто больше делать не желает, и получает самое низкое жалованье: «Сколько вы зарабатываете? И он отвечает — Сто франков, питание и рубашку». Тогда как зарплата сельскохозяйственного рабочего в этом регионе и в это время составляла, в среднем, четыреста франков. Он иммигрант у себя дома, он функционирует как обитатель социальной окраины, которая охватывает низкооплачиваемых.[4]

Его блуждающее, неустойчивое положение имеет четкую экономическую и социальную функцию там, где он находится. Даже сексуальные игры, которым он предается и которые составляют предмет его дела, — согласно тому, что можно вынести из документов, — кажутся мне столь же определен-

ными, как и его экономическая роль. Ведь эти две девочки, ублажив дурачка в лесу или на обочине дороги, не таясь рассказывают об этом взрослому, — смеясь, рассказывают, как они делали простоквашу, и взрослый отвечает им: «Ах вы, маленькие негодницы!».[5] И дело не получает продолжения. Все это хорошо вписывается в некоторый пейзаж и в круг самых что ни на есть обычных практик. Девочка недолго думая позволяет себе это; вполне непринужденно, кажется, получает несколько су и бежит на ярмарку покупать жареный миндаль. Ничего не говорит родителям исключительно из-за того, чтобы не заработать пару подзатыльников. К тому же сам Жуи рассказывает на допросе: да что он сделал? Он всего лишь дважды проделал это с Софи Адам, но часто видел, как она делает то же самое с другими мальчишками. Да вся деревня об этом знала. Однажды он застал Софи Адам мастурбирующей на обочине с мальчиком тринадцати или четырнадцати лет, в то время как другая девочка, сидя рядом с ними, делала то же самое другому мальчику. Кажется, сами психиатры признают, что все это является частью совершенно обычного, повседневного пейзажа, так как Бонне и Бюлар говорят в своем рапорте: «Он делал [...] то же самое, что часто делают в своей компании дети разных полов; мы имеем в виду [предусмотрительно добавляют психиатры. — *М. Ф.*] тех невоспитанных детей, дурные наклонности которых не были [в достаточной мере. — *М. Ф.*] пресечены наблюдением и внушением благих принципов».[6] Судебная медицина с легкостью психиатризирует сексуальность деревенских детей, уличную, придорожную, лесную сексуальность. С легкостью, которую мы получим все основания считать проблемой, вспомнив о том, с какими трудностями еще несколько лет назад психиатризировали вещи столь необъяснимые и чудовищные, как преступления Генриетты Корнье или Пьера Ривьера.

Во-первых, нужно отметить следующее: эта психиатризация затрагивает практики и персонажи, которые прекрасно вписываются в деревенский пейзаж своего времени. Первая ее важная особенность — то, что она идет не сверху, или не только сверху. Мы не имеем дело с внешней сверхкодировкой, психиатрия берется за это дело не потому, что оно представ-

ляет проблему, скандал или некую тайну, не из-за таинственности Жуи. Вовсе нет: механизм запроса к психиатрии работает в самом низу. Не стоит забывать о том, что семья девочки обнаруживает тревожные факты в ходе пресловутой проверки белья, о которой я говорил вам в связи с мастурбацией и которая, как вы помните, была одной из тех гигиенических и одновременно моральных рекомендаций, которые давались семьям с конца XVIII века.[7] Таким образом, именно семья замечает нечто, именно семья представляет факты администрации деревни и требует принять меры. Девочка ожидала подзатыльников, однако семья в это время уже не практикует такого рода наказания, она подключена к другой системе контроля и власти. Первый эксперт, доктор Беше, и тот колебался. Рядом с Жуи, с этим столь известным, столь обычным персонажем, он вполне мог сказать: «Ну что же, он это сделал, ему и отвечать». И действительно, доктор Беше говорит в своем первом отчете: «Разумеется, Жуи несет юридическую, судебную ответственность за содеянное». Однако в записке, приложенной к отчету и адресованной следователю, он говорит, что «моральное чувство» обвиняемого «недостаточно для того, чтобы сопротивляться животным инстинктам». Ведь речь идет о «скудоумном, которого оправдывает его темнота».[8] Эта довольно вычурная фраза, несколько таинственная по своему смыслу, ясно указывает на то, что врач (сельский или окружной врач — не важно) считает нужной в данном случае более серьезную, более полную психиатризацию. К тому же создается впечатление, что сама деревня Жуи озаботилась этим делом и перевела его с уровня оплеух, ожидавшихся девочкой, на совершенно иной уровень. Ведь это глава деревни, ознакомившись с делом, представил его в прокуратуру; да и все население Люпкура (таково название деревни), узнав об отчете психиатрических экспертов, высказало желание, чтобы маленькая Софи Адам была отправлена в исправительный дом до совершеннолетия.[9] Таким образом, на относительно глубоком уровне зарождается некая новая обеспокоенность взрослых, семьи, деревни перед этой периферийной, бродячей сексуальностью, где пересекаются пути детей и маргинальных взрослых; и также на относительно глубоком уровне зреет запрос к

весьма, я бы сказал, разветвленной контрольной инстанции: ведь семья, деревня, ее глава и, в известной степени, первый врач Жуи ратуют за исправительный дом для девочки и за суд или психиатрическую лечебницу для взрослого.

Жители деревни прибегают к запросу снизу, апеллируют к высшим инстанциям, к инстанциям технического, медицинского, судебного контроля, апеллируют несколько путано, соединяя все вместе, в связи с фактом, который несколько лет назад, несомненно, был бы сочтен совершенно обычным и безобидным. И как же реагирует на эту апелляцию психиатрия? Как, собственно, осуществляется психиатризация, эта скорее запрашиваемая, нежели навязываемая психиатризация? Мне кажется, что для того чтобы понять, как осуществляется психиатризация подобного персонажа, нужно сопоставить ее с той моделью, о которой я только что говорил, — с делом Генриетты Корнье. Когда возникла потребность психиатризировать или, проще говоря, продемонстрировать безумие, душевную болезнь Генриетты Корнье, чего именно от нее ждали? Прежде всего, ждали телесного коррелята, то есть физического элемента, который послужил бы, как минимум, последней, недостающей причиной преступления. И он был найден: это были менструации.[10] Далее, на более серьезном и фундаментальном уровне, имелось стремление вписать поступок Генриетты Корнье, убийство ребенка, в рамки болезни — в рамки болезни, которую, конечно, очень трудно распознать, но хотя бы некоторые признаки которой могут-таки открыться подготовленному глазу. В итоге не без труда, не без множества ухищрений удалось связать все это с неким изменением в настроении, случившимся у Генриетты Корнье в определенный период ее жизни, которое и следует охарактеризовать как коварное проявление той самой болезни, которая осталась бы бессимптомной, если не считать убийства, однако напоминала о себе уже этой незаметной переменой настроения; и далее, в самой этой перемене настроения ищется некий инстинкт, монструозный, болезненный и патологический инстинкт, который врывается в поведение, как метеор, — инстинкт убийства, ни на что больше не похожий, инстинкт убийства, не отвечающий никаким интересам и не вписывающийся ни в какую экономи-

ку удовольствия. Это своего рода автоматизм, который, как стрела, врезается в поведение и поступки Генриетты Корнье и о котором не может свидетельствовать ничего, за исключением его патологического сопровождения. Внезапный, отдельный, расходящийся с обычным порядком, инородный, ни на что не похожий в сравнении с остальной личностью характер деяния — вот что обусловливало психиатризацию поступка Генриетты Корнье.

Совершенно иначе осуществляется психиатризация поступка, поведения Жуи в заключении о нем, предоставленном Бонне и Бюларом. Прежде всего, она осуществляется путем включения не в хронологически очерченный процесс, но в своего рода постоянную физическую конфигурацию. Чтобы убедительно показать, что мы имеем дело с человеком, подлежащим психиатрическому вмешательству, чтобы соотнести поведение Жуи с областью психиатрической компетенции, психиатры нуждаются не в некоем процессе, но в постоянных признаках, свойственных индивиду на структурном уровне. Именно об этом идет речь в таких наблюдениях: «Его лицо, в отличие от нормальных случаев, недостаточно симметрично черепу. Туловище и конечности непропорциональны. Имеется порок развития черепа; лоб значительно уходит назад, что в сочетании с приплюснутым затылком делает голову конусообразной; боковые части также приплюснуты, в результате чего теменные бугры расположены несколько выше, чем обычно».[11] Я хотел бы заострить внимание на всех этих замечаниях, которые сопоставляют черты Жуи с нормальным строением, с обычным порядком. Обвиняемого подвергают целому ряду исследований: измеряют затылочно-лобный диаметр, затылочно-подбородочный диаметр, лобно-подбородочный диаметр, париетальный диаметр; измеряют лобно-затылочную окружность, антеро-постериорную и бипариетальную полуокружности и т. д. Выясняется, что рот слишком широкий, а нёбо имеет вздутия, характерные для слабоумных. Как вы понимаете, ни один из этих элементов, выявленных обследованием, не является причиной и даже простым побудительным принципом болезни, каким были менструации Генриетты Корнье в день совершения убийства. В действительности все

эти элементы образуют вместе с самим деянием полиморфную конфигурацию. Деяние и телесные признаки Жуи соотносятся в одинаковой степени и, так сказать, в общем плане, даже если природа их различна, с неким постоянным, конститутивным, врожденным состоянием. Телесные несообразности суть, в некотором смысле, внешние проявления этого состояния, а поведенческие отклонения, те самые, которые навлекли на Жуи обвинение, суть его инстинктивные и динамические проявления.

Коротко можно сказать следующее. В случае Генриетты Корнье, в эпоху ментальной медицины, сосредоточенной на мономании, патологический процесс выстраивался за преступлением, исходя из преступления, которое стремились представить в виде симптома. Напротив, в случае Шарля Жуи и в психиатрии нового типа проступок вводится в схему постоянных и устойчивых телесных признаков. На смену психиатрии патологических процессов, вызывающих поведенческие сбои, постепенно приходит психиатрия постоянного состояния, предопределяющего неискоренимое отклонение. И какова же общая форма этого состояния? В случае Генриетты Корнье и того, что называли «инстинктивным безумием», определение которого и складывалось вокруг подобных дел, патологический процесс, призванный служить подоплекой преступного деяния, имел два основных свойства. С одной стороны, это было своего рода воспаление, разбухание и вскрытие инстинкта, резкое возрастание его динамики. Иными словами, функционирование инстинкта окрашивалось патологической чрезмерностью. И с этой чрезмерностью было связано, ее результатом было ослепление, из-за которого больной не мог осознавать последствия своего поступка; сила инстинкта была столь непреодолима, что больной не был способен внести инстинктивные механизмы в общую таблицу интересов. Итак, в истоке — воспаление, разбухание, перехлест инстинкта, который становится непреодолимым и превращается в патологический очаг. И как следствие — ослепление, отсутствие заинтересованности, всякого расчета. Вот что называлось «инстинктивным бредом». Напротив, в случае Шарля Жуи признаки, соединяющиеся в единую сеть и тем самым

образующие то состояние, которое допускает психиатризацию деяния, представляют совсем другую конфигурацию, в которой главным, фундаментальным уже не является чрезмерность, всплеск инстинкта, который внезапно переходит границы (как это было в случае мономаний и инстинктивного безумия); главным, фундаментальным, то есть самым очагом этого состояния, является недостаток, изъян, остановка в развитии. Иными словами, тем, что Бонне и Бюлар нащупывают в своей характеристике Жуи как принцип его поведения, является не какой-то внутренний переизбыток, а скорее функциональный дисбаланс, который приводит к тому, что из-за отсутствия торможения, контроля или высших инстанций, которые обеспечивали бы сдерживание, руководство и подчинение низших инстанций, эти низшие инстанции развиваются как им заблагорассудится. Нельзя сказать, что эти низшие инстанции содержат в самих себе возбудитель патологии, который внезапно приводит их в исступленное состояние и одновременно умножает их силу, динамику и возможные последствия. Вовсе нет, эти инстанции остаются такими, какие они есть; они дают сбой только тогда, когда то, что должно интегрировать, сдерживать, контролировать их, оказывается вне игры.[12]

Нет внутренней болезни инстинкта, но есть, скорее, общий функциональный дисбаланс, порочное устройство на структурном уровне, которое и приводит к тому, что инстинкт, или ряд инстинктов, функционируют «нормально» согласно своему собственному режиму, но «ненормально» в том смысле, что этот их собственный режим не контролируется инстанциями, которые должны за них отвечать, держать их на своем месте и умерять их действие. В отчете Бонне и Бюлара можно найти целый ряд примеров этого анализа нового типа. Я приведу лишь некоторые. Они кажутся мне важными для понимания новой смычки, или нового функционального фильтра, с помощью которого будут исследоваться патологические феномены. Возьмем, например, метод описания половых органов взрослого. Бонне и Бюлар проводили физическое обследование обвиняемого и обследовали в том числе его половые органы. Они делают следующие заключения: «Невзирая на

очень слабое телосложение [обвиняемого. — *М. Ф.*] и явную остановку в его физическом развитии, его [половые. — *М. Ф.*] органы имеют нормальное развитие, такое же, как у обычного человека. Такая особенность встречается у слабоумных».[13] У слабоумных встречается не ненормальное развитие половых органов, но контраст между совершенно нормальными анатомически половыми органами и неким изъяном общей структуры организма, которая должна была бы удерживать на подобающем месте и в соответствии с общими пропорциями функцию этих органов.[14] По этому принципу строится все клиническое описание. Первоначальным дефектом, исходной точкой анализируемого поведения является, таким образом, реальность изъяна. Перехлест, злоупотребление — лишь внешнее следствие этого первоначального и фундаментального недостатка: этот принцип противоположен тому, с чем мы имели дело, когда алиенисты усматривали патологический очаг в неудержимо бурном характере инстинкта. Далее в отчете Бонне и Бюлара мы находим целый ряд такого рода высказываний. Он не зол, — говорят они о Жуи, — он даже «мягок», но его «моральное чувство повреждено»: «Ему не хватает владения собой, чтобы своими силами сопротивляться некоторым стремлениям, о которых впоследствии он может [...] пожалеть, не решаясь, впрочем, больше не возвращаться к ним [...]. Эти дурные инстинкты [...] происходят от первоначальной остановки в развитии, и нам известно, что наиболее неудержимыми они бывают у слабоумных и дегенератов [...]. Будучи умственно поврежден от рождения, не получив никакой пользы от своего воспитания, [...] он не обладает тем, что могло бы уравновесить естественную склонность ко злу и эффективно сопротивляться тирании чувств. [...] У него нет власти над „собой", он не в состоянии умерить поползновения своих мыслей и плотские влечения [...]. Столь могущественное животное начало [...] остается в нем необузданным за отсутствием способностей здраво оценить достоинство тех или иных вещей».[15]

Теперь вы видите, что поводом к психиатризации и характеристикой состояния больного является не количественный перехлест и не абсурдный характер удовлетворения (как это

было, когда хотели психиатризировать Генриетту Корнье), а отсутствие торможения, самопроизвольность низших, инстинктивных процедур удовлетворения. Этим-то и объясняется значение «слабоумия», функционально и фундаментально связанного с отклонениями поведения. Значение, которое так велико, что мы можем сделать вывод: тем состоянием, которое позволяет психиатризировать Жуи, является именно его остановка в развитии; уже не процесс, который овладевает им, подчиняет его себе, пронизывает его организм или поведение, а остановка в развитии, то есть просто-напросто его инфантильность. Психиатры без конца говорят об этом детском состоянии поведения и мышления: «Лучше всего сравнить его образ деятельности с образом деятельности ребенка, который обрадуется, если его похвалят».[16] И о детском состоянии его морали: «Так же, как провинившиеся дети [...], он боится наказания. Он поймет, что поступил плохо, потому что так ему говорят; он пообещает больше так не делать, но он не в состоянии дать моральную оценку своим поступкам [...]. Мы находим его инфантильным, а его мораль неразвитой».[17] И наконец, о детском состоянии его сексуальности. Я совсем недавно приводил вам фрагмент, где психиатры говорят: «Он ведет себя как ребенок, а в данном случае поступает так же, как часто поступают друг с другом дети разного пола», но «невоспитанные дети, дурные наклонности которых не были пресечены...» и т. д.[18] Вот что, как мне кажется, здесь важно (впрочем, не знаю, насколько это важно, но именно к этому я хотел подойти): определяется новая позиция ребенка в рамках психиатрической практики. Постулируется преемственность или, вернее, неизменяемость жизни по отношению к детству. Именно это — неизменяемость жизни, неизменяемость поведения, неизменяемость поступков с детства — и обусловливает на фундаментальном уровне возможность психиатризации.

Что именно позволяло считать человека больным согласно анализу, который предпринимали алиенисты (ученые школы Эскироля, те самые, что занимались Генриеттой Корнье)? То, что, повзрослев, этот человек утратил всякое сходство с ребенком, которым был. Что говорили, стремясь показать, что Генриетта Корнье не несет ответственности за свои действия?

Говорили, напомню, вот что: «В детстве она была веселым, смеющимся, приятным, полным любви ребенком; затем, повзрослев, она стала мрачной, меланхоличной, молчаливой и неразговорчивой». Детство должно было быть разведено с патологическим процессом, чтобы этот патологический процесс мог эффективно функционировать и способствовать снятию с субъекта ответственности. Вот почему во всей медицине умопомешательства признаки детской злости были предметом столь пристального внимания и борьбы. Вспомните, например, с какой тщательностью и в то же время с каким ожесточением шла дискуссия вокруг признаков злости в деле Пьера Ривьера.[19] Дело в том, что, пользуясь этими признаками, можно было добиться двух результатов. Можно было сказать: видите, когда он был совсем маленьким, он распинал лягушек, убивал птиц, прижигал своему брату ступни — так уже в детстве подготавливалось поведение, с которым мы имеем дело у нашего персонажа и которое однажды должно было привести его к убийству матери, брата и сестры. Поэтому в этом преступлении нет ничего патологического, ибо ему подобна вся жизнь Пьера Ривьера с самого его детства. Понятно и то, почему психиатры, взявшись психиатризировать это преступление и снять с Ривьера вину, были вынуждены сказать: да, но ведь эти признаки злости являются крайними проявлениями злости, крайними также и в том, что они обнаруживаются только в один период его детства. До семи лет этих признаков не было, а затем, после семи лет, они появились. Следовательно, уже тогда шел патологический процесс, который десять или тринадцать лет спустя должен был привести к преступлению, о котором мы знаем. Отсюда вся эта юридическо-психиатрическая борьба вокруг детской злости, борьба, отголоски и следы которой вы найдете во всей истории судебной психиатрии с 1820-х гг., в 1860—1880-х гг. и даже много позднее.

С этой новой формой психиатризации, которую я пытаюсь очертить сейчас, в рамках этой новой проблематики, признаки злости функционируют совершенно иначе. Именно в меру сходства взрослого с ребенком, которым он был, именно в меру возможности поставить детство и взрослое состояние в один ряд, то есть именно в меру возможности обнаружить в

нынешнем деянии давнишнюю злость, и распознается отныне то состояние вместе с его телесными проявлениями, которое является условием психиатризации. Вот что, в сущности, говорили Генриетте Корнье алиенисты: «В те времена ты не была такой, какой стала впоследствии: вот почему тебя нельзя осуждать». Теперь же психиатры говорят Шарлю Жуи: «Если тебя нельзя осуждать, то потому, что уже в детстве, ребенком, ты был тем, кем являешься сейчас». Поэтому, хотя биографический ряд привлекается с начала XIX века всегда — и медициной умопомешательства эскиролевского типа, и новой психиатрией, о которой я рассказываю вам сейчас, — выстраивается этот ряд по совершенно разным линиям, преподносится как два совершенно различных ряда и вызывает совершенно различные оправдательные эффекты. В медицине умопомешательства начала XIX века со словами «он уже тогда был таким, уже тогда был тем, кем является сейчас» обвиняли. Тогда как теперь со словами «таким, какой он сейчас, он был уже тогда» оправдывают. Короче говоря, вот о чем свидетельствует экспертиза Жуи: детство становится стыковой деталью в новом функционировании психиатрии.

Еще раз, очень коротко. Генриетта Корнье убила ребенка. Ее удалось определить как душевнобольную лишь при условии радикального и двойного отлучения от детства. Ее отлучили от ребенка, которого она убила, показав, что между убитым ребенком и ею не было никакой связи; она почти не знала его семью: не было никакой ненависти и никакой любви; едва знала она и самого ребенка. Минимум отношений с убитым ребенком — вот первое условие психиатризации Генриетты Корнье. Второе условие: она сама должна утратить связь со своим детством. Нужно, чтобы ее прошлое, ее детское прошлое, а также прошлое девушки-подростка имело как можно меньше сходства с поступком, который она совершила. Иными словами, нужен радикальный разрыв с детством в рамках безумия. У Шарля Жуи все наоборот: его можно психиатризировать не иначе, как удостоверив его предельную близость, почти слияние с детством, которое было у него самого, а также с ребенком, к которому он имел отношение. Необходимо показать, что Шарль Жуи и малолетняя девочка, которую он в

той или иной степени изнасиловал, были очень близки друг к другу, что они были из одного теста, из одного вещества, что они находились на одном уровне — это слово не использовалось в деле, но оно явно здесь вырисовывается. Их глубокая идентичность — вот что открывает психиатрии доступ к Шарлю Жуи. В конечном счете он оказался подлежащим психиатризации потому, что состояние ребенка, детство, инфантильность предстали как общая черта преступника и его жертвы. Детство как историческая стадия развития, как общая форма поведения становится главнейшим орудием психиатризации. Я бы сказал, что именно через детство психиатрии удалось подобраться к взрослым, ко всем взрослым без исключения. Детство было принципом генерализации психиатрии; в психиатрии, так же как, впрочем, и везде, детство оказалось ловушкой для взрослых.

Об этой-то функции, об этой роли, об этом месте детства в психиатрии я и хотел бы сказать несколько слов. Мне кажется, что с определением не столько ребенка, сколько именно детства в качестве центральной и постоянной референтной точки психиатрии ясно вырисовывается как новизна функционирования психиатрии по сравнению со старой медициной умопомешательства, так и характер ее функционирования в течение почти целых ста лет, то есть до наших дней. Итак, психиатрия открывает ребенка. Я хотел бы указать вот на что: во-первых, если то, что я говорю, верно, то это открытие психиатрией ребенка, или детства, является не поздним, но необычайно ранним феноменом. Его свидетельство мы находим в 1867 г., но я уверен, что можно было бы найти его и раньше. Более того, мне кажется (это-то я и хочу показать), что это не просто ранний феномен, но и [феномен], вовсе не являющийся следствием расширения психиатрии. Поэтому вовсе не следует считать детство новой территорией, которая с некоторого момента оказалась присоединена к психиатрии; на мой взгляд, именно обратившись к детству как к главному предмету своей деятельности, то есть и своего знания, и своей власти, психиатрия сумела достичь генерализации. Иначе говоря, детство кажется мне одним из исторических условий генерализации психиатрического знания и власти. Каким же обра-

зом центральное положение детства смогло осуществить генерализацию психиатрии? По-моему, уяснить эту обобщающую роль детства в психиатрии достаточно просто (я расскажу об этом в общих чертах). Эффект расширения психиатрии оказывается принципом ее генерализации: дело в том, что, как только детство или инфантильность становятся фильтром анализа поведения, для психиатризации поведения, как вы понимаете, уже не требуется, как это было во времена медицины душевных болезней, вписывать поведение в рамки болезни, переносить его в связную и общепризнанную симптоматологию. Уже не требуется отыскивать эту ниточку бреда, которую психиатры, даже в эпоху Эскироля, изо всех сил пытались найти за поступком, казавшимся им странным. Чтобы некий поступок попал в зону ведения психиатрии, чтобы он поддавался психиатризации, достаточно какой-нибудь инфантильной приметы в нем. Это дает основание для психиатрического надзора за всеми поступками ребенка, поскольку они могут зафиксировать, блокировать, задержать на определенном уровне поведение взрослого и повториться в нем. И наоборот, подлежащими психиатризации оказываются все поступки взрослого, поскольку они могут быть так или иначе, в виде сходства, аналогии или причинного отношения, приведены к поступкам ребенка, соотнесены с ними. Таким образом, в поле зрения попадают все поступки ребенка, ибо они могут повлечь за собой фиксацию взрослого, и наоборот, в поле зрения попадают все поступки взрослого, поскольку надо выяснить, что́ в них несет на себе приметы инфантильности. Таков первый эффект генерализации, вызываемый в самой сердцевине психиатрии проблематизацией детства. Во-вторых, вследствие проблематизации детства и инфантильности открывается возможность связать воедино три элемента, доселе бывшие обособленными. Вот эти три элемента: удовольствие и его экономика; инстинкт и его механика; слабоумие, или задержка, с их инерцией и нехватками.

В самом деле, для психиатрии, скажем так, «эскиролевской» эпохи (с начала XIX века до 1840 г.) характерным было, как я уже указывал, отсутствие связи между удовольствием и инстинктом. Нельзя сказать, что удовольствие вообще не мог-

ло фигурировать в психиатрии школы Эскироля, но оно всегда фигурировало там как нагрузка бреда.[20] То есть признавалось (впрочем, это тема, известная задолго до Эскироля, с XVII—XVIII веков[21]), что бредовое воображение субъекта вполне может нести в себе прямое и непосредственное выражение некоего желания. На этом построены все классические описания больных, которые, переживая любовные муки, воображают в бреду, будто бы тот, кто их оставил, наоборот, осыпает их заботой, любовью и т. д.[22] Нагрузка бреда желанием вполне допускалась в классической психиатрии. Однако инстинкт, дабы функционировать как патологическая механика, непременно должен был быть обособлен от удовольствия, ибо если есть удовольствие, то инстинкт уже не может быть автоматическим. Инстинкт, сопровождающийся удовольствием, обязательно распознается, регистрируется субъектом в качестве инстинкта, способного вызвать удовольствие. И таким образом, естественно попадает в рамки расчета, вследствие чего нельзя рассматривать как патологический процесс даже самое бурное инстинктивное движение, если данный инстинкт сопровождается удовольствием. Патологизация через инстинкт исключает удовольствие. Что же касается слабоумия, то оно, в свою очередь, патологизировалось то как крайнее следствие развития бреда или умопомешательства, то, наоборот, как своего рода фундаментальная инертность инстинкта.

Теперь, с появлением такого персонажа, как Шарль Жуи, с появлением в его лице нового психиатризированного индивида, три эти элемента или, если угодно, три эти персонажа — малолетний мастурбатор, страшный монстр, а также противящийся всякой дисциплине — сливаются воедино. Отныне инстинкт вполне может быть патологическим элементом, будучи в то же время носителем удовольствия. Сексуальный инстинкт и удовольствия Шарля Жуи эффективно патологизируются на уровне своего возникновения, не подразумевая вилки удовольствие—инстинкт, которая считалась необходимой в эпоху инстинктивных мономаний. Достаточно показать, что процедура, механика инстинкта и удовольствия, которые он вызывает, относятся к инфантильному уровню, несут на себе

печать инфантильности. Удовольствие, инстинкт, задержка — эти три элемента образуют отныне единую конфигурацию. И три персонажа соединяются.

В-третьих, проблематизация ребенка обусловливает генерализацию потому, что как только детство, инфантильность, блокировка и задержка на детстве образуют главную, привилегированную форму психиатризируемого индивида, у психиатрии появляется возможность вступить в корреляцию, с одной стороны, с неврологией и, с другой стороны, с общей биологией. Если вновь обратиться к эскиролевской психиатрии, то можно сказать, что ей удалось стать медициной лишь ценой ряда приемов, которые я бы назвал подражательными. Потребовалось определить симптомы, так же как это имеет место в органической медицине; потребовалось дать наименование различным болезням, взаимно расклассифицировать и организовать их; потребовалось ввести этиологии, аналогичные органической медицине, найдя в области тела или в области предрасположенностей элементы, которые могли бы объяснить развитие болезни. Ментальная медицина школы Эскироля — это медицина, основанная на имитации. Напротив, как только детство начинает рассматриваться как точка схода, вокруг которой организуется психиатрия индивидов и поступков, у психиатрии сразу появляется возможность функционировать не по модели имитации, но по модели корреляции: неврология развития и остановок в развитии, а также общая биология со всеми видами анализа, который может проводиться как на уровне индивидов, так и на уровне видов, эволюции, — все это становится, в некотором смысле, ареалом психиатрии, внутри которого она гарантированно может работать как научное и медицинское знание.

И наконец, вот что, на мой взгляд, наиболее важно (это четвертый путь генерализации психиатрии, прокладываемый детством): детство и поведенческая инфантильность предоставляют психиатрии в качестве объекта не столько и даже, возможно, вовсе не болезнь или патологический процесс, но некоторое состояние, характеризуемое как состояние дисбаланса; это состояние, при котором элементы принимаются функционировать таким образом, который, не будучи патоло-

гическим, не будучи носителем болезненности, тем не менее не является нормальным. Возникновение инстинкта, который сам по себе не является болезненным, который сам по себе является здоровым, но который ненормален в том, что заявляет о себе здесь и сейчас, слишком рано или слишком поздно, а также слишком бесконтрольно; возникновение такого типа поведения, которое само по себе не патологично, но которое в нормальном случае не должно заявлять о себе в рамках той конфигурации, в которую заключено, — все это и является теперь референтной системой психиатрии или, во всяком случае, областью объектов, которую психиатрии предстоит ограждать. Разлад, структурное расстройство, контрастирующее с нормальным развитием, — вот что является теперь первоочередным объектом психиатрии. Болезни же оказываются второстепенными по отношению к этой фундаментальной аномалии, предстают лишь как своего рода эпифеномен по отношению к этому состоянию, которое по сути своей является состоянием аномалии.

Становясь наукой о поведенческой и структурной инфантильности, психиатрия получает возможность стать и наукой о нормальном и ненормальном поведении. Вследствие чего мы можем сделать два вывода. Первый заключается в том, что, в некотором смысле, сокращая свою траекторию, все более сосредоточиваясь на этом темном уголке существования, каковым является детство, психиатрия превращается в общую инстанцию анализа поведенческих проявлений. Не завоевывая всю совокупность жизни, не обнимая все развитие индивидов от рождения до смерти, но, наоборот, неуклонно ограничивая поле зрения, все глубже вдаваясь в детство, психиатрия становится общей инстанцией контроля над поведением, постоянным судьей над поведением в целом, если хотите. Теперь, думаю, вы понимаете, почему психиатрия так назойливо совала свой нос в детскую — или вообще в детство. Не потому, что ей хотелось присоединить к своей и без того обширной области еще один регион; не потому, что ей хотелось колонизировать еще один уголок существования, в который прежде она не заглядывала; но, напротив, потому, что в этом уголке ей было уготовано орудие возможной универсализа-

ции. Но также вы должны понять и то — это второй вывод, на который я хотел бы указать, — что, глядя, как психиатрия фокусируется на детстве и делает его орудием своей универсализации, можно раскрыть, выявить или, как минимум, очертить то, что можно было бы назвать секретом современной психиатрии, первые шаги которой приходятся на 1860-е гг.

В самом деле, относя к этому времени (1850—1870-е гг.) зарождение психиатрии, отличающейся от старой медицины алиенистов (олицетворяемой Пинелем и Эскиролем),[23] нетрудно заметить, что эта новая психиатрия, помимо прочего, закрывает свои двери перед тем, что прежде было ключевым оправданием существования ментальной медицины. Она закрывает двери перед болезнью. В это время психиатрия перестает быть техникой и знанием о болезни — или, во всяком случае, может стать техникой и знанием о болезни лишь во вторую очередь, как бы в крайнем случае. В 1850—1870-е гг. (в эпоху, о которой я сейчас говорю) психиатрия выпускает из рук и бред, и умопомешательство, и отсылку к правде, и, в конце концов, болезнь. Она сосредоточивает свое внимание на поведении, на его отклонениях и аномалиях; она принимает в качестве своего референта нормативное развитие. И потому имеет дело, на фундаментальном уровне, уже не с болезнью или болезнями; это медицина, которая закрывается перед патологическим. И вы видите, в какой ситуации оказывается эта медицина начиная с середины XIX века. Она оказывается в парадоксальной ситуации, ибо в самом начале XIX века ментальная медицина оформилась как наука, определив безумие в качестве болезни; с помощью множества процедур (в том числе аналогичных тем, о которых я говорил только что) она обосновала безумие как болезнь. Именно так ей удалось оформиться в качестве специальной науки рядом с медициной и внутри нее. Патологизировав безумие путем анализа симптомов, классификации форм, построения этиологий, психиатрия сумела сформировать медицину, специально посвященную безумию: это была медицина алиенистов. И вот в 1850—1870-е гг. перед ней встает задача сохранить свой статус медицины, в коем сосредоточены (как минимум, отчасти) эффекты власти, которую она пытается генерализовать. Одна-

ко эти эффекты власти и статус медицины, являющийся их принципом, психиатрия прилагает теперь к тому, что даже в ее собственном дискурсе имеет уже не статус болезни, но статус аномалии.

Попытаюсь выразить это немного проще. Когда психиатрия оформлялась как медицина умопомешательства, она психиатризировала безумие, которое, может быть, и не было болезнью, но которое она была вынуждена, чтобы сделаться медициной, рассматривать и употреблять в своем собственном дискурсе именно в качестве болезни. Она могла установить свое властное отношение над безумцами не иначе как введя такое же объектное отношение, с каким медицина относится к болезни: ты будешь болезнью для знания, которое позволит мне функционировать в качестве медицинской власти. Вот что, в общем и целом, говорила психиатрия в начале XIX века. Но с середины XIX века мы имеем дело с властным отношением, которое действует (и по сей день действует) лишь постольку, поскольку психиатрия, будучи властью с медицинской квалификацией, при этом подвергает своему контролю область объектов, определенных не в качестве патологических процессов. Произошла депатологизация объекта: именно она была условием того, что власть психиатрии, оставшись медицинской, сумела генерализоваться. И тут поднимается проблема: как может функционировать такое технологическое устройство, такое знание-власть, в котором знание заведомо депатологизирует область объектов, преподносимую им власти, которая, в свою очередь, не может существовать иначе, нежели в качестве медицинской власти? Медицинская власть над непатологическим: вот в чем, на мой взгляд, центральная, но очевидная, возможно скажете вы мне, проблема психиатрии. Во всяком случае, именно в таком виде эта власть формируется — и формируется как раз вокруг определения детства как центральной точки, исходя из которой возможна генерализация.

Я хотел бы лишь вкратце восстановить историю происшедшего в это время и начиная с этого времени. Чтобы привести в действие два этих отношения — отношение власти и объектное отношение, не однонаправленные и даже гетеро-

генные друг другу, медицинское отношение власти и отношение к депатологизированным объектам, — психиатрии второй половины XIX века пришлось возвести ряд великих теоретических зданий, как я буду называть их в дальнейшем; теоретических зданий, не столько являющихся выражением, или отражением, этой ситуации, сколько продиктованных функциональной необходимостью. Мне кажется, что надо попытаться проанализировать эти мощные структуры, эти мощные теоретические дискурсы психиатрии конца XIX века, и проанализировать их в терминах технологической пользы, исходя из того, как в эпоху, о которой мы говорим, эти теоретические или спекулятивные дискурсы помогали удержать или, при необходимости, усилить эффекты власти и эффекты знания психиатрии. Я дам лишь приблизительный очерк этих великих теоретических сооружений. Прежде всего изучим построение новой нозографии, имеющее три аспекта.

Во-первых, требуется организовать и описать не как симптомы некоей болезни, но как, в некотором смысле, самодостаточные синдромы, как синдромы аномалий, ненормальные синдромы, целый комплекс поведенческих нарушений, отклонений и т. п. В связи с этим во второй половине или в последней трети XIX века происходит то, что можно охарактеризовать как утверждение эксцентричностей в виде четко определенных, самостоятельных и распознаваемых синдромов. Так пейзаж психиатрии наполняется целым племенем, которое для нее в это время совершенно ново: это племя носителей не то чтобы симптомов болезни, но, скорее, синдромов, которые сами по себе являются ненормальными, или эксцентричностей, утвержденных в виде аномалий. Мы можем выстроить целую их династию. Кажется, одним из первых синдромов аномалии была знаменитая агорафобия, описанная Крафт-Эбингом, вслед за которой возникла и клаустрофобия.[24] В 1867 г. во Франции Забе защищает медицинскую диссертацию о больных-поджигателях.[25] В 1879 г. Горри описывает клептоманов;[26] в 1877 г. Лазег описывает эксгибиционистов.[27] В 1870 г. Вестфаль, в «Архивах неврологии», описывает гомосексуалистов. Впервые гомосексуальность предстает в качестве синдрома внутри психиатрического поля.[28] И далее — це-

лая вереница. Кстати, в тех же самых 1875—1880 гг. появляются мазохисты. Можно было бы написать целую историю этого народца ненормальных, целую историю синдромов аномалии, появившихся в подавляющем большинстве начиная с 1865—1870 гг. и заселявших психиатрию до конца XX [*rectius*: XIX] века. Так, когда общество защиты животных начнет кампанию против вивисекции, Маньян, один из крупных психиатров конца XIX века, откроет новый синдром — синдром антививисекционистов.[29] И я хочу подчеркнуть, что все это не является, как видите, симптомами болезни: это синдромы, то есть отдельные устойчивые конфигурации, соотносящиеся с общим состоянием аномалии.[30]

Второй особенностью новой нозографии, складывающейся в это время, явилось то, что может быть названо возвращением бреда, новой переоценкой проблемы бреда. В самом деле, учитывая, что бред традиционно считался ядром душевной болезни, понятно, что как только областью вмешательства психиатрии стала область ненормального, психиатры оказались заинтересованы в том, чтобы связать ненормальное с бредом, ибо бред как раз и предоставлял им медицинский объект. Обнаружив следы, нити бреда во всех этих разновидностях ненормального поведения, из которых выстраивалась общая «синдроматология», психиатры смогли бы осуществить обратное превращение ненормальности в болезнь. Поэтому медикализация ненормального подразумевала, требовала или, во всяком случае, делала желательным сопряжение анализа бреда с анализом игр инстинкта и удовольствия. Смычка эффектов бреда с механикой инстинктов, с экономикой удовольствия: вот что помогло бы выстроить подлинную ментальную медицину, подлинную психиатрию ненормального. И все в той же последней трети XIX века возникают масштабные типологии бреда, причем такие типологии, принципом которых является уже не объект, не тематика бреда, как это было в эпоху Эскироля, но, скорее, инстинктуально-аффективное ядро, экономика инстинкта и удовольствия, являющаяся подоплекой бреда. Исходя из этого и строятся великие классификации бреда (не будем на них задерживаться): бред преследования, бред одержимости, приступы ярости у эротоманов и т. д.

Третья (и самая главная, как я полагаю) особенность новой нозографии — это появление любопытного понятия «состояние», которое вводится где-то в 1860—1870 гг. Фальре и затем переопределяется на все лады, но главным образом в духе «психического фона».[31] Так что же такое «состояние»? Состояние как привилегированный психиатрический объект — это не совсем болезнь и даже вовсе не болезнь с ее развитием, причинами, процессами. Состояние — это своего рода постоянный причинный фон, исходя из которого может развиться ряд процессов, ряд эпизодов, которые как раз и будут болезнью. Иными словами, состояние — это ненормальный цоколь, на котором становятся возможными болезни. Вы спросите меня: чем отличается это понятие состояния от старого понятия предрасположенности? Дело в том, что предрасположенность, с одной стороны, была простой виртуальностью, не увлекающей индивида за пределы нормальности: можно было быть нормальным и в то же время иметь предрасположенность к болезни. И с другой стороны, предрасположенность предрасполагала именно к этой болезни, но не к другой. Состояние же, в том смысле, в каком используют этот термин Фальре и все его последователи, отличается следующим. Оно не обнаруживается у нормальных индивидов, не является особенностью, проявляющейся в той или иной степени. Состояние — это самый что ни на есть радикальный дискриминант. Тот, кто является субъектом в некоем состоянии, носителем некоего состояния, не является нормальным индивидом. Кроме того, это состояние, характеризующее так называемого ненормального субъекта, имеет еще одну особенность: его этиологическая емкость тотальна, абсолютна. Оно может спровоцировать все что угодно, в какой угодно момент и в каком угодно порядке. Следствием состояния могут быть физические и психологические болезни. Это может быть дисморфия, функциональное расстройство, импульсивность, преступное деяние, пьянство. Словом, все, что только может быть патологическим или нездоровым в поведении и теле, все это может быть вызвано состоянием. Ибо состояние не есть в той или иной степени выраженная особенность. Состояние есть своего рода общая недостаточность координирующих инстанций ин-

дивида. Общее нарушение баланса побуждений и торможений; нерегулярное и непредвиденное раскрепощение того, что должно тормозиться, интегрироваться и контролироваться; отсутствие динамического единства — вот каковы характеристики состояния.

Как вы понимаете, это понятие состояния предоставляет два ценных преимущества. Во-первых, оно позволяет соотнести какой угодно физический элемент или поведенческое отклонение, сколь бы несхожими и далекими друг от друга они ни были, со своеобразным единым фоном, который их объясняет, с фоном, который отличен от здорового состояния, хотя и не является при этом болезнью. Понятию состояния свойственна безграничная способность интеграции, ибо оно соотносится с нездоровьем, но в то же время может вобрать в свое поле какое угодно поведение, если только в нем есть приметы физиологического, психологического, социологического, морального или даже юридического отклонения. Способность состояния интегрировать что-либо в эту патологию, в эту медикализацию ненормального совершенно чудодейственна. Но у него есть и второе преимущество: благодаря понятию состояния возможно назначить физиологическую модель. Такого рода модель и назначалась друг за другом Люи, Байарже, Джексоном и т. д.[32] Ведь что такое состояние? Это структура или структурный ансамбль, характерный для индивида, который либо остановился в своем развитии, либо регрессировал от более позднего состояния развития к более раннему.

Нозография синдромов, нозография бредов, нозография состояний — все это отвечает в психиатрии конца XIX века той величайшей задаче, которую психиатрия не могла не поставить перед собой и с которой она не могла справиться, — задаче распространения медицинской власти на область, чье необходимое расширение исключало возможность сосредоточить ее вокруг болезни. Парадокс патологии ненормального — вот что вызвало к жизни в качестве функционального элемента эти грандиозные теории, эти грандиозные структуры. Но изолируя и подвергая валоризации это понятие состояния (как это делали все психиатры от Фальре и Гризин-

гера до Маньяна и Крепелина[33]), этот причинный фон, сам по себе являющийся аномалией, необходимо было включить состояние в своего рода серию, которая могла бы вызвать и объяснить его. Какое тело способно вызвать состояние — то состояние, которое само становится неизгладимой отметиной на теле индивида? Этот вопрос обусловил необходимость (с которой мы переходим в другое колоссальное теоретическое здание психиатрии конца XIX века) открыть, в некотором смысле, пратело, которое и сможет обосновать, объяснить своей причинностью появление индивида, являющегося жертвой, субъектом, носителем этого состояния дисфункции. Что же такое это пратело, это тело, стоящее за ненормальным телом? Это тело родителей, тело предков, тело семьи, тело наследственности.

Изучение наследственности, или признание наследственности истоком ненормального состояния, и послужило «метасоматизацией», которой потребовало все психиатрическое здание. Метасоматизация и изучение наследственности тоже в свою очередь предоставляют психиатрической технологии ряд преимуществ. Прежде всего они допускают исключительную причинную терпимость, характеризующуюся тем, что все может быть причиной всего. Психиатрическая теория наследственности устанавливает, что болезнь определенного типа не только может вызвать у потомков больного болезнь того же типа, но что так же, с такой же вероятностью, она может вызвать любую другую болезнь любого другого типа. Более того, не только болезнь может вызвать другую болезнь, но и некий порок, недостаток, тоже может вызвать другой порок и т. п. Например, пьянство может вызвать у потомков пьяницы любую другую форму поведенческого отклонения — не только алкоголизм, но и некую болезнь, скажем туберкулез или умопомешательство, или криминальное поведение. С другой стороны, причинная терпимость в отношении наследственности позволяет проводить самые фантастические или, во всяком случае, самые гибкие наследственные цепи. Достаточно отыскать в любой точке родословного древа отклонившийся элемент, чтобы исходя из него объяснить появление того или иного состояния у индивида-потомка. Приведу вам лишь

один пример этого сверхлиберального функционирования наследственности и этиологии в поле наследственности. Речь идет об обследовании одного итальянского убийцы, проведенном Ломброзо. Убийцу звали Мисдеа,[34] и у него была очень многочисленная семья. Было решено составить генеалогическое древо, чтобы обнаружить исходную точку развития «состояния». Дедушка Мисдеа был не очень умен, но очень деятелен. У него, в свою очередь, один дядя был слабоумным, другой дядя — странным и очень вспыльчивым человеком, третий дядя пил, четвертый дядя вообще был полубезумным и опять-таки вспыльчивым священником, а отец дедушки был чудак и пьяница. Старший брат Мисдеа был хулиган, эпилептик и пропойца, его младший брат был здоровым, еще один, третий, брат имел взрывной характер и пил, а четвертый брат тоже отличался непокорным нравом. Пятый в этой компании — наш убийца.[35] Как видите, наследственность функционирует как фантастическое тело то телесных, то психических, то функциональных, то поведенческих аномалий, которые и оказываются — на уровне этого метатела, этой метасоматизации — в истоке появления «состояния».

Другое преимущество этой наследственной причинности, преимущество скорее моральное, чем эпистемологическое, заключается в том, что именно тогда, когда анализ детства и его аномалий обнаруживает, что сексуальный инстинкт не связан от природы с репродуктивной функцией (вспомните, о чем я говорил в прошлый раз), наследственность предоставляет возможность возложить на репродуктивные механизмы предков ответственность за отклонения, которые проявляются у потомков. Иными словами, теория наследственности позволяет психиатрии ненормального быть уже не просто техникой удовольствия или сексуального инстинкта, да, собственно говоря, и вовсе не быть техникой удовольствия и сексуального инстинкта, но быть технологией здорового или пагубного, полезного или опасного, благоприятного или вредоносного брака. Таким образом, включая в свое аналитическое поле все нарушения сексуального инстинкта, способствующие его нерепродуктивному действию, психиатрия одновременно оказывается сосредоточена на проблеме репродукции.

Мы можем сделать вывод, что на уровне этой фантастической этиологии происходит реморализация. И в конечном итоге нозография ненормальных состояний, будучи перенесена в это многоглавое, болезненное, непредсказуемое, коварное тело наследственности, формулируется в виде мощной теории вырождения. «Вырождение» определяется в 1857 г. Морелем:[36] это происходит в ту самую эпоху, когда Фальре отказывается от мономании и разрабатывает понятие состояния.[37] Это происходит в ту самую эпоху, когда Байарже, Гризингер, Люи выдвигают неврологические модели ненормального поведения и когда Люка исследует всю область патологической наследственности.[38] Вырождение — важнейший теоретический элемент медикализации ненормального. Выродок — это мифологически или, если вам угодно, научно медикализованный ненормальный.

С этого момента, с возникновением персонажа выродка, включенного в древо наследственности и являющегося носителем состояния, — не болезненного состояния, но состояния аномалии, — вырождение не просто делает работоспособной эту психиатрию, в которой отношение власти и объектное отношение не однонаправлены. Больше того, выродок обусловливает впечатляющее усиление психиатрической власти. Ведь, в самом деле, вместе с возможностью соотносить любое отклонение, любое нарушение, любую задержку с состоянием вырождения психиатрия получила возможность неограниченного вмешательства в поведение людей. Но важно и другое: снабдив себя властью выхода за пределы болезни, властью безразличия к болезненному или патологическому и прямого соотнесения поведенческих отклонений с наследственным и непоправимым состоянием, психиатрия приобрела возможность не заниматься лечением. Да, ментальная медицина начала XIX века признавала значительную часть болезней неизлечимыми, однако неизлечимость как раз и определялась в качестве таковой с точки зрения лечения, считавшегося главнейшей функцией ментальной медицины. Она была всего-навсего нынешним пределом сущностной излечимости безумия. Но с тех пор как безумие предстало как технология ненормальности, ненормальных состояний, наследственно пре-

допределенных родословной индивида, сам проект лечения, как вы понимаете, потерял смысл. Действительно, вместе с патологическим содержанием из области, которую объяла психиатрия, исчез и терапевтический смысл. Психиатрия больше не стремится лечить — или не стремится лечить прежде всего. Она может предложить свои услуги (что и происходит в обсуждаемую эпоху) в области охраны общества от неотвратимых опасностей со стороны людей в ненормальном состоянии. Исходя из этой медикализации ненормального, исходя из этого безразличия к болезненному и, следовательно, терапевтическому, психиатрия получает реальную возможность облечь себя функцией, которая сводится к охране и поддержанию порядка. Психиатрия назначает себе роль генерализованной социальной защиты и в то же время, за счет понятия наследственности, дает себе право вмешательства в семейную сексуальность. Она становится технологией научной охраны общества и наукой о биологической охране вида. Здесь-то я и хотел бы остановиться — в той точке, где психиатрия, сделавшись наукой об индивидуальных аномалиях и приступив к руководству этими аномалиями, получила свою наибольшую к тому времени власть. Она смогла с успехом претендовать (что и было сделано в конце XIX века) на то, чтобы занять место правосудия; и не только правосудия, но и гигиены; и не только гигиены, но в конечном счете и большей части распорядительных и контрольных инстанций общества; одним словом, на то, чтобы быть общей инстанцией охраны общества от опасностей, грозящих ему изнутри.

Это положение объясняет, почему психиатрия с этим ее понятием вырождения, с этим ее анализом наследственности смогла фактически сомкнуться с расизмом, а точнее, предоставить почву расизму, который был в обсуждаемую эпоху значительно отличным от того, что можно было бы назвать традиционным, историческим, «этническим расизмом».[39] Расизм, который рождается в психиатрии конца XIX века, — это расизм в отношении ненормального, в отношении индивидов, которые, будучи носителями состояния, особого рода отметины или недостатка, могут ни от чего не зависящим образом передать своим потомкам непредсказуемые последствия бо-

лезни, которую они несут в себе, или, скорее, ненормальности, которую они несут в себе. Словом, это расизм, функцией которого является не столько предохранение или защита одной группы от другой, сколько выявление внутри группы всех тех, кто может быть носителем действительной опасности. Это внутренний расизм, это расизм, позволяющий подвергать обследованию всех индивидов внутри данного общества. Разумеется, между ним и традиционным расизмом, который на Западе был прежде всего антисемитским, очень быстро возникли признаки взаимодействия, хотя сплоченной совместной организации двух этих видов расизма не было до нацизма. В том, что немецкая психиатрия так непринужденно функционировала в рамках нацизма, нет ничего удивительного. Новый расизм, неорасизм, свойственный XX веку как средство внутренней защиты общества от своих ненормальных, вышел из психиатрии, и нацизм всего-навсего соединил этот новый расизм с этническим расизмом, то и дело заявлявшим о себе в XIX веке.

Поэтому я считаю, что новые формы расизма, возникшие в Европе в конце XIX и в начале XX века, следует исторически соотносить с психиатрией. Хотя и очевидно, что, предоставив почву евгенике, психиатрия не свелась к этой разновидности расизма всецело — вовсе нет, он покрыл, или захватил, лишь относительно ограниченную ее часть. Но даже когда она не принимала этого расизма или не применяла на деле эти его формы, даже в этих случаях психиатрия всегда, с конца XIX века, функционировала как механизм и инстанция социальной защиты. Вы знаете три вопроса, которые и сегодня задают психиатрам, когда те свидетельствуют в суде: «Опасен ли этот индивид? Подлежит ли обвиняемый наказанию? Излечим ли обвиняемый?». Я попытался показать вам, насколько эти вопросы бессмысленны по отношению к юридическому зданию Уголовного кодекса в том виде, в каком он функционирует и по сей день. Эти вопросы лишены значения с точки зрения права, и эти вопросы лишены значения с точки зрения психиатрии, если она сосредоточена на болезни; но эти вопросы имеют совершенно отчетливый смысл, когда они задаются психиатрии, функционирующей прежде всего как социальная

защита, или, если воспользоваться терминами XIX века, как «охота на выродков». Выродок — это носитель опасности. Выродок — это тот, кто независимо от своих поступков не подлежит наказанию. Выродок — это тот, кто в любом случае неизлечим. Три судебных вопроса, бессмысленные с медицинской, патологической и юридической точки зрения, напротив, имеют вполне отчетливое значение в медицине ненормальности, которая не является медициной патологии, медициной болезни и, следовательно, по сути своей остается психиатрией выродков. Поэтому можно сказать, что вопросы, которые и сегодня ставятся судебным аппаратом перед психиатрами, бесконечно возобновляют, реактивируют проблематику, которая была проблематикой психиатрии выродков в конце XIX века. И пресловутые убюэскные описания, с которыми по сей день можно встретиться в судебно-медицинских отчетах и которые рисуют столь невероятную картину наследственности, родовых особенностей, детства, поведения индивида, — эти описания имеют совершенно точный исторический смысл. Это останки (разумеется, с тех пор как рухнула колоссальная теория, колоссальная систематика вырождения, создававшаяся от Мореля до Маньяна) — это блуждающие осколки теории вырождения, укладывающиеся, вполне нормально укладывающиеся в ответ на вопросы, которые задает суд, но обязанные своим историческим происхождением теории вырождения.

Словом, я рассчитывал показать вам, что эта одновременно трагическая и чудаковатая литература имеет свою историческую генеалогию. И по сей день действуют приемы и понятия, глубоко связанные с этим функционированием психиатрии, с этой технологией психиатрии второй половины XIX века. В дальнейшем я вернусь к проблеме функционирования психиатрии конца XIX века в качестве социальной защиты, выбрав исходной точкой проблему анархии, социального хаоса и психиатризации анархии. Это будет работа над политическим преступлением, над социальной защитой и психиатрией порядка.[40]

Примечания

[1] См.: *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy, inculpé d'attentats aux mœurs. Nancy, 1868. Бонне и Бюлар были главными врачами общественной лечебницы для душевнобольных в Маревиле, куда Ш. Жуи был помещен после постановления о прекращении его дела. М. Фуко обсуждает это дело в книге «Воля к знанию»: *Foucault M.* La Volonté de savoir. P. 43—44.

[2] См.: *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 3.

[3] См. выше, лекция от 5 февраля.

[4] *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 8—9.

[5] *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 3.

[6] *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 10.

[7] См. выше, лекция от 12 марта.

[8] С отчетом Беше можно ознакомиться в кн.: *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 5—6.

[9] *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 4: «Отец юной Адам глубоко сокрушается по поводу того, что его дочь — одна из самых недисциплинированных в деревне, несмотря на все принимаемые меры. Жители Люпкура [...] живо ратуют за то, чтобы поместить юную Адам в исправительный дом до совершеннолетия [...]. Складывается впечатление, что нравы детей и подростков Люпкура весьма распущенны». Ср. лекции, прочитанные Бюларом как президентом Общества защиты детей (Национальная библиотека Франции, папки Rp. 8941—8990).

[10] См. выше, лекция от 5 февраля. Ср.: *Esquirol J.-E.-D.* Des maladies mentales... I. P. 35—36; II. P. 6, 52; *Brierre de Boismont A.* De la menstruation considérée dans ses rapports physiologiques et pathologiques avec la folie. Paris, 1842 (воспроизводится в издании: Recherches bibliographiques et cliniques sur la folie puerpérale, précédées d'un aperçu sur les rapports de la menstruation et de l'aliénation mentale // Annales médico-psychologiques. 1851. III. P. 574—610); *Dauby E.* De la menstruation dans ses rapports avec la folie. Paris, 1866.

[11] *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 6.

[12] *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 11: «Жуи — внебрачный ребенок, и он был

порочным с рождения. Умственное расстройство шло рука об руку с органическим вырождением. Он обладает способностями, однако очень ограниченными. Если бы в детстве он получал воспитание и находился в контакте с общими принципами, образующими закон жизнедеятельности и общества, если бы он был подвержен морализирующему воздействию, тогда бы он смог немного развиться, усовершенствовать свой разум, научиться более уверенно распоряжаться своими мыслями, улучшить свое поврежденное моральное чувство, которое легко поддается низменным влечениям, свойственным человеческому виду, и приобрести навык самостоятельной оценки поступков. Он все равно был бы несовершенным, но медицинская психология все же могла бы допустить его в сферу гражданской ответственности».

[13] *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 10—11.

[14] *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 11: «Этот факт встречается у слабоумных, и он позволяет объяснить некоторые их стремления, так как они имеют органы, которые возбуждают их; поскольку же у них нет способности судить о достоинстве тех или иных вещей и морального чувства, которое бы их сдерживало, они поддаются этому возбуждению».

[15] *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 9—12.

[16] *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 7.

[17] *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 9.

[18] *Bonnet H., Bulard J.* Rapport médico-légal sur l'état mental de Charles-Joseph Jouy... P. 10.

[19] См. уже цитированное досье «Moi, Pierre Rivière...».

[20] Речь идет об авторах, которые до поворота, связанного с именами Гризингера и Фальре (см. выше, лекция от 12 февраля), применяли идеи Ж.-Э.-Д. Эскироля (см.: *Esquirol J.-E.-D.* Note sur la monomanie homicide. Paris, 1827).

[21] Эта тема уже присутствует в таких сочинениях, как, например: *Fienus Th.* De viribus imaginationis tractatus. Londini, 1608.

[22] Эротической меланхолии (*love melancholy*) посвящен первый том книги Р. Бертона «Анатомия меланхолии» (*Burton R.* The Anatomy of Melancholy. Oxford, 1621) и труд Ж. Феррана «О любовной болезни или эротической меланхолии» (*Ferrand J.* De la maladie d'amour ou mélancolie érotique. Paris, 1623).

[23] См., напр.: *Falret J.-P.* Des maladies mentales et les asiles d'aliénés. Leçons cliniques et considérations générales. Paris, 1864. P. III: «Сенсуалистская доктрина Локка и Кондильяка господствовала тогда почти абсолютно [...]. Эта доктрина философов [...] была перенесена Пинелем в область ментальной патологии». Гораздо радикальнее взгляд на расстоянии («Доктрины наших учителей, Пинеля и Эскироля, безоговорочно господствовали в ментальной медицине [...]. Редко встречаются научные системы, основания которых достаточно прочны, чтобы им удавалось устоять под натиском трех поколений»), а также осознание поворота, начавшегося в пятидесятые годы (см. кн.: *Falret J.* Études cliniques sur les maladies mentales et nerveuses. Paris, 1890. P. V—VII).

[24] Согласно Леграну Дюсолю (*Legrand du Saulle H.* Étude clinique sur la peur des espaces [agoraphobie des Allemands], névrose émotive. Paris, 1878. P. 5), термин «агорафобия» был введен не Р. Крафт-Эбингом, а К. Вестфалем (*Westphal C.* Die Agoraphobie. Eine neuropathische Erscheinung // Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. III/1. 1872. P. 138—161), по сообщению, сделанному в 1868 г. Гризингером.

[25] Диссертации Э. Забе (*Zabé E.* Les Aliénés incendiaires devant les tribunaux. Paris, 1867) предшествовали сообщение Ш.-Ш.-А. Марка (*Marc Ch.-Ch.-H.* De la folie... II. P. 304—400), первоначально вышедшее под названием «Судебно-медицинские суждения о мономании и, в частности, о мономании поджигательства» (Annales d'hygiène publique et de la médecine légale. X. 1833. P. 388—474), и книга А. Леграна Дюсоля (*Legrand du Saulle H.* De la monomanie incendiaire. Paris, 1856). См. также: *Legrand du Saulle H.* De la folie devant les tribunaux. P. 461—484.

[26] *Gorry Th.* Des aliénés voleurs. Non-existence de la kleptomanie et des monomanies en général comme entités morbides. Paris, 1879. См. также: *Marc Ch.-Ch.-A.* De la folie... II. P. 247—303.

[27] *Lasègue Ch.* Les exhibitionnistes // Union médicale. 50. 1 mai 1877. P. 709—714 (воспроизводится в издании: *Lasègue Ch.* Études médicales. I. Paris, 1884. P. 692—700). См. также цитированную выше статью В. Маньяна «Эксгибиционисты».

[28] *Westphal J. C.* Die conträre Sexualempfindung... (trad. fr.: *Westphal J. C.* L'attraction des sexes semblables // Gazette des hôpitaux. 75. 29 juin 1878). См. также: *Gock H.* Beitrag zur Kenntniss der conträren Sexualempfindung // Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. V. 1876. P. 564—574; *Westphal J. C.* Zur conträre Sexualempfindung // Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. VI. 1876. P. 620—621.

[29] *Magnan V.* De la folie des antivivisectionnistes. Paris, [s. d.: 1884].

[30] Ср.: *Foucault M.* La Volonté de savoir. P. 58—60.

[31] См.: *Falret J.-P.* Des maladies mentales et des asiles des aliénés. P. X: «Вместо того чтобы искать в истоке ментальных болезней первоначальное повреждение способностей, врач-специалист должен исследовать сложные психические состояния, какими они существуют в природе».

[32] Труды Ж.-Ж.-Ф. Байарже цитируются выше, в лекции от 12 февраля. Работы Ж. Люи, которые имеет в виду М. Фуко, собраны в кн.: *Luys J.* Études de physiologie et de pathologie cérébrales. Des actions réflexes du cerveau, dans les conditions normales et morbides de leurs manifestations. Paris, 1874. Дж. Х. Джексон в 1879—1885 гг. являлся издателем неврологического журнала «Brain» [«Головной мозг»]. См., в частности, его работу: *Jackson J. H.* On the Anatomical and Physiological Localisation of Movements in the Brain (1875) // Selected Writings. London, 1931. Интерес М. Фуко к «Croonian Lectures» Джексона и вообще к джексонизму восходит к его работе «Душевная болезнь и личность» (1954). См.: *Foucault M.* Maladie mentale et Psychologie. Paris, 1995. P. 23, 30—31 (1 éd.: *Foucault M.* Maladie mentale et Personnalité. Paris, 1954).

[33] См., помимо уже цитированных трудов Фальре, Гризингера и Маньяна: *Kraepelin E.* Lehrbuch der Psychiatrie. Leipzig, 1883; Die psychiatrischen Aufgaben des Staates. Jena, 1900 (trad. fr.: *Kraepelin E.* Introduction à la psychiatrie clinique. Paris, 1907. P. 5—16, 17—28, 88—99).

[34] О случае Мисдеа см.: *Lombroso C., Bianchi A. G.* Misdea e la nuova scuola penale. Torino, 1884. P. 86—95.

[35] Генеалогическое древо Мисдеа см.: *Lombroso C., Bianchi A. G.* Misdea e la nuova scuola penale. Torino, 1884. P. 89.

[36] *Morel B.-A.* Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés maladives. Paris, 1857.

[37] *Falret J.-P.* De la non-existence de la monomanie; De la folie circulaire // Des maladies mentales et des asiles des aliénés. P. 425—448, 456—475 (впервые обе эти статьи были опубликованы в 1854 г.).

[38] *Lucas P.* Traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle...

[39] Ср.: *Foucault M.* Il faut défendre la société. P. 230 et *passim*.

[40] Мишель Фуко посвятит свой семинар 1976 г. «изучению категории „опасного индивида" в криминальной психиатрии» путем сопоставления «понятий, связанных с темой „социальной защиты", и понятий, связанных с новыми теориями гражданской ответственности, которые возникли в конце XIX века» (*Foucault M.* Dits et Écrits. III. P. 130). Этот семинар завершает цикл исследований, посвященных психиатрической экспертизе, начатый в 1971 г.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА*

* Впервые опубликовано в «Ежегоднике Коллеж де Франс» (Annuaire du Collège de France, 76 année. Histoire des systèmes de pensée, année 1974—1975. 1975. P. 335—339). Воспроизводится в кн.: *Foucault M.* Dits et Écrits, 1954—1988 / éd. par D. Defert & François Ewald, collab. J. Lagrange. Paris, Gallimard/«Bibliothèque des sciences humaines», 1994. 4 vol. V. II. P. 82—828.

Большое, неопределенное и разнородное семейство «ненормальных», которое повергло в страх Европу конца XIX века, не просто обозначает фазу растерянности, не просто является несколько неудачным эпизодом в истории психопатологии. Это семейство возникло в связке с целой совокупностью институтов контроля, с целой системой механизмов надзора и распределения и, войдя почти целиком в категорию «вырождения», стало поводом для теоретических разработок, способных вызвать усмешку, но имевших трагически реальные последствия.

Группа ненормальных сложилась из трех элементов, образование которых не было синхронным.

1. Человеческий монстр. Это старое понятие, референтным полем которого является закон. Таким образом, это юридическое понятие, но юридическое в широком смысле слова, ибо речь идет не только о законах общества, но и о законах природы; полем возникновения монстра была юридическо-биологическая область. Двойственность природы монстра отразили в себе поочередно фигуры получеловека-полузверя (имевшего хождение главным образом в Средневековье), сиамских близнецов (характерных для Ренессанса) и гермафродитов (поднимавших столь многочисленные проблемы в XVII и XVIII веках). Человеческий монстр — монстр не только потому, что он является исключением для своего вида, но и потому, что он вносит замешательство в юридическую систему (идет ли речь о законах брака, канонах крещения или правилах наследования). Человеческий монстр сочетает в себе невозможное и запрещенное. В этой перспективе подлежат изучению громкие процессы гермафродитов от Руан-

ского дела (начало XVII века) до дела Анны Гранжан (середина XVIII века), в которых наряду с юристами принимали участие медики, а также сочинения на эту тему, как например «Священная эмбриология» Канджиамилы, вышедшая и переведенная в XVIII веке.

Основываясь на этих явлениях, можно прояснить целый ряд двусмысленностей, которые будут сказываться в анализе и статусе ненормального человека и тогда, когда в его облике померкнут или даже исчезнут монструозные черты. Первой среди этих двусмысленностей следует назвать игру, всегда четко контролируемую игру, между исключением природы и нарушением закона. Последние уже не совпадают, но по-прежнему взаимодействуют друг с другом. «Естественное» отклонение от «природы» вносит изменение в юридические последствия трансгрессии, но тем не менее не устраняет их совершенно; такое отклонение не отсылает напрямую к закону, но и не прекращает его действие; оно обходит закон, вызывая эффекты, запуская механизмы, мобилизуя институции уже не собственно судебные, но параюридические и околомедицинские. В связи с этим следует изучить эволюцию судебно-медицинской экспертизы, начиная с проблематизации «монструозного» деяния в начале XIX века (в делах Корнье, Леже, Папавуана) и заканчивая возникновением понятия «опасного» индивида, которому невозможно придать медицинский смысл или юридический статус, но которое в то же время является фундаментальным понятием современных экспертиз. И по сей день, задавая врачу не имеющий ясного смысла вопрос «Опасен ли данный индивид?» (вопрос, противоречащий уголовному праву, которое подразумевает исключительно наказание деяний, и постулирующий естественную связь болезни и преступления), судьи возвращаются — минуя трансформации, которые и нужно проанализировать, — к двусмысленностям стародавних монстров.

2. Индивид, подлежащий исправлению. Этот персонаж моложе монстра. Он коррелятивен не столько императивам закона и каноническим формам естественности, сколько техникам выучки вкупе с их собственными требованиями. «Неисправимый» появляется одновременно с формированием дисциплинарных техник, которое в XVII и XVIII веках происходит в армии, в школах и мастерских, а немного позднее и в семьях. Новые процедуры вы-

учки тела, поведения, способностей поднимают проблему уклоняющихся от этой нормативности, которая уже не равнозначна верховенству закона.

«Запрет» выступал юридической мерой, посредством которой индивид, как минимум, частично дисквалифицировался в качестве субъекта права. Это юридическое и негативное обрамление запрета отчасти заполняется и отчасти заменяется совокупностью техник и приемов, коими будут смирять тех, кто сопротивляется выучке, и исправлять неисправимых. Широко практикующееся с XVII века «принудительное содержание» возникает именно как своего рода промежуточная мера, более мягкая, чем судебный запрет, и более жесткая, чем позитивные процедуры перевоспитания. Принудительное содержание действительно изолирует, но при этом не подразумевает действия законов и служит оправданием необходимости исправлять, улучшать, побуждать к раскаянию и возвращению к «добрым чувствам». С учетом этого неопределенного, но исторически важного феномена следует изучить, соблюдая точную хронологию, возникновение различных институтов перевоспитания и категорий индивидов, к которым эти институты обращены. Следует изучить зарождение слепых, глухонемых, слабоумных, умственно отсталых, невропатов и неуравновешенных.

Будучи банальным, обыденным монстром, ненормальный XIX века является в то же время потомком этих неисправимых, возникших вблизи границ техник «выучки» Нового времени.

3. Онанист. Это совершенно новая фигура, вышедшая на авансцену в XVIII веке. Она коррелятивна новым взаимоотношениям между сексуальностью и семейной организацией, новому положению ребенка в родительском доме и новому значению, которое придается в это время телу и здоровью. Речь идет о возникновении сексуального тела ребенка.

Это возникновение имеет долгую предысторию, связанную с совместным развитием техник руководства совестью (в рамках нового пастырства, нормы которого определил Тридентский Собор) и учебных заведений. От Герсона до Альфонса де Лигуори происходит дискурсивное ограждение сексуального желания, чувствующего тела и греха «моллитий», сказывающееся в обязанности признания исповеднику и в детально регламентируемой практике подробных опросов. Говоря коротко, традицион-

ный контроль над запрещенными сношениями (над случаями адюльтера, инцеста, содомии, скотоложства) удваивается контролем над «плотью» вплоть до самых элементарных проявлений похоти.

Но на этом фоне происходит внезапный поворот, ознаменованный «крестовым походом» против мастурбации. Поход этот шумно начинается в Англии, около 1710 г., с публикацией книги «Онания», затем подхватывается в Германии и приблизительно в 1760 г., после выхода книги Тиссо, разворачивается во Франции. Смысл его таинствен, последствия же неисчислимы. И нам не удастся приблизиться ни к смыслу, ни к последствиям этой кампании, не учтя некоторые ее характерные особенности. Недостаточно видеть в ней — как это делает Ван Уссель, чьи недавние работы до некоторой степени следуют перспективе, намеченной Райхом, — процесс подавления, сообразный новым требованиям индустриализации: продуктивное тело против тела желания. На деле эта кампания не принимает, по крайней мере в XVIII веке, вид общей сексуальной дисциплины: она обращается главным образом, или даже исключительно, к подросткам, детям, причем прежде всего к детям из богатых или зажиточных семей. Она характеризует сексуальность или, во всяком случае, сексуальное употребление собственного тела как исток неопределенного множества физических заболеваний, могущих сказываться во всевозможных формах на протяжении всей жизни. Неограниченный этиологический потенциал сексуальности на уровне тела и болезней становится одной из наиболее часто встречающихся тем не только в текстах этой новой медицинской морали, но и в самых серьезных исследованиях в области патологии. И если ребенок становится в итоге ответственным за свое тело и свою жизнь — так как все его беды идут от «злоупотребления» своей сексуальностью, — то родители обличаются как прямые виновники этого: недостаточный надзор, пренебрежение и, главное, отсутствие интереса к своим детям, к их телу и поведению заставляет их отдавать детей на попечение кормилиц, слуг, воспитателей, всех этих посредников, которых то и дело привлекают к суду как инициаторов разврата (Фрейд использует эту тему в своей первой теории «совращения»). В ходе этой кампании складывается новый императив отношений родителей и детей или, говоря шире, новая экономика внутрисемейных отношений: происходит укрепление и интенсификация связей отец—мать—дети

(в ущерб тем многообразным отношениям, характеризовавшим широкий круг «домочадцев»), перестройка системы семейных обязанностей (которые раньше направлялись от детей к родителям, а теперь числят ребенка в качестве первейшего объекта неусыпной заботы родителей, нагруженных моральной и медицинской ответственностью за все в своих детях, включая самое сокровенное); появляется принцип здоровья как фундаментальный закон семейных отношений; семейная клетка сосредоточивается вокруг тела — сексуального тела — ребенка; организуется непосредственная физическая связь, близость родителей и ребенка, в которой прихотливо переплетаются желание и власть; и наконец, формируется внешний медицинский контроль, знание, призванное судить и регулировать эти новые отношения между бдительностью родителей и хрупким, легковозбудимым и восприимчивым к соблазну телом ребенка. Крестовый поход против мастурбации — это внешнее выражение формирования сплоченной семьи (родители и дети) как нового аппарата знания-власти. Проблематизация сексуальности ребенка вкупе со всеми аномалиями, за которые ее сочли ответственной, была одним из орудий постройки этого нового диспозитива. Так и тогда сформировался узкий инцестуозный семейный круг, сексуально насыщенное семейное микропространство, характеризующее наше общество.

«Ненормальный» индивид, за которого с конца XIX века взялось такое множество институтов, дискурсов и знаний, ведет свою родословную одновременно от монстра как юридическо-естественного исключения, от целого народца неисправимых, вовлеченных в аппараты выучки, и от универсальной разгадки детской сексуальности. Но, собственно говоря, монстр, неисправимый и онанист не смешиваются воедино. Каждый из них вписывается в автономную систему научной референции: монстр — в тератологию и эмбриологию, впервые приобретшие научную связность у Жоффруа Сент-Илера; неисправимый — в психопатологию ощущений, двигательной функции и способностей; онанист — в теорию сексуальности, началом длительной разработки которой стал труд Генриха Каана «Psychopathia sexualis».

И все же специфичность этих референций не должна заслонить от нас три очень важных феномена, отчасти упраздняющих, а отчасти трансформирующих ее: это сложение общей теории «вырождения», которая, начиная с книги Мореля (1857), будет на протяжении полувека служить теоретическим обрамлением, а

также социальным и моральным оправданием целого ряда техник обнаружения, классификации и лечения ненормальных; это формирование сложной институциональной сети, которая, находясь на границах медицины и правосудия, будет одновременно структурой «приема» ненормальных и инструментом «защиты» общества от них; и наконец, это движение, в котором элемент, возникший в истории совсем недавно (проблема детской сексуальности), поглотил два других элемента, чтобы в XX веке сделаться исключительно эффективным объяснительным принципом для аномалий всякого рода. Противоестественность, которую ужасный облик монстра являл миру в ослепительном свете исключения, теперь незаметно вкладывает в повседневные мелкие аномалии детская сексуальность.

Серия лекционных курсов, начатая мною в 1970 г., имеет своим предметом формирование знания и власти нормализации на основе традиционных юридических карательных процедур. Курс 1975—1976 учебного года завершит этот цикл исследованием механизмов, с помощью которых с конца XIX века стало принято «охранять общество».

* * *

Семинар 1974—1975 гг. был посвящен анализу изменений, которые претерпела судебно-психиатрическая экспертиза, начиная с громких дел о монструозных преступлениях (центральный случай — процесс Генриетты Корнье) и заканчивая диагностикой «ненормальных» правонарушителей.


КОНТЕКСТ КУРСА

Курс «Ненормальные» состоит из одиннадцати лекций, прочитанных в период с 8 ноября по 19 марта 1975 г. и посвященных исследованию и выявлению ряда элементов, которые привели к возникновению в новой западноевропейской истории понятия «ненормального».

Краткое содержание курса, опубликованное в «Ежегоднике Коллеж де Франс» за 1974—1975 учебный год и включенное в настоящую книгу,[1] резюмирует лекции в том, что касается представления и подробного описания «трех элементов», образующих «группу ненормальных», ансамбль, «статус» и «объем» которой установился только в конце XIX века. Тремя этими элементами были *монстр*, *недисциплинированный* и *онанист*. Однако, с точки зрения программы, заявленной М. Фуко в первой лекции, надо уточнить, что вторая категория (категория «индивидов, подлежащих исправлению»), словно заглушенная двумя другими, не получила самостоятельного описания и до некоторой степени растворилась в общем изложении как фигура «не поддающегося нормативной системе воспитания» (см. лекцию от 19 марта).

В десятой лекции, то есть почти в самом конце своего курса, Фуко подводит первые итоги полугодовой работы и упоминает о происшедшем по ходу дела изменении. Указав на важность темы недисциплинированного с точки зрения «связ-

---

[1] См.: *Foucault M.* Dits et Écrits, 1854—1988, éd. par D. Defert & F. Ewald, collab. J. Lagrange. Paris, 1994. II. № 165. P. 822—828 (далее это издание обозначается как DE, том, номер текста: страницы).

ки проблематики монстра и инстинкта с проблематикой мастурбатора и детской сексуальности», он предпринимает попытку по возможности восполнить пробел. И 19 марта останавливается на персонаже «непослушного ребенка», подвергающегося процедуре «психиатризации», однако оговаривается, что его генеалогия «останется в состоянии наброска», так как прослеживать ее нет времени. В состоянии наброска она останется и в «Воле к знанию», где о недисциплинированном говорится еще более лаконично и без опоры на сложную дискуссию, которая связана с ним в данном лекционном курсе.[2] Проблематика, поднимаемая Фуко в «Ненормальных», основывается не столько на подключении семьи к другой «системе контроля и власти», как это было в рамках деревенской культуры, не столько на «новой обеспокоенности», возникающей «перед такой сексуальностью, где сходятся пути детей и маргинальных взрослых», сколько на значительном скачке в процессе «открытия психиатрией ребенка и детства», совершенном именно в эти годы. Ибо как только «инфантильность» ребенка начинает служить критерием для «анализа нарушений поведения» (другими словами, задержки в развитии), чтобы психиатризировать ее, остается разыскать ее следы в поступках. Тогда-то и начинает «поддаваться психиатризации поведение взрослых», в котором обнаруживаются признаки инфантильности.

Хотя Фуко устанавливает поле — о нем говорится в первой лекции и оно описывается в «Кратком содержании курса», — внутри которого присутствует не только человеческий монстр («исключение» репродуктивной нормы) сначала в «юридическо-естественном», затем в «юридическо-биологическом» обличье, но также индивид, подлежащий исправлению («феномен, регулярный в своей нерегулярности»), и малолетний мастурбатор («почти универсальный персонаж»), археология и генеалогия показывают, что ненормальный, каким он был определен в конце XIX века взявшими его под свою опеку институтами, является потомком трех этих фигур. Понятно, что для Фуко это три совершенно разных источника и три разные истории. Они долгое время существуют порознь

---

[2] См.: *Foucault M.* La Volonté de savoir. Paris, 1976. P. 43—44.

(и без связи друг с другом), так как порознь (и без связи друг с другом) существуют «системы власти и системы знания», работающие с ними. Более того, на всем протяжении новой истории происходит полная и зачастую хаотическая «перемена мест» в их иерархии. Но важно то, что *ужасный монстр* (существующий уже в рамках «вполне научно связных» тератологии и эмбриологии), *неисправимый* («тот, кто противится всякой дисциплине» и чьи поступки достаточно часто описываются в терминах «психопатологии ощущений») и *малолетний мастурбатор* (вокруг которого вырастает здание сексуальной психопатологии) в итоге соединяются в ненормальном.

Если случай, приведенный в одиннадцатой лекции, рисует «тревожные черты» ребенка, считаемого непослушным потому, что его семья и ближайшее окружение присоединились к другой логике контроля, то занятия, посвященные человеческому, а затем юридическому монстру и онанисту, сопряженному с целым созвездием извращений, напротив, предлагают систематическое исследование двух этих фигур, фундаментальных предшественников ненормального. Проводится углубленный анализ и предоставляется почти исчерпывающая документация. Причина этого дисбаланса связана, по всей вероятности, с тем, что, во-первых, Фуко оперирует документами из ряда уже готовых досье, которые он намеревался опубликовать, по крайней мере частично; и, во-вторых, с тем, что он пользуется несколькими рукописями, то есть дожидавшимися публикации книгами. «Ненормальные» не просто дают ясное представление об этих досье и рукописях, но подчас и позволяют восстановить потери, понесенные ими впоследствии.

«ДОСЬЕ»*

1) Досье судебно-медицинских экспертиз

В «Беседе о тюрьме» Мишель Фуко говорит о своей работе в это время (1975) над исследованием об уголов-

* Мы будем называть так подборки ссылок, составленные Мишелем Фуко и сохраняемые ныне Даниэлем Дефером.

но-психиатрической экспертизе, которое он рассчитывал завершить и опубликовать.[3] В лекциях то и дело слышны отголоски этого исследования: Фуко пользуется подборками документов, уже составленными и почти готовыми к изданию (неопубликованный их вариант входит в архив, унаследованный Даниэлем Дефером). Этот аппарат делится на два больших блока материалов. Одни досье, особенно глубоко проанализированные Фуко, относятся к началу XIX века, то есть к моменту зарождения судебной психиатрии, формирования ее дискурса; другие же включают экспертные отчеты второй половины XX века.[4] При сравнении двух этих комплексов обнаруживается целый ряд свидетельств о значительных трансформациях, происшедших в ходе интеграции психиатрии в судебную медицину.

а) *Современные экспертизы*. Первая группа досье, которой открывается лекция от 8 января, включает отчеты, представленные французским судам психиатрами, имевшими в период между 1955 и 1974 гг. серьезную научную репутацию. Они выбраны из огромного числа документов, собранных Фуко из всевозможных источников текущей информации, и относятся к процессам, шедшим в период чтения лекций или закончившимся незадолго до этого. Накопленный материал, состоящий как из заметок в рубриках происшествий, так и из публикаций специализированной прессы (юридических журналов), позволил Фуко цитировать большие фрагменты, в которых подчас проступают проблемы, впоследствии формирующие каркас части лекционного курса. Так, в них поднимаются важнейшие вопросы о высказываниях, имеющих «власть над жизнью и смертью» и «функционирующих в рамках судебного института как дискурсы истины»; в них затрагиваются темы гротескного («гротескное правление») и убюэскного («убюэскный произвол»), вводящие в обиход категорию «историко-политического анализа», обнаруживая в наиярчайшем

---

[3] См.: *Foucault M.* DE, II, 156: 746. Теме психиатрической экспертизы был посвящен семинар Мишеля Фуко в Коллеж де Франс.

[4] См.: *Foucault M.* DE, II, 156: 746.

свете «эффекты власти, основанные на дисквалификации ее обладателя». На подобного рода наблюдения, анализы, на первый взгляд кажущиеся лишь вспомогательными, зачастую и опираются аргументы и гипотезы, выдвинутые, опробованные еще раньше, в других лекциях: Фуко то внезапно уходит от «настоящего» и углубляется в «историю», то вновь, почти без перехода, возвращается в «настоящее». Это странствие причудливым и всегда неожиданным образом связывает совокупность проблем, над которыми Фуко работал в это время (таков, например, обсуждаемый в первой лекции вопрос о дискурсах, обладающих особыми, добавочными, властными эффектами и отражающих «доказательную силу», присущую «говорящему субъекту»), с живыми сведениями, почерпнутыми в архивах или даже в текущей периодике.

b) *Экспертизы первых десятилетий XIX века.* Досье второй группы, те, что используются в лекции от 5 февраля и затем не раз упоминаются во время следующих занятий, состоят из экспертиз, запрошенных французскими судами у именитых психиатров и проведенных ими после 1826 г. Иными словами, с того момента, когда применение статьи 64 Уголовного кодекса 1810 г. («Нет ни преступления, ни правонарушения, если обвиняемый пребывал в состоянии помутнения рассудка во время совершения своего деяния или был принужден к нему силой, которой он не мог сопротивляться»)[5] позволило медицинскому институту в случае безумия брать на себя функцию института судебного. Очень важные проблемы, поднимаемые Фуко в связи с этими документами — и, судя по частым отсылкам, связанные с предшествующими лекционными курсами («Теория и институты уголовной юстиции», «Карательное общество» и «Психиатрическая власть»[6]), — присутствуют, иногда в несколько видоизмененной форме, в корпусе более ранних или современных его книг (в частности, см. «Надзирать и наказывать», вышедшую в феврале 1975 г.), но

[5] См.: *Garçon E.* Code pénal annoté. I. Paris, 1952. P. 207—226; *Merle R., Vitu A.* Traité de droit criminel. I. Paris, 1984 (6; 1 éd. 1967). P. 759—766.

[6] Краткое содержание см. в кн.: *Foucault M.* DE, II, 115: 389—393; 131: 456—470; 145: 675—686.

также и в позднейших исследованиях (прежде всего в «Воле к знанию», которая выйдет в октябре 1976 г.). Эти проблемы проходят красной нитью в цикле курсов, прочитанных Фуко в Коллеж де Франс между 1970—1971 гг. (некоторые лекции курса «Воля к знанию»[7]) и 1975—1976 гг. (некоторые лекции курса «Надо охранять общество»[8]) учебными годами. Надо сказать, что, начав с постановки вопроса о «традиционных юридических процедурах казни», предприняв исследование «медленного сложения нормализационных знания и власти» и подойдя к «механизмам, с помощью которых с конца XIX века взялись „охранять общество"», Фуко заметил, что его поиск подошел к определенной границе.[9] В совокупности курсов, посвященных вхождению психиатрии в судебную медицину, нередко обнаруживаются темы, исследуемые им *in extenso** в последующие годы (см., например, курсы «Рождение биополитики» и «Об управлении живыми людьми», прочитанные соответственно в 1978—1979[10] и в 1980—1981[11] учебных годах), а, в известной степени, и предвестия поздних работ (см. курс «Субъективность и истина» за 1980—1981 учебный год[12]). И все же очень часто проблемы, затрагиваемые в настоящем курсе, не выходят в своем развитии за пределы чисто педагогических целей. Впоследствии, с пересмотром общего плана работы над «Историей сексуальности» во время подготовки ее первого тома, эти проблемы исчезнут. Об этом свидетельствует изменение перспективы, связанное с

---

[7] Резюме см. в кн.: *Foucault M.* DE, II, 101: 240—244. Это первый лекционный курс Мишеля Фуко в Коллеж де Франс, название которого — «Воля к знанию» — он впоследствии повторит для первого тома «Истории сексуальности».

[8] *Foucault M.* «Il faut défendre la société». Cours au Collège de France (1975—1976) / éd. par M. Bertani & A. Fontana. Paris, Gallimard/Seuil, 1997.

[9] См.: *Foucault M.* DE, II, 165: 828.

[10] Краткое содержание см. в кн.: *Foucault M.* DE, III, 274: 818—825.

[11] Краткое содержание см. в кн.: *Foucault M.* DE, IV, 289: 125—129.

[12] *Foucault M.* DE, IV, 304: 214: «История субъективности уже затрагивалась нами, когда мы изучали разделения, проводившиеся в обществе по признаку безумия, болезни, преступности, и их воздействие на формирование разумного и нормального субъекта».

* Подробно (*лат.*). — *Прим. перевод.*

поворотом 1981 г. (см. курс «Герменевтика субъекта»[13]) и очевидное, если сравнить выступления Фуко, собранные в IV томе «Выступлений и статей», и его последние опубликованные книги: «Использование удовольствий» и «Забота о себе» (1984).

c) *Промежуточные экспертизы.* Первое «поле аномалии» (еще разреженное и неокончательное), занятое, по большей части, «юридическим монстром», с момента своего возникновения (см. лекцию от 12 марта) оказывается пронизано проблемой сексуальности. Согласно Фуко, сексуализация этого поля осуществляется двумя способами: с помощью понятий наследственности и вырождения и с помощью понятий отклонения, извращения, расстройства или сдвига. Ключевая переходная экспертиза, приводимая Фуко, касается солдата, у которого военный врач (скажем так, прилежный эскиролианец) сначала диагностировал мономанию. Затем его осмотрел психиатр, введший (пусть и в зачаточном виде) понятие «болезненных отклонений инстинкта воспроизводства» и тем самым открывший эпоху, когда желание станет «психиатрическим или психиатризируемым объектом», когда будет построена «теория инстинкта» и «его нарушений, связанных с воображением». Эта теория будет господствовать всю вторую половину XIX века.

2) Досье о человеческом монстре

Очевидно, что Мишель Фуко не хотел, — учитывая собранную им документацию, — рассматривать вопрос о монстре в том смысле, который придается этому термину на страницах последней тератологической *summa* в европейской литературе, принадлежащей перу Чезаре Таруффи.[14] Напро-

---

[13] Краткое содержание см. в кн.: *Foucault M.* DE, IV, 323: 353—365.

[14] Этот восьмитомный трактат (*Taruffi C.* Storia della teratologia. Bologna, 1881—1894) в мельчайших подробностях воссоздает библиотеку и музей монстров, с которыми имели дело многие врачи и хирурги Нового времени.

тив, он выбрал чрезвычайно оригинальный подход к монстру, предложенный в «Истории» Эрнеста Мартена[15] и позволивший очертить референтное поле исследования: это теневая зона западноевропейского дискурса, которую Фуко называет «одновременно юридической и научной традицией».

а) *Юридическо-естественный и юридическо-биологический монстр.* На вершине конусообразной традиции, описываемой Фуко, находится, вероятно, по указанию того же Мартена, труд «Embryologia sacra» Франческо Эмануэле Канджиамилы.[16] Используя французский перевод этой книги, выполненный Жозефом-Антуаном Динуаром, в его последнем издании, значительно расширенном и одобренном Королевской академией хирургии,[17] Фуко читает ее как трактат, в котором переплетаются — несомненно, впервые — две до этой поры отдельные теории: юридическо-естественная и юридическо-биологическая теории монстра.

b) *Нравственный монстр.* Это понятие отображает инверсию идеи юридическо-естественного и юридическо-биологи-

---

[15] *Martin E.* Histoire des monstres depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Paris, 1880. Первая глава этого труда («Античное законодательство и монстры», с. 4—16) предлагает общее обозрение эволюции древнеримского права в том, что касается *monstra*, и открывается следующим замечанием: «В Риме обнаруживается тератологическое законодательство, доказывающее, что юридический дух этой нации не обходил стороной ни одного из возможных субъектов правового регулирования».

[16] *Cangiamila F. E.* Embriologia sacra ovvero dell'uffizio de' sacerdatoti, medici e superiori circa l'eterna salute de' bambini racchiusi nell'utero libri quattro. Palermo, 1745. Распространение этого текста в Европе началось после его перевода на латынь, в значительно исправленном и дополненном виде: *Cangiamila F. E.* Embryologia sacra sive de officio sacerdotum, medicorum et aliorum circa aeternam parvulorum in utero existentium salutem libri quatuor. Panormi, 1758.

[17] *Cangiamila F. E.* Abrégé de l'embryologie sacrée, ou Traité des devoirs des prêtres, des médecins, des chirurgiens, et des sages-femmes envers des enfants qui sont dans le sein de leur mères. Paris, 1766. Первое французское издание, вышедшее под названием, дословно воспроизводящим латинское (Abrégé de l'embryologie sacrée, ou Traité des devoirs des prêtres, des médecins et autres, sur le statut éternel des enfants qui sont dans le ventre de leur mère), относится к 1762 г.

ческого монстра, осуществленную в конце XVIII века. Если прежде «монструозность содержала в себе признак криминальности», то теперь имеет место «систематическое подозрение монструозности во всяком преступлении». Первой фигурой морального монстра, которую Фуко обнаруживает в новой западной истории, является монстр политический. Эта фигура складывается в эпоху Великой французской революции, тогда же, когда усматривается «родство преступника и тирана», так как оба они нарушают «фундаментальный общественный договор» и стремятся навязать свой «произвольный закон». В этом смысле «все человеческие монстры — наследники Людовика XVI». Большая часть вопросов, поднятых в ходе дебатов об осуждении Людовика XVI, поднимается затем и в отношении всех (обычных правонарушителей или политических преступников), кто разрывает своими деяниями общественный договор. Так или иначе между якобинской литературой, составляющей анналы королевских преступлений и толкующей историю монархии как непрерывную цепь злодеяний, и антиякобинской литературой, которая видит в истории революции дело рук монстров, расторгших общественный договор своим бунтом, существует богатый следствиями консенсус.

c) *Монстры у основания криминальной психиатрии.* Вновь обращаясь к своду судебно-медицинских экспертиз и находя в нем отчеты, легшие в основание новой дисциплины (и принадлежащие перу Жана-Этьена Эскироля, Этьена-Жана Жорже, Шарля-Кретьена Марка), Фуко останавливается на нескольких важных делах первой половины XIX века (а именно на тех, в которых особенно тесно сблизились психиатрия и суд). В соответствующих лекциях он не включает в число упоминаемых случаев лишь те, которые уже были предметом научной публикации.[18] Эта широта охвата очень важна для понимания общей схемы курса, ибо она позволяет очертить «огромное поле вмешательства» (то есть поле ненормальности), открывшееся «перед психиатрией».

---

[18] См.: Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère... Un cas de parricide au XIX siècle / présenté par M. Foucault. Paris, Gallimard/Julliard, 1973.

3) Досье об онанизме

После переиздания многочисленных источников по данной теме, в частности самых ранних, и после выхода в разных странах целого ряда новых исследований, основанных на очень обширном материале, представленная Фуко в «Ненормальных» документация по проблеме онанизма, — используемая им также, хотя и в меньшей степени, в «Воле к знанию», — кажется довольно-таки ограниченной. В значительной части, причем зачастую без необходимой проверки, она почерпнута из книги «Онанизм» Леопольда Деланда (1835);[19] последнего Фуко даже называет, присоединяясь к мнению Клода-Франсуа Лалемана, «крупным теоретиком мастурбации».[20] Не стоит удивляться этой характеристике: в самом деле, используя труд Деланда в противовес «Онании» Беккера (книги, по словам Лалемана, пустой) и «Онанизму» Самюэля Тиссо (всего лишь компиляции, продолжает Лалеман, которая, вопреки своему громкому успеху и размаху кампании, предпринятой ее автором, никогда не пользовалась и малейшим авторитетом в медицинской среде), Лалеман убедительно показал, что в европейской культуре существуют гораздо более интересные, нежели эти сочинения, источники об онанизме.[21] Например: исповеди Жана-Жака Руссо[22] (Лалеман предпринимает настоящий анализ сексуальных проблем автора «Эмиля»[23]); сообщения о связи между мастурбацией

[19] *Deslandes L.* De l'onanisme et des autres abus vénériens considérés dans leurs rapports avec la santé. Paris, 1835.

[20] См.: *Lallemand C.-F.* Des pértes séminales involontaires. Paris-Montpellier, 1836. I. P. 313—488 (глава IV, посвященная «злоупотреблениям», всецело сосредоточена на последствиях мастурбации).

[21] Так, он указывает на промежуточную фазу кампании против мастурбации, представленную книгами Ж.-Л. Дуссена-Дюбрея (*Doussin-Dubreuil J.-L.* Lettres sur les dangers de l'onanisme, et Conseils relatifs au traitement des maladies qui en résultent. Ouvrage utile aux pères de famille et aux instituteurs. Paris, 1806) и Ж.-Б. Тероба (*Téraube J.-B.* La Chiromanie. Paris, 1826 — ср. определение «хиромании» и предложение именовать мастурбацию именно так на с. 16—17).

[22] *Lallemand C.-F.* Des pértes séminales involontaires. I. P. 403—488.

[23] *Lallemand C.-F.* Des pértes séminales involontaires. II. P. 265—293.

и умопомешательством,[24] или между мужскими яичками и головным мозгом;[25] предложения лечить мастурбацию (как следствие развития цивилизации, из-за которого дети отдалились от сексуальности), прививая юношеству интерес к противоположному полу.[26] Таким образом, выбор Фуко в пользу «Онанизма» Деланда вполне понятен, ибо, пользуясь этим трудом, он смог достаточно естественно перейти ко второй фазе антимастурбационной кампании — к той фазе, когда на смену «фикции» или «научному фольклору на тему тотальной болезни» (т. е. этиологии, связанной с истощением тела и слабостью нервной системы)[27] и сугубо физиологическим изысканиям офтальмологов,[28] кардиологов,[29] остеологов,[30] а также специалистов по мозговым и легочным заболе-

---

[24] *Lallemand C.-F.* Des pértes séminales involontaires. III. P. 182—200. Это общее место в психиатрической литературе данного времени. Ср., например: *Marc Ch.-Ch.-H.* De la folie considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires. I. Paris, 1840. P. 326.

[25] См. главу III кн.: *Doussin-Dubreuil J.-L.* De la gonorrhée bénigne ou sans virus vénérien et des fleurs blanches. Paris, VI [1797—1798].

[26] См.: *Lallemand C.-F.* Des pértes séminales involontaires. III. P. 477—490.

[27] Здесь Фуко использует статьи Ж.-Б.-Т. Серрюрье «Мастурбация» и «Поллюция» в «Словаре медицинских наук» (Dictionnaire des sciences médicales. Paris. XXXI. 1819. P. 100—135; XLIV. 1820. P. 114 sq.). Во втором издании «Словаря» обе эти статьи исчезнут и будут заменены, соответственно, статьями «Сперматоррея» и «Онанизм» (см.: Dictionnaire de médecine ou Répertoire général des sciences médicales considérées sous les rapports théorique et pratique. XXII. Paris, 1840. P. 77—80). Особенно интересна статья «Онанизм», уже учитывающая судебно-медицинский опыт работы в области ментальной патологии.

[28] См.: *Sanson L.-J.* Amaurose // Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratique. II. Paris, 1829. P. 98; *Scarpa A.* Traité pratique de maladies des yeux, ou Expériences et Observations sur les maladies qui affectent ces organes. II. Trad. fr. Paris, 1802. P. 242—243 (d. orig.: *Scarpa A.* Saggio di osservazione e di esperienze sulle principali malattie degli occhi. Pavia, 1801). Ср.: *Lullier-Winslow A.-L.-M.* Amaurose // Dictionnaire des sciences médicales. I. 1812. P. 430—433; *Marjolin J.-N.* Amaurose // Dictionnaire de médecine. II. Paris, 1833. P. 306—334.

[29] См.: *Blaud P.* Mémoire sur les concrétions fibrineuses polypiformes dans les cavités du cœur // Revue médicale française et étrangère. Journal de clinique. IV. 1833. P. 175—188, 331—352.

[30] А. Ришеран, издатель труда А. Буайе (см.: *Boyer A.* Leçons sur les maladies des os rédigées en un traité complet de ces maladies. Vol. I. XI [1802—1803].

ваниям приходит, впервые у Генриха Каана,[31] идея связи между онанизмом и сексуальной психопатологией, позволяющая ввести «сексуальные отклонения в поле психиатрии». Фуко первым углубленно изучил текст Каана и обнаружил в нем теорию *nisus sexualis*, оправдывающую необходимость исследования детской сексуальности и важность *phantasia* как подготовительного орудия «сексуальных нарушений». Таким образом, досье об онанизме иллюстрирует две следующие темы: «психиатрическая генеалогия сексуальных нарушений» и «сложение этиологии безумия, или ментальных болезней, исходя из истории сексуального инстинкта и сопряженного с ним воображения».

«РУКОПИСИ»*

Таковых по меньшей мере две. Первая касается бисексуальной традиции в судебно-медицинской литературе; вторая же — практики исповеди согласно христианским трактатам о покаянии.

1) Рукопись о гермафродитизме

Эта рукопись начинается как продолжение досье, посвященного монстрам, но вскоре приобретает самостоятельный характер. В «Выступлениях и статьях», за исключением краткого содержания курса «Ненормальные», почти отсутствуют следы этой темы.[32] Однако, как мы знаем, гермафродитизм должен был стать темой одного из томов

P. 344), уточняет: «Мастурбация иногда является причиной поражения позвонков и абсцессов, вызванных кровоизлиянием. Практика гражданина Буайе предоставляет этому множество свидетельств».

[31] *Kaan H.* Psychopatia sexualis. Lipsiae, 1844.

[32] См.: *Foucault M.* DE, III, 237: 624—625; 242: 676—677.

* Этим наименованием мы обозначаем «досье», в которых имеются примечания и комментарии Мишеля Фуко, предназначенные, несомненно, для будущих публикаций.

«Истории сексуальности». Об этом в 1978 г. говорит сам Фуко, в предисловии к «Воспоминаниям» Эркюлины Барбен: «Тема странных судеб, подобных той, что выпала Эркюлине Барбен, и поднимавших столько проблем перед медициной и правом начиная с XVI века, будет рассмотрена в отдельном томе „Истории сексуальности”, посвященном гермафродитам».[33]

Что бы ни имел в виду Фуко — целую книгу о гермафродитах или, что все же вероятнее, отдельную часть тома об «извращенцах», как можно судить об этом по плану, намеченному в «Воле к знанию» (1976),[34] — он так и не опубликовал на эту тему ничего, за исключением досье о той же Эркюлине Барбен (первая и единственная книга в коллекции «Параллельные жизни», предпринятой было издательством «Галлимар»). Дело в том, что Фуко коренным образом изменил свой проект «Истории сексуальности». Об этом он подробно говорит в тексте «Модификации», написанном в связи с выходом в свет «Использования удовольствий»:[35] «общая реорганизация» его исследований «вокруг генеалогии человека желания», ограниченной периодом «от классической древности до первых веков христианства», уже не включает в единый план «Волю к знанию» в том виде, в каком она нам известна.[36] Приводимые Фуко в настоящем курсе наблюдения над двумя крупными процессами, предпринятыми против Марии (Марина) Лемарси (1601) и Анны (Жана-Батиста) Гранжан (1765), отсылают к большой подборке документов, библиографических данных и расшифровок стенограмм, сохраняемой в необработанном виде Даниэлем Дефером, который любезно позволил нам ознакомиться с нею. Эта подборка является очевидным свидетельством подготовки к изданию антологии текстов, связанных с темой гермафродитизма. Оба случая,

---

[33] Herculine Barbin, dite Alexina B. / présenté par M. Foucault. Paris, 1978. P. 131.

[34] См. также главу «Укоренение извращения» в кн.: *Foucault M.* La Volonté de savoir. P. 50—67.

[35] *Foucault M.* L'Usage des plaisirs. Paris, 1984. P. 9—39.

[36] Соответствующий текст не вошел в первое издание «Использования удовольствий».

упомянутые в курсе «Ненормальные», служат ярким отражением судебно-медицинской дискуссии о бисексуальности в Европе Нового времени.

2) Рукопись о практиках исповеди и руководства совестью

Даниэль Дефер сообщил нам, что Мишель Фуко уничтожил свою рукопись о практиках исповеди и руководства совестью под предварительным названием «Плоть и тело»,[37] которой он пользовался при подготовке лекций настоящего курса. Что же касается последнего, неосуществленного тома «Истории сексуальности» — он должен был называться «Признания плоти», — то, согласно плану 1984 г., в нем речь должна была идти исключительно о трудах Отцов Церкви. Однако на базе курса 1974—1975 учебного года мы можем восстановить хотя бы часть ведшейся работы.

Отправной точкой является для Фуко фундаментальная трехтомная «History of Auricular Confession» Генри Чарлза Ли, без которой пока не удалось обойтись ни одному исследователю.[38] Даже цитируемая документация почти никогда не выходит за рамки архива, собранного американским историком.[39]

---

[37] Это заглавие называет сам Фуко: см. *Foucault M.* La Volonté de savoir. P. 30.

[38] *Lea H. Ch.* A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church. Philadelphia, 1896.

[39] Фуко не прибегает, по крайней мере на этой стадии своего поиска, к богатейшему документальному аппарату «Словаря католической теологии» — см. Dictionnaire de théologie catholique. III/1. Paris, 1923. Col. 838—894, 894—926, 942—960, 960—974 (разделы статьи «Исповедь», подготовленной Э. Вакандаром, П. Бернаром, Т. Ортоланом и Б. Долагарэ); XII/1. Paris, 1933. Col. 722—1127 (статья «Покаяние», подготовленная Э. Аманом и А. Мишелем). Не использует он и двухтомник избранных текстов, собранных, переведенных и представленных К. Фогелем: Le Pécheur et la Pénitence dans l'Église ancienne. Paris, 1966; Le Pécheur et la Pénitence au Moyen Âge. Paris, 1969. И наконец, в том же году, когда Фуко обсуждал вопрос о признании в рамках курса «Ненормальные», вышло превосходное исследование Т. Н. Тентлера: *Tentler T. N.* Sin and Confession on the Eve of Reformation. Princeton, 1975.

У Фуко это можно констатировать по цитатам из Алкуина, относящимся к периоду высокого Средневековья;[40] по правилу Анджиоло де Кивассо, согласно которому исповедник не должен смотреть кающемуся в глаза, если перед ним женщина или молодой человек;[41] по ссылке на Пьера Милара в том, что касается традиционных руководств;[42] по Страсбургским установлениям 1722 г.[43] Но, приведя тексты, необходимые для обоснования его рассуждения, в первую очередь связанного с периодом конца XVII—начала XVIII века, Фуко предпринимает весьма глубокое их прочтение.

Решение взять в качестве ключевого французского источника трактат об исповеди «ригориста» Луи Абера (1625—1718), вероятно, было подсказано Фуко тем же Ли — первым историком, изучившим «Практику таинства исповеди, или методику его благотворного совершения».[44] «Практика» — ред-

---

[40] *Albinus seu Alcuinus F.* Opera omnia. I (Patrologiae cursus completus, series secunda, tomus 100). Lutetiae Parisiorum, 1851. Col. 337—339.

[41] *Clavasio A. de.* Summa angelica de casibus conscientiae / cum additionibus I. Ungarelli. Venetiis, 1582. P. 678.

[42] *Milhard P.* La Grande Guide des curés, vicaires et confesseurs. Lyon, 1617. Первое издание этого руководства, известное под названием «Le Vrai Guide des curés», вышло в 1604 г. «Большой справочник...» был объявлен архиепископом Бордо обязательным на поднадзорной ему территории, но в 1619 г., после осуждения Сорбонны, его изъяли из обращения.

[43] Мишель Фуко по понятным причинам не имел возможности использовать редкое издание: Monita generaliade officiis confessarii olim ad usum diocesis argentinensis. Argentinae, 1722. Его перевод сделан с цитаты, приведенной X. Ч. Ли (см.: *Lea H. Ch.* A History of Auricular Confession... I. P. 377).

[44] Первое издание «Практики таинства исповеди, или метода его благотворного совершения» было опубликовано анонимно в 1869 г., одновременно в Блуа и Париже. За предисловием под заголовком «Суждение о достоинствах исповедника» в нем следует текст, четыре части которого посвящены покаянию, сокрушению, отпущению грехов и искуплению. Второе издание, исправленное и значительно дополненное, вышло под тем же названием в 1691 г. Восемь последующих изданий (1700—1729 гг.) следует рассматривать как перепечатки третьего издания (Париж, 1694), однако лишь издание 1722 г. снабжено именем автора. Издания 1748 и 1755 гг. были дополнены выдержкой из покаянных канонов, извлеченных из «Наставлений» Карла Борромея, предназначенных для исповедников и выпущенных за счет французской церкви. В связи с другим своим сочинением — «Theolo-

кий пример морального трактата, оставшегося востребованным, несмотря на то что его автор постепенно удалился от преподавания и сосредоточился на сугубо теологических вопросах, — была выбрана среди множества доступных руководств потому, что она излагает с позиций XVII века старинную юридическо-медицинскую концепцию исповеди. Весь теологический лексикон Абера характеризуется этим смешением, так что любая метафора и любой *exemplum* содержат в себе отсылки сразу к двум дисциплинам.

В «Воле к знанию» становится очевидным то значение, которое имело в исследованиях Фуко пастырство[45] (термин этот обычно обозначает иерархическую ступень Церкви, следующую сразу за прихожанами, за которых пастырство ответственно и к которым обращена его власть), как в католическом мире,[46] так и, с незначительными вариациями, в протестантских странах.[47] В настоящем курсе Фуко прослеживает переход от «практики исповеди» к «руководству совестью», связанный с именем Карла Борромея,[48] и почти не затрагивает то,

---

gia dogmatica et moralis», опубликованным в Париже в семи томах и выдержавшим четыре издания до 1723 г., Луи Абер оказался вовлечен в громкую контроверзу. См., в частности: Défenses de l'auteur de la théologie du séminaire de Châlons contre un libelle intitulé «Dénonciation de la théologie de Monsieur Habert». Paris, 1711; Réponse à la quatrième lettre d'un docteur de la Sorbonne à un homme de qualité. Paris, 1714.

[45] О сложности данной темы см.: Foucault M. DE, IV, 291: 134—161.

[46] Организация католического пастырства в период после Тридентского Собора описывается согласно кн.: Acta ecclesiae mediolanensis. Mediolani, 1583. Входящие в этот сборник «Reliqua secundae partis ad instructionem aliqua pertinentia» (p. 230—254) написаны на вульгарной латыни и включают «Le avvertenze ai confessori» (p. 230—326). Издание ин-фолио для распространения во Франции было выпущено в Париже, в 1643 г., Ж. Жостом.

[47] *Foucault M.* La Volonté de savoir. P. 30: «Пореформенное пастырство, пусть и с учетом сдержанности, все же по-прежнему определяло правила собеседования по вопросам пола».

[48] Термин «практика исповеди» вновь стал доминирующим после публикации в Нидерландах кн.: *Borromeus C.* Pastorum instructiones ad concionandum, confessionisque et eucharistiae sacramenta ministrandum utilissimae. Antverpiae, 1586. Во Франции пастырство распространилось благодаря переводу этого сочинения: *Borromée Ch.* Instructions aux confesseurs de sa ville et de son diocèse. Ensemble: la manière d'administrer le sacrement de pénitence, avec les canons pénitentiaux, suivant l'ordre du Décalogue. Et l'ordonnance du

что происходит одновременно с этим процессом в пореформенной Европе.[49] Большой «Methodus» Томмазо Тамбурини (монаха-иезуита, подвергнутого суду инквизиции и осужденного папой Иннокентием XI за его «пробабилистскую» позицию) подвергается Фуко столь же углубленному изучению, как и «Практика» Абера.[50] Этот очень важный текст рассматривается им как один из последних примеров религиозной литературы, предшествующей повороту к «сдержанности» исповедальных практик (императивом становится *недосказанность*), и позволяет проследить различные тенденции, оспаривавшие между собой руководство совестью. И наконец, столь же тщательному разбору Фуко подвергает трактат «Homo apostolicus» Альфонсо Мария де Лигуори (1696— 1787),[51] эти знаменитые «Praxis et instructio confessariorum», дающие «ряд правил, ко-

même saint sur l'obligation des paroissieurs d'assister à leur paroisses. Paris, 1648 (4 éd.: *Borromée Ch.* Paris, 1665); Règlements pour l'instruction du clergé, tirés des constitutions et décrets synodaux de saint Charles Borromée. Paris, 1663. Впрочем, надо добавить, что задолго до перевода книг миланского архиепископа вошел в обиход трактат архиепископа Козенцы Дж. Б. Констанцо: *Constanzo J. B.* Avertissements aux recteurs, curés, prêtres et vicaires qui désirent s'acquitter dignement de leur charge et faire bien et saintement tout ce qui appartient à leurs offices. Bordeaux, 1613. Более того, в конце XVII века этот трактат даже стал переиздаваться под названием «Пастырство св. Карла Борромея» (см.: *Constanzo J. B.* La Pastorale de saint Charles Borromée. Lyon, 1697 et 1717; книга V «О совершении таинства покаяния» подразделяется на части: «Об обязанности исповедника быть судьей» [с. 449—452], «учитель» [с. 457—460], «врач» [с. 462—463]).

[49] *Foucault M.* La Volonté de savoir. P. 30: «Об этом пойдет речь в следующем томе под названием „Плоть и тело"» (Фуко имеет в виду уничтоженную рукопись, упоминавшуюся выше).

[50] *Tamburinus T.* Methodus expeditae confessionis tum pro confessariis tum pro poenitentibus. Romae, 1645. Седьмая книга трактата Тамбурини «Explitatio decalogi, duabus distincta partibus, in qua omnes fere conscientiae casus declarantur» (Venetiis, 1694. P. 201—203) воспроизводит содержание страниц 388—392 «Methodus...» со значительными добавлениями и пояснениями. Священники Парижа выразили несогласие с «пробабилизмом» «Methodus...» и в 1659 г. составили петицию в форме пасквиля, которую направили архиепископу (кардиналу Реца) с целью добиться осуждения Тамбурини.

[51] *Ligorius A. de.* Homo apostolicus instructus in sua vocatione ad audiendas confessiones sive praxis et instructio confessariorum. Bassani, 1782 (trad. fr.: *Liguori A. de.* Praxis confessarii ou Conduite du confesseur. Lyon, 1854).

торые будут характеризовать исповедь нового и новейшего времени»,[52] увлекая за собой другие дисциплины[53] и способствуя первому пансексуалистскому истолкованию таинства исповеди, наилучшим примером которого может быть сборник Лео Таксиля.[54] В «Ненормальных» Фуко гораздо тверже, чем в «Воле к знанию», настаивает на внезапном, стремительном начале шумной кампании против мастурбации в контексте коренной трансформации исповеди и руководства совестью, замешанной на лигорианской «стилистике сдержанности». Также он ищет объяснение тому факту, что «дискурс о мастурбации появился сначала в протестантских странах», между тем не знавших «руководства душами католического типа». Однако самое главное здесь то, что литература об онанизме, «в отличие от предшествующей христианской литературы», продуцирует дискурс, «совершенно очищенный от желания и удовольствия».

Замечания Фуко о «новых формах» мистицизма и «новых формах» религиозного дискурса, возникших в период наивысшего развития христианского общества вследствие активной работы руководства совестью с верующими и широкого распространения его техник, — эти замечания, при всей их предварительности, кажутся весьма убедительными. Впрочем, есть среди них и довольно спорные, как например тезис о том, что практика руководства совестью вызвала к жизни «снизу» поведенческие формы, которые, способствуя возникновению все новых и новых «аппаратов контроля» и «систем власти» Церкви, на протяжении долгого времени сопровождались случаями *одержимости* (феномен одновременно смешиваемый с

[52] Отметим его использование в «Руководстве для исповедников», составленном Ж.-Ж. Гомом (*Gaume J.-J.* Manuel des confesseurs. Paris, 1854 [7]).

[53] По поводу проникновения лигорианства в медицину см.: *Bourge J. B. de.* Le Livre d'or des enfants ou Causeries maternelles et scolaires sur l'hygiène. Mirecourt, 1865.

[54] Французская версия «Praxis et instructio confessariorum», выпущенная в Париже П. Мелье без указания даты, впоследствии вошла в подготовленный стараниями Л. Таксиля [Ж.-Ж. Паже] сборник: Les Livres secrets des confesseurs dévoilés aux pères de famille. Paris, 1883. P. 527—577.

колдовством и «весьма резко» от него отличающийся[55]), *конвульсий* («конвульсия — это пластическое и зримое выражение борьбы внутри тела одержимой») и, наконец, *явлений* (которые «совершенно исключают телесный контакт» и предписывают «правило не-контакта, не-соприкосновения, не-соединения духовного тела Богоматери и материального тела восприемника чуда»).

К этим заключениям привели Фуко часто встречающиеся в психиатрической литературе XIX века эпизоды одержимости, конвульсии и явления — причем именно тогда, когда в этой литературе формируется понятие патологии религиозного чувства. В том, что касается одержимости и конвульсий, прежде всего следует указать на имплицитное присутствие в лекции от 26 февраля трудов Л.-Ф. Кальмея.[56] Кроме того, восстановлению источников рассуждения Фуко может помочь внимательное изучение статей, посвященных историками двум этим феноменам в различных словарях и энциклопедиях.[57] Не следует забывать и об изысканиях Бенедикта-Огюста Мореля, изложенных им в своем «Трактате» 1866 г.[58] Впрочем, последний опять-таки в значительной степени основан на работах Кальмея, хотя и несет на себе признаки совершающейся трансформации — процесса, который сделает конвульсии «привилегированным медицинским объектом».

Ситуация воссоединения медицинского и религиозного дискурсов может быть проиллюстрирована и следующими словами из доклада одного пастора «Озаренные Севенна»,

---

[55] «Тот, кто говорит „одержимость", не говорит „колдовство". Два эти феномена различны, и первый приходит на смену второму, тогда как старые трактаты связывают, а подчас и смешивают их друг с другом», — пишет Мишель де Серто в своем предисловии к «Одержимым Лудена» (La Possession de Loudun. Paris, 1980 [1 éd. 1970]. P. 10).

[56] *Calmeil L.-F.* De la folie considérée sous le point de vue pathologique, philosophique, historique et judiciaire. Paris, 1842.

[57] См., например: *Jenin de Montegre A.-F.* Convulsion // Dictionnaire des sciences médicales. VI. 1813. P. 197—238.

[58] *Morel B.-A.* Traité de la médicine légale des aliénés dans ses rapports avec la capacité civile et la responsabilité juridique des individus atteints de diverses affections aiguës ou chroniques du système nerveux. Paris, 1866.

представленного на факультет протестантской теологии в Монтобане: «Эти феномены озарения стали предметом серьезного и углубленного изучения нескольких медиков-психиатров, в частности Л.-Ф. Кальмея [см.: *Calmeil L.-F.* De la folie... II. P. 242—310] и А. Бертрана [см.: *Bertrand A.* Du magnétisme animal en France et des jugements qu'en ont portés les sociétés savantes. Paris, 1826. P. 447]. Напомним [...] предложенные ими различные объяснения. Кальмей [...] связывает экстатическую теоманию кальвинистов с патологическими поражениями, в наиболее простых случаях с истерией, а в наиболее тяжелых — с эпилепсией. Бертран констатирует „особое состояние, не являющееся ни бодрствованием, ни сном, ни болезнью и естественное для человека в том смысле, что оно возникает, с незначительными расхождениями, в одном и том же виде в некоторых определенных обстоятельствах"; это состояние Бертран именует *экстазом*»; «Найдется ли среди тех, кто знаком с хорошо известной и столь увлекательной историей о конвульсивных кладбища Сен-Медар, о дьяволах Лудена, о вертящихся столах и животном магнетизме, кто-либо, не поразившийся сходством этих явлений с теми, о которых повествует „Священный театр"?» [см.: *Misson M.* Le Théâtre sacré des Cévennes ou Récit des diverses merveilles opérées dans cette partie de la province de Languedoc. Londres, 1707]; «Родство, пусть и не доходящее до абсолютного тождества, реально, несомненно и, осмелюсь утверждать, не может быть оспорено. Поэтому, если мы не видим сверхъестественных причин феноменов животного магнетизма, одержимости монахинь-урсулинок Лудена и нервных припадков конвульсивных янсенистов [...], то мы не можем приписывать таковые и экстазам севеннских пророков».[59]

Таким образом, можно сказать, что описываемая Фуко парадигма возникает в специализированной литературе после ряда сложных соотнесений и вследствие терапевтического

---

[59] *Kissel A.* Les Inspirés des Cévennes. Montauban, 1882. P. 70—71. Книга М. Миссона была переиздана как раз в тот период, когда психиатрия открывала конвульсии, под названием «Протестантские пророки» (*Misson M.* Les Prophètes protestants. Paris, 1847).

освоения феномена магнетизма,[60] в первую очередь в текстах Кальмея. Затем, в 1872 г., при деятельном участии Жана-Мартена Шарко, она попадает в Сальпетриер и разрабатывается там такими специалистами, как Дезире-Маглуар Бурнвиль, П. Вюле, П.-М.-Л. Реньяр и П. Рише.[61] Итогом этой серии сдвигов становится еще одно исследование Шарко,[62] которое и позволяет Фуко перейти от темы медицинского разоблачения конвульсий к теме чудесных явлений.

КРИТЕРИИ ПОДАЧИ ТЕКСТА

Транскрипция курса «Ненормальные» основывается на общих правилах настоящего издания, указанных в предисловии: перевод речи Мишеля Фуко с магнитофонной ленты в письменный вид осуществлен, по возможности, без каких-либо изменений.

Однако письмо все же имеет собственные законы и предписывает их устной речи. Оно не только требует пунктуации, которая упорядочивает течение речи, а также деления на предложения, сообщающего идеям логическую связность, и на абзацы, что отвечает книжной форме. Оно также обязывает заканчивать и те предложения, которые отклоняются в сторону или нарушают синтаксическую последовательность; соединять главное предложение с придаточным, которое по тем или иным причинам оказалось автономным; исправлять грам-

---

[60] См.: *Deleuze J.-P.* Histoire critique du magnétisme animal. Paris, 1913.

[61] См.: *Charcot J.-M.* Œuvres complètes. I. Paris, 1886; *Bourneville D.-M. & Vulet P.* De la contracture hystérique permanente. Paris, 1872; *Bourneville D.-M. & Regnard P.-M.-L.* L'iconographie photographique de la Salpêtrière. Paris, 1876—1878; *Richer P.* Études cliniques sur la grande hystérie ou hystéro-épilepsie. Paris, 1881.

[62] *Charcot J.-M.* La Foi qui guérit. Paris, 1897. Для понимания аллюзии Фуко на всплеск чудесных явлений полезно иметь в виду точку зрения римской Церкви, выраженную автором, следившим за эволюцией психиатрии: *Van der Elst R.* Guérison miraculeuses; Hystérie // Dictionnaire apologétique de la foi catholique contenant les épreuves de la vérité de la religion et les réponses aux objections tirées des sciences humaines. II. Paris, 1911. P. 419—438, 534—540.

матические конструкции, запрещаемые правилами изложения; менять порядок или положение слов, возникшие в пылу рассказа; корректировать некоторые неточные согласования, чаще всего касающиеся числа личных местоимений и глагольных окончаний. Кроме того — впрочем, это уже не такое настоятельное требование, — на письме обычно опускают неблагозвучные повторы, которые объясняются быстротой и спонтанностью живого изложения; оговорки, не соответствующие общему стилю текста; многочисленные междометия и восклицания, а также выражения сомнения, связки и усилительные слова («скажем», «если угодно», «и еще» и т. д.).

Мы старались вмешиваться в текст с максимальной сдержанностью и осмотрительностью. Во всяком случае, прежде чем вносить какое-либо изменение, мы всякий раз проверяли, не вступает ли оно в противоречие с замыслом лектора. Так, в частности, мы сочли оправданным помещать некоторые выражения в кавычки, чтобы подчеркнуть их или указать на то, что они используются в особом смысле. Изменения, непосредственно связанные с переводом устной речи в письменный вид, никак нами не выделены; таково решение издателей настоящего текста, главнейшей заботой которых было позволить читателю прочесть то, что сами они слышали в виде живой речи Мишеля Фуко.

Общие правила, принятые в издании всех лекционных курсов Фуко в Коллеж де Франс, соблюдались нами с учетом особенностей «Ненормальных».

Многочисленные цитаты из сочинений классической эпохи воспроизведены согласно современным критериям. Однако в примечаниях написание имен авторов иногда дается в различных формах — в точности так, как они фигурируют на фронтисписах цитируемых книг (например: Borromée, Boromée и Borromeus; Liguori, Liguory и Ligorius).

Мы исправили большинство мелких ошибок, которые сумели заметить, как те из них, которые могли быть вызваны забывчивостью Фуко, так и те, что связаны с невнимательностью или пропуском части цитируемого текста. При необходимости мы не колеблясь заменяли в перечислении ошибочное «во-вторых» логичным «в-третьих», вводили в текст

«с одной стороны», если затем в нем следовало «с другой стороны». Мы сократили пассажи, в которых Мишель Фуко поправляется сам, как самые простые среди таких поправок (неуверенное «до некоторой степени» после твердого «точно»), так и более сложные («согласно уставу Шалонской епархии... Э-э... Уставу не епархии, а семинарии Шалона — прошу прощения» мы, разумеется, передавали просто как «согласно уставу Шалонской семинарии»). Такие случаи, когда речь шла просто об адаптации устной речи к требованиям письменного текста, мы не считали своим вмешательством и не обосновываем свой выбор.

В других обстоятельствах мы действовали иначе. Например: когда Фуко представляет досье Руанского гермафродита, Марии Лемарси (лекция от 22 января), он путает год рассмотрения дела (1601) с годом публикации некоторых относящихся к нему текстов (1614—1615). Эта ошибка несколько раз повторяется, однако никак не отражается на содержании рассказа. И в первом случае мы указываем на ошибку, а затем просто даем верные даты при каждой ссылке Фуко на этот процесс. Когда же, наоборот, ошибка (имя, дата или название чего-либо) встречается лишь единожды, мы даем в квадратных скобках и после слова «rectius» правильный вариант, как это обычно делается при позднейшем издании текстов.

Множество трудностей вызвала проблема цитат. Фуко довольно-таки точно придерживается текстов, предлагаемых им вниманию слушателей. Но он позволяет себе адаптировать глагольные времена, чтобы соблюсти *consecutio** своего повествования, вводит стилистические инверсии и опускает второстепенные слова и предложения. Поэтому, имея под рукой почти все цитируемые источники, было бы небесполезным привести в примечаниях оригинальные документы в полном варианте. Это позволило бы читателю лучше понять метод работы Фуко и самому судить о его отборе. Мы дали несколько таких образцов, в частности фрагменты трактата Луи Абера («Практика таинства исповеди»), легшие в основу глубокого прочтения христианского дискурса о признании. Однако чаще

* Здесь: связность (*лат.*). — *Прим. перевод.*

нам казалось более уместным, дабы избежать перегрузки справочного аппарата, указывать лишь на издание, где можно ознакомиться с тем или иным пассажем (что позволяет обратиться непосредственно к источнику), тогда как действительные цитаты мы просто брали в кавычки.

Но иногда модификации, внесенные Фуко в цитируемые тексты, столь существенны, что сравнение с оригиналом просто необходимо. В некоторых случаях нам удалось показать оригинал внутри вольной цитаты с помощью игры скобок и кавычек. Реже пришлось прибегать к помощи критического аппарата. В достаточно длинных цитатах, вмешательство Фуко в которые (дополнение или модификация) диктовалось необходимостью обозначить их контекст, мы заключали эти добавления и разъяснения в квадратные скобки (например: «Не прошло и восьми дней [после женитьбы. — *М. Ф.*], как...»; «В недавних событиях [имеется в виду Парижская Коммуна. — *М. Ф.*] эти взрывчатые наклонности Р. нашли благодатную почву...»). Предпринятые же Фуко сокращения мы обычно обозначали многоточиями в квадратных скобках (например, в предложении «Добродетель молодой женщины, оказавшейся жертвой обстоятельств, была достойна лучшей участи [...]» квадратные скобки просто указывают на пропуск).

Совершенно иначе мы поступали с переводами или перифразами латинских текстов. Как в случае комментария к разделу «Methodus expeditae confessionis» (труда Томмазо Тамбурини, значительного теолога-моралиста XVII века), так и в случае с одним из последних трактатов по сексологии, написанных на общем языке европейских ученых («Psychopathia sexualis» Генриха Каана), мы приводим цитируемые фрагменты в примечаниях целиком. Причина проста: при сравнении с цитатами эти латинские версии свидетельствуют о тщательности, с которой Мишель Фуко готовил свой лекционный курс.

При транскрипции лекций мы пользовались магнитофонными кассетами невысокого качества. Однако непреодолимых трудностей их прослушивание не вызвало. Механические пропуски оказалось возможно восстановить.[63] Те немногие

[63] Мы пользовались кассетами, записанными двумя слушателями — Жильбером Бюрле и Жаком Лагранжем.

фрагменты, разобрать которые нам не удалось, мы заключали в угловые скобки (⟨...⟩). Например: не решаясь выбрать между возможными «percussion» и «persuasion», мы прибегали к варианту ⟨persuasion⟩ [⟨уверенность⟩. — *Перев.*]. Восстановленные фрагменты, напротив, заключены в квадратные скобки (например: «мы сможем разгадать тайну [возникновения] одержимых и конвульсивных»). Такие же скобки использовались нами и при восстановлении купюр в цитатах.

Некоторые свои вмешательства мы никак не обозначали (например, в шестой лекции мы вырезали следующие слова Фуко: «Поскольку все занялись своими машинками [перестановкой кассет], я воспользуюсь паузой и предложу вам еще один, сугубо развлекательный, пример»; следующий затем пример записан неразборчиво). Кроме того, мы не отразили в тексте смех в зале, который часто сопровождал чтение лекций и который Фуко к тому же вызывал намеренно, в частности в случае с экспертизами в самом начале, делая акцент на некоторых деталях (например, на гротеске и сюсюканье судебно-психиатрического языка).

КРИТЕРИИ ПОДАЧИ КРИТИЧЕСКОГО АППАРАТА

В книгах Мишеля Фуко довольно-таки немного буквальных цитат и ссылок на источники, использованные им в работе. За редкими исключениями, в них нет и традиционной системы примечаний, в которых обычно прослеживается история затрагиваемого вопроса и перечисляются наиболее важные работы по той или иной теме. Лекции, всегда имеющие характер и ценность публичного отчета о проведенном исследовании, произносятся устно. В них часто встречаются импровизированные пассажи, основанные на документах, не перепроверенных автором при подготовке к публикации. Вследствие этих приблизительных отсылок и расплывчатых цитат (часто приводимых по памяти), лекции возлагают на их издателей серьезную ответственность: нужно не просто предоставить сегодняшнему читателю, не являющемуся слушателем Коллеж де Франс, аккуратные и практичные ссылки к

различным документам, которые Фуко изучал и на которые он ссылался сам, но и обозначить не видимые с первого взгляда следы книг, входивших в его библиотеку. Наш критический аппарат, делая подчеркнутый упор на источники (иногда цитируемые целиком) в ущерб текущей библиографии, призван продемонстрировать верность мнения Жоржа Кангилема, которое служило нам проводником: Фуко цитирует только оригинальные тексты, словно стремится прочесть прошлое через как можно более узкую «решетку».[64]

По поводу скрытых источников (в разной степени угадывающихся) надо отметить, что наши ссылки на них являются не более чем приглашением к исследованию и никоим образом не подразумевают, что Фуко имел в виду именно их. Вся ответственность за эти ссылки лежит на издателях (которые придерживались правила не цитировать работы, вышедшие позднее 1975 г., за исключением стереотипных переизданий и анастатических перепечаток).

В том же, что касается прочей исторической литературы, мы указываем прежде всего на те работы, в которых изучается история психиатрии и вообще медицины. Фуко хорошо знал эту литературу — в первую очередь благодаря исследованиям, публиковавшимся в специализированных журналах (таких, как «Анналы общественной гигиены и судебной медицины» или «Медико-психологические анналы»), в другой периодике (в том числе выходившей под эгидой региональных институций), а также в книжных сериях (например, в коллекциях, выпускавшихся медицинским издательством Ballière). Причем он пользовался своеобразной, весьма внятной, техникой обобщения, позволяющей очертить круг вопросов, подлежащих проблематизации в генеалогических терминах. Достаточно проследить за тем, как он описывает возрастание интереса медицинской литературы XIX века к вопросам, связанным с монструозностью или онанизмом (этому посвящены два ключевых досье настоящего курса), с гермафродитизмом или исповедью (об этом идет речь в двух рукописях, служив-

[64] См.: *Canguilhem G.* Mort de l'homme ou épuisement du cogito? / Critique, 242, juillet, 1967.

ших опорой для «Ненормальных»), чтобы уяснить эту особенность его метода.

Также можно сказать, например, что живое представление, которое Фуко дает о политической значимости противочумных мер, в большей степени основано на прочтении ряда «Медицинских историй» XIX века, нежели на использовании современных исследований. Это не означает, что Фуко не был сведущ в общей библиографии этого и других вопросов или что он не следил за изысканиями историков своего времени. Однако историческое положение психиатрии в XIX веке, ее тогдашнее устройство и материалы определяют его подход к проблемам в большей степени, чем те тенденции, что доминировали в истории в годы чтения лекций 1970—1976 годов. В связи с этим можно привести книги Фуко «Надзирать и наказывать» и «Воля к знанию», где, исследуя сложный вопрос о «власти нормализации», Фуко уделяет значительное место техникам контроля над сексуальностью, введенным после XVII века. Он знает о множестве серьезных исследований его современников, посвященных сексуальной репрессии и ее истории, но считает необходимым создание другой теории власти, подвергающей пересмотру его собственные выводы из «Истории безумия» (которые действительно были во многих пунктах пересмотрены по результатам работы над «Надзирать и наказывать»).

Здесь мы сталкиваемся с оппозицией между моделью исключения (проказа) и моделью постановки под контроль (чума). В «Надзирать и наказывать» Фуко ссылается на одно распоряжение конца XVII века, происходящее из Военного архива Венсенна. Но добавляет: «По сути своей это распоряжение аналогично целому ряду других, относящихся к этой же эпохе или к предшествующему периоду».[65] Упомянутый ряд как раз и упоминается в настоящих лекциях. И вообще, мало вероятно, что, изучив эти документы, Фуко не пользовался в своем исследовании и подготовке лекций (ср. сказанное им в лекции от 15 января: «Я цитирую множество идентичных друг другу

---

[65] *Foucault M.* Surveiller et Punir. Naissance de la prison. Paris, 1975. P. 197.

предписаний, составлявшихся с конца Средневековья до начала XVIII века») хотя бы тем описанием оградительных мер, которое предлагает нам Жан-Антуан-Франсуа Озанам в своей знаменитой «Общей и частной медицинской истории эпидемических болезней».[66]

Важно, что по отношению к «Надзирать и наказывать» заключения настоящего курса тверже и убедительнее: «реакция на проказу — это негативная реакция» (*исключение*); «реакция на чуму — это позитивная реакция» (*включение*). При этом, судя по всему, выводы «Ненормальных» при всей их силе не вошли в раздел «Репрессивная гипотеза» последующей книги «Воля к знанию», который мог их включать. И наконец, надо заметить, что в той же лекции от 15 января Фуко уделяет лишь несколько слов традиционному «литературному видению» чумы (в связи с которым он до этого собрал значительный корпус текстов) и сразу переходит к намного более важному «политическому видению», в котором гораздо громче звучит тема исполнения власти. Упомянутый Озанам рассматривает проблему именно в этом ракурсе, выбирая в качестве модели для изучения «санитарно-полицейских мер» предписания, введенные в городе Нола (в Неаполитанском королевстве) в 1815 г., — предписания, «преисполненные мудрости и дальновидности, могущие служить примером, образцом действий в случае подобного бедствия».[67] Кроме того, Озанам напоминает, что «одним из лучших трудов, с которыми следует ознакомиться при исследовании данного предмета, является книга Людовико Антонио Муратори под названием „Del governo in tempo di peste", в которой можно найти прекрасно составленный перечень санитарных мер, применявшихся во время различных эпидемий чумы в Европе вплоть до марсельской». И наконец, Озанам указывает на значительную документацию, собранную в трактате кардинала Гастальди «De avertenda peste» и в «Историческом трактате о чуме» Папона, «второй том которого посвящен всяким мерам предосторож-

[66] *Ozanam J.-A.-F.* Histoire médicale générale et particulière des maladies épidémiques, contagieuses et épizootiques, qui ont régné en Europe depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. IV. Paris, 1835 (2). P. 5—93.

[67] *Ozanam J.-A.-F.* Histoire médicale générale et particulière... P. 64—69.

ности, которые следует принимать, дабы воспрепятствовать распространению и возникновению чумы».[68]

Широкая и очень важная политическая литература о чуме (ср. название трактата Муратори: «О правлении во времена чумы»), присутствующая в «Ненормальных» в преломлении «Медицинской истории» Озанама, заставляет нас в заключение оговориться о том, что между примечаниями, включенными нами непосредственно в критический аппарат, и «Контекстом курса» существует, как мы надеемся, прямая связь. Так, мы привели в настоящем послесловии целый ряд ссылок, которые было бы неправильно вводить в критический аппарат, поскольку они ни в коей мере не должны приписываться Мишелю Фуко. Тем не менее нам показалось, что они могут обогатить содержание текста лекций и помочь его пониманию.

Валерио Маркетти,
*Антонелла Саломони**

---

[68] *Ozanam J.-A.-F.* Histoire médicale générale et particulière... P. 69—70. Ср.: *Gastaldus H.* Tractatus de avertenda et profiganda peste politico-legalis, eo lucubratus tempore quo ipse loemocomiorum primo, mox sanitatis commissarius generalis fuit, peste urbem invadente, anno 1656 et 57 ac nuperrime Goritiam depopulante typis commissus. Boloniae, 1684; *Muratori L. A.* Del governo della peste e della maniera di guardarsene. Trattato diviso in politico, medico et ecclesiastico, da conservarsi et aversi pronto per le occasioni, che dio tenga sempre lontane. Modena, 1714; *Papon J.-L.* De la peste ou époque mémorable de ce fléau et les moyens de s'en préserver. I—II. Paris, VIII [1799—1800].

* Валерио Маркетти является профессором новой истории Болонского университета. Антонелла Саломони преподает социальную историю в Сиенском университете (филиал в Ареццо). Эти авторы вместе работали над настоящим «Контекстом курса». В том, что касается подготовки текста, В. Маркетти работал над лекциями от 19 и 26 февраля, 5, 12 и 19 марта; А. Саломони работала над лекциями от 8, 15, 22 и 29 января, 5 и 12 февраля.

От переводчика

В работе над переводом лекций Мишеля Фуко в Коллеж де Франс мы старались придерживаться тех принципов и критериев, которые подробно описываются в сопроводительных статьях французских издателей и редакторов настоящей книги. Задача как можно более верного отображения устных выступлений философа, довольно значительно отличающихся в текстуальном плане от его опубликованных работ, стояла и перед нами. В связи с этим мы приняли несколько спорных решений, кратким указанием на которые и ограничимся.

Прежде всего само название курса за 1974—1975 учебный год поставило нас перед парадоксальной трудностью. Разумеющийся, на первый взгляд, эквивалент «Ненормальные» оказался под сомнением из-за довольно-таки распространенного в существующих русскоязычных изданиях М. Фуко и работах о нем варианта «анормальные», или «анормальный индивид». Мы решили отказаться от последнего, не в последнюю очередь, из тех же соображений по возможности прямой, ничем дополнительно не усложненной передачи публичных лекций. Как нам кажется, вариант «ненормальный» и в своем буквальном значении и, что немаловажно, в своем пренебрежительном оттенке, свойственном, в частности, разговорной речи, весьма точно соответствует значению французского «anormal», употребляемого М. Фуко. Строгому термину «анормальный», возможно и в самом деле более подобающему историко-философской мысли М. Фуко с точки зрения чистой науки, недоставало бы здесь, по нашему мнению, как раз общеупотребительного, даже, может быть, клишированного значения, коррелятивного широте его распространения и одновременно смысловой расплывчатости, о которых много говорится на предшествующих страницах.

По этой же причине, а также помня о несомненной актуальности исторических изысканий М. Фуко (см. «Контекст курса»), о его, думается, сознательном и успешном стремлении к сопряжению выводов о прошлом и суждений о настоящем, мы сохранили и ряд других вариантов, имеющих дополнительные подтексты, связанные с их обычным употреблением в разговорной, профессиональной и т. п. речи сегодняшнего дня. Иногда в таких случаях принимались трудные решения — например, «обменник» в качестве эквивалента «echangeur», — которым, однако, мы не сумели найти более удачной альтернативы.

Напротив, многие термины и даже цепочки, семейства терминов мы вынуждены были перевести буквально, так как, сколь бы ни были они подчас неблагозвучны, их ключевая роль в тексте М. Фуко, равно как и отчетливая новизна, не позволяли вносить при переводе существенные изменения. Главным образом это касается понятий процессуального характера, отображающих те самые историко-эпистемологические процессы, которые составляют центральный предмет настоящих лекций: таковы психиатризация, медикализация, культпабилизация и многочисленные производные от них. Кроме того, глубина и скрупулезность, с которыми М. Фуко анализирует на страницах «Ненормальных» развитие психиатрии, потребовали от нас сохранить, часто при отсутствии привычных русских эквивалентов, некоторые психиатрические термины, в иных случаях нередко смешиваемые без ущерба для содержания текста. Укажем на самый заметный среди таких случаев: мы пошли на транслитерации «алиенист», «алиенистский» и т. п. для обозначения «старой» психиатрии, психиатрии умопомешательства, переход от которой к психиатрии инстинктов и, затем, к психиатрии широчайшего, не имеющего определенных границ поля ненормальности, является смысловым центром, узлом настоящего курса.

И наконец, еще одно спорное решение. В «Ненормальных» несколько раз, по разным поводам, встречается хорошо известное читателям М. Фуко слово «dispositif», не включенное, впрочем, французскими издателями в указатель понятий для данного издания. В самом деле, понятие диспозитива здесь лишь вырабатывается, намечается и еще не имеет того строгого, узкого и вместе с тем емкого, исключительно действенного значения, которое ввело его затем в словари по современной философии и сделало предметом отдельных исследований. Поэтому мы лишь единож-

ды, в самом конце книги (которая стала одной из стадий формирования термина), передаем его прямо, как «диспозитив»; в остальных же, действительно считанных, случаях он переводится как «устройство» или «аппарат», в зависимости от соответствующего контекста. Помимо некоторой неуместности «диспозитива» в этих частных фрагментах текста, нас подтолкнуло к этому желание отразить хотя бы некоторые из смысловых граней этого слова, которые впоследствии образовали кристалл понятия.

Разумеется, это лишь малая часть трудностей и спорных моментов, с которыми мы столкнулись. Издатели текста, несомненно, правы в том, что некоторые выводы книг Мишеля Фуко, вошедшие и в настоящие лекции, звучат здесь, при кажущейся текстуальной простоте, еще более твердо и основательно. Сочетание концептуальной глубины, концентрированности текста и его живой, ускоренной подачи, обусловленной временными ограничениями, а также самими условиями публичных лекций, сделало их перевод особенно трудным. Отдавая себе отчет во множестве его несовершенств, скажем лишь в заключение, что мы старались открыть русскому читателю новую сторону творчества Мишеля Фуко без излишних искажений и затемнений.

Переводчик хотел бы поблагодарить В. Ю. Быстрова, выступившего редактором настоящего текста, за ряд ценных указаний и исправлений и в целом за плодотворное сотрудничество в работе над «Ненормальными».

А. В. Шестаков

Указатель имен

Содержание

«Ненормальные» - это многогранное исследование становления в новоевропейской культуре представления о норме как биологическом, психологическом, моральном и политическом феномене. Центральное место здесь занимает процесс замещения образа монстра как существа, абсолютно нарушающим законы природы и мира, представлением о норме и ненормальном как субъекте, не поддающемся нормативному воспитанию и не вписывающегося в нормативную систему социума. Значительное внимание в лекциях уделяется теме сексуальности и эволюции «тела удовольствия» как средства контроля индивида со стороны общественных институтов и одновременно формы его ускользания от давления «власти-знания», что позволяет проследить становление основных идей третьего периода творчества Фуко конца 70–80-х («История сексуальности». Т. II, III). Представляемый цикл лекций позволяет составить читателю более полное представление о развитии мысли одного из классиков европейской мысли XX в. М.Фуко, а также содержит уникальный материал по истории ментальности новоевропейского человека.